

ISSN 0130-7673

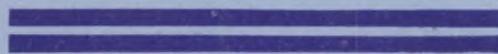
Н О В Ы Й М И Р

5

Н О В Ы Й М И Р

1981

5



1981



НОВОЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издаётся с 1925 г.

№ 5

Май, 1981 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ ТРУДОВОЙ ПОДАРОК СЪЕЗДУ	3
—	
СТИХИ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ — Глеб Пагирев, Сергей Баруздин, Михаил Найдич, Александра Смелякова, Евгений Агранович, Лев Катюков, Эсфирь Гендлер, Юрий Белаш, Алла Сурова, Юрий Лозина, Вячеслав Татаренко, Анатолий Прокудин, Виктор Федотов, Генрих Рудяков, Владимир Матвеев	6
НИКОЛАЙ ЕВДОКИМОВ — Происшествие из жизни Владимира Васильевича Маховина, повесть	15
И. ГРЕКОВА — Вдовый пароход, повесть	66
ЧАРЛЬЗ СНОУ — Лакировка, роман. Перевели с английского И. Гурова и О. Кругерская	148
ПУБЛИЦИСТИКА	
ЮРИЙ АЗАРОВ — Трудный случай	186
НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ	
ЭДУАРД РОЗЕНТАЛЬ — Убить книгу...	203
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ	
Н. А. АНТИПЕНКО — День победы. Встречи с маршалом Г. К. Жуковым	216
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
БОРИС ПАНКИН — Точка отсчета	229
СЕРГЕЙ ЧУПРИНИН — Шестидесятые — семидесятые: волна вослед волне	237
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i> 249	
Юрий Лукин. Дреблеть, подвиг, слава. — Адольф Урбаи. Сквозь годы. — А. Коган. Звенья памяти народной.	

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

Стр.

Политика и наука

258

В. Победоносцев. Ратная работа.— **В. Некрасов.** Карлос Бланко, Мартин Гроу и другие.— **Н. Эйдельман.** Ганнибал Пушкинский.

КОРОТКО О КНИГАХ: Ю. С м е л к о в.—Юрий Абдашев. Ветер удачи. Повести. ♦ В л а д и м и р Ш л ё н с к и й.— Людмила Щипахина. Час вечерних огней. Стихи. ♦ А. С м е л я н с к и й.— Борис Галанов. Прогулки с друзьями. ♦ И р и н а Ш е в е л е в а.— Иннокентий Анненский. Книги отражений. ♦ С. Ш м и д т.— Б. Г. Литвак. Очерки источниковедения массовой документации XIX — начала XX в. ♦ Ю р и й Д м и т р и е в.— Джеральд Даррелл. Ковчег на острове

267

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

272

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

ТРУДОВОЙ ПОДАРОК СЪЕЗДУ

**СТРОИТЕЛЯМ, МОНТАЖНИКАМ, АВТОМОБИЛЕСТРОИТЕЛЯМ,
ВСЕМ УЧАСТНИКАМ СООРУЖЕНИЯ
ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ КАМСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ БОЛЬШЕГРУЗНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ**

Дорогие товарищи!

С чувством большой гордости за наш славный рабочий класс воспринято в Центральном Комитете партии сообщение о вашей новой трудовой победе — завершении строительства объектов второй очереди КамАЗа и вводе его в действие на полную проектную мощность по выпуску 150 тысяч дизельных автомобилей в год.

Как Магнитка и ДнепрогЭС, Уралмаш и Братская ГЭС, освоение целинных земель, КамАЗ по праву войдет в летопись выдающихся свершений советского народа. Это хороший трудовой подарок XXVI съезду КПСС. Мне доставляет большое удовлетворение горячо и сердечно поздравить вас с этим замечательным достижением.

Сооружение КамАЗа стало отличной школой для наших строителей, монтажников, машиностроителей. Творческая активность трудовых коллективов, широкое использование прогрессивных технических решений, новых эффективных методов организации производства позволили ускоренными темпами возводить современные заводские корпуса, в сжатые сроки осуществлять монтаж и освоение высокопроизводительного оборудования. Этот ценный опыт сегодня взят на вооружение многими отраслями народного хозяйства. Создание такого уникального промышленного комплекса убедительно подтверждает эффективность соединения достижений научно-технической революции с преимуществами социалистической экономики.

Очень важно, что за короткое время на КамАЗе сформирован сплоченный многотысячный коллектив рабочих и инженерно-технических работников, которому по плечу решение самых сложных задач. Зримым свидетельством этого являются более 200 тысяч дизельных автомобилей «КамАЗ», работающих на транспортных магистралях, стройках, в колхозах и совхозах. В наступившей пятилетке страна ждет от автозаводцев дальнейшего ускоренного наращивания выпуска грузовых автомобилей, весьма необходимых для нашей экономики.

Заслуживает добрых слов ваше отношение к решению социальных и культурно-бытовых нужд трудящихся. Одновременно с промышленным строительством для жителей молодого города Набережные Челны построены хорошие жилые дома, школы и детские комбинаты, объекты торговли, культуры и здравоохранения. Забота о людях и впредь должна находиться в центре внимания партийных, советских и хозяйственных органов.

Одержанная вами победа — это результат тесного и делового сотрудничества всех участников сооружения КамАЗа, настойчивого поиска резервов производства, массового социалистического соревнования в честь XXVI съезда КПСС, большой организаторской и политической работы Татарской областной партийной организации. Особенно хотелось бы отметить значительный вклад в эту поистине ударную комсомольскую стройку нашей замечательной молодежи.

Твердо верю, что вы приложите все силы и умение для скорейшего освоения вновь созданных мощностей и превращения Камского авто-

мобильного комплекса в предприятие высокой эффективности производства и качества продукции.

Желаю вам, дорогие товарищи, крепкого здоровья, счастья, новых успехов в труде на благо нашей великой Родины.

Л. БРЕЖНЕВ.

**ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА,
ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС,
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
ТОВАРИЩУ ЛЕОНИДУ ИЛЬИЧУ БРЕЖНЕВУ**

Мы, рабочие, инженерно-технические работники и служащие строительных, монтажных организаций и КамАЗа, с чувством большой радости докладываем Центральному Комитету КПСС, лично Вам, дорогой Леонид Ильич, что наши коллективы, претворяя в жизнь решения партии и правительства, широко развернув социалистическое соревнование за достойную встречу XXVI съезда КПСС, выполнили почетное и ответственное задание Родины — сдали в эксплуатацию вторую очередь Камского объединения по производству большегрузных автомобилей.

КамАЗ является ярким примером воплощения в жизнь грандиозных планов нашей партии, свидетельством больших возможностей и преимуществ социалистической экономики. За годы десятой пятилетки на строительстве КамАЗа и города Набережные Челны освоено более 2,6 миллиарда рублей капитальных вложений, введено в строй почти 3 миллиона квадратных метров производственных площадей, 16 тысяч единиц высокопроизводительного оборудования, 492 автоматические линии, смонтировано 175 километров конвейеров.

Многое сделано в городе Набережные Челны по улучшению условий быта и отдыха трудящихся, более полному удовлетворению их материальных и духовных запросов. Введены в эксплуатацию 4 миллиона квадратных метров общей площади жилых домов, десятки школ, детских дошкольных учреждений и другие объекты социального и культурно-бытового назначения. Создается пригородная сельскохозяйственная зона на индустриальной основе.

Мы глубоко благодарны ЦК КПСС, лично Вам, дорогой Леонид Ильич, за постоянное внимание и отеческую заботу о нас, создателях КамАЗа. Трудовым подвигом на Каме назвали Вы завершение строительства и ввод в эксплуатацию первой очереди комплекса. Это постоянно воодушевляло коллективы, сооружающие КамАЗ, на новые трудовые свершения.

Строительство КамАЗа стало поистине делом всех народов Советского Союза, символом их нерушимой дружбы и взаимной помощи. Неоценимый вклад в его создание внесли союзные и автономные республики, края и области нашего многонационального государства, министерства и ведомства. Ежегодно для решения важнейших тематических задач на эту великую стройку направлялись тысячи посланцев ленинского комсомола.

Успешному решению поставленных задач способствовали широкое использование прогрессивных форм и методов производства строительно-монтажных работ, действенное социалистическое соревнование, во главе которого идут коммунисты.

Мы с гордостью докладываем, что коллектив камских автомобилестроителей наряду со строительством второй очереди КамАЗа полностью освоил мощности первой его очереди, досрочно выполнил годовые планы десятой пятилетки по выпуску автомобилей. В конце прошлого года двум базовым модификациям машин присвоен государственный Знак качества.

С большим воодушевлением восприняли трудящиеся города Набережные Челны проект ЦК КПСС «Основные направления экономического и социального развития СССР на 1981—1985 годы и на период до 1990 года». Перспективы экономического и социального развития страны, намеченные в этом основополагающем партийном документе, вызвали у всех нас высокие патриотические чувства, новый прилив трудовой и политической активности.

Мы обязуемся сконцентрировать усилия на ускорении освоения введенных мощностей, разработке более производительных моделей автомобилей, строительстве объектов энергетики, города, завода транспортно-электрооборудования и на других важнейших стройках одиннадцатой пятилетки.

От имени коллективов строителей, монтажников и автозаводцев заверяем Центральный Комитет КПСС, лично Вас, дорогой Леонид Ильич, в том, что отдадим все свои силы, знания и опыт для претворения в жизнь величественных предначертаний партии, которые определит XXVI съезд КПСС.

Слава родной Коммунистической партии, ее ленинскому Центральному Комитету — боевому штабу строительства коммунизма!

Да здравствует наша великая социалистическая Родина — Союз Советских Социалистических Республик!

Принято единогласно на собрании представителей коллективов строителей, монтажников, КамАЗа, всех трудящихся города Набережные Челны

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О награждении производственного объединения по строительству энергетических и промышленных объектов в бассейне реки Камы «Камгэсэнергострой» орденом Ленина

За высокие производственные достижения и в связи с вводом в действие мощностей второй очереди Камского объединения по производству большегрузных автомобилей наградить **производственное объединение по строительству энергетических и промышленных объектов в бассейне реки Камы «Камгэсэнергострой»** Министерства энергетики и электрификации СССР орденом Ленина.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л. БРЕЖНЕВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль, 18 февраля 1981 г.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О награждении треста «Татэлектромонтаж» орденом Трудового Красного Знамени

За высокие производственные достижения и в связи с вводом в действие мощностей второй очереди Камского объединения по производству большегрузных автомобилей наградить **трест «Татэлектромонтаж»** Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР орденом Трудового Красного Знамени.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л. БРЕЖНЕВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль, 18 февраля 1981 г.

СТИХИ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

★

ГЛЕБ ПАГИРЕВ

Молодость

Я старюсь, не ревнуя к молодым,
не суетясь у грозного предела,
и верю им не меньше, чем седым:
талантами земля не оскудела.
Мы тоже были молодыми, друг,
нас в кипяток и в прорубь окунало:
даешь Хибиногорск, Полярный круг,
привет Москве с Ферганского канала!
Страна равно ко всем была добра,
в те дни гордилась молодость и наша
плотиной, ставшей на пути Днепра,
высокими цехами Уралмаша.
А там — война. На фронте самый цвет,
все лучшее, вся молодость и сила:
Ватутину всего-то сорок лет
и нам, ты знаешь, старость не грозила.
Вот молодость! Не тем она горда,
что было всласть попито и попето,
а тем, что с боем брали города
и впереди у нас была победа...
Сейчас обувь бы наши сапоги
в цементе, в стружках и в окопной глине —
и молодежь услышала б шаги,
звучащие в Кузнецке и в Берлине!

Своя земля

Подрубленный, как тонкая березка,
солдат упал, ступив через порог.
Потом его друзья у перекрестка
насыпали песчаный бугорок
и написали наспех: за отчизну
погиб в боях такого-то числа.
Они ушли вперед, не справив тризну:
лавина наступленья их несла...
Теперь могилы не найти и близким:
осела и осыпалась земля
и вровень с деревянным обелиском
качаются метелки щавеля.
Все заросло вьюнком и бересклетом,

травы густа, куда ни посмотри,
и на рассвете сенокосным летом
до этих мест доходят косари.
В соседнем перелеске много ягод,
и по малину ходят, что ни день,
и старики, что завтра в землю лягут,
и молодежь из ближних деревень.
Кругом своя земля! И в самом деле
я не хотел бы пристани иной,
лишь надо мной бы травы шелестели
и дачочки звенели надо мной.

СЕРГЕЙ БАРУЗДИН

* * *

Ночь, уходят беды прочь,
Темень наступает.
И на фронте, видно, ночь
Как-то очищает.
Немцы ночью крепко спят,
Не до боя фрицам.
Заступаю я в наряд,
Мне совсем не спится.

Мысли светлы и легки,
Все на свете вечно.
Сочиняю я стихи
О тебе, конечно.
Бог ты мой, как далека
Ты сейчас отсюда.
Но жива моя строка,
Коль я жив покуда.

* * *

В чем жизни суть?
Чтоб в завтра заглянуть.
В чем жизни суть?
Людей не обмануть.
В чем жизни суть?

Себя отдать чуть-чуть.
В чем жизни суть?
Прожить не как-нибудь.
В чем жизни суть?
Успеем отдохнуть.

* * *

Я не верю в любви каноны,
Я не верю, что млеют сердца.
Я не верю во вздохи
влюбленных,
Верю в преданность до конца.

И себя, другой подчиняя,
Озаряя ее теплом,
Я-то знаю, я точно знаю,
Кто счастливым приходит в дом.

МИХАИЛ НАЙДИЧ

Гость

Опять я в гостях у густых до предела лесов.
Здесь ладные парни, одетые в комбинезоны;
Они понимают, что значит
Отечества зов,
Им кажется ратная жизнь
Безусловно резонной.
Здесь слово команды частенько творит чудеса,
Здесь дым сигаретный уходит под кроны слоями —
И снова густые меня окружают леса,
Набитые танковой техникой и соловьями.

Далекый костер

В молодости у седого озера,
Где к утру маленько приморозило,
Где костер запальчиво трещал,
Я забыть тебя пообещал...

За спиной — дороги, путь исхоженный;
 Я стою печальный и встревоженный
 На залитом звездами лугу.
 Обещал забыть — а не могу.

Воспоминание о звездах

Завечерело. И дрозды уснули.	Оставшийся сухарь в Донец макая,
И откатился за пригорок бой.	Гляжу вокруг, улыбки не тая.
А звезды, будто сплюсненные	И неохота думать: а какая
пули,—	
Над всей дивизией и надо мной.	Из этих звезд действительно моя?

* * *

Снопы огня вставали у глаз,
 И сталь накалялась и даже гнулась,
 Но как же бурлила, кипела в нас
 Совпавшая с временем этим юность!
 Нам в глотки впивался проклятый дым.
 Но зубы у нас белоснежно сверкали,
 А наше ребячество было таким,
 Что мы б за него нынче многое дали.
 Мы были где нужно, были у дел,
 Планету из пламени вырывая.
 И дым над Европой редел, редел,
 И мама была молодая...

АЛЕКСАНДРА СМЕЛЯКОВА

Варежки

Домишки смотрят сонными глазами
 На улицы седого городка.
 В одном из них склонилась над вязаньем
 Седая мать при свете ночника.
 Который час перебирает спицы,
 А нити длинной не видать конца,
 В который раз прочитаны страницы
 Письма от сына — юного бойца.
 Слова в нем ветром леденят холодным:
 «Прошу, родная, варежки связать —
 Два первых пальца быть должны свободны,
 Чтоб спусковой удобней нажимать...»

* * *

Жди меня, и я вернусь...
 К. Симонов.

Меж нами — станции и полустанки,
 Но мысленно я в твой ступаю след.
 Заиндевшая кабина танка —
 И спальня и рабочий кабинет.
 Хотя укрыта я от вьюг свистящих,
 А думы гусеницами гремят.
 Привыкший ко всему почтовый ящик
 Стал самым верным другом для меня...
 То ль волею судьбы ты сохранился,
 То ль оттого, что я сумела ждать,
 Но все ж — почти седой — ты возвратился
 И к жизни возвратил жену и мать.

ЕВГЕНИЙ АГРАНОВИЧ

Партизаны

Когда перед сосновым бором,
 Как поезда, с лязгом встал отряд,
 Майор немецкий тусклым взором
 Окинул русских сосен ряд.
 Ощерясь острыми суками
 При виде вражеской орды,
 Они смыкались со штыками,
 Столетней выправкой горды,
 И, краснокожи, бородаты,
 С зарубцевавшейся корой,

Они стояли, как солдаты,
 В струну выравнивая строй.
 Так важен был их опаленный,
 Прославленный на целый мир,
 Гвардейский, в елочку зеленый,
 Местами выцветший мундир.
 И тут, зажав ладонью рану,
 Майор пополз от леса вспять.
 Ему не показалось странным,
 Что сосны начали стрелять.

После боя

Майор приказал кормить людей
 И чтобы — внешний вид.
 А мой котелок решета худей,
 Пулями весь пробит.
 Зеркальце есть у меня про запас
 Одно на целый взвод,
 Вижу я в нем скулу и глаз,
 Носа кусок и рот.
 В копоти я, как котел из огня,
 Кожа темна, как броня...
 Интеллигентная мама моя,
 Ты б не узнала меня.
 Главное, жалко ребят до слез.
 Кольку я здесь зарыл,
 Юру с ездовым отправил в тыл,
 А других повидать не пришлось.
 Наводчик подсел и сказал:

«Смотрю,
 худо тебе, поплачь».
 «Пошел ты (подробно ему говорю),
 Ишь ты, нашелся врач.
 Не сзади тебя я, кажется, шел,
 Ты наблюдал, дружок?
 И танк, что горит вон еще
 хорошо,

Тоже не дядя поджег».
 А он: «Никто и не говорит,
 Что ты не вояка, брат,
 А только твой нехороший вид
 Действует на солдат.
 Хлебом заткни дно котелка,
 Глину сотри с рукавов.
 Победа, брат, для того близка,
 Кто долго драться готов».

Оборона

Края траншеи заросли травой,
 Идешь — и стебли вровень с головой.
 Местами даже надо нагибаться,
 Чтоб избежать их несмышленной ласки,
 Так стебельки звенят, звенят по каске,
 Цветы — те прямо лезут целоваться.
 Вот здорово! Волнистый воздух чист,
 И посвист пули — будто птичий свист.
 Какой покой, порядок и уют!
 Сейчас уверен я, что не убьют.
 Должно быть, после, одолев беду,
 От свиста птицы наземь упаду.

ЛЕВ КАТЮКОВ

* *

Ни юбилеев, ни медалей
 У довоенной той войны,
 Лежат в карельских снежных
 далях
 России славные сыны,
 На линии угрюмых дотов,

В краю озерных, чистых снов...
 Теперь их редко вспомнит кто-то,
 Да и не нужно лишних слов.
 И суетно твердить не надо,
 Что заслонила всех тогда.
 Общевселенская громада,—

Другой войны взошла звезда.
 Война с судьбою неудачной,
 О, как же ей не повезло!
 История несется дальше,
 Что было темным — то светло.
 Какие дни, какие парни!
 Мороз и кровь — огонь живой,
 А нынче финскую кампанию
 Зовут локально войной.

Но это было, это было,
 Война — и падал человек,
 Другой стране б ее хватило
 Не меньше чем на целый век.
 Оплакивать забвенью рано,
 Всегда жива отчизна-мать,
 Но шрамы от тяжелой раны
 Рукой не надо закрывать.

В грозу

Стою угрюмо рядом с вязом,
 Качает ветер все сильнее,
 И мнится — ощущаю разом
 Движение планеты всей.
 Пространство наглухо
 замкнулось,
 Тревожен белых молний сверк...

И дерево во тьму рванулось,
 Поняв, что рядом человек.
 И сразу кончилось движенье,
 Остановился шар земной,
 И легче стало возвращенье
 К родному дому в час ночной.

ЭСФИРЬ ГЕНДЛЕР

* * *

Я вижу вновь дороги,
 Спаленные огнем.
 И снова сердце вздрогнет
 При имени твоём.
 Прощанье мимолетно,
 Призывно бил набат.
 Ты в полк уехал летный,
 А я — в свой медсанбат.
 За жизнь бойца сраженье
 В тревоге фронтовой.
 Всегда на жизнь равненье,
 Всегда со смертью бой.
 От вражьей эскадрильи
 Прикрыл ты эшелон.

В бою пробил крылья,
 В бою ты был сражен.
 Пилоты утром ранним,
 Друг друга торопя,
 В санбат с глубокой раной
 Доставили тебя.
 Военные дороги,
 Прифронтовая мгла.
 Уберегла я многих,
 Тебя не сберегла.
 И снова сердце вздрогнет
 При имени твоём.
 Я вижу вновь дороги,
 Спаленные огнем.

ЮРИЙ БЕЛАШ

96-я стрелковая дивизия форсирует Сож

Дыбом
 встает под разрывами мин и снарядов река.
 Дымом
 затянуты едим ее берега.
 Небо
 нависло изодранной грязной портянкой.
 Слепо
 не солнце блестит, а консервная банка.
 Грохот
 ревет неумолчно над пенной водой.
 Глохнут
 солдаты, ступивши на мост наплавной.
 С визгом
 проносятся в дыме стальные осколки.
 Брызги
 царапают руки — студены и колки.

Кипень
 качает и рвет штурмовые мостки.
 Гибель —
 если нога не дай бог соскользнула с доски.
 Мертво
 плывет по течению рыба глушенная.
 Стерто
 навеки волной чье-то лицо искаженное...

Тысячный день войны

16 марта 1944

Коптила лампа керосиновая
 с кургузым, треснувшим стеклом.
 Болотная тоска осиновая
 скрипела глухо за окном.
 Бойцы в замызганных шинелях
 вповалку спали на полу.
 И мокрые дрова шипели
 в голландке старенькой в углу.
 И было все таким обыденным,
 таким приевшимся, банальным,
 и виденным, и перевиденным,
 что навсегда, казалось, данным:
 и эта лампа керосиновая,
 бойцы вповалку на полу,
 болотная тоска осиновая
 и печь облезлая в углу...

Фронтные миниатюры

1

Поэзия — язык богов.
 Но бог на фронте — артиллерия.
 Ну и язык таков.

2

На войну я уходил на время.
 Оказалось —
 на всю жизнь.

3

Соловьи умирали от грохота выстрелов:
 лирики — нежное сердце...
 А вороны покаркают да улетят.

4

Осень.
 Снова лес меняет обмундирование.
 А я все жив.
 Странно!..

5

К солдату —
 как и к господу богу —
 на «вы»
 не обращаются.

6

Мальчик —
лет семи,
без ноги,
с костылями —
катается на одном коньке,
смеется...

Инвалид войны!

7

Дуб за окопом.
Ветер считает листья.
Один упал.
Меньше не стало.

8

Женщина с ребенком храбрее мужчины с винтовкой.

АЛЛА СУРОВА

* *

Кто мы? Московские девчата.	Мы — рядовые землекопы,
Кто в тапочках, кто в сапогах.	Но оторвались мы от книг,
Но стали ротой, как солдаты,	Чтоб прошагавший пол-Европы
А враг под Вязьмой, в двух шагах.	Фашизм споткнулся хоть на миг.
Да, были мы одни из первых.	А сверстники глаза сомкнули,
По разнотравью шел июль.	Не выбирая, где им лечь...
Еще выдерживали нервы	Война, в меня вошла ты пулей.
Штрихи трассирующих пуль.	И эту пулю не извлечь.

ЮРИЙ ЛОЗИНА

Переключка

Когда ночь на Москву
Космы выпустит сонно,
Я друзей созову
На совет поименно.
Ночью звездной ответ
Я едва различаю,
Через пропасти лет
Мне друзья отвечают:
Я погиб у Одессы,
Я погиб в Севастополе,
Не в осиновом лесе,
Не в окопчике во поле,
Мы — на рейде в Керчи,
Мы — от Ялты три мили,
Только зря не ищи
Наши где-то могилы,
На просторах Руси
На полях и погосте

Павших всех опроси —
Не найдешь наши кости.
В синь морей не шагнуть,
Не застыть обелискам
И не выстолбить путь
Для друзей и для близких.
Нам как глыба на грудь
Море жмет многотонно...
Только ты не забудь
Вызывать поименно.
Помня нас, не казись —
Нет вины за тобою
В том, что выиграл жизнь
И вернулся из боя.
Слышно мне одному
Да ночной электричке —
Не узнать никому
О моей переключке.

Кольский залив

Сутками не гаснущий
фонарик —
Тусклым, остывающим пятном

Кружит солнце, как на нитке
шарик,
Задевая горы рыжим дном.

Трогает холодными лучами
 Пар седой над Кольскою губой,
 Где кипят в огромном синем
 чане
 Корабли озябшею гурьбой.
 На носу ледовая бородка
 В белом саване тумана-молока,
 Чудо-юдо, всплывшая подлодка,

Разминает плечи и бока.
 Стены скал в разлуке изнывали,
 Споря зло с разлучницей волной,
 А теперь, ликуя, узнавали
 Силуэт скиталицы стальной.
 И пролет промерзшего причала,
 Благодарный выпавшей судьбе,
 Гладил борт уставшего металла,
 Притянув швартовыми к себе.

Беспощадные сны

Вот тридцать лет все по ночам такое:
 Пальба, и кровь, и трассы над водой,
 Все те же сны, и нет мне в них покоя,
 Гремит война багровою страдой.
 Жестока память — ей-то что за дело,
 Что снова я увижу в сотый раз,
 Как сердце друга пулею задело,
 Как Керчь пылала, грохотал Кавказ,
 Как меркнет небосвод, когда разбудишь мину,
 Как море от разрывов стонет и кипит,
 Как палуба в огне спускается в пучину,
 И плавится металл, и горизонт коптит...

ВЯЧЕСЛАВ ТАТАРЕНКО

На Волге

Я прихожу к тебе, родная,
 К высоким тихим берегам,
 Где мы, в боях друзей теряя,
 Тебя не отдали врагам.
 И вспоминаю все сначала:
 Чуть накренившийся паром,
 Разрыв снарядов у причала,
 Блиндаж под яростным огнем.

Мне не забыть, как в час закатный
 Горящий катер проходил.
 Из рубки, пламенем объятый,
 Последним вышел командир.
 Иду в огне воспоминаний:
 Раскаты, зарева войны...
 И сердцем слышу рокот дальний —
 Тревожный волжский плеск волны.

* * *

В былое уходят года,
 Тревожные будни солдата.
 Но память хранит города,
 Что мы защищали когда-то.

И если зайдет разговор
 О Волге, где насмерть стояли,
 Я снова увижу в упор
 Руины, что прежде стреляли.

АНАТОЛИЙ ПРОКУДИН

* * *

В часы тревог, в часы затишья,
 Покуда был я на войне,
 Неунываемость мальчишья
 Нигде не изменяла мне.
 Быть может, кой-кому казалось,
 Что я характером такой.
 Но просто нам не полагалось
 Дружить с уныньем и тоской.
 От настроенья все зависит,
 Я это твердо понимал.
 А если командир вдруг скиснет,
 Считаю — и взвод его пропал.

От горя впору бы заплакать,
 Но я комвзвода, мне нельзя.
 А вдруг да новая атака?
 И потому шучу: «Друзья!
 Ну что вы, черти, приуныли?
 Родились раз — и раз умрем.
 Иль песни напрочь позабыли?
 А ну давайте-ка споем!»
 Через минуту иль другую
 Мне вторит взвод мой огневой.
 Вошел он в форму боевую,
 И нам не страшен бой любой!

ВИКТОР ФЕДОТОВ**В кабине бомбардировщика***Б. А. Константинову.*

Мы сидим в кабине бомбера,
говорим, а как будто летим,
доберемся до места не скоро.
Под крылом Оленёк иль Витим?
Это нам все равно. Нас другое
беспокоит, тревожит, влечет,
позабыли и время, в какое
без полета свершаем полет.
Говорим о судьбе пилотажной,
о нелегкой военной судьбе,
о дороге воздушной протяжной
и почти ничего — о себе.
Мы из разных сошлись

поколений,
десять лет между нами. Война.
Суть уставов и суть наставлений
ведь все та же. Такая ж. Одна.

Никому не позволим обидеть
эти дали отцовской земли.
Доблесть, мужество, честь
на орбите,
как космические корабли.
А поля, а леса — неоглядны!
Под крылом — города, города
и домов белопенные гряды...
Тем душа и жива и горда.
Тесновата кабина бомбера,
а сидят в ней не час и не два —
после взлета садятся не скоро
и взлетают, причалив едва.
Нелегко авиаторов дело,
но другого не надобно им,
вот и солнце давно уже село,
а мы все говорим как летим.

ГЕНРИХ РУДЯКОВ**Память о войне**

Пройдет ли память о войне,
Иль, воплотившись
в монументах,
В стихах, романах, кинолентах,
Она останется в стране?
Пройдет ли память о войне?..
А может, это и неплохо:
Иная, собственно, эпоха
И о своем печется дне.

О эта память о войне:
Жару сменяли бы прохлады,
В полях звенели бы цикады,
Дитя б смеялось в тишине,
А на лужайке у излуки
Она и он сплетали руки.
Все это, как сдается мне,
И будет память о войне.

ВЛАДИМИР МАТВЕЕВ**Горение***Памяти Леонида Климченко.*

Нам, флотским, суетиться не пристало,
Мы чувства прячем глубоко в груди
И рассуждаем: сделано так мало.
Но ведь у нас вся служба впереди!
И верим в то, что сроки жизни долги,
Что наберем еще во всем размах,
Первостатейно думая о долге,
А уж потом, конечно, о стихах.
С врагом борясь, отстаивая друга,
Испепеляем страстные сердца
И нить судьбы, натянутую туго,
Мы размотать стремимся до конца.
На твердой суше, иль в морском походе,
Иль где-то в небе рвется эта нить...
Порой из жизни рано мы уходим!
Дано ли дольше нашим строчкам жить?..

НИКОЛАЙ ЕВДОКИМОВ

★

ПРОИСШЕСТВИЕ ИЗ ЖИЗНИ ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА МАХОНИНА

Повесть

Кто знал, что к пятидесяти годам мне вдруг потребуется метрическая выписка из архива того городка, где я родился. Письменные запросы оставались без ответа, и в один прекрасный день я решил, что должен, видимо, сам ехать туда. Решение это привело меня в волнение и даже в какой-то внутренний восторг: я ведь никогда не был там, где родился. Я долго жил себе и жил, и не появлялось у меня желания побывать у истоков своей жизни, в маленьком городке, где родители мои провели всего несколько дней проездом и потом больше не были ни разу, словно и заехали-то туда только затем, чтобы произвести меня на белый свет. Я знал, что этот городок, ставший случайно местом моего рождения, находится в Заволжье, что лежит он вдали от больших городов, в стороне от дорог, что туда даже поезда не ходят, — и больше ничего не знал. Решение ехать привело меня в волнение потому, наверное, что чем ближе к старости, тем острее дыхание вечной пустоты, тем, видимо, все эгоистичнее желание познать подробности своей жизни, единственной, неповторимой, связать воедино все ее нити. Бесконечно долго я прожил в Москве, не чувствуя никакой зависимости от неизвестного городка, и если бы не бюрократические формальности, то, возможно, так и завершил бы свой жизненный путь, не вспомнив, что в Заволжье есть родной мне клочок земли.

Каждый день моей московской жизни в течение многих лет был похож один на другой.

Рано утром меня поднимал с постели будильник. Жена бежала будить внука, который жил не с матерью, врачом какой-то поликлиники, милой нашей дочерью, выставившей за дверь своего муженька, как только родился Платон, а с нами, с бабушкой и дедушкой. Внук наш Платон, тонзиллитный городской акселерант, в свои пять с половиной лет прошел уже, по моим наблюдениям, огонь и медные трубы: обо всем имел свое суждение, совался во все дыры и болтал без умолку. Бабушка готовила завтрак, а он досыпал последние полчаса, рискуя опоздать в детский сад, я же крутился, вертелся, завязывался узлом в утренней гимнастике по системе йогов, завершая все это стойкой на голове.

Я стоял на голове, смотрел на перевернутый мир, ощущая легкость и ясность мыслей необыкновенные. В перевернутом мире и мысли были как бы перевернутые, я делал в эти минуты научные открытия, равные, быть может, эйнштейновской теории относительности: готовил зажигательные, проникновенные речи для школьного педсовета

или для заседания роно, сочинял педагогические трактаты столь смелые и оригинальные, что они могли бы произвести переворот в стоявшей рутинной школьной практике, если бы... Если бы, встав на ноги, придя в нормальное, естественное состояние двуногого существа, я тут же не забывал бы и свои научные открытия и педагогические трактаты. Не до этого мне было: успеть бы на работу, не опоздать бы. На ходу я жевал бутерброд, проглатывал яичницу, обжигался чаем, выталкивал за дверь Платона, смотрел в окно, как Платон, перебегая двор, входил в детский сад. Из-за этого удобства — детский сад под носом, тут же в доме — и был мальчик нам подкинут матерью.

Вытолкнув Платона, я кричал жене: «Пора, Алла Дмитриевна!» — она одной рукой подкрашивала губы, другой складывала в портфельчик служебные бумаги, которые приносила с работы домой, надеясь посмотреть без казенной суеты, но так и не успевала никогда просмотреть, и мы почти выбегали на улицу. Скорее, быстрее, в метро!

Жена бежала легко, как девочка, увлекая меня за собой. Бежала она не только оттого, что боялась опоздать или уже опаздывала, нет, она потому бежала, что любила движение; ждать не в ее натуре, она все делала быстро, перемещаясь мгновенно в любом пространстве — на улице или дома. Даже удивительно, как Наталья, наша дочь, мать Платона, не заразилась ее энергией, — Наташа медлительна, томна, сосредоточена на самой себе, ей постоянно некогда, более занятого человека, чем моя дочь, я никогда не встречал. А у Аллы Дмитриевны всегда на все есть время — в магазин сходить, обед приготовить, квартиру убрать, белье постирать, связать что-нибудь, а когда Наташа ходила в школу, еще и рассказать ей содержание «Комсомольской правды», чтобы девочка была в курсе всех внутренних и международных событий. Жена моя никогда не болела, никогда ни на что не жаловалась, она довольна всем и всегда. У нее легкий характер, я за нею как за каменной стеной. Впрочем, разве не было в нашей жизни ссор, недомолвок, обид? Были. Но это она, не я, умела гасить все обиды, все ссоры и недоразумения.

Учреждение, где в канцелярии работала Алла Дмитриевна, находилось недалеко, четыре троллейбусных остановки от станции метро «Проспект Мира», тут мы прощались и отсюда дальнейший путь я совершал один.

Школа, в которой я директорствовал, помещалась в новом районе. Еще недавно там была деревня и москвичи снимали дачи, я тоже снимал здесь комнату и террасу, когда дочь была маленькой. Добираться сюда было просто — три остановки на электричке и потом десять минут пешком через поле. Совсем недавно здесь над ручьем пели соловьи, в поле среди желтой пшеницы голубели васильки, на дальних и ближних полях наливалась земляника, в лесу можно было ведрами собирать грибы. Все лето Алла Дмитриевна солила, мариновала, сушила лесные дары впрок, на зиму.

Возможно, на том месте, где нынче стоит школа, и была та самая рошица над ручьем, куда собирались по вечерам сентиментальные дачники слушать соловьиные концерты. Не так давно это было, но время стремительно, и вот ныне здесь шумный, многолюдный, уже устоявшийся, уже обжитой район Москвы. Впрочем, для меня, коренного москвича, эта Москва не была Москвой. Москва настоящая была в центре. С каждым годом я все меньше и меньше узнавал родной город, который растекался, занимая новые и новые земли. В детстве я хорошо знал его улицы и переулки, а теперь могу легко заблудиться в окрестностях своего же дома. Москва — город приезжих, и коренной ее житель часто чувствует себя здесь уже не хозяином, а путником, заезжим невесть откуда чужаком. Как из знаменитой матрешки можно вынимать бесчисленное количество ее двойников одну за другой, все уменьшающихся в размерах, так и в Москве живет множество городов: Москва моего детства, Москва моей юности, студенческая Москва,

послевоенный город, Москва кладбищ, где покоятся мои родители, и Москва нынешняя, потерявшая старый облик, дымный, чадный, перенаселенный город с домами-близнецами, все более и более отчуждаемый от меня.

Четыре года назад мы переехали в кооперативную трехкомнатную квартиру возле станции метро «Проспект Мира». Ныне это respectable уголок Москвы, а еще недавно наш шестнадцатизэтажный дом стоял в Ботаническом переулке, словно пришлый чужак среди старых деревянных клоповников, набитых людьми; как ульи пчелами. Центром всего была баня, которая пускала пар из всех своих пор, дымилась и дрожала, как старый чайник. В многочисленных переулках, окружавших ее, названных лет сто назад по фамилиям владельцев домов Протопоповским, Астраханцевским, жители знали друг друга, как в деревне, собирались вечером в садиках, веселились под гармошку, судачили, пили водку до изнеможения, сражались в домино, в драках выясняли отношения. Астраханцевский переулок постепенно стал называться по имени славного города Астрахани — Астраханским, а Протопоповский борцами с религией переименован в Безбожный.

К нашему шестнадцатизэтажному присоединился еще один дом, потом еще, стремительно вытесняя старую ветошь. Люди получали новые квартиры в новых домах и разъезжались по разным уголкам Москвы, но кому-то, наверно, не терпелось покинуть тесное жилье, кто-то спешил скорее, скорее обосноваться в просторных квартирах и, торопя события, а в первую очередь, видимо, тех, кто решал их судьбу в районных учреждениях, устраивал пожары. Почти каждую неделю вокруг нашего дома полыхали деревянные строения, и отважные пожарники самоотверженно боролись с огнем. Глядеть на эти пожары сбегались со всей округи, — запах пожараищ неустрабимо висел над нашим районом. Сейчас бывшая московская тьмутаракань считается престижным районом, здесь выросло несколько посольств, возле которых дежурят тихие милиционеры, у подъездов кирпичных башен толпятся легковые автомобили, споря между собой знатностью номерных знаков, а там, где еще совсем недавно шаталась по двору безголовая Варька, пропившая молодость, красоту и стыдливость, теперь степенно выгуливают высокопородных собак высокопородные дамы.

И хотя вокруг домов здесь посадили деревья, разбили скверы, все же воздух тут сперт, душен. Поэтому-то утром, выйдя из метро, я не сажусь в автобус, а иду к школе пешком, дыша утренней свежестью бывшей деревни. И вечером мне волей-неволей приходится совершать такую же прогулку к станции метро, потому что я не люблю толкаться в переполненных после рабочего дня автобусах.

В юности я никогда не думал, что буду учителем, даже, наоборот, считал, что ни за что не буду, но окончил после войны Московский университет, поступил временно в школу, и вот это «временно» тянется уже не один десяток лет.

Кто только не учился в тех школах, где я работал. Отличники, лентяи, зубрилы, тупицы, всезнайки, истинные таланты, с годами превращавшиеся почему-то в бездарностей, и бездарности, которых ныне чтят как подлинных таланты, выскочки учились, хулиганы, трусливые озорники, наглецы, подхалимы, разоблачители, которым быстро обрезали крылышки, скромняги, ханжи, неумехи, умельцы «золотые руки», курильщики, выпивохи — целое скопище порока и добра, честности и лжи. Проходили годы, и из всех из них вырастали добропорядочные мужчины и женщины, отцы и матери семейств. Время мелькало мгновенно, мне казалось, что они еще только вчера окончили школу, ибо школа еще помнила то опустошение, которое оставили в ее стенах самые выдающиеся из них, как они уже приводили к нам свои уменьшенные копии, лицом, повадками, статью похожие, как две капли воды, на родителей.

С годами я все больше и больше уставал от дневного верчения, от

долгой говорильни по телефону, на собраниях, совещаниях, всевозможных нужных и ненужных заседаниях, где на дню порою по несколько раз приходилось слушать одно и то же и самому говорить то, что думаю, и то, что не думаю, но что нужно сказать. К вечеру голова моя гудела, как пустой чугунный котелок. Добравшись до дому, я закрывался в маленьком своем кабинете, который любовно и уютно обставила и украсила Алла Дмитриевна, и лежал полчаса или час, отдыхая, сбрасывая с себя дневную шелуху. Я весь звенел пустыми словами, которые выговорил сегодня или которые еще не успел произнести, они отлетали, как чешуя от рыбы, до завтрашнего утра. А утром я снова приспособливался к ним и вертелся до следующего вечера в их тяжелом звоне...

Жизнь — это цепь случайностей, и, однако, нет ничего логичнее, закономернее этих бесконечных случайностей: случайно я встретил в свое время Аллу Дмитриевну, но не случайно прожил с нею уже более тридцати лет, случайно начал учительствовать, но не случайно трубку в школе до сих пор. Сколько было таких случайностей, от которых потом зависело течение моей жизни. Ничего случайного нет, все закономерно — то, что должно свершиться, то все равно свершится. Человеку надо когда-то подводить итоги, и потому-то я, очевидно, так волновался, подъезжая к городу, где родился. Конечно, человек случайно рождается в том или ином месте, но все же, наверно, есть некая зависимость между самим человеком и местом его рождения.

С первого же дня меня обволокла знойная, пыльная тишина этого тихого городка, провинциальная, давняя, древняя нетронутость быта, однообразная размеренность жизненного уклада, медленный, совсем не современный ритм жизни. Я отдыхал здесь, мне хорошо тут было, хотя почти сразу же поселилась во мне непонятная тревога, ощущение беспокойства. Это странное чувство засасывало меня. Будто я забыл тут что-то, забыл навсегда, но что?

Все в этом городе было на виду — горести людские и радости. Все были знакомы друг с другом, старомодно, совсем не современно кланялись при встрече, здоровались так доброжелательно и с такой готовностью услужить, что случайному человеку могло бы и показаться, будто во всем этом есть игра, театральность есть, неискренность. Жизнь была на виду — канцелярскими кнопками (или просто клеєм) на заборах или на стволах старых деревьев были прикреплены белые листки бумаги с горестными или радостными извещениями: «Нина Пулюйко и Ваня Андреев приглашают друзей и знакомых на бракосочетание, которое состоится 8 числа...», «Просим прийти к нам во вторник и помянуть дорогую мамочку всех, кто ее знал и любил, — исполнилось сорок дней со дня ее смерти. Муж и дети Степановы», «Катя Курдюмова родила мальчика 3 кг 200 г. Приходите 12-го на крестины. Ура!»

Гостиницы в городе не было, то есть был деревянный дом с большой вывеской, но дом этот всегда стоял на замке, никто в нем не жил; жила в конуре на длинной цепи устрашающего вида лохматая добрая дворняга. Она лениво гавкала на редких прохожих и тут же, извиняясь, виляла хвостом. Кто за ней смотрел, кормил ее, я не мог понять, потому что за забором во дворе никогда не видел ни одного человека. Таинственный дом, таинственная собака.

Да и город странный. Хозяйка дома, в котором я поселился, оставила меня одного и уехала в Белоруссию, в какое-то далекое село, где похоронен ее сын, погибший в войну. Дом был просторен и пуст. Ночами я просыпался от непонятных звуков, наполнявших безлюдный дом, — кто-то словно охал тихо и горько, кто-то словно вздыхал, а потом ходил по комнатам осторожной походкой, скрипя досками в полу. Доски скрипели протяжно, жалобно, будто тоже вздыхали. Казалось, что и двери поскрипывают, словно болтаются на петлях. Это были не жуткие звуки, не страшные, я привык к ним, но объяснения им не на-

ходил. Днем их не было, днем двери не дребезжали, пол не скрипел, в доме стояла первозданная тишина.

А ночью, проснувшись от буйной жизни звуков, населивших весь дом, все его пространство, я выходил на крыльцо, смотрел в лунное небо, не понимая, реален ли тот мир, в котором я нахожусь... Мне не хотелось двигаться, но в полусне, окутанный теплым дремотным воздухом, я шел куда-то по улице и выходил к каким-то домам, на какие-то площади, скверы, которых днем не мог найти. Но мне казалось, что я знаю, помню эти площади, эти скверы и улицы, словно был я тут уже когда-то, хотя знал, что не был никогда. Может быть, это жили во мне воспоминания и я действительно уже был здесь когда-то давно, когда носила меня в своем хрупком теле мать? Нет, я почти убежден, что их не было на самом деле, тех улиц и площадей, по которым я бродил ночью. Или были именно они, а не было того, другого, дневного города?

Однажды (я уж не знаю, в каком это было городе, в дневном или в ночном, где будто тревожили меня воспоминания о былом, которого я не пережил — или переживал?) я увидел на стволе дерева бумажку и прочитал скорбное извещение о своей собственной смерти. Нет, я не удивился, не испугался, я только подумал: как же так, почему я умер, если двигаюсь, хожу, дышу, читаю эту белую бумажку? Ерунда какая-то, я жив, это сон — вся эта ерунда, эта чепуха снится мне. И в то же время я знал, что это не чепуха, не сон, что передо мной на стволе липы, на черной, корявой ее коре приколото канцелярскими кнопками извещение о моей собственной смерти: «Родные и близкие извещают о скоростижной кончине Владимира Васильевича Махонина. Прощание с покойным в доме № 27 на Инженерной улице». Извещение было не новое, уже выгоревшее на солнце. Значит, я умер давно?

Да нет, все-таки это какая-то ерунда, зловещее какое-то совпадение — не один же я Владимир Васильевич Махонин? Как у всякого человека, так и у меня предостаточно тезок и однофамильцев. Но в то же время это извещение о моей смерти, и, допуская это, я не столько испытывал скорбь или сожаление, сколько почти радостное удовлетворение от сознания, что умер легко, без страданий, в один миг, внезапно, хорошей смертью хорошего человека, праведника, как считалось когда-то, в прежние давние времена. Так умер и мой отец.

Инженерную улицу я нашел сразу, хотя никогда тут не был, она была узкая, заросшая зеленью, тут не было песка, как на других улицах, под ногами стелилась невытоптанная молодая трава. За покосившимися ветхими заборами спали старые, коричневые от времени дома. В стеклах окон отражалась холодная луна, задымившая все пространство от звездного неба до спящей земли. Я увидел дом № 27 и мгновенно узнал его, хотя никогда прежде не был здесь. А может, и был? Но когда? Это был самый большой на этой улице дом, с большой верандой, увитой плющом, на веранде на круглом столе стоял самовар, качалось кресло-качалка, будто кто-то только что встал с него. Дом, как и другие дома, был окутан лунным дымом, только в одном окне мерцал неяркий, колеблющийся, словно от свечи, свет.

Я открыл калитку и услышал, что дом полон звуков. Женский голос будто простонал, будто вскрикнул, другой — ровный, мягкий — будто успокаивал кого-то, возможно ту женщину, которая стонала, кто-то будто пробежал по скрипучим половицам, что-то встревоженно сказал мужчина, вдруг вскрикнул ребенок — и сразу стало тихо. И я вошел в сад, прошел по дорожке к крыльцу мимо цветочной клумбы — прекрасные розы росли на ней — и поднялся на веранду. Кресло-качалка все еще двигалось туда-сюда, я остановил его и вспомнил это кресло — я видел его когда-то, хотя знал, что никогда не видел.

В доме была тишина. Мертвая тишина. Я прошел одну комнату, другую, они были пусты, безлюдны, в них пахло пылью от старой, вет-

хой мебели. В лунной полутьме я ходил из комнаты в комнату, ища ту, окно которой было освещено, но не находил. Наконец увидел в конце длинного коридора узкую полоску света из-под двери, и пошел туда, и распахнул эту дверь...

Чертовщина какая-то: я стоял на другой улице. Уже солнышко всходило, роса серебрилась на цветах и траве, собака выползла из конуры, потянулась со сна, зевнула со стоном, вильнула хвостом и опять залезла в конуру. Я был жив. Значит, все мне померещилось, приснилось? Конечно, легче всего, удобнее всего убедить себя в том, что ночное происшествие — это сон, однако я знал, что не сон это, а самая реальная реальность.

Днем я пошел искать Инженерную улицу. Я нашел ее не сразу, но нашел, прохожие посылали меня то в одну сторону, то в другую, они сами путались, одни говорили, что Инженерной улица называлась раньше, а теперь зовется Советской, другие уверяли, что Советская не имеет никакого отношения к Инженерной. И вправду Советская улица была такой же, как Инженерная ночью, — ветхие коричневые деревянные дома, невытопанная трава под ногами, безлюдность, тишина. Все как ночью. Не было только дома № 27 — ни забора, ни калитки, ни сада, ни клумбы с большими прекрасными розами. Стоял запертый деревянный павильон «Вино — пиво», лежали пустые бочки, от которых пахло кисло, тошнотворно, над ними роились мухи.

Я уже ничему не удивлялся. И когда теперь, в дневном городе, увидел на стволе дерева выгоревший от солнца листок бумаги, извещавший, что дочь Аристарха Анкундиновича Безденежных приглашает всех, кто знал ее отца, прибыть по такому-то адресу на его похороны, я ни секунды не сомневался, что этот Аристарх Анкундинович не кто иной, как тот самый Безденежных, бывший младший лейтенант, с которым мы оба были ранены одной и той же миной в ночном бою в сорок четвертом году. Истекая кровью, теряя сознание, мы много часов ползли к какому-то хутору, таща попеременно друг друга по вязкой, раскисшей от дождей земле.

Никогда до этого и никогда потом мы не встречались. Все наше знакомство — эта страшная ночь. Мы барахтались в липкой глине в кромешной тьме, плача от боли и отчаяния, крича друг другу свои имена и свои адреса, чтобы тот, кто останется живым, написал бы родным, как погиб их сын. Ту ночь, того младшего лейтенанта невозможно забыть, мы стали с ним как бы родственниками: ведь и в его и в моем теле шевелились, жили осколки одного и того же снаряда.

Дом Аристарха Анкундиновича Безденежных мне не пришлось искать, я стоял возле него. Эта была не старая еще изба с кружевными наличниками. Я прошел через сад и вошел в дом. В комнате, где окна были занавешены, под потолком висела на коротком шнуре лампочка. Она горела слабым, тусклым огнем, прикрытая черной тканью. В гробу посредине комнаты на столе лежал человек с усталым лицом, отличающим синевою.

Сколько за свою жизнь я перевидал покойников — родных мне или знакомых, приятных и неприятных людей, — и всегда, или почти всегда, их мертвые, застывшие в покое лица хранили одну и ту же величественную отрешенность. Они были мертвые покойники, а этот умерший человек лежал с лицом усталым, сохранившим навечно выражение беспокойства. Не страдания, нет, а именно беспокойства. Именно так подумал я, увидев его, хотя ныне, вспоминая, не могу сказать, в чем же, как выражалось это беспокойство, свойственное ведь только живому, подвижному лицу.

Одет он был в солдатскую вытертую шинель, в кирзовые сапоги, голову прикрывала застарелая пилотка с красной звездой.

У изголовья его сидела девушка, никого больше не было в комнате, только эта девушка, которая с напряженной настороженностью смотрела на меня; я слабо улыбнулся ей, она не ответила, опустила голову.

Я постоял у гроба усталого мертвеца в солдатском обмундировании и вышел во двор, где кипела живая жизнь: мухи летали, бабочка-крапивница покружилась над моей головой, пчела села на синий картофельный цветок, в соседнем дворе квохтала курица, где-то лениво тьякала собачонка звонким, молодым голоском.

Я в одиночестве топтался во дворе и думал о том, зачем, собственно, пришел сюда. Аристарха Безденежных я не знал живым, у него своя судьба, у меня своя, и та давняя фронтовая ночь — только маленький эпизод в цепи множества и горестных и радостных событий, в бесконечной череде душевных находок и потерь, исполнившихся и несбывшихся надежд, которые называются жизнью. Встреча с прошлым — я это хорошо теперь знаю — опасна и горька потому, что в любом воспоминании как бы живет упрек тебе нынешнему, не сумевшему оправдать тех молодых устремлений, которыми тешил когда-то свое честолюбие. Встреча с прошлым чаще всего забвение истины, потому что в каждом воспоминании, даже самом горьком, есть и оправдание. Впрочем, тогда, стоя на крыльце дома, где лежал мертвый Аристарх Безденежных, я еще не боялся своих воспоминаний: между мною и моим прошлым не было ни противоречий, ни недомолвок.

Из дома вышла девушка, спросила устало, смотря на меня воспаленными от непролитых слез, сухими глазами:

— Извините, вы давно знаете папу, да?

У нее было детское, незащищенное лицо простодушного человека. Заурядное, невидное, скорее даже некрасивое лицо, хотя была в нем своя приятность, как во всяком молодом лице. Черты его были неровны, резки. Высокий лоб, глубоко посаженные глаза, тонкий рот с тонкими губами. Лягушонок. Другого прозвища и не дашь. Однако некрасивость лица смягчало, делало живым, даже привлекательным выражение незащищенности, простодушия.

— С вашим отцом я был на фронте, — сказал я. — Нас ранило одной миной.

Лицо ее дрогнуло на мгновение, испуг или удивление промелькнули в глазах.

— Вы ошиблись, папа не был на фронте, — сказала она упавшим голосом и ушла в дом.

С соседнего двора через дыру в заборе пролезла тучная женщина, оглядела меня, спросила шепотом: «Ира там?» — и исчезла в проеме двери, в полутьме комнаты, где лежал мертвый солдат, никогда не бывший на фронте.

Странный этот город шутил надо мною свои странные шутки. Что происходит со мною здесь? Я вдруг вспомнил, что моего фронтового Безденежных звали не Аристарх Анкундинович, а, наоборот, Анкундин Аристархович, и понял, что давным-давно забыл подробности той страшной ночи, как забыл множество других подробностей своей жизни. Что делается здесь с моей памятью? Я забываю то, что должен помнить, и вспоминаю то, чего, очевидно, и не было никогда на самом деле. Был или не был тот дом № 27 на Инженерной — Советской улице или он приснился мне в беспокойном сне?

Мне нечего было делать в случайном доме возле незнакомого мертвого человека, я хотел уйти, но не ушел, а вернулся к умершему. Зачем? И сам не знал. Но уйти не мог.

Его беспокойное в своем вечном небытии лицо, тяжелые сапоги, вытертая от долгого ношения шинель, застиранная пилотка — весь его облик был и величествен и нелеп. Дочь Аристарха Безденежных подняла глаза и все время, пока я смотрел на мертвого, смотрела на меня. Я не то чтобы видел, я ощущал ее напряженный, настороженный взгляд. Я поднял глаза, посмотрел в ее сторону, она опустила голову.

К калитке подъехала подвода. Тяжелая рыжая лошадь отмахивалась хвостом от мух, старик возчик, сосредоточенный хмурый

горбун ростом с десятилетнего мальчика, перекрестился, подошел к крыльцу и заплакал:

— Стиша, дорогой, ой, Стиша, чего учудил-то!

Нужно было выносить гроб, а выносить было некому. Толстуха соседка сбегала куда-то, привела четверых парней. Гроб застрял в узких дверях, пришлось приподнимать, повернув набок, мертвый едва не вывалился, пилотка упала с его головы, обнажив лысый холодный череп. И сразу весь облик покойного преобразился, жалким стало лицо, маленькая матовая головка выглядела словно чужой, приклеенной к кажущимся в шинели широким плечам.

Наконец гроб поставили на телегу, горбун, плача, дернул вожжи, лошадь тронулась и печально двинулась к кладбищу. Почему-то гроб не прикрыли крышкой, она лежала рядом. Телега покачивалась на неровностях дороги, и покойник переваливался с боку на бок, пилотка то и дело сползала с его головы, толстый, круглый человек с пухлым портфелем, с широкой орденской колодкой на затертом пиджаке то и дело поправлял ее, что-то шепча бледными губами.

Было жарко, сухо, мухи роились над лошадей, над лицом мертвеца. Лошадь обмахивалась хвостом, задевая гроб, сметая с него свежие цветы, которые дочь Аристарха Безденежных сорвала у себя в саду с клумбы перед крыльцом. Я вспотел, устал, хотелось пить. Прохожие останавливались, провожая нас глазами, и шли дальше. «Странный похоронный, — думал я, — в последний путь почти никто не провожает покойника, облаченного в солдатские одежды». Я шел, но зачем шел и почему шел — не понимал. Кто он был? Как прожил свою жизнь?

На кладбище два разбитных могильщика заколотили крышку гроба, спустили в свежую могилу и, когда забросали землей, потирая руки, словно от холода или предвкушения выпивки, обратились почему-то ко мне:

— Надо бы помянуть покойного, хозяин?

— Да, да, — сказал я, смутившись, торопливо полез в карман за деньгами.

— Нет, нет, — почти вскрикнула дочь Аристарха Безденежных, — я сама... нет!..

Но я уже дал им десять рублей.

— Зачем же? — сказала она и тоже сунула им смятую бумажку.

Существовала какая-то связь между мною и умершим, я ничего не знал о нем, а уже участвовал в его посмертной судьбе, его не было на земле, но он как бы заставлял меня подчиняться его воле — идти через весь душный город за гробом, печалиться о его смерти, жалеть его дочь и скорбеть о своей собственной жизни, о неизбежном конце, который может случиться в любую минуту.

А что после смерти? Отбегают ножи, отмахаются ручки, не смотрят глаза на земную суетливую прелесть, отстучит сердечко, наступит бесчувственное одиночество, называемое вечным покоем. А зачем ты жил и как ты жил, правильно ли, хорошо ли? Всяк самооправдывается в собственных поступках, всяк живет в ореоле легенды, сочиненной о себе самом, а если осудит себя, то заранее знает, что амнистирует, простит свои прегрешения...

Какую жизнь я прожил, не знаю, но, стоя над могильным холмиком незнакомого мне человека, смотря, как его дочь с сухими, воспаленными от внутренних слез глазами выравнивает землю, сажает в изголовье кустик жасмина, я думал, что и мое земное путешествие приходит к своему концу, что мне не хочется уходить, но ведь придется когда-то и я могу уйти спокойно, не упрекая себя.

От лошади резко пахло потом. Этот запах пробудил во мне странное впечатление детства, когда я, трехлетний или четырехлетний городской мальчик, где-то в подмосковном лесу увидел всадника. Было так, словно я смотрел на него откуда-то с высокой высоты и знал,

что всадник — это я, но не мальчик, а взрослый, сильный мужчина. Я будто бы вспомнил тогда, что давным-давно уже жил на земле и скакал когда-то на взмыленном коне, пахнущем потом. Я крикнул тогда отцу, который держал меня за руку, вместе со мною смотря на скачущего всадника. «Когда я был большим, — крикнул я, — я тоже ездил на лошади!» Отец засмеялся, я помню, как он засмеялся, обидев меня своим недоверием: «Дурачок, ты еще не скоро будешь большим». «А я уже был», — ответил я, сердясь на отца за его непонимание, твердо веря, чувствуя, помня, что в самом деле уже был большим и скакал на коне.

Сейчас, вдыхая потный дух лошади, я не только вспомнил то детское ощущение бывшей-небывшей своей жизни, но снова внезапно ясно увидел себя на взмыленном коне, пахнущем всеми запахами, свойственными усталому животному, и понял, что когда-то, «когда я был большим», я скакал на быстроногом коне... Ах, боже мой, ерунда какая-то, никогда я не верил и не верю в сказки о иной — первой — жизни, и, однако, воспоминание о бешеной скачке на пахнущем потом коне было для меня как одно из самых реальных воспоминаний, хотя я никогда даже не сидел на лошади. А может, это потому, что в том далеком детстве я долго и безнадежно выклянчивал у родителей купить мне игрушечного коня-качалку, который стоял на витрине детского магазина? Или это комплекс неисполненного мечтания говорил во мне? Кто знает, может, и так...

...Я не знал, что мне делать — уйти или стоять возле могилы, чтобы проводить обратно дочь Аристарха Безденежных. Она склонилась над отцовской могилкой, обглаживая сырой холмик, почти упала на него, плечи ее вздрагивали, и я ушел, чтобы не мешать ее горю.

Недалеке на новой, еще пахнущей смолой скамеечке сидели две старушки — и у обеих были спокойные, благостные, умиротворенные лица, очевидно привыкшие уже к созерцанию родных могил: они не скорбели здесь, а отдыхали от житейской суеты.

Одна из них, прикрывая глаза от солнца сухой трясущейся рукой, спросила меня:

— Кого хоронили, милоч?

Я сказал.

— Во, Петровна, моя правда, — почти обрадовалась старуха, тыча пальцем в свою подругу. — Споришь, споришь ты против факта. Всегда споришь. А факт налицо. Говорю: «Ристарх-дурачок помер». А ты? «Вчерась видала!» Где видала? В гробу? Отбегался, знать, солдатик. Кто же теперь-то с нашими пьянчужками воевать будет?

— А им чего, им что? — воскликнула другая. — Их стыди не стыди, сердечных, все одно — дай выпить, и дело с концом. Им Ристарх бельмом в глазу был. Как клоун из цирка, смех им от него, а стыда никакого... Сам помер? Или опять изувечили страдальца?

Я пожал плечами: что я знал об этом Ристархе? Ничего я о нем не знал.

Я шел по теплому, веселому от быстрой игры солнечного света кладбищу. Мимо железных оград, за которыми на могильных холмиках цвели цветы, а с них собирали нектар пчелы. По ровным дорожкам, усыпанным песком, гуляли скворцы, дятел где-то стучал, грач сидел на ветке, вертел черной головой, белка сбежала с липы к моим ногам, явно привыкшая к подаянию добрых родственников умерших людей. Тихо было, беспечально, даже ворон не видно, обычных кладбищенских жителей, оглашающих окрестности зловещим карканьем.

Зеленая тропинка, петляя среди старых, мудрых от времени деревьев, вывела меня к воротам кладбища. Я обогнул могилу, обложенную горой уже увядающих венков, и на черном мраморном кресте увидел свое имя: «Владимир Васильевич Махонин». А под фамилией выбитую золотыми буквами эпитафию:

Здесь спит мой друг, моя отрада,
 Почил он сладким вечным сном.
 И за любовь ему награда —
 Могила с каменным крестом.

Бедный мой однофамилец — или я сам? — жил, делал какое-то свое дело, любил, и награда ему за его жизнь — или это мне награда? — каменный надмогильный крест... Почти что осиновый кол... Добрая это эпитафия или злая? Сарказм в ней или беспредельное страдание, не ощущающее в горе второго смысла?

Только минуту назад, когда я шел по светлым дорожкам от раздавленной скорбью, почерневшей лицом дочери Аристарха Безденежных, печаль о незнакомом покойнике и горечь о собственном неизбежном конце оставили меня, а сейчас, возле этой могилы, где было выбито на камне мое имя, меня не то чтобы охватила тоска, нет, не тоска охватила меня, а ощущение одиночества и безысходности.

Ах, елки-палки, как хорошо жить! Просто жить, исполнять свои обязанности, свой долг, свои значительные или малозначительные земные простые дела и не терзаться ненужными стенаниями о смысле прожитой жизни. Право же, может, и были когда-то в юности у меня честолюбивые мечтания об особой миссии моей собственной жизни, но теперь-то я знаю, что все люди в своей массе обыкновенны, одинаковы.

Тот, кто начертал на бортах грузовиков «не уверен — не обгоняй» или на оконных рамах в трамвае «не высовывайся», был не только неплохим юмористом, но и большим мудрецом под стать древнеиндийским философам, утверждавшим, что всякий глупец может стать героем в определенный момент. Этот грузо-трамвайный мудрец, очевидно, и не подозревал, что начертал советы, неукоснительно исполняя которые можно достигнуть многого и, наконец, как это ни парадоксально, далеко высунуться, никогда не высовываясь. В самом деле, попробуй-ка проживи, не оступись, исполняя ежедневные свои дела. Не в этом ли истинное величие? Когда-то и я высовывался... Устал...

У ворот уже стоял горбун со своей лошадью, на телеге сидел тот человек с портфелем, который всю дорогу на кладбище поправлял на покойном пилотку. Они ждали меня. Горбун сказал:

— По русскому обычаю, мил человек, надо помянуть почившего. Поминок в доме не будет, он запретил, он был противником всякого такого, тем более если с выпивкой. А нам нельзя нарушать: веками заведено. Есть ваше согласие?

Согласие мое было.

На той самой телеге, где час назад стоял гроб с мертвым телом, мы поехали обратно к городу. Ехать было неудобно, тряско, но и показать, что мне неловко ехать, почему-то тоже было неудобно. Я терпеливо трясся рядом с толстяком, прижимавшим свой портфель к животу. Что-то булькало, как в полупустой бутылке, то ли в большом его животе булькало, то ли в портфеле.

Мы выехали на пустырь, привязали лошадь к одинокому дереву и тут же под тенью этого дерева расстелили на телеге газету, извлекли из портфеля колбасу, две бутылки водки, стаканы, разлили и выпили в скорбном молчании за упокой ушедшего в дальние миры Аристарха Безденежных.

Потом еще выпили. И еще. И скоро я уже многое знал и о горбуне, которого звали Коля-маленький в отличие от какого-то другого Коли-большого, работающего, как и Коля-маленький, в пригородном совхозе, знал, что юный Аристарх Колю-маленького, сопливого тогда мальчишечку, выволок из горящего дома; узнал я, что давным-давно Аристарх Безденежных увел молодую жену у этого самого толстяка с портфелем, которая года через два скончалась от родов, подарив мужу дочь. Узнал я и то, что Аристарх Безденежных в раннем детстве охромел на правую ногу, из-за чего и не попал на войну, хотя очень стре-

мился попасть. Он всю жизнь считал себя солдатом, ходил с молодых лет в солдатской одежде и даже похоронить себя наказал только так — в шинели, в сапогах. В городе над ним посмеивались, был он не от мира сего, делом своей жизни считал истребление пьянства, подстергал у винных магазинов пьяниц, вразумлял их пылкими речами, получая в ответ хорошую порцию тумачков. Хотел пробить лбом стену — не пробил, не успел...

— Царствие ему небесное, — сказал горбун, обнял лошадиную морду и заплакал. Лошадь покорно стояла, не дергалась, смиренно закрыв глаза. — Из всех лошадей, — говорил горбун, целуя ее в ноздри, — ты самая распрекрасная, безотказная. Как Аристарх, такая же дура. Бескорыстная... Ничего ему не надо было, Стише. Чист он был, как дитя. Святой!

Никогда я не предполагал, что в таком занятии, как распить бутылку на троих где-нибудь в случайном месте на вольном воздухе, есть определенное удовольствие. В том удовольствие, что не было никаких условностей, жизнь приобретала иное звучание, мир преображался, люди становились откровеннее, ласковее, взаимопонятнее. Ничего не было странного, кощунственного в том, что мы пили водку за упокой души борца с пьянством, — все в жизни парадокс, все, как говорится, борьба противоположностей.

— Хороший был человек Аристарх, — сказал человек с портфелем. — Немножко не того...

— Что значит «не того»? — возмутился горбун. — Ты на что намекаешь?

— Не того он был... С приветом, — сказал человек с портфелем.

— Все с приветом, — сердясь, назидательно сказал горбун. — Дураки только без приветов. Стоящие люди — с приветом.

— Ну, это вы уж хватили. Вот я, извиняюсь, без приветов, — проговорил я, чувствуя, что совсем опьянел и тоже несу околесицу, но пьяный дух требовал возражать — все равно чему возражать, лишь бы возражать, и я возражал. — Однако, простите, дураком себя не считаю...

— Если без приветов — дурак, — непоколебимо сказал горбун.

— Кто — я? Я дурак? — почти заорал я, понимая, что разговор уж совсем принял пьяный оборот, но горбун удивился моему крику, воскликнул с искренним недоумением:

— При чем тут ты? Ты — исключение...

— А что такое исключение? — Мне снова хотелось возражать. — Исключение из правил — аномалия. Это... Это ясно? — Что я говорил, я уже не знал, потеряв нить разговора...

— Точно! — согласился горбун. — Философия! Мы понимаем...

— Я очень люблю умственный разговор, — сказал человек с портфелем. — Вот ты, — он ткнул горбуна пальцем в грудь, — ты не без головы, хоть и не нашей нации...

— Сам ты не нашей нации, — возмутился горбун. — Понимаю твой намек! Ежели я с лица черный, так и ты не беленький. Чернота в нашем роду от татарского ига осталась, татары всю кровь перемешали...

— Не нашей ты нации, — упорствовал человек с портфелем, — на что хочешь поспорю. Хоть на пятерку. Идет? Показывай паспорт...

— Сейчас покажу, я тебе сейчас покажу, — входя в азарт, обижено говорил горбун, вытаскивая паспорт. — На, гляди!

— А что мне глядеть? И без паспорта вижу — не нашей ты нации. Ты — русский? А я — мордвин. Мордва — слышал такую нацию? Вот так-то, гоните пятерочку.

Горбун оторопел, хотел было возмутиться, обманули его, но обмана, в общем-то, не было никакого, и, поняв это, он сплюнул, сказал почти с восхищением:

— Ну, молодец! Объегорил!

— Ага, без порока работаю, каждый попадается как штык. Солдатская смекалка еще работает, — не без гордости сказал мордвин.

Мы еще выпили, и тут же выяснилось, что я и мордвин не только бывшие солдаты, но почти родственники, ибо одно время воевали на одном участке Южного фронта.

Хорошо было нам. Дерево прикрывало нас от солнечных лучей, в тени его было прохладно, уютно, значительно. Лошадь разгоняла хвостом мух, горбун размяк и задремал, привалившись к стволу, сидя на земле. А мы с мордвином словно даже отрезвели, вспомнив фронт. Мы говорили о войне, бормотали что-то, перебывая друг друга. Что? Не помню. И сейчас не помню и тогда не помнил. Но в том ли дело, помню я или не помню, если за много лет впервые в тот день излил душу давними фронтовыми радостями и печалью?

Нет, я не был пьян. И он, мой случайный собеседник, не был пьян. Мы снова были юны, отважны, полны самопожертвования. Прекрасная военная пора воскресла в нас, омолодив и очистив. И все же — вот это я помню, — все же, предаваясь воспоминаниям и радуясь им, я чувствовал, как устал в своей жизни от постоянного ощущения прожитой когда-то войны, заполнившей всего меня навечно неистребимым присутствием... Да, я излился в тот день воспоминаниями, был счастлив оттого, что ощутил себя юным солдатом, и в то же время был несчастлив — как я был несчастлив! — пережив ужас прошлого, неся в себе новый страх за будущее, думая о том, хорошо это или плохо, что во мне ничего не осталось от война, бойца...

Уже в сумерках я припелся домой, сунул голову в ведро с водой, еще раз сунул и еще, лег спать, но не мог заснуть. Прислушивался к звукам, которыми наполнилось ночное пространство, — скрипели половицы, которые не скрипели днем, жалобно, печально, будто стонали, вторили им двери, которых никто не открывал.

В самом деле, что же происходит со мною в этом городе? Какая тревога беспокоит? И отчего ночью охватывает ощущение нереальности всего? Я уже не знаю, была ли та, предыдущая ночь и дом № 27 на Инженерной улице. Были или не были сегодняшние похороны солдата, который никогда не был солдатом...

Я оделся и по пустынной дороге, окутанной лунным свечением, пошел на Инженерную, или Советскую, улицу. Все там было как накануне — на стволе дерева висел старый пожелтевший листок бумаги, извещавший о скоропостижной смерти Владимира Васильевича Махонина, моего однофамильца, полного моего тезки. Или, быть может, о моей собственной смерти? И дом № 27 стоял там, где стоял он прошлую ночь.

Свет в окне колыбался, как от свечи, тени двигались за прозрачной занавеской, кто-то будто бегал там, изредка стонала, вскрикивала женщина. Я прошел в сад по мягкой тропинке, мимо роскошных роз. Сегодня кресло-качалка стояло не на веранде, а в саду, на земле. Я сел в него, качнулся и засмеялся — дух захватило у меня, будто качался я на быстрых качелях, и страшно мне было и хорошо.

Вдруг снова простонала, вскрикнула женщина. У меня закружилась голова, мне душно стало, тесно, пространство, в котором я находился, сдвинулось, сжало меня со всех сторон. Я задыхался. Пространство давило и давило на меня, и, уступая ему, я становился все меньше, все слабее. Сил уже не было, и, шатаясь, я побрел в дом. Но я ли шел или кто-то нес меня задыхающегося, не знаю, не помню. Я был беспомощен, я рвался куда-то из душной, мягкой темноты и не мог вырваться... Как долго это продолжалось? И все же я вырвался наконец, пространство, сжимавшее меня, раздвинулось, и, освобожденный, я закричал пронзительным голосом, вдохнув полные легкие живительного воздуха. Потом я лежал, отдыхая. А потом заснул.

Когда проснулся, уже светило солнце, было жарко, надо мной роем вились мухи. Я сидел на земле, прислонясь спиной к палатке «Пиво — воды». Два мужика с синими, склеротическими лицами лениво переговаривались, сидя на пустых вонючих бочках.

— Вань!

— Ну?

— Мы вчера похмелялись? Или третьего дня?

— А что?

— Не припомню. Ежели третьего дня, так это бюллетень кончается, на работу, стало быть, пора чапать. А ежели вчера, я, значит, большой еще значусь, можно гулять. Мы вчера опохмелялись, а, Вань?

— Нет, вчера я не опохмелялся. Вчера я в бане был. Во, точно, в бане, и там тяпнул. А сегодня от вчерашнего опохмелился.

— Выходит, третьего дня мы опохмелялись? Не везет. На работу, стало быть, надо.

Чертовщина какая-то. Я вскочил, почти побежал отсюда. Надо скорее уезжать, как можно скорее в стремительную московскую суету.

Зачем обманывать себя? Там, в Москве, в постоянном движении, в бесконечном круговороте нужных и ненужных дел, в шуме улиц, в телефонных разговорах, только там как бы уходишь от себя и в то же время только там остаешься наедине с самим собой, ощущая, что чего-то стоишь. А без этого ощущения как жить? Человек стоит столько, во сколько он сам себя ценит. В тишине же таких провинциальных, застывших во времени городков, которых — увы! — тоже осталось так мало, в их размеренности, однообразии будней испытываешь уже не одиночество, а бесконечную пустоту времени и пространства, случайность своей жизни...

Я торопился прочь, скорее по дневной солнечной улице, на которой уже не было дома № 27, того, куда я вошел этой ночью, всего несколько часов назад.

Вежливо здороваясь друг с другом, шли туда-сюда по своим делам люди не торопясь, тихо, спокойно, словно впереди у них была длинная, долгая жизнь, — а я-то знал, что они, как бабочки-однодневки, живут до темноты, до ночи, а ночью исчезают, уступая место иной жизни.

Навстречу мне шла дочь Аристарха Безденежных, несла в авоське буханку черного хлеба.

— Здравствуйте, — сказала она.

— Будьте здоровы, — ответил я.

— Хлеб купила, буду волосы мыть.

— Хлебом?

— От хлеба волосы как шелковые. Спасибо вам, — вдруг сказала она растроганным голосом, смотря на меня глазами, в которых было столько света и столько благодарности, что я смутился. — Вы проводите папу, спасибо...

Она шла рядом, повернув ко мне голову и не отводя взгляда, который по-прежнему смущал меня своей восторженностью.

— Знаете, — приостановившись, сказала она, — когда вы пришли, я испугалась, вы так похожи на папу...

Я вспомнил мертвого ее отца, маленькую лысую его голову, длинный нос, на который сползала пилотка, впалые щеки, тонкие губы и пожал плечами: чтобы увидеть хоть какое-то сходство между нами, надо иметь незаурядное воображение.

— У вас папины глаза и папин голос. Я слушаю вас, а будто с ним говорю. Так странно.

Не знаю, был ли я похож на ее отца или нет, но ее лицо бесспорно мне было знакомо, как я этого не замечал раньше, вчера, не понимаю, ибо не заметить этого невозможно. Ее лицо мне знакомо давно — и тонкими губами, и веснушками на широком лбу, и выражением глаз, всеми чертами своими напоминая и в самом деле лягушонка. Да, конечно, она была удивительно похожа на девочку, которую я встретил много лет назад в рыночной толпе голодного Пронска, истерзанного немецкими бомбежками. Или мне просто кажется, что они похожи, эти девочки из разных времен: наверно, для стареющего человека все юные лица похожи.

...Война недавно кончилась, я ехал домой, в Москву, увешанный медалями, с ощущением праздничности и ликования, я гордился самим собой, любовался собой, верил в счастливую свою звезду, был полон надежд. Хмель победы и свободы пьянил меня. Медали звенели на моей груди, пилотка сдвинута на затылок, сапоги начищены до блеска, зеленая гимнастерка застирана до белизны, ремень затянут на узкой талии так, что дышалось с трудом. Бравый вояка, неотразимый пижон, вольная птица!

В Пронске я ждал пересадки в эшелон, идущий в Москву, получил в комендатуре сухой паек, затолкал консервы — две банки американской тушенки — в вещевой мешок, сунул под мышку буханку ржаного хлеба и бродил по городу, не зная, как убить время до поезда.

Так я попал на пронский рынок, до отказа забитый людьми — стариками, старухами, солдатами. Рынок бурлил, шумел, роился, как улей. Торговали главным образом не продуктами, а вещами, домашним добром: рубашками, кофтами, старыми пиджаками, штанами, ботинками, тулупами, солдатскими шинелями, валенками, самодельными детскими игрушками, всякую всячину продавали, но покупатели почти не приценивались ко всему этому скарбу — искали съестное, еду искали, хлеб, мясо, муку, но откуда съестное в голодном городе у голодных людей.

Буханка хлеба у меня под мышкой была еще теплой, от нее исходил сытный, густой запах, который, казалось, заполнил весь рыночный воздух, я шел в толпе, и толпа бурлила вокруг меня, провожая голодными глазами. И тут я заметил, что следом за мной идет и идет девчонка лет восемнадцати, худая, как жердь, платице висит на ней, будто на палке, тонкие губы сжаты так, что их и не видно на бледном изможденном большеротом лице. Глаза ее блестели лихорадочно, злые глаза, с явной злостью, почти ненавистью смотрящие на меня. Во всей ее фигуре, в выражении лица была угроза и решимость осуществить эту угрозу.

— Чего тебе надо? — спросил я. — Чего плетешься за мной?

— Дай хлеб, — зло сказала она.

— Еще ничего не хочешь? — спросил я. — Видала? — И показал ей фигу.

— Дай хлеб! — Она не сказала это, а прошипела с такой ненавистью, что мне не по себе стало: я, увешанный медалями солдат, испугался ее, что ли?

— Ты с приветом, да? Иди знаешь куда! И быстренько. Ну! — почти закричал я и пошел прочь не оглядываясь, чувствуя, как сильно пахнет моя буханка, видя, как горят голодным огнем глаза людей, думая только о том, как бы поскорее выбраться отсюда и спрятать буханку в вещмешок.

Я выбрался наконец с огороженной тесной территории рынка, забежал в пустынный двор ветхого, убогого дома, спугнув грязную злую кошку, которая рылась в отбросах возле помойного ящика. И увидел, что девчонка с ненавидящими глазами идет за мной следом.

— Уйди, — сказал я.

— Дай хлеб! — зло сказала она, смотря на меня так, будто я был ее злейшим врагом. — Я расплачусь!

— Денег не хватит, — сказал я. — Дуй себе!

— У меня и нет денег.

— Чем же ты будешь расплачиваться? — Я засмеялся.

— Дурак, — не сказала, а прошипела она, дрожа от ненависти, повторяя с исступлением: — Расплачусь, расплачусь! Не знаешь, что ли?

И я понял: она готова за эту буханку черного хлеба расплатиться собой... Я прошел всю войну, увидел все, что можно увидеть на войне, — смерть, радость выживания, страх и упоение боем, но одного не узнал: что такое женское тело. Не знал я этого, хотя долгими вечерами в блиндаже, слушая солдатские рассказы о любовных приклю-

чениях, тоже что-то болтал о мнимых своих победах над женским полом. А сам замирал от робости, когда санинструктор Верочка Шестакова оказывала мне знаки внимания, давая понять, что я ей вроде бы нравлюсь. Я очень хотел того же, чего она хотела, но робость была сильнее меня, и я делал вид, что Верочка мне совсем не нравится, хотя она ужасно как нравилась мне. Меня в жар бросало, когда я видел ее, я горел, тело мое звенело... Верочку тяжело ранило под новый, 1945 год, она умерла через день в медсанбате в польской деревне. Я пошел проститься с нею, она лежала в ветхом сараюшке, медсанбатовском морге, рядом с другими умершими от ран, ждущими своего часа погребения. Она лежала голая на белой простыне. Сквозь дырявую крышу падал снег. Я впервые видел нагое женское тело — белое, гладкое, как мраморная скульптура, но даже в мертвом, неподвижном этом теле была целомудренная стыдливость...

Девочка смотрела на меня злыми глазами, а я уже не видел этих глаз, я видел голые ее колени, видел груди, хрупкие бугорки, чуть прикрытые тонким платьем.

— Где? — задыхаясь, почти ослепнув от волнения, спросил я.

— Тут, — сказала она и вошла в подъезд дома, спустилась в подвал — длинное полутемное помещение со склизкими от сырости стенами.

— Ты не больной? — спросила она.

— Кто? Я? Нет. Откуда? — ответил я, веря и не веря в то, что должно свершиться. Но где? Здесь, в этом вонючем подвале, на мокром полу?

Она огляделась, пошуровала по углам, выволокла грязный тюфяк и, глядя на меня все так же зло, спросила:

— Ну?

— Давай, давай, — бормотал я, не двигаясь, дрожа от страха.

...Зачем я это вспоминаю? Зачем? Не надо бы! Ведь есть же у всякого человека какая-то стыдливая тайна, какой-то порок, который не столь стыден и не очень порочен, пока не высказан, пока скрыт в лабиринте души. Не надо бы мне это вспоминать. Но ныне, после всего, что произошло за минувший год, я должен и это вспомнить...

Она сняла из-под платья трусики, легла на тюфяк, прикрыв подолом острые колени.

— Не надо, а? — вдруг сказала она жалким голосом.

— Еще чего! — проговорил я, расстегнув ремень и, дрожа, не понимая, что делаю, зачем, где я, кто она, бросился к ней на тюфяк.

Я вспотел от страха, стыда, отчаяния и ничего не сделал. Она отпихнула меня ногами, стала бить кулаками, я только прикрывался ладонями, закрывая лицо не столько от ее ударов, сколько от стыда.

— Дурак, будь ты проклят, дурак, — шипела она. — Не лезь, если не умеешь.

— А ты-то, — сказал я, — помогла бы.

Она рассвирепела:

— Помочь ему! Дурак... Ты что думаешь, я какая-нибудь, да? Дай хлеб, ну! — И неожиданно заплакала, уткнулась лицом в вонючий тюфяк. — Ну пожалуйста, мама умирает, дай...

И вскочила, схватив буханку, бросилась вверх по лестнице во двор. Я рванулся было за ней, но остановился, не стал догонять...

Пронск воспоминание не то чтобы умерло в моей душе, но заглохло, затихло, спало летаргическим сном. Может быть, только через двадцать лет оно шевельнулось во мне, когда судьба случайно снова занесла меня в Пронск в командировку.

Я прожил три дня в Пронске, в городе, не узнаваемом мною. Не нашел ни того места, где был рынок, ни дома с темным, сырым подвалом. По-моему, на их месте был разбит сквер с фонтаном, в котором вода по вечерам светилась, переливаясь разными цветами — красным, синим, зеленым. Зачем я искал тот дом, не знаю, но я искал, хотя и

не испытывал никаких чувств, только простое холодное любопытство — найду или нет. Если я что вспоминал, бродя по Пронску, то себя вспоминал — бравого солдата, наспигованного надеждами и самолюбованием, как жареная утка яблоками...

Не знаю, в самом ли деле лицо дочери Аристарха Безденежных напомнило мне ту пронскую девочку или, быть может, буханка хлеба в ее авоське, пахнувшая сытым теплом, вызвала это давнее воспоминание? Впрочем, что за глупости! Можно ли через три десятилетия вспомнить случайное лицо? Не помню я ее лица! Я родные лица отца и матери почти забыл, откуда же мне помнить лицо той девчонки, отнявшей у меня буханку хлеба. По какой же ассоциации именно дочь Аристарха Безденежных напомнила мне пронскую девочку со злыми глазами?

— Я провожу вас, можно? — спросила она.

— Конечно. Но я просто так хожу. Брожу, — сказал я. — Иду никуда.

— Хорошо, — сказала она. — Я провожу вас никуда.

Я усмехнулся:

— Вы знаете туда дорогу?

— Знаю. Идемте?

— Ну что ж, идемте...

Мы долго шли. Вышли за город, пошли по полю по тропинке через густую высокую пшеницу. В небе, в высокой голубой вышине, плескался жаворонок и звенел самозабвенно, ликующе — крохотная птица, вымирающая над гибридной землей. Моя спутница остановилась, запрокинув голову, слушала, прикрыв глаза. Лицо ее было почти счастливым, совсем детское, открытое лицо, которое само пело в ответ на песню крохотной волшебной птицы.

Мы прошли поле, вошли в лес. Лес был темен, мрачен. Солнце, игравшее в пшенице с тенями облаков, остановилось у кромки леса и не вошло вслед за нами. Прохлада, сырость, запах плесени охватили нас. Земля пружинила под ногами мягким мхом, старые ели росли густо, соприкасаясь вершинами, зловец тихо было здесь.

Дочь Аристарха Безденежных шла сзади меня, но когда я обернулся, ее не оказалось, я один стоял в этом жутком сыром лесу — в таком лесу, наверно, и обитала баба-яга со своим приятелем кощею бессмертным.

Испугав меня, что-то зашуршало в зарослях бузины, увешанных крупными, как вишни, ярко-красными ягодами, и оттуда вылетела, крича пронзительным голосом, распластав широкие крылья, птица. Что за птица, я не понял, сова, может быть, а может, это моя спутница превратилась в неведомую птицу, которая мгновенно исчезла, крик же ее все повторяло и повторяло эхо.

— Ау! — позвал я. — Где вы?

Никто мне не ответил.

— Отзовитесь, слышите? — взывал я, но она не отвечала, исчезла, может быть и вправду обернувшись птицей, улетела в темную лесную чащобу, оставив меня одного на съедение волкам, если, конечно, волки водятся в жутких таких местах.

Я стал не то чтобы сердиться, но чувствовал неприятное беспокойство, ощущение неприкаянности, страха не страха, но потерянности и крикнул:

— Не шутите! Где вы?

Она была здесь, рядом, перед моим носом, пряталась в тех самых кустах бузины, откуда вылетела птица.

— Ага, испугались?

— Испугался, — признался я. — Жутко здесь.

— Заколдованный это лес, тут течет живая и мертвая вода. Не верите? Честное слово.

Она побежала вперед и скоро остановилась у края глубокого

оврага, заросшего кустами, внизу угадывался тихий ручеек. Скользя по мягкому мху, цепляясь за гибкие ветки, мы спустились вниз. Ручей, появившись из-под земли, тут же в десяти шагах уходил обратно под землю. Он был тих, беззвучен, прозрачен, на дне виднелись камни, но странно — вода, несмотря на свою ясность, не отражала нависшие над ней кусты. И дочь Аристарха Безденежных не отразилась, когда, повесив на сук авоську с буханкой хлеба, наклонилась, зачерпнула пригоршню и выпила. Я тоже нагнулся, не увидев своего отражения, зачерпнул воду и уже поднес ладони ко рту, как вдруг моя спутница испуганно вскрикнула:

— Погодите, не пейте!

Вздрогнув, я расплескал воду.

— Это мертвая вода! Что я наделала! Я забыла, я напутала, я же напилась мертвой воды. Это вода мертвая! — с лицом, преображенным страхом, твердила она.

Я засмеялся:

— Вы что? Верите в сказки?

— Ни во что я не верю, — сказала она резко. — Но эта вода мертвая.

— Густяки, — отмахнулся я и снова захватил ладонями воду. Она была холодная, зимняя, густая и тяжелая, будто я держал в руках камень.

— Не надо, прошу вас, — умоляюще сказала дочь Аристарха Безденежных.

— Но я пить хочу!

— Не надо!

Я раздвинул пальцы, и вода не стекла, а упала тяжелыми каплями в ручей, не взбаламутив его поверхности.

— Сколько вам лет? — спросил я. — Вы, как дитя, еще верите в сказки?

— А вы не верите? Во что-то ведь надо верить? Вот я и верю в сказки. Кто может отличить сказку от несказки? Вы можете. — Она не спросила, а скорее констатировала, словно уличала меня в лукавстве. — Разве то, что вы откуда-то объявились к папиным похоронам, не сказка? Папа верил в сказки. И я верю. Папа знал, что вы придете. Перед смертью он мне сказал, что вы придете. Вот так, дорогой товарищ! А вода эта мертвая. Где живая — не знаю. Где-то далеко. Папа знал, я забыла. Я напилась мертвой воды, и мне будет плохо... Хотя куда уж хуже, чем сейчас: папа умер и я будто постарела на много лет...

С какой тоской и любовью она говорила об отце! Мне горько стало от мысли, что я никогда не услышу подобной ласки от своей дочери. Вспомнит ли она когда-нибудь обо мне с любовью после моей смерти, если сейчас, при жизни, нет у нее для меня ни одного нежного слова, только сухая вежливость. Она, видите ли, считает, что я, родной отец, испортил ей жизнь!

Мы вышли из леса и снова пошли по тропинке через теплое пшеничное поле, над которым высоко в небе звенел жаворонок.

— Откуда ваш отец мог знать, что я приеду? — спросил я. — Он был прорицатель?

Нахмурившись, она с упреком посмотрела на меня, отвергая всякую иронию или непочтительность к ее отцу.

— Нет, — сказала она сухо, — он не был прорицателем. Но он сказал, что придет человек издалека и похоронит его. Он всегда верил в какого-то человека издалека, который придет и все устроит как надо. Но никто не приходил. Он ждал, а никто не приходил. Вернее, многие приходили, он привечал их, но они оказывались другими, не теми, кого он ждал...

— А я — тот?

— Не знаю. Наверно. Ведь никто, кроме вас, не пришел издалека... Вы где живете в Москве? — спросила она.

— Возле метро «Проспект Мира».

— Да? — Она удивилась. — А я снимаю комнату на Колхозной площади, рядом. Я медсестрой работаю у Склифосовского.

— Вы медсестра? — Я почему-то удивился в свою очередь.

— А что? Непохоже? — Она усмехнулась. — Увы!

— А моя дочь врач, — сказал я.

Лучше бы я не вспоминал о своей прелестной Наталье. Наверно, самые неприятные, самые беспощадные, жестокосердные, злые ссоры бывают только между родными, самыми близкими людьми. Как же несправедливы наши дети к нам! И хотя понимаешь, знаешь, помнишь, что и ты не был внимателен, чуток к родителям, что и ты приносил им множество огорчений, все же от этой мысли твои боли и твои обиды не становятся легче... Я, видите ли, испортил ей жизнь, я, видите ли, только кажусь мягким, а на самом деле деспотичен, властолюбив, я и в школе подавляю всех — ученики будто зовут меня лысым тираном, а учителя просто боятся. Но это все неправда, все бред, злая обида на меня из-за того, что я не разрешил вольнолюбивой своей дочери сразу же после окончания школы выскочить замуж за некоего Лешку, безалаберного юнца, отправлявшегося служить в армию. А Лешка приглядел в армии другую девушку и женился. А Наталья тут же подцепила подающего большие надежды спортсмена, которого выгнала через год...

Мы расстались с дочерью Аристарха Безденежных на углу Инженерной.

Я отправился в городской загс за справкой о том, что почти полвека назад родился здесь. Молодая толстушка с тяжелым золотым перстнем на пальце, жуя яблоко, лениво взяла мое заявление, паспорт, крутанула вертушку с карточкой, вынула карточку и, не глядя на меня, равнодушно, голосом, лишенным каких-либо эмоциональных оттенков, словно привыкла ко всяким, даже самым невероятным, происшествиям, сказала:

— Вы же умерли, гражданин.

И вернула мне паспорт и заявление.

— Разве? — удивился я. — Ах да, верно, умер. Но в небесной канцелярии требуют такую справку.

— Зачем? — не приняв шутки, продолжая жевать яблоко, спросила она.

— Расхождение в книгах у них.

— Я не могу дать справку, если вы умерли. Понимаете?

— Понимаю, но что делать? Справка-то нужна. Выдайте.

— Нет, не могу, — категорически сказала она.

Но тут из-за перегородки вышла седая, высокая, словно высушенная рыбина, женщина, покачала головой:

— Что ты говоришь, Тамара! Подумай!

— А что я говорю? Я верно говорю, Махонин Владимир Васильевич умер. Вы, между прочим, Лидия Михайловна, сами выдавали свидетельство о смерти, вот ваша подпись. И этот гражданин, Махонин Владимир Васильевич, просит выписку, что родился на Инженерной, двадцать семь сто лет назад...

— Ну, положим, не сто, — сказал я.

— Вы можете помолчать? — проговорила Тамара, она сердилась, и лицо ее потеряло от этого кукольное выражение, стало живым.

— Не бухти, — сказала Лидия Михайловна, взяла мое заявление, спросила, глядя поверх очков, сползших к кончику носа: — Вы что — родственник покойному?

— Нет, — сказал я. — Очевидно, он сам по себе, я сам по себе.

— Что значит «очевидно»? — спросила Тамара и выбросила в окно остатки яблока.

— Ты можешь не бухтеть! — сказала Лидия Михайловна, поджа-

да губы, подумала, положила перед Тамарой мои документы.— Зарегистрируй! У нас полгорода Махониных.— И ушла.

— Пожалста.— Тамара пожала плечами.— Мне что!

— Когда зайти? — спросил я.

— Не знаю. Недели через две.

— Зачем же, — сказала из-за перегородки Лидия Михайловна.— Приходите через три дня, в пятницу приходите.

— Ну, анекдот, — бесстрастно проговорила Тамара.— Сущий анекдот...

Через три дня, в пятницу, эта же самая Тамара встретила меня, улыбаясь:

— Здравствуйте, пожалуйста, все готово, распишитесь. Не здесь, а тут вот... Между прочим, из-за вас мне вlepили выговор, премии обещают лишить. Теперь, будьте любезны, здесь распишитесь.

— За что же выговор?

— За грубость. Хохма! Будто я умершим каждый день справки выдаю... Я из-за вашей выписки все книги тут перерыла, весь архив вверх дном, ноготь содрала...

— А мне какво, бедняжке? — Я указал пальцем в потолок.— Туда-сюда летать? Апостол Павел очень сердит, большой бюрократ. Привет передать?

— Кому?

— Апостолу, кому же.

— Вот еще! Обойдется.

— Дело хозяйское.— Я принял из ее рук документы и пошел своей дорогой.

Впрочем, какая у меня была дорога? В Москву, домой пора возвращаться, необходимые документы я добыл и мог ехать домой. Но и в московский дом не очень-то тянуло меня.

Был уже вечер, я сидел у себя на крыльце, слушал, как движется ночь, как уходит день. Странное состояние покоя, расслабленности, удовлетворения окутывало меня. Ничего подобного я никогда не испытывал, все во мне трепетало от ощущения красоты и неповторимости меняющейся, движущейся жизни. В самом деле, так ли часто в нашей будничной суете удается остановить мгновение и понять вдруг, что жизнь прекрасна и удивительна всегда и во всех своих проявлениях? Все вокруг было наполнено живыми звуками наступающей ночи: земля, травы, деревья, даже воздух, и белый лунный луч, и желтый свет уличного фонаря, и ночные бабочки, бьющиеся в его огне,— все было неповторимо и волшебно. И у меня не было ни долгих лет суетливой жизни позади и впереди ничего не было, не ждали меня впереди никакие заботы. Все только начиналось, все — и прошлое и будущее — было в этом мгновении жизни. Счастливом мгновении, хотя счастье заключалось только в том, что светила луна, горел уличный фонарь, зудел сверчок, а все вокруг было погружено в шуршащую тишину. Я был частицей этого мира — я и дерево, нас ничто не разделяло, я мог бы воскликнуть: «Ты и я, мы одной крови!»

Я не удивился, когда в лунном ореоле у забора появилась дочь Аристарха Безденежных, постояла, спросила:

— Можно к вам?

— Конечно.

Она открыла скрипнувшую калитку, прошла к дому, села возле меня.

— И я не сплю, — сказала, обхватив колени руками.— Не могу спать. Он что-то унес с собой. Пустота вокруг... Дырка какая-то образовалась в пространстве... Все время думаю я о том, как ему холодно там лежать. Сыро, холодно ведь...

Она ждала, наверно, каких-то слов утешения от меня, но я не мог ее утешить: ее слова и ее печаль не потревожили моего ощущения радости.

Она долго молчала, наконец воскликнула с тоской:

— Ну скажите же что-нибудь!

— Что я могу сказать? Как мне вас утешить? Жизнь есть жизнь.

— Нет, не утешения прошу... Какое тут может быть утешение?

Впрочем, сама не знаю, чего хочу... Дом я продам, — сказала она. — Хотя кто тут его купит? Хотите, вам подарю? Будете приезжать с женой, дочерью, и внуку вашему тут раздолье. Хотите?

— Благодарю.

— Не хотите? — упавшим голосом проговорила она. — И продать некому и подарить некому. И бросить не хочу. Будет стоять одинокий, мертвый. Холодный, пустой. Ужасно! Что? — Она резко обернулась ко мне.

— Нет, я ничего не сказал.

— Все время мне кажется, что он где-то здесь, рядом... Боже мой, как же ваш голос похож на папин... Проводите меня домой, а...

— Конечно.

Однако мы дошли только до калитки. Она остановилась, сказала:

— Благодарю вас, спасибо, одна дойду, спокойной ночи...

Она ушла, а я вернулся и лег спать с ощущением радости и покоя: горе этой девочки будто и не затронуло меня. И даже сейчас, вспоминая ту ночь, я вспоминаю именно это ощущение прелести жизни, неясного счастья от движения лунного луча, от шуршания ночных насекомых и спящих листьев на деревьях. Никогда потом у меня уже не было такого чувства родства, что ли, со всем этим. Да и не будет никогда...

Однако утром я проснулся от неловкости, что накануне сделал что-то не так: конечно, я должен был сказать ей хоть какие-то слова утешения. И я пошел к ней. Но, очевидно, свернул не в тот переулок, потому что вышел на окраину города, к реке. Возвращаться уже не стал, шел по высокому крутому берегу, внизу в воде отражалось небо с облаком, берег, деревья, летящий самолет и моя тень. Под ногами каждая травинка была усеяна крохотными бабочками-мотыльками, синими, желтыми, белыми, розовыми, будто цветами. Я шел, и цветы опадали, лепестки взлетали вверх, садились мне на голову, на плечи.

Я далеко ушел, никого не было вокруг, тишина стояла, только всплеск рыбы, шуршание ветра в листьях, стук дятла. Я спустился к реке, разделся догола, сложил одежду возле березы и поплыл по течению. Вода сама несла меня, и я плыл, чувствуя силу и здоровье своего тела, радуясь жизни, ощущению молодости, уверенности, что у меня еще многое-многое впереди, несмотря на мои годы. Как прекрасна вода, оживляющая душу и тело!

Течение унесло меня далеко. Я повернул обратно и сначала плыл без усилий, но скоро стал уставать и устал наконец. С трудом выбрался на берег, полежал на пригретой солнцем траве, отдыхая, и увидел, что под березой нет моей одежды.

Не было моей одежды, я поискал ее вокруг, не нашел.

Сколько времени прошло, не знаю. Я замерз даже не от ветра, а от ощущения безвыходности своего положения. Голый, несчастный, одинокий я сидел у воды, не зная, что делать. Не идти же в город в таком прелестном виде. Ждать ночи? Но и ночью не очень-то прогуляешься голым по городу. Я сидел и ждал неизвестно чего. Я был сродни нагой природе, но чужд ей. Муравьи ползли по мне, жук сел на живот, стрекоза спикировала на грудь, посидела, распластав голубые кисейные крылышки, и улетела — не понравился я ей. А мухам нравился, они летели ко мне одна за другой.

Я был беспомощен, жалок и некрасив, безобразен даже. Мне неприятно было разглядывать свое голое тело, потерявшее значительность без привычной одежды. Брюки и пиджак придавали индивидуальность этому телу, а сейчас я был словно уличен в чем-то,

разоблачен, хотя не совершил, как мне казалось, никакого преступления.

Я покричал, зовя на помощь, но никто не откликнулся. Хотя не глупо ли звать на помощь в таком состоянии? Чтобы мне помочь, надо кому-то раздеться и самому остаться голым.

Я лежал на спине, шрам от ранения через весь живот был бел, как кора на березе, возле которой я лежал. Мелкие мушки, не существа даже, а пыль какая-то, кружились над шрамом, прилетела, жужжа, синяя жирная муха, деловито обежала шрам, словно обнюхала его, улетела и тут же вслед за нею мой живот облепили десятки бесцеремонных насекомых. Я был жив, а они уже ползали по мне, как по мертвому телу.

Я в ужасе стряхнул их, крикнул еще раз, надеясь, что кто-то ответит, но никто не отозвался, и побежал вверх по косогору к дороге. А когда взобрался наверх и глянул вниз, то увидел совсем недалеко, метрах в ста от той березы, где только что лежал, другую березу, а под ней свою одежду и чуть не заплакал от радости. Я снова стал человеком, самим собой, тело мое обрело себя, свою индивидуальность. Жалкий человек, прожив до седых волос, я так и не понял, что же такое счастье, то самое счастье, к которому неудержимо стремятся люди, а счастье, оказывается, в том, чтобы прикрыть свою наготу и скрыть ее даже от собственных глаз...

Как говорил Чацкий? «Карету мне, карету, сюда я больше не ез-док!» Я тоже позвал карету, она появилась, я сел и через день был в родной Москве.

Едва я сошел с поезда, как неудержимая московская толпа подхватила меня и понесла к метро. Была середина душного дня, потные, жаркие, как печи, коричневые от отпускных южных загаров мужчины, женщины, юноши в вытертых модных джинсах, девушки в прозрачных платяцах торопились, толкались, стремились куда-то, смеясь, переговариваясь во весь голос. Они вынесли меня к дому, и едва я поставил чемодан, чмокнул в щеку жену, вырвался из железных объятий внука, как раздался телефонный звонок.

Алла Дмитриевна, подняв трубку, только успела сказать: «Это опять, наверно, из облоно, неделю трезвонят», — как я и в самом деле услышал знакомый начальственный голос, по обыкновению вежливый, доброжелательный, спокойный.

— Извините, Владимир Васильевич, — сказал он, — знаю, вы только приехали.

— Ну что вы, пустяки, — сказал я.

— Дело-то у меня ерундовое, но учебный год на носу и хотелось бы договориться. У вас учится Теребилова Наташа. Как?

Эта Теребилова измучила школу, мы дотащили ее кое-как до восьмого класса и на последнем педсовете радостно решили в девятый класс не переводить, пусть идет в ПТУ. Я потерял счет, сколько раз задерживала ее милиция в подпитии, в сомнительной компании грязноволосых гитаристов — бардов ночных подъездов. С родителями разговаривать невозможно — один крик: «Виновата школа».

«Боже мой, — с тоской подумал я, прижимая к уху трубку, поняв, конечно, о чем пойдет речь, — неужели нам придется еще два года пестовать это сокровище? Нет, ни за что!»

— В ПТУ пусть идет, — сказал я.

— Ну что вы, Владимир Васильевич, в какое ПТУ, зачем? Девочка не золото, конечно, но надо воспитывать. Оставьте ее в школе ну хотя бы из уважения к ее деду.

Я понятия не имел, кто ее дед, но, наверное, влиятельный был дедушка, если сам звонил мне по ее поводу. Я был в отчаянии, но постарался ответить бодрым голосом:

— О чем речь! Конечно...

— Ну чудесненько...

Звонок этот испортил мне настроение на весь день: значит, милая бездельница будет еще два года художествовать в школе и дело кончится тем, что получит вполне приличный аттестат вместо справки о том, что просидела на парте десять лет. Ох уж эти звонки! Но и без них не обойдешься, как говорит моя супруга: мне звонят и я звоню, так жизнь и движется.

Я вышел на балкон. Во дворе жгли строительный мусор: второй год вокруг нашего дома все что-то строят и строят и жгут, жгут мусор. Стены ближайших домов давно прокоптились от костров и пожаров, дым постоянно висел над двором густой и белый до синевы, вползал даже в квартиру на седьмой этаж через щели закрытых окон. Я стоял, смотрел, как внук мой Платон волок к костру трухлявое бревно. Алла Дмитриевна выбежала на балкон, крикнула:

— Брось бревно, Платон! Домой иди! — И обернувшись ко мне, повертела пальцем у своего виска. — Дед называется! Ребенок черт-те что вытворяет, а он...

Я промолчал, я давно уже не спорил с ней и не возражал: бесполезно. Но и Платон не услышал ее крика, хотя Алла Дмитриевна умеет кричать так, что слышно за три улицы. Он дотащил бревно до костра, бросил в огонь и исчез в густом облаке дыма. А когда дым на мгновение рассеялся, на том месте, где недавно стоял Платон, стояла девушка в пестром сарафане. Я не поверил глазам, ибо это была дочь Аристарха Безденежных. Как она тут очутилась? Это была она, ошибиться я не мог. Клубы дыма окутали ее, ветер сразу же развеял дым, но ее уже не было, она исчезла внезапно, как и появилась.

— Ты видела? — спросил я Аллу Дмитриевну.

— Что? — удивилась она. — Что я должна была увидеть?

— Там только что стояла девушка, видела?

— Никого там не было, — сказала Алла Дмитриевна. — Бог с тобой!

— Была. В пестром сарафане.

— У тебя что? Галлюцинации? Тебе стали мерещиться молоденькие девочки? Ну-ну, шалун. — Она засмеялась.

Я промолчал. Не было у меня никаких галлюцинаций, и дочь Аристарха Безденежных не померещилась мне, она живая только что стояла внизу. Не знаю почему, это видение так взволновало меня, почти испугало: каким образом она появилась тут, в моем дворе, в первые же часы моего возвращения из города, где всего несколько дней назад я хоронил ее отца? А может, правда мне померещилась она?

— Сходи за Платоном, — сказала Алла Дмитриевна.

Я спустился во двор, поймал Платона, он орал, брыкался, ругался, но я притащил его домой, где Алла Дмитриевна в два счета усмирила его: у нее с ним особые отношения, ее он слушается. Ловя Платона, гоняясь за ним, я обежал весь двор — не было там дочери Аристарха Безденежных.

Впрочем, мне некогда было, да и ни к чему сосредоточиваться на этой мысли, была она или не была. Дела закружили меня, приближалось начало учебного года.

Из всех учебных дней я, наверно, больше всего люблю 1 сентября — торжественный, радостный праздник, когда весь утренний город благоухает цветами, которые несут школьники, когда мамы и папы ведут за ручку новичков-первоклашек, ждущих от новой жизни чуда.

Нынешнее 1 сентября было пасмурным, ветреным, дождь прошел ночью, в школьном дворе стояли черные лужи. Тетя Глаша, уборщица, старательно разметала их жесткой метлой, и к тому времени, как двор заполнили дети, асфальт был сух.

Ровно в восемь я, как делал это из года в год, поздравил всех с началом учебного года и начал свою речь. Эту речь я знал наизусть, я повторял ее каждый год, один и тот же пафос, одни и те же фразы, в

меру ласки и в меру строгости, много высоких слов, которые не столь уж необходимы, но которые нужно произнести и без которых торжественная речь не речь. Почему-то всякий раз, когда я выходил на школьное крыльцо, чтобы произнести эту речь, я был полон намерения и даже уверенности, что сегодня не произнесу дежурных казенных фраз, но, как только открывал рот, слова сами вылетали из меня — и я говорил, говорил то, что давным-давно уже привык говорить. Есть какая-то тайна трибуны, на трибуне ты тот же, но и не тот, ты уже не Владимир Махонин, а должностное лицо, ты говоришь, но не совсем то, что думаешь, а скорее то, что должен думать.

Я начал свою речь и покатился по привычной колее, и вдруг за толпой первоклашек, за спинами родителей, у школьных ворот увидел — нет, это непостижимо! — дочь Аристарха Безденежных. И смеялся на мгновение, привычные слова застряли у меня на языке, я съехал с заезженной колеи и, сам не зная отчего, стал говорить совсем другое. Стал говорить о том, что сам когда-то был маленьким мальчиком и у меня было 1 сентября, когда я впервые пришел в школу, я говорил, что жизнь долга и коротка, что надо учиться быть не только образованным, но и честным, добрым, совестливым, порядочным человеком. Меня несло и несло куда-то в воспоминания, в лирику... Кому я все это говорил? Детям? Или ей, дочери Аристарха Безденежных? Или своим сослуживцам, которые потом, вечером на педсовете, где мы подводили итоги дня, говорили мне лестные слова о том, что речь моя была и проникновенной и искренней. А мне было неловко и даже стыдно: почему занесло меня в лирические дебри, зачем я обнажился в своих чувствах?.. Но вот что интересно: когда я закончил свой монолог на школьном крыльце, дочь Аристарха Безденежных исчезла... Да и была ли она? Что ей тут делать? Может быть, права Алла Дмитриевна — мерещатся мне молодые девицы...

Каждый год в начале сентября я с Платоном хожу в зоопарк. Эта прогулка как бы лакомство для него, завершение беспечных летних игр перед наступлением трудовой детсадовской зимы. Он был еще в таком возрасте, когда созерцание зверья, даже загнанного в клетку, вызывало у него восторг, удивление и желание приобрести для дома живую игрушку, будь то собака, лев, крокодил или обезьяна. В тот год наши сборы затянулись — все дела и дела, — уже осень пришла в Москву, а я так и не находил времени отправиться с Платоном в гости в звериную тюрьму, именуемую зоопарком. Наконец в одно прекрасное пасмурное воскресенье я взял его за руку, и мы отправились.

Косо летели листья с деревьев, в вольерах грустили усталые звери, лениво разглядывая людей, жмущихся от ветра возле их решеток; печальный пони, маленький конек, позванивая бубенцами, бегал по кругу, катая веселых детей, в застылой тяжелой воде пруда скользили утки.

Платон — особый внук, уникальный в своем роде, существо столько же обаятельное, сколько хитрое, изобретательное, вредное. Что он выкинет — никогда нельзя знать, но уж если выкинет, то можно быть уверенным (или, наоборот, совсем нельзя быть уверенным), к каким неожиданным последствиям приведет эта его выходка.

Он обошел все клетки, покатился на пони, подразнил верблюда, покормил белого медведя и был послушен, был снисходителен ко мне, однако стоило мне сказать: «Пора, Платоша, домой», как Платон врос в землю.

— Не пойду!

Я знал его упрямство, схватил в охапку, сунул под мышку и поволок к выходу. Платон вертелся, дрыгал ногами, орал что есть силы:

— Мама, мамочка, ой, караул, помогите! Куда ты меня тащишь, дядька? Я не знаю тебя! Отпусти!

— Не срамись, Платон! Перестань! Не хулигань! — увещевал я его.

Но он орал все громче и громче:

— Ой, помогите! Ой, мамочка!

Он сумел вырваться из моих объятий и побежал в сторону площадки молодняка, но я догнал его, и тут вредный хитрый внук мой устроил настоящий спектакль.

— Отпусти меня, дядька! — орал он. — Я не знаю тебя! Мама, мамочка!

Собралась толпа, кто-то подозрительно спросил меня:

— Гражданин, что вы хотите от ребенка?

— Это внук мой! — сказал я.

Но Платон заорал:

— Врет, врёт! Я не знаю его!

— Ты в самом деле не знаешь его, мальчик? — спросила женщина.

— Не знаю! — орал Платон. — Мама!

— Перестань! — сказал я. — Идем домой!

— Где твоя мама, мальчик? — спросил кто-то.

— Мама его на работе. Пожалуйста, разойдитесь, — сказал я.

— Мама здесь, он врёт, я его не знаю! — орал Платон.

— Ну, хватит, — сказал я, сунул его под мышку и пошел прочь от толпы. — Три дня не будешь смотреть телевизор.

— Купи мороженое — не буду орать, — сказал Платон.

— Нет!

— Купи! Позову милиционера!

— Ты еще и шантажируешь? Неделю без телевизора!

— Мама! — заорал Платон. — Отпусти, дядька! Милиция! Ну, купишь? — спросил шепотом.

— Нет!

— Вот моя мама! — вдруг заорал Платон, вырвался от меня и бросился к молодой женщине, которая шла мимо. — Мама, мамочка!

Женщина испуганно сделала шаг назад, оступилась и охнула: вывихнула ногу.

— Иди прочь, — сказал я Платону. — Отправляйся куда хочешь. Смотри, что наделал!

— Ничего, пройдет сейчас, — говорила женщина, держась за дерево, но сдвинуться с места у нее не было сил.

Я помог ей добраться до скамейки.

— Я больше не буду, тетя, — сказал Платон, раскаиваясь, — не сердитесь, я очень плохой человек, у меня много пережитков капитализма.

— С пережитками надо бороться, — сказала женщина, морщась от боли, пытаясь улыбнуться этому милому вредному Платону. — Между прочим, ты, мальчик, возможно, сломал мою карьеру. Я ведь шла на решающее свидание с господином, который обещал меня рекомендовать на работу. Мне надо добраться до клетки льва, а как мне туда добраться?

— Мы вас доведем! — воскликнул обрадованно Платон.

— Предприимчивый растет товарищ. Не правда ли? — сказал я. — Ну что ж, попрыгаем в львиную пасть.

— А вообще-то не очень хочется мне туда и прыгать. Ногу вывихнула — возможно, это перст судьбы, — сказала она, но оперлась на мою руку и дохромала до клетки льва.

Я усадил ее на скамейку и сам сел, смирившись с тем, что Платон мне все равно сейчас не вытащить домой.

К скамейке подошел спортивного вида молодой человек.

— Здравствуйте! — сказал он и протянул две белые гвоздики моей страдающей от боли в ноге спутнице.

— Дарить надо, молодой человек, нечетное число — один, три, пять цветков. Четное количество несут на кладбище, — сказал я, а зачем сказал, и сам не знаю: какое мое дело?

— Ах, какие церемонии, — нарочито жеманно проговорила женщина, — важно внимание. Между прочим, познакомьтесь, это мой папа. — Она так и сказала — «папа», и, не дав мне времени удивиться,

что я приобрел еще одну доченьку, крикнула: — Платон, Платончик, иди сюда! — И, когда Платон подошел, сказала: — Не убегай далеко, деточка. А это мой сыночек, сын, сынище...

— Новость! — удивился молодой человек и даже скис сразу лицом. — У вас такой большой сын?

— Ну отчего же! Не очень большой, маленький. Скажи дяде «здрасьте», Платон.

— Привет! — воскликнул сообразительный Платон, сразу принимая ее игру. — Мороженое охота. Купите!

— Платон! — сказал я.

— Не вмешивайся, дед, — проговорил Платон и почти с угрозой спросил: — Вы купите мороженое?

— Конечно, — невесело сказал молодой человек.

Платон взял его за руку и повел к павильону, торгующему мороженым.

— Уж не актриса ли вы, доченька? — спросил я.

— Нет, к сожалению, — ответила она. — Неужели вы не узнаете меня? Или только делаете вид, что не узнаете? Как тесен мир, не правда ли?

Не знаю, тесен мир или нет, но я ее видел впервые и никогда прежде не встречал, хотя в голосе ее, в лице и было что-то неопределенно знакомое.

Она засмеялась:

— Откуда же вам узнать, я в парике, а в парике я сама себя не узнаю.

Она сняла парик. Это была дочь Аристарха Безденежных Ирина Аристарховна.

— Вы определенно существуете под разными обличьями! — воскликнул я. — Вы приходили ко мне во двор?

— Ага, заметили?

— И к школе первого сентября?

— И первого сентября и слышала вашу речь... И убедилась — вы хороший, искренний человек.

— А зачем это надо — убеждаться?

— Надо.

— А сейчас? Сейчас тоже пришли убеждаться?

Она засмеялась.

— Нет, сейчас это случайность. Закономерная случайность. Неизбежная случайность. Судьба... Нет, вы посмотрите, у них полнейшее взаимопонимание!

По аллее шел молодой человек, на плечах его сидел Платон, сосал мороженое. Молодой человек был явно обескуражен, что его оседлал, но делал вид, будто весьма доволен таким обстоятельством.

— Этот господин работает в поликлинике, — сказала она, — я очень просила его составить мне протекцию, я не могу в больнице работать. Просила. Но уже раздумала.

— Дед, идем домой! — скомандовал Платон, слезая на землю. — Не ругайте меня, тетя. — Он умел быть вежливым до противности, хитрый ребенок, уже научившийся приспосабливаться ко всяким обстоятельствам. — Мы уходим, уходим! — проговорил он, глядя заговорщицки на смутившегося молодого человека.

— Я буду благословлять тебя, малыш, — многозначительно ответила дочь Аристарха Безденежных...

Прошло несколько дней, и как-то утром, торопясь на работу, я встретил ее в метро.

— Здравсте, — сказала она. — Я уже в полном порядке, нога не болит. Между прочим, я жду вас здесь второй день.

— Зачем?

— Так просто. Буду каждое утро вас встречать. Хотите?

— Зачем, голубушка?

— Опять «зачем»? Это ваше любимое слово? Не знаю зачем. Инте-

ресно. Вы спускаетесь по эскалатору, а я вас уже жду — «здрасьте», и мы идем с вами в школу. Вдвоем всегда лучше, чем одному, правда? Я буду вас провожать до школы. Можно?

— Но зачем?

— «Зачем», «зачем». Как беден ваш язык! — воскликнула она.

Подошел поезд, раскрылись двери, одна толпа хлынула из вагонов, другая — на смену ей — рванулась в переполненные вагоны и втиснула нас в душную, влажную тесноту, где стоял спертый дух разбухших от дождей пальто, мокрых сумок и зонтов.

Мою спутницу протолкнули в середину, а я стоял вдалеке от нее, у самых дверей. Вытянув шею, приподнявшись, наверно, на цыпочках, она поискала меня глазами, сказала громко, перекрыв шум поезда и людское гудение:

— Я здесь! Тут я!

Она меня раздразнила, ее простодушие было похоже на бесцеремонность. Крикнув «тут я», она решила сообщить всем и такое известие:

— Я знала, что встречу вас!

Я отвернулся, будто ее слова относились не ко мне, а к кому-то другому. Но пассажиры были так заняты сами собой, своими мыслями или привыкли к такому разговору через весь вагон, что и внимания не обратили на ее сообщение.

Чем ближе мы подъезжали к конечной станции, тем все меньше и меньше становилось людей, и наконец она сумела пройти ко мне, встала возле, смотря на меня снизу вверх, чуть улыбаясь.

Взгляд ее был неприятен мне. Она смотрела на меня будто с восторженностью или — это уж совсем нелепость какая-то! — с любовью, что ли. Я делал вид, что не замечаю этого взгляда, смотрел мимо ее лица или на свое отражение в дверном стекле.

— До свидания, — сказал я, когда поезд остановился на последней станции.

— Я провожу вас! — Она бежала за мной по платформе к выходу.

— Не надо, спасибо.

— Ну почему? — упавшим голосом спросила она. — Можно?

— До свиданья, — сказал я, сердясь.

Она осталась на платформе... Но весь день меня не покидало чувство то ли досады на нее, то ли вины перед нею.

На следующий день утром, еще спускаясь по эскалатору на платформу, я увидел ее. Она стояла внизу, запрокинув голову, смотрела вверх, ждала меня, искала глазами. Увидела, замахала рукой, запрыгала на месте.

— Здрасьте, — сказал я, — и до свидания.

— Но почему? Я провожу! — воскликнула она со слезами в голосе.

— Не надо. Сам доберусь, — сказал я и рванулся в открытые двери подошедшего поезда, сбежал от нее...

На другое утро я снова встретил ее в метро. Но она не подошла ко мне. Вошла следом в вагон, стояла в отдалении и не смотрела в мою сторону. Вышла, не доезжая до конца одну остановку.

Она ждала меня в метро каждое утро, но ко мне не подходила, ехала в одном вагоне, не произнося ни слова. Она злила меня, я старался выходить из дома раньше обычного, потом еще раньше, затем намного раньше — и все равно она неизменно поджидала меня у эскалатора. Я задерживался, стал позже выходить — она ждала.

Дома по вечерам или в выходные дни раздавались таинственные телефонные звонки: кто бы ни поднимал трубку, я или Алла Дмитриевна, трубка молчала, только шумело пространство, бегущее по проводам, тихий гул вселенной.

— Да? Да? Слушаю. Вас не слышно. Перезвоните, — говорили мы

в трубку, а трубка молчала, и в этом молчании пространства было что-то жуткое, знобкое...

Однажды утром я подошел к окну, откинул штору и замер: шел снег. В тот год осень затянулась надолго, люди и земля измучились в ожидании зимы, а ее все не было. Деревья давно спали, стояли, воздев худые, беззащитные ветки, дожди стегали их, но почерневшие стволы не впитывали влагу, вода стекала вниз, лужи расплзались по асфальту. Бывшие осенние листья превратились в склизкий мусор и гнили в скверах, не дождавшись погребения. На стенах домов, пропитавшихся влагой, плыла краска. Жалкие, мокрые голуби сидели на ржавеющих балконных перилах.

Зима не приходила. Дожди сменились бесснежными заморозками, ветер выдул лужи, асфальт стал сухим, голым, дворники зачем-то посыпали его песком, и песочная пыль летала в воздухе, оседая на губах. Оттого, что зимы не было, а стояла осень не осень, мороз не мороз, что все изныли в ожидании обновления земли и болели многими болезнями, было неуютно, тревожно, неприкаянно. Потому-то, наверно, когда я увидел в окне первый снег, покрывший и улицы, и деревья, и крыши, всю землю со всем ее содержимым, я замер от ощущения новой жизни. Зима рождалась мучительно и вот наконец родилась такой прекрасной. Из мертвой, гниющей осени земля перевоплощалась на моих глазах, одеваясь в новые, веселые одежды. Снег, крупный и пушистый, театральный, неправдоподобный, падал и падал на счастливые деревья, прикрывая их усталую наготу, на молодых собак, еще не видавших снега, испуганно жмущихся к ногам хозяев, на детей, прыгающих под снегом, как под первым весенним дождем. Земля перевоплощалась торжественно и празднично.

Мы с Аллой Дмитриевной никак не могли загнать Платона в детский сад: он бегал по двору, ловил открытым ртом летящие снежинки, вопил пронзительным голосом, и мы, смеясь, гонялись за ним в восторге от этой игры.

А потом шли к метро по мягкому белому асфальту, на котором прохожие не оставляли следов — так густо и стремительно падал снег, всех одевая в белые одежды. Я глянул на Аллу Дмитриевну и поразился внезапной перемене во всем ее облике: она была молода, вдохновлена лицом, шла как в белой новобрачной фате.

— Любовь моя, ты прекрасна! — сказал я.

Она даже испуганно отшатнулась, поразившись моей высокопарности. Давным-давно мы не баловали друг друга такими признаниями, в естественной жизни эти слова стали для нас, увы, столь неестественными, что казались уже неправдой... Оба мы научились правду считать неправдой, а неправду правдой и порой сами верили в собственный обман. Мою искренность она приняла за лукавство и даже увидела в ней некую корысть.

— Ты хочешь меня о чем-то попросить? — сказала она. — Ну давай, старый льстец.

— О господи! — воскликнул я, смеясь. — Честное слово, ты прелестна.

Она тоже засмеялась, погрозила мне пальцем, польщенная, увидела свой троллейбус и помчалась к остановке, но замечала ли она, что и бежала сейчас по-новому, легко, молодо, изящно, юная невеста в белой свадебной фате...

Совсем будто бы недавно мы шли с нею по Пушкинской улице, увидели вывеску «Отдел записи актов гражданского состояния», зашли в этот отдел и вышли оттуда через десять минут с бумажкой, в которой было написано, что мы отныне законные муж и жена... Никогда она не ходила под белой фатой, моя супруга, легко бегущая сейчас к троллейбусу по молодому снегу.

Что я здесь написал? Прочтя это, можно подумать, что я и Алла Дмитриевна счастливейшая пара, что семейная наша жизнь была без-

облачной, радостной — прожили люди душа в душу более тридцати лет. Нет, не так это, теперь-то, глядя на себя со стороны, я знаю, что это не так, что тридцать с лишним лет прожили рядом чужие люди. Мы притерлись, но давным-давно не любим друг друга, да и любили ли когда-нибудь?

Что такое любовь? Не знаю. У нас с Аллой Дмитриевной это купля-продажа. Что мы продавали, что покупали? Чувства. Другого имущества у нас не было. А любовь? Что в самом деле это такое? Я всю жизнь гнался за этим призраком — знал страсть, знал ненависть, знал привязанность, нежность, знал и порыв жертвенности, но не любовь... Быть может, любовь сейчас живет во мне, сейчас, когда оглядываюсь я назад, в пустоту своего прошлого, где так много прожито, пережито, сделано, передумано, перечувствовано и где — порою мне кажется — ничего не прожито, не пережито, не сделано и не перечувствовано, где годы прошли в полуправде, в полулюбви, в полуйскренности, в полuverе. Иногда у меня возникает ощущение, что я живу не своей жизнью, что моя жизнь далеко отсюда, где-то в далекой деревне, в теплой от печного духа деревенской избе, в тиши и неторопливости сельской жизни. Я когда-то очень хотел врачевать. Может быть, я фельдшер в этой деревне, исцелитель человеческих недугов. Вечерами в моей теплой избе я музицирую на пианино... Я не умею играть на пианино, но всегда хотел научиться, мы с Аллой Дмитриевной купили пианино для дочери, восемь лет она брэнчала гаммы и наконец бросила это занятие, так и не научившись ничему. Вот и стоит пианино в комнате, заставленное вазочками и мещанскими дешевыми фигурками, которые так любит Алла Дмитриевна. Спит пианино глубоким сном, стоит многие годы бесполезной мебелью в ожидании нового ученика: мы начали искать учителя музыки для внука... Нет, право, в той, другой, сельской жизни я непременно умел бы играть и обязательно отдыхал бы вечерами, музицируя на пианино. За окном осень, дождь, листья желтые падают, сушится мой плащ и мои сапоги возле печки, а я отдыхаю у доброго старинного пианино, над которым висит портрет моей матери. Она похоронена здесь же на сельском кладбище, я навещаю дорогую могилу почти каждый день, сижу возле и думаю свою тихую, печальную думу о тщетности жизни... Какая идиллия — изба, печь, пианино, сыновняя преданность! Мать моя похоронена на Ваганьковском кладбище, и получаса не надо ехать на троллейбусе, но я не был у дорогой могилы несколько лет, все суечусь, все занят... Ох, как я занят!..

Алла Дмитриевна, моя стареющая супруга и тоже очень занятая, легко бежала к троллейбусу по молодому снегу, а я спустился в метро.

Там, как обычно, ждала меня Ирина, дочь Аристарха Безденежных. Я увидел ее — и все мои сентиментальные, трогательные воспоминания и мысли об Алле Дмитриевне рассеялись как дым, сменившись раздражением.

— Поздравляю с зимой, — сказала она.

Я не ответил. Она сказала:

— Не надо, не сердитесь, вы же добрый, вам так не идут морщины на лбу...

Подошел поезд, я вошел в вагон, и она вошла. Я сидел, она стояла ко мне спиной, я видел ее и свое отражение в темном оконном стекле — там мы смотрели друг на друга, она улыбалась мне.

Как я устал от нее! Она надоела мне, хотя я уже и привыкать стал к ее ежедневному утреннему присутствию возле меня. Меня и раздражала ее настойчивость и льстила.

Она вышла со мной на заснеженную, нарядную улицу. Слепила снежок, засмеялась и, отстав на несколько шагов, бросила снежок мне в спину.

— Что за глупости! — сказал я.

— Почему вы сердитесь? Ну почему?

— Я устал, чего вы хотите от меня?

— Ничего не хочу,— сказала она.— Я люблю вас. Разве вы еще не поняли?

— Все я понял! — сказал я, сердясь.— Зачем это? Вы могли бы быть моей дочерью — какая тут любовь. У меня жена, внук, я не тот человек для таких игр. Идите с богом своей дорогой. К тому же, простите, вы не героиня моего романа.

— Ну что вы такое говорите! — воскликнула она.— «Жена, внук, не героиня вашего романа». При чем все это? Мне ничего не надо. Я и жену вашу люблю, и внука, потому что они — ваши. Частица вашей жизни. Я знаю, что вы меня не любите. Ну что ж, не любите. Но я-то люблю вас. Ничего мне не надо, только знать, что вы есть, только видеть вас иногда... Не более. Конечно, я бы хотела, чтобы вы полюбили меня, но необязательно. Вы любите лес? Реку? Небо, облака, снег? Ну, все, все. И ведь не ждете от них ответной любви, вас возвышает само общение с ними.

— Прекрасно,— сказал я,— замечательно. Вот и любите на здоровье дерево, реку, небо... А меня — увольте. Вы же не просите любимое дерево прогуливаться с вами.

Я понимал, что обижая ее, но говорил нарочно голосом категоричным, сухим, чтобы не было у нее никакой надежды. А она смотрела на меня спокойно, чуть усмешливо, будто слова мои не огорчали ее, а, наоборот, радовали. И хотя я был категоричен не столько словами, сколько тоном, я знал и в душе не сомневался, что, если бы она нравилась мне, я не отказался бы от ее любви. нет. Права она — ни жена, ни внук, ни возраст, ни дела, ничто не удержало бы меня. Я не безгрешен перед Аллой Дмитриевной, увы, не схимник и еще совсем недавно любил женщину, назначая тайные свидания в чужих квартирах, скрываясь от посторонних глаз. Чего она от меня хочет? Ведь односторонней любви не бывает, односторонняя любовь — это несчастье, человек всегда ждет взаимности, доброжелательности, ответного огня. К тому же не всякий огонь нам нужен, а только тот, в который ты можешь подбросить и свое полешко. Иного огня и не надо, хотя бы ты мерз, коченея от одиночества. От душевной пустоты никакой костер не согреет тебя. Костер, пылающий в сердце этой девочки, не для меня.

Она смотрела на меня сияющими глазами. Отчего бы им так сиять в ответ на мои слова?

— Спасибо,— сказала она.

— За что?

— За правду... Другим вы и не можете быть. За это я и люблю вас. Можно, я поцелую вас?

Чужая душа — потемки. Кто знает, что зреет там, в ее душе? Откуда, почему, зачем она появилась в моей жизни? У меня и без нее было достаточно забот и волнений. Мне казалось, что в ее поведении был какой-то наигрыш, какая-то экзальтированная неискренняя игра, ложь, я не верил ее словам, потому что не понимал, почему и зачем она играла в эту игру, какую преследовала цель. Но мне льстили ее слова, льстила освещенность ее лица, я едва переборол желание в ответ на ее «можно, я поцелую вас?» нагнуться и самому поцеловать ее в щеку.

— Не глумите,— сказал я,— прощайте, я устал...

Прошел день, другой, неделя, полмесяца прошли, она, слава богу, не появлялась: значит, утешилась, думал я, решила оставить меня в покое. Но как-то морозным, вьюжным вечером, когда и в квартире-то было холодно и мы с Аллой Дмитриевной, уложив Платона, смотрели какую-то детективную телевизионную историю, раздался телефонный звонок.

Алла Дмитриевна подняла трубку, спросила: «Да?» — и крикнула: — Владимир Васильевич, тебя!

— Кто еще?

— Не знаю, не знаю, — с шутливой подозрительностью ответила она. — Женский голос. Кто бы это мог быть, а?

— Известно кто: молоденькая крохотулька-красотулька, — сказал я, спросил в трубку: «Да?» — и услышал голос дочери Аристарха Безденежных.

— Пожалуйста, — сказала она, — выйдите на пять минут, я стою возле вашего дома.

Я покосился на жену, она не слушала меня, смотрела в телевизор, сказал сухим тоном:

— Я занят, извините.

— Ну пожалуйста! — почти прокричала Ирина.

— Всего доброго, — сказал я и повесил трубку.

Настойчивость этой девчонки уже надоела мне. Не хватит ли этой бесплодной игры? Наверно, я сам виноват, потому что ни разу не был с нею тверд, ни разу не сказал решительное «нет», тем самым как бы поощряя ее. Чего она хочет, чего ждет? Ничего? Так не бывает, потому что какую-то цель она все же преследует.

Я сел возле Аллы Дмитриевны, уткнулся в телевизор, но теперь ничего не понимал в детективной истории, которую смотрел. Прошло полчаса, нет, больше, около часа, и снова зазвенел телефон, и снова Алла Дмитриевна подняла трубку, спросила: «Да?» — и передала трубку мне.

— Опять крохотулька. По-моему, опять она же. Милый голосск...

— Слушаю, — ледяным голосом сказал я.

— Это снова я, — проговорила Ирина.

— Догадываюсь.

— Пожалуйста, спуститесь ко мне на минуточку.

— Зачем?

— Ну пожалуйста, на одну секунду, маленькую-маленькую секундочку, — жалким голосом сказала она. — Я купила бананы вашему внуку.

— У него все есть, спасибо. Спокойной ночи!

— Я жду, слышите? — почти крикнула она и повесила трубку.

Я постоял, держа трубку возле уха, послушал короткие гудки, громкие, прерывистые, требовательные, как сигнал бедствия, и тоже положил трубку.

— Чего ей надо? — спросила Алла Дмитриевна. — Кто это?

— Родительница одна ненормальная, — ответил я и посмотрел в окно.

Вдоль дома по пустынному переулку в метельной круговерти брела крохотная фигурка. Было около тридцати градусов мороза, она, значит, в своем легоньком пальтишке, в ботиночках уже около часа топчется там на ветру. Совсем ненормальная! Я отошел от окна.

Вечер этот тянулся бесконечно долго. Кончилась детективная история, и, когда я досмотрел ее до конца, я ничего не понял, потому что только делал вид, что слежу за действием, а на самом деле не мог сосредоточиться, напряженно думал об одном — ушла Ирина или нет. Встал с кресла, делая вид, что хочу размяться, что устал сидеть, и украдкой смотрел в окно. Крохотная фигурка, обдуваемая ветром, все маячила на пустынной улице.

Потом ужинали, потом Алла Дмитриевна мыла посуду, потом разговаривала с кем-то по телефону. С кем — я не понял. Ирина все ходила и ходила вдоль дома — туда-сюда, туда-сюда. Метель кружилась в свете фонаря, в щелях окон выл ветер, вой его в оконных щелях я не то чтобы не замечал прежде, замечал, наверно, но сейчас ветер выл таким пронзительным, ехидным голосом, вдувая в квартиру стужу, что я озяб, меня лихорадило, мне было холодно, я пошел на кухню, где жена мыла посуду и где было тепло, даже душно от газа, но озноб не проходил.

— Проблематично,— сказал я.

— Что? — спросила Алла Дмитриевна.

— Нет, ничего,— ответил я, потому что и сам не знал, что проблематично. Слово выскочило случайно, в нем не было никакого смысла.

Я вернулся в комнату, глянул в окно. Она шла там вся в снегу, уже не человек, а снежный ком. Дошла до угла, повернула обратно, добрела до другого угла и пошла назад.

Она ходила там уже третий час. Алла Дмитриевна вымыла посуду, что-то выстирала в ванной, ушла в спальню, спросила оттуда тихо, шепотом, чтобы не разбудить Платона:

— Ты будешь спать?

— Посижу немного,— сказал я,— завтра совещание в роно, речь придется толкать.

Никакого совещания завтра не предвиделось, и речь не предстояло мне произносить, я солгал ей голосом, в котором не было фальши, и тут же словечко «проблематично» снова выскочило из меня.

— Что проблематично? — спросила она.

— Ничего,— ответил я,— привязалось словцо.

Нет, в словце этом все-таки был какой-то смысл, оно привязалось ко мне еще с утра, и не случайно, нет,— я понял это потом, не теперь, а потом, через много месяцев, когда вспоминал и этот день, и все предыдущие, и все последующие.

...Как-то утром, придя в школу, я увидел на стуле возле своего кабинета генерала, сияющего золотом погон, пуговицами на шинели и большой лысиной.

Это был генерал-лейтенант, большой чин. Я, дожив почти до седых волос, так и не избавился от той робости, даже почтения, которое испытывал в армии на фронте к воинскому начальству. Моим командиром был капитан — властелин батальона, от воли которого зависела жизнь и смерть солдат, сытость наших желудков, награды и многое другое... Но ведь над нашим капитаном был свой командир, свой властелин, а над тем властелином свои властелины: как же они всеильны, если в их руках была власть над самим нашим капитаном!

И не потому ли, когда я увидел перед своим кабинетом генерал-лейтенанта, в душе у меня шевельнулась давняя солдатская робость. Но генерал, увидев меня, сам стушевался, встал со стула. Он был невысокого, совсем не генеральского роста, обыкновенной комплекции человек и, теребя в волнении папаху, сказал торопливо, почти виновато, даже заискивающе:

— Здравствуйте. Я Проворин. Вызывали?

Да, я вызывал. И надо признаться, что сейчас, увидев его лицо, в котором была видна плохо скрываемая тревога, его ищущие пощадь глаза, я мгновенно ощутил себя генералом, а этого человека солдатом, которого я могу разжаловать и могу помиловать. Это был отец Максима Проворина, старательного, но тупого ученика девятого класса.

— Проблематично,— неожиданно для себя самого сказал я.

Генерал вскинул брови, хотел переспросить, но не переспросил, а я повторил: «Проблематично», отпер дверь и пригласил его в кабинет.

И снова невольно почувствовал свою власть над этим, очевидно, всеильным, грозным для кого-то генералом, хотя если бы генерал прикрикнул, то, возможно, я и вспомнил бы, что я по существу солдат, рядовой, что ему приказывать, а мне исполнять. Но генерал передо мною, директором школы, сам чувствовал себя рядовым: как школьник, он теребил свою папаху.

— Проблематично,— произнес я. Слово было произнесено и надо было его оправдать.— Весьма проблематично, что ваш сын переходит в десятый класс.

— Он старается,— упавшим голосом сказал генерал,— память у него плохая, дырявая...

Конечно, я верил, что мальчик старается, что у него плохая память, малые способности, но я также знал, что папины погоны помогут Максиму Проворину доползти до аттестата зрелости. И видя волнение генерала, я постарался успокоить этого лысого, так страдающего за свое тупое дитя человека. Не разжаловал я его, помиловал...

— Проблематично,— сказал я, глядя в окно на снежный ком, катающийся возле моего дома по метельной улице. Потом, позже, через много месяцев, когда я вспоминал этот день, я понял, откуда и почему это словечко снова пришло ко мне — от неосознанного, тайного ощущения своей власти, я мог помиловать эту девочку и мог ее казнить...

Алла Дмитриевна уже спала, я погасил свет в комнате и в темноте с бьющимся сердцем стоял и смотрел, как внизу на ночной улице мается и мается одинокая фигурка.

Она ходила там уже более трех часов! И я был уверен, что будет ходить, пока не свалится, хоть до утра. Я уже не испытывал ни раздражения, ни досады, которую ощущал, когда она позвонила. Наоборот, я сказал себе, что я безжалостная скотина, что бесчеловечно стоять и наблюдать, как у меня под окнами умирает от любви ко мне женщина.

Боже мой, а ведь в самом деле она любила меня, эта девочка! Мысль эта, что она любит меня, и любит необычайно, неоглядно, безрассудно, и напугала и была приятна мне. Однако зачем она выдумала эту любовь? Бедный, несчастный, некрасивый гадкий утенок!

Она все ходила и ходила вдоль дома, фанатичка, сумасшедшая. Она уже и уйти отсюда не сможет, у нее не хватит сил добраться даже до Колхозной площади, где живет.

Я надел шубу, осторожно вышел из квартиры, вызвал лифт. Лифт долго поднимался, мучительно долго, теперь я испытывал нетерпение и страх, словно то, что не произошло с этой девочкой за несколько часов, случится сейчас, за считанные минуты, пока я буду бежать к ней.

Но бежать на ее глазах мне было бы несолидно, я неторопливо вышел из подъезда, неторопливо пошел ей навстречу. Она увидела меня, остановилась и, когда я подошел, хотела что-то сказать, но не смогла пошевелить окоченевшими губами.

Она была жалка, полуживая сосулька. Я сжал ладонями ее белые щеки, она заплакала, моргая, смотря на меня жалкими благодарными глазами.

— Глупый вы человек! — сказал я.

Она еле стояла на ногах, дрожь била ее. Она вынула из-за пазухи пакет с бананами, протянула мне. Пакет был ледяной — вся она, значит, промерзла насквозь. Я взял этот пакет, велел ей ждать, побежал через двор на проезжую улицу, где, к счастью, быстро поймал такси.

Я дал шоферу деньги, объяснил, куда ехать, усадил ее и, закрывая дверцу машины, снова увидел ее глаза. Что в них было? Отчаяние, жалость, бесконечная усталость, лихорадочный, болезненный блеск и незащищенность, готовность принять все, что я захочу дать ей. Была мольба в них...

— Спасибо,— сказала она.— Я самая счастливая. Ой, погодите, я вам письмо написала. Возьмите.

Я взял конверт, сунул в карман и захлопнул дверцу, поняв, что эта девочка покорила меня.

Пакет с бананами я держал в руке. Бананы были тверды, холодны, они промерзли, превратились в лед. Я положил их в сугроб: зачем нести домой, завтра Алла Дмитриевна удивится, откуда они появились за ночь, а что я ей отвечу?

Я пошел домой, но, сделав несколько шагов, вернулся, взял пакет. Я не бананы пожалел, а дочь Аристарха Безденежных, которая вложила столько энергии и душевных сил в этот подарок. Нельзя их выбрасывать, но и Алле Дмитриевне не хотелось бы показывать.

Я съел их, весь пакет, на кухне, а шкурки выбросил в мусоропровод. И только потом вынул конверт и прочел:

«Когда господь бог совращал моих родителей, он думал о Вас. Многоусердные старания приложил он, прокладывая мой долгий путь к Вам. Он устал, и, казалось бы, теперь, когда мы встретились, он может отдохнуть, но пути господни неисповедимы: он пытается, казнит меня словами, вложенными в Ваши уста: «Не надо, зачем, не надо, зачем...» Бог становится похожим на человека, который долго вынашивал свою мечту, но остановился на пороге ее свершения в нерешительности, боясь, что сбывшаяся мечта оставит в душе его опустевшее место, которое необходимо будет чем-то заполнить. Но чем? Господь и так устал, он не хочет новых трудов, и еще он чуть-чуть боится, что не сладит со мной, а не сладив, потеряет в глазах людских свой господний авторитет. «Надо — не надо, зачем» — какие-то крокодильские заботы! В жизни своей никогда зиму не любила, теперь люблю — значит, надо, надо, надо!»

Я прочел это послание еще и еще раз, потом скомкал в руке, положил в пепельницу и зажег. Бумага горела медленно, корчась, извиваясь, пепел взлетал вверх и падал обратно.

Что произошло со мною в этот вечер? Что-то произошло, я чувствовал праздничную приподнятость, осветленность, размягченность души. Жизнь, не такая уж щедрая на благодеяния, преподносит мне дорогой подарок: почему же мне не принять наконец этот дар?..

Я боялся, что она заболит после столь длительной прогулки под моими окнами. Но она не заболела, утром, как обычно, ждала меня в метро.

— Пожалуйста, очень вас прошу, — сказала она, — завтра вечером в семь часов я вас тут встречу, и мы пойдем ко мне. Хорошо? Я приготовлю всякой вкусной еды. Ладно?

Поколебавшись, я сказал:

— Хорошо...

На следующий день вечером в семь часов она меня встретила, и мы отправились к ней.

По мраморной лестнице старого особняка, освещаемой тусклыми лампочками, мы поднялись на третий этаж. На двери одна над другой белели кнопки электрических звонков — штук пять или шесть: квартира была хорошо набита людьми. Я не то чтобы смутился, но замешкался, когда Ирина всунула ключ в замочную скважину: перспектива встретиться с кем-либо из живущих здесь совсем не прельщала меня...

Она поняла мое смущение, сказала:

— Ну что вы! Фиг с ними. Не бойтесь. — И открыла дверь.

Слава богу, в узком коридоре, ведущем в глубь большой квартиры, никого не было.

— Иринушка, это ты? — раздался откуда-то старческий голос.

— Я, баба Юля, я.

— В универсаме завтра, говорят, будут гречку давать, — сообщила невидимая баба Юля.

— Да что вы! — сказала радостно Ирина и открыла дверь в свою комнату.

Это был маленький закуток, крохотное помещение, где стояли кровать, стол у окна, стул. Два человека здесь размещались с трудом. Но на столе... на столе было буйство еды, от одного взгляда на которую рот мой наполнился голодной слюной: я с утра ничего не ел, бедная с заседания на заседание — в роно, гороно, в комиссию по делам несовершеннолетних.

— Вот это да! — воскликнул я. — Взвод солдат можно накормить.

Бедная девочка, она разорилась! Было тесно от тарелок со свежими помидорами, огурцами, салатом, мясным холодцом. Ей явно поль-

стило мое замешательство перед этим столом, она засмеялась, сказала с угрозой:

— То ли еще будет!

Я снял шубу, Ирина унесла ее в коридор и вернулась уже в шерстяном сером платье, которое облегалo ее фигуру, даже некое изящество появилось в этой казавшейся мне угловатой, резкой в движениях девушке.

— Ну что же вы!—воскликнула она.—Садитесь! Будем ужинать.

И когда я с трудом протиснулся между столом и окном и сел, сказала:

— Тесно. Тридцать рублей плачу за эту комнату. Много. Но зато одна, независима. Могла бы, конечно, разменять квартиру бывшего мужа, но это не по мне — споры, ссоры, суды... Пусть живет.

— Вы быди замужем?

Она засмеялась:

— Почему вы удивились? Поженились, когда мне девятнадцать было, приехала в Москву в институт поступать. Всю жизнь изломала: и в институт не поступила и семья не получилась. Он ушел, сказал — я зануда.

Из коридора раздался все тот же старушечий голос:

— Ириша!

— Ау!

— У тебя гость?

— Ага! — радостно сказала Ирина.

— У него пуговица на пальто висит, оторвется.

— Да ну? — удивилась Ирина.— Спасибо, пришью.

— Нитки есть?

— Не надо, баба Юля, все есть... У меня соседи — во! — Она показала мне большой палец.— Заботливые! Во все дырки влезают.— Ира прикрыла ладонью рот, прошептала: — Сейчас она смотрит в замочную скважину. Не бойтесь, посмотрит и уйдет. Невредная старуха, любопытная, повернитесь лицом к двери, пусть разглядит.

Но я не повернулся лицом к двери, а, наоборот, отвернулся, испытывав не смущение, нет, а досаду на себя самого: зачем я здесь? Ирина перегнулась ко мне через стол, сказала, заглядывая в глаза:

— Не бойтесь! И не жалейте, что пришли. Все хорошо.

Она угадала мое состояние, она была проникательна, чувствуя малейшие колебания в моих настроениях, как погоду барометр. Оторвала клочок газеты и заткнула замочную скважину.

Я понимал, что этой невидимой старухи как будто и нет, что она не может мне сделать ничего — ни худого, ни хорошего, ибо не знает, кто я, откуда, и все же она какой-никакой, а свидетель тайного моего свидания с молодой женщиной, которой я гожусь в отцы... Нет, ничего я не боялся — чего мне бояться? — и все же старуха эта сковала мои мысли и движения. Я почти уверен: мои отношения с дочерью Аристарха Безденежных сложились бы иначе, если бы не эта старуха, подглядывающая в замочную скважину.

— Ах, господи, все это трын-трава, ерунда-ерундовина! — воскликнула Ирина.— Давайте есть.

— Давайте,— сказал я, придвигая тарелку и накладывая салат.

— А вот вина у меня нет,— сказала она.— Вы же знаете, папа не признавал вино, считал, что все людские беды от вина.

— Если бы только от вина...

— А от чего же?

— Вы тоже так считаете? — спросил я.

— Нет, я так не считаю. Хотя папа был прав: вино поднимает в людях всю муть, душевную грязь, глушит совесть, порядочность.

Я усмехнулся.

— Разве нет? — спросила она.

— Совесть, порядочность — это весьма растяжимые понятия.

— Не надо,— резко сказала Ирина,— не говорите так даже в шутку. Вы не можете так думать.

Она смотрела на меня, напрягшись, застыв на мгновение, сощурившись, будто увидела что-то неожиданное, удивившее ее.

— Или думаете? — спросила испуганным шепотом.

Какая разница, как я думал, но одно я знал: жизнь — хорошая терка и неизбежно пообломает нравственный максимализм этой девочки. Однако она ждала от меня ответа, и я, засмеявшись, сказал:

— Боже меня упаси думать так. Сейчас я вообще ни о чем не думаю, у меня слюнки текут, я хочу есть...

Она кормила меня превосходной едой, словно бы демонстрировала не только свое хлебосольное гостеприимство, но и кулинарные способности. Она раскраснелась, бегая на кухню, принося оттуда новые и новые угощения, лицо ее было почти счастливым, и я не мог не удивиться перемене во всем ее облике, она была красивой... Если бы не старуха у замочной скважины! Может быть, и даже наверно, старуха давным-давно спала в своей комнате, но я уже не мог ничего поделаться с собой: она будто была здесь, рядом, между мной и дочерью Аристарха Безденежных...

Пришло время расставаться. Ирина принесла мне шубу, оделась сама, но медлила уходить из комнаты. Мы стояли друг перед другом, она, запрокинув лицо, смотрела на меня влажными, умоляющими глазами. Я хотел наклониться, поцеловать ее, но не наклонился, не поцеловал. Ирина сказала, отстранившись:

— Я убью ее! Эту гадкую бабу Юлю! Убью!

— Зачем? Не надо.

— Надо! — прошептала она с тоской и, преобразившись, воскликнула почти радостно: — Господи, я ведь не пришла вам пуговицу. Дайте пришить...

— Не надо, обойдется...

— Ну дайте, пожалуйста, что вы за человек! — со слезами в голосе проговорила она.

И я снял шубу, и она долго, старательно пришивала пуговицу. Алла Дмитриевна сразу увидит, что пришита она чужими руками, и непременно спросит меня, а что я скажу?.. Скажу, что это услужливая тетя Нюра, уборщица, поухаживала за мной...

Наконец мы вышли на улицу.

— Не надо, не провожайте,— сказал я.

— Не буду,— проговорила Ирина почти со злостью.— Чего вы боитесь? Неужели так, оглядываясь, и живете?

Что я мог ответить? Лучше всего было ее не понять, и я не понял ее:

— Как же не оглядываться? Вон сколько машин — сшибут и фамилии не спросят. Идите домой, спасибо, я давно так вкусно и много не ел. Моя мать говорила: на ночь нельзя наедаться, цыган прижится...

— Будем надеяться, не приснится,— сказала Ирина голосом печальным, но и этой печали я постарался не услышать и ушел. Обернувшись, она стояла, смотря мне вслед...

В самом деле, мать пугала меня в детстве цыганом, но никогда за всю мою жизнь он мне не снился, страшный цыган. А в эту ночь приснился.

Он сидел на табурете в поле, усыпанном желто-красными осенними листьями, при галстукке, в джинсах, очень благообразный, вычесывал из бороды репейные колючки и тыкал в меня пальцем, вопрошая: «Что такое; голубок, трансцендентальная теория апперцепции?» Я стоял перед ним, как провинившийся школьник, и трепетал от ужаса — он был страшен именно своей благообразностью. «Не знаешь? — вопрошал он.— А сколько стоят джинсы, знаешь? Что же ты знаешь, серый? Ничего ведь не знаешь». Он был прав, я ничего не

знал, ровным счетом ничего, когда-то знал таблицу умножения, но и ее забыл, начало всех начал, хотя всем своим видом хотел ему показать, что многое знаю, а уж таблицу умножения — в совершенстве. Цыган хохотал, вынимал из-под листьев гитару и визгливо голосом популярной певицы пел: «Арлекино, Арлекино...» «Подпевай!» — кричал он. Но я не знал слов и не мог подпевать. Как рыба, выброшенная на берег, я открывал беззвучно рот. Я хотел ему подпевать, но не знал ни слов, ни мотива, ничего не знал, все забыл, только разевал и разевал беззвучно рот.

Это было так страшно, что я в ужасе проснулся...

Был ранний рассвет, за окном падал тихий снег, я лежал в своем кабинете, на своем диване, полки на стенах ломились от прочитанных и непрочитанных книг, я знал таблицу умножения, слова «Арлекино» я тоже знал, я многое знал, но одного я не знал в то мгновение — отчего охватила меня печаль, щемящая сердце тоска, хоть плачь? Все в моей жизни было уже позади, хотя позади, по существу, ничего не было, даже настоящей любви не было, одни надежды, одно ожидание будущего счастья... «А наше счастье в чем, оно какое?» — сказал поэт.

Однажды утром я проспал все на свете, даже если бы мчался со скоростью курьерского поезда, все равно опоздал бы в школу.

— Проснулся наконец-то! — сказала Алла Дмитриевна, которой добираться до работы не более двадцати минут, и засмеялась.

— Ничего смешного! Совсем не смешно, — сказал я, летая из туалета в ванную, из ванной в кухню, из кухни в прихожую, жуя кусок подгоревшей яичницы. — Почему не разбудила? Соображаешь!

— Не ори! — сказала она. — Думала: тебе позже...

— Отчего это «позже», скажи на милость? Отчего?

Я схватил портфель, выскочил на лестницу к лифту и тут обнаружил, что в пиджаке у меня нет паспорта. Паспорт всегда лежал в правом кармане, а карман застегнут на английскую булавку. Булавка была. Застегнута — вот что удивительно. А паспорта не было.

Ныне я вспоминаю все это происшествие с недоумением, но тогда... тогда я ощутил мгновенный холодный страх, будто подошел к лестничной клетке и увидел, что передо мной пустота, что нет лифта, пропасть, и я отпрянул с ужасом и бросился назад в квартиру.

— Где паспорт? Ты вынула паспорт?

— Какой паспорт? Что с тобой? — Алла Дмитриевна отшатнулась от меня, и я увидел, как лицо ее передернулось от страха. — Сбесилась, что ли?

— Куда делся паспорт? Ты лазила ко мне в пиджак? Ты? — кричал я или шептал, не помню, бегая по квартире, разбрасывая бумаги с письменного стола, шаря на книжных полках, выворачивая карманы в другом своем — сером, новом — костюме, высыпав на пол содержимое портфеля. — Где? Не мог же он провалиться? Это ты! Вечно ты шарить у меня по карманам!

— Я? Шарю? — крикнула Алла Дмитриевна.

— Да, ты, ты!

— Когда я шарила?

— Всегда! Всю жизнь!

— Ты свинья! Я шарю! А?

— У меня пропал паспорт, и я же свинья! А ты... ты...

— Ну, ну? Кто я? Кто? — Она таращила на меня глаза, полные слез.

— Не реви! — сказал я. — Ищи паспорт!

— И не подумаю. Иди, опоздаешь. Уже опоздал. Иди.

— Иди? Без паспорта?

— А что такого? Найдется, если дома, а потерял, то и искать нечего. Иди... Ну что с тобой?

В самом деле, что со мной происходило, не знаю, помню только

чувство страха, которое так и не покидало меня с той минуты, как я обнаружил, что исчез паспорт. Я помнил: вчера вечером он был в кармане пиджака. Был, а сегодня нету. Я испытывал жуткое состояние, словно не паспорт потерял, а нечто несоизмеримо большее. Или я заболел? Да, наверно, заболел. Ноги отяжелели, во рту пересохло. Чувство обреченности я испытывал, тоски, пустоты.

— Эй, дед,— заорал из уборной Платон,— ты чего там потерял?

— Как вы все надоели мне! — сказал я и ушел, хлопнув дверью.

Улица была не такая, как обычно, и я был не тот. Я не могу, мне трудно передать это состояние вины, что ли, которое я испытывал, или страха разоблачения, а может, даже рабской приниженности: случись что со мной, как я докажу, что я — это я? Мне было страшно, я потерял чувство собственного достоинства. Нет, определенно я болен, я понимал, что болен, но ничего не мог поделать с собой. Так я и брел к метро, так спускался по эскалатору под землю, как в преисподнюю, где стояла и ждала меня Ирина.

— Опаздываете, сэр,— сказала она.— Что с вами? На вас лица нет! Что случилось?

— Ничего! — ответил я, и меня осенила внезапная мысль, что с тех пор, как я встретил эту девицу, похожую на лягушку, с тех самых пор со мною происходят невероятные, нелепые вещи, какие-то странные душевные превращения. И сейчас, ощутив к ней злую ненависть, я, наклоняясь к ее лицу, прошипел со злобой:

— У меня, голубушка, исчез паспорт!

Она отшатнулась и даже прикрыла лицо ладонью, сквозь пальцы смотря на меня. Синий глаз ее был полон страха. Или недоумения.

— Паспорт у меня исчез! — повторил я.— Где он?

— Но я-то откуда знаю?

«Все ты знаешь,— хотел я сказать,— все знаешь, будь проклят день, когда я встретил тебя! Ты — ведьма». Но не сказал ничего.

«Что это было? — думаю я ныне.— Какая муха меня укусила?»

И не могу понять.

По перрону шел милиционер, он шел ко мне, он смотрел на меня, и мне хотелось исчезнуть, раствориться в толпе, затеряться. Я весь съезжился внутренне: сейчас он подойдет, спросит паспорт, обязательно спросит — хотя зачем спрашивать? — я чувствовал, он непременно спросит, а что я ему покажу? Тетради своих учеников из портфеля? Что? Что я ему покажу?

Милиционер шел прямо на меня, а я лихорадочно думал, как буду доказывать, что я есть я. Но — о чудо! — он прошел мимо, скользнул по моему лицу взглядом и прошел мимо... И когда он прошел, я в изнеможении прислонился к холодной мраморной стене.

— Что с вами? — испуганно спросила Ирина.— Сядьте на скамейку, ну пожалуйста.

Она не понимала, что со мной. Откуда ей было понять, что я будто бы потерял себя самого, а не паспорт.

— Уйдите,— сказал я.— И не смотрите на меня так: я еще не умер. Идите.

— Но я должна же вам помочь...

— Чем вы можете мне помочь? Чем? Оставьте меня.

Я расстегнул пальто, полез в задний карман брюк за валидолом, но вытащил не валидол, а свой собственный паспорт. Впрочем, я еще не понял, что это паспорт, машинально вытащил, машинально переложил во внутренний карман пиджака и снова полез за валидолом, и тут меня осенило: паспорт нашелся, свершилось чудо. Как он оказался в заднем кармане брюк, я не знал и вспомнить не мог, да и не хотел вспоминать: я снова стал свободным человеком, сам с собой, приобретаю уверенность и душевное равновесие. Даже засмеялся, ощутив нелепость своих недавних страхов. Это опять она, ее, ведьмины, игры...

— Удивительно! — сказал я и постарался улыбнуться, чувствуя, что улыбка не получается, что она, эта улыбка, вымученная, глупая какая-то.

Ирина смотрела на меня то ли с удивлением, то ли с состраданием, не знаю, как определить этот взгляд, который я забыть не могу, в нем были и недоумение, и укор, и испуг, и отчуждение — многое было в ее молчаливом взгляде.

— Нашелся! Спасибо! — сказал я и пошел вдоль перрона.

Я хорошо помню чувство легкости и свободы, которое владело мной в те минуты, я очнулся после долгой болезни и испытывал радость от ощущения полноты и прелести жизни, здоровья во всем теле.

Подождал поезд, я обернулся. Ирина стояла на прежнем месте, смотря на меня все тем же странным, жалким взглядом, — и сама она была иная, не та, что мгновение назад: жалкая, потерянная, с осунувшимся лицом. Она не торопилась заходить в вагон, не двигалась. Я вернулся, спросил:

— Что с вами, милый человек?

— Не знаю... Схватило здесь, — она положила руку на грудь, — не могу вздохнуть...

Определенно что-то со мною произошло, в эти минуты я был великодушен, милосерден, сентиментален. Я жалел ее, испытывал к ней нежность: она была такой же жалкой и больной, как в тот вечер, когда прошагала под моими окнами несколько часов с морожеными бананами.

— Чем помочь вам, милая девочка? — спросил я и, удивляясь себе самому, нагнулся и осторожно поцеловал ее в щеку.

— Зачем же? — проговорила она устало. — Ну зачем? Вы же не любите меня...

Я снова поцеловал ее, испытывая не столько сладость этого поцелуя, сколько ощущение освобождения, которое не покидало меня с того мгновения, как нашелся паспорт: что из того, что я, сидящий человек, целую молоденькую женщину в метро при всем честном народе, что из того?

— Поезжайте, бога ради, — сказала она, — я посижу, поезжайте, опоздаете...

И я уехал, оставив ее на перроне...

Из метро я вышел и шел потом к школе по весенней утренней улице, облитой солнцем, в праздничном, приподнятом настроении. Нет, я не думал так тогда, но, вспоминая сейчас, понимаю, что эта радость была вызвана не чем иным, как все тем же ощущением, что у меня все о'кей, все в полном порядке, все на своем месте. Весенние лужи парили на солнце, веселые воробьи упоенно барахтались в этих теплых лужах, автомобили месили грязь, разбрызгивая ее на прохожих, которые, чертыхаясь, шарахались от края тротуара. И меня обрызгал промчавшийся троллейбус, и я отскочил в сторону и засмеялся. Брюки стали мокрыми, а я засмеялся, и шел дальше, и шарахался от автомашин с легкостью, будто играл с ними в веселую игру; — ничто сейчас не могло испортить мне настроение.

Уже подходя к школе, я вспомнил Ирину, вспомнил, как наклонился к ней и поцеловал — щека ее была холодной, ледяной, словно мои губы прикоснулись к мраморной стене, о которую она опиралась...

На следующее утро я не встретил ее на обычном месте в метро. И на второй день ее не было. И на третий. Неделя прошла — она не появлялась. Я понял: она заболела. И, поколебавшись, навестить мне ее или нет, решил отправиться после работы к ней домой.

Она сама открыла дверь, удивилась:

— Вы?

— Болеете? — спросил я.

— И не думаю. Дел много. Я уезжаю... в командировку.

Она была бледна, лицо осунулось, глаза ввалились.

— Нет, вы болеете, я же вижу,— сказал я.

— Видите? — Она усмехнулась. — У меня болезнь иного рода, ее не видно.

Мы прошли в комнату. Все здесь было почти так же, как в прошлый раз, и в то же время все по-иному, может быть, потому, что не было стола возле окна, отчего пространство этой каморки словно расширилось и каждый звук теперь раздавался гулко и отчетливо. Над кроватью висела большая фотография мужчины с лицом значительным — впалые щеки, нос горбинкой, высокий лоб, крепко сжатые тонкие губы, жесткие, неуступчивые глаза, которые и придавали значительность этому лицу. И хотя я видел Аристарха Безденежных в гробу с иным выражением — человека нездешнего, — совсем не похожего на эту фотографию, я догадался, что это он. Ирина не была на него похожа.

— Извините,— сказала она,— угощать мне сегодня вас нечем. Если только чаю?

Она не предложила мне сесть. Тогда я не обратил на это внимания, но потом, вспоминая каждую мелочь в ее словах и движениях, с горечью отметил и это. От чая я отказался, хотя, наверно, не надо было. Мы оба куда-то спешили. А куда нам спешить? В квартире было тихо, никто не мешал моему душевному покою, как в прошлый раз, никто не подглядывал в замочную скважину, я мог выпить чаю. Наверно, мне надо было остаться, выпить чаю, но я не остался, чаю не выпил. Ушел.

Она спустилась вместе со мной во двор, сказала:

— Спасибо.

— За что?

— Ну, за все... Навестили вот...

— Я приду вас проводить,— сказал я.

— Да? — Она вроде бы даже удивилась. — Я не избалована вашим вниманием, не надо, зачем...

— Приду, Ира,— сказал я, чувствуя какую-то вину перед нею. Хотя в чем я был виноват? Ни в чем. Однако она была права: она не обременена моим вниманием. — Я приду,— повторил я. — Когда самолет?

— В шесть,— ответила она, помедлив,— такси придет в двенадцать.

— Так рано? Зачем?

— Я так люблю,— ответила она. — Я люблю вокзалы, аэропорты...

— Любить можно,— сказал я,— но неразумно: что мы будем делать столько времени?

— Я одна поеду,— проговорила она твердым голосом,— и найду занятие. Я одна поеду... А вам... спасибо вам за все... провожать меня не приходите, не надо. — Она погладила лацкан моего пиджака ладонью, губы ее дрогнули, и, повернувшись, она ушла не оглядываясь.

Провожать ее я пришел. Хотя чуть-чуть не опоздал: такси уже стояло во дворе, а Ирина выходила из подъезда с чемоданом. Я ее не узнал сразу: она была в парике, как тогда, в зоопарке. Другая какая-то женщина. Лицо ее было отрешенным, чужим, не здесь, не со мною оно было, а где-то в ином пространстве, в иных заботах.

— Будьте счастливы,— сказала она, открыла дверцу машины и положила на заднее сиденье чемодан.

— Я провожу,— сказал я.

— Нет, не надо.

Поколебавшись мгновение, она встала на цыпочки, быстро, неловко поцеловала меня в щеку и села в машину. Такси развернулось и поехало со двора, увозя часть моей жизни, оставив на сердце смутную тревогу и печаль.

Теперь я понимаю, что эта тревога и эта печаль были не что иное, как предчувствие беды, предчувствие несчастья, которое не

заставило себя долго ждать и обрушилось на меня так внезапно и так безжалостно.

Я поехал в школу, на работу. Вечером, возвращаясь домой, позвонил из уличного автомата в справочную Аэрофлота.

— Самолет вылетел по расписанию, — ответили мне.

В двенадцать ночи, насладившись телевизионным фильмом о любви двух несчастных школьников, не понятых родителями и учителями (теперь модны такие сюжеты), я проглотил две таблетки димедрола и лег спать.

Спал крепко, безмятежным сном, хотя именно в эти часы, когда я храпел в своей постели, там, за тысячу километров от Москвы, самым нелепым, жестоким образом рушилась моя жизнь.

Утром я проснулся в прекрасном настроении, как обычно просыпался после спокойного сна, обновленный, очищенный от дурных мыслей и настроений. Подергал руками и ногами, постоял на голове, съел яичницу и побежал на работу. Предчувствие беды, которое охватило меня накануне, когда такси увозило Ирину, улетучилось за ночь. Я ехал в метро, потом шагал к школе по весенней улице и думал бог знает о чем. О какой-то чепухе, о разных разностях, о том, что надо сегодня выкупить очередной том собрания сочинений Достоевского, написать заметку в стенгазету о том, кому что снится. С детских лет мне осточертели эти потуги на юмор, эти сновидения, которые я зачем-то сам вызвался сочинять еще сто лет назад, в первом классе, и с тех пор сочиняю уже почти полвека... Как стремительно летит время! Ведь в самом деле, почти половина столетия прошла с того дня, как родители отвели меня в школу. Почти полвека прошло со дня моего незабываемого триумфа, когда я поразил учительницу и весь класс тем, что умел не только читать и писать, но и считать, делить, умножать, складывать в уме любые числа. Я был способным мальчиком, но, признаться, большим лентяем потому, наверно, что учение давалось мне легко, без труда. Мне завидовали многие сверстники — и в школе, и потом, после войны, во время студенчества. Чему завидовали-то? Наверно, умению находить общий язык с людьми, чувствовать себя свободно в любой обстановке, а больше того, наверно, моим успехам: я рано стал завучем, а затем и директором школы. И уж так повелось: что бы я ни делал, чем бы ни занимался, одно было неизменно из года в год — обязанность писать в стенную газету о том, что кому снится. А в то памятное безмятежное и страшное утро сны моих сослуживцев рождались во мне мгновенно, с легкостью удивительной. Я почти бежал к школе, чтобы не забыть, успеть записать, пока они не улетучились из памяти. И только один сон, сон учительницы географии Марии Прохоровны, по обыкновению, никак не придумывался. Со снами Марии Прохоровны у меня всегда происходили сложности: хотелось, чтобы ей приснились всяческие неприятности, гадость какая-нибудь, и я придумывал соответствующие сны, от которых с этой дамой мог бы даже инфаркт случиться, но для стенгазеты такие сны не годились: ими можно было тешить собственную душу, но вывешивать подобные мои мечтания на всеобщее обозрение, к сожалению, увы, нельзя. Учительницу географии Марию Прохоровну я терпеть не мог, но знали об этом я да Алла Дмитриевна и никто больше. Нет, еще Ирина знала — зачем-то проболтался ей. Мария Прохоровна бельмом была в моем глазу, мозолью. Какой она была — очень склочной или очень принципиальной, — я не мог уразуметь, хотя проработал с ней более четырех лет и за эти четыре года изрядно поистратил из-за нее нервы. Чтобы избавиться от нее, я всюду — в роно, в гороно, на всех совещаниях — безудержно хвалил ее, надеясь, что начальство запомнит, какой деятельный работник эта Мария Прохоровна, и повысит ее завучем в другую школу, в другой район хоть кем, хоть директором школы, лишь бы ушла она от меня со своим умением совать

всюду нос. Я даже написал про нее хвалебную заметку в «Учительскую газету», прочтя которую дочь Аристарха Безденежных спросила: «И вы хотите, чтобы такого работника от вас убрали?» «Хочу. Для того и хвалю». «Зачем же хвалить, если терпеть не можете? Это же обман!» «Нет,— я засмеялся тогда,— это стратегия. Мое личное мнение о ней — частное мнение. Этим частным мнением я могу, должен поступиться ради пользы дела. И поступаюсь. Понятно?» «Не очень», — ответила Ирина, не приняв шутку.

Что снится Марии Прохоровне, я так и не придумал, решив, что пусть на сей раз ей ничего не снится, пусть пребывает без сновидений.

Я записал остальные сны и на всякий случай, для самоуспокоения, позвонил в справочную Аэрофлота узнать, когда самолет прибыл в порт назначения.

— Минуточку! — ответил милый женский голосок.

В трубке долго стояло молчание, потом этот же голос торопливо продиктовал мне другой номер телефона, и я услышал короткие гудки.

Страх охватил меня, я не хотел, не мог снова поднять трубку и набрать номер. Но набрал наконец. Было занято. Я звонил туда час, два, три — и не сумел дозвониться: то занято, то никто не отвечал. Справочная давала мне другие какие-то телефоны, но и они не отвечали. А я звонил, все звонил. Ничего еще не было известно, но я уже понял, я знал уже, что произошло несчастье. Нет, быть не может, не надо!..

Мне было лет пять, не больше. Я помню, мы шли куда-то с отцом по улице, и в витрине магазина я увидел аквариум, в котором плавали всевозможные рыбы. Я прижался к стеклу, окаменев от удивления, потому что увидел там самую настоящую золотую рыбку из сказки. У нее был большой кружевной хвост, легкий, как паутина, отливавший золотом, она плыла, и он развевался за нею словно огромный царственный шлейф. Рыбка увидела меня и тоже, как я, прильнула к стеклу. Мы смотрели друг на друга, она разевала округлый рот и — я слышал, явственно слышал! — кричала, умоляла меня взять ее из магазинной неволи к себе домой. «Купи рыбку», — сказал я отцу. Отец не стал, как обычно, говорить, что у нас нет денег, какое, дескать, жалованье у дворника, не стал увещевать меня, что за рыбами надо много ухаживать, а, к моему удивлению, сказал: «Хорошо». И я понял, что эта рыбка и в самом деле из сказки, волшебная золотая рыбка, исполняющая любое желание. Вот и доказательство тому: я попросил купить ее — и отец сразу же согласился.

Теперь дома у нас стоял аквариум, в нем плавали рыбки, и среди них она, золотая. Я прижимался носом к стеклу, она подплывала и что-то шептала, шептала, раскрывая свой круглый рот. Я мог сидеть так часами, глядеть, как она плавно, изящно скользит в воде, то опустится на самое дно, то поднимется, захватит глоток воздуха и снова уйдет в глубину.

Любоваться рыбками приходил соседский кот Джентльмен, который, так же как и я, мог часами сидеть и смотреть на них. Иногда он вставал на задние лапы, и смотрел сверху, и тянулся мордой к ним, и тыкался в воду носом, перевесившись через край аквариума. Рыбы боялись его, и я прогонял кота вон...

Ей было там очень плохо, скверно было моей золотой рыбке, я это знал, она металась по узкому пространству аквариума, тыкалась рыльцем в стекло, подолгу глядела на меня выпуклыми глазами, молила об избавлении.

Однажды ночью, проснувшись, я услышал ее голос, она звала меня. В темноте комнаты слабо светилась лампочка в аквариуме, у поверхности воды стояла золотая рыбка и, высунувшись, печальным, тихим, нежным голосом звала меня. «Мальчик, помоги мне!»

кричала она едва слышно; громче она не умела кричать: она же была мала и у нее не было сил произносить трудные человеческие слова.— Спаси меня, мальчик, выпусти в реку, пожалуйста!» Я откинул одеяло, на цыпочках, чтобы не разбудить родителей, подобрался к аквариуму и сказал золотой рыбке, что спасу ее, пусть она потерпит еще пять минут, пока я оденусь и найду стеклянную банку. «Я отблагодарю тебя, мальчик,— сказала она,— я исполню твои заветные желания. «По рыбьему велению, по моему хотению» скажешь — и исполнится твоя просьба. Спаси меня поскорее». «Сейчас, сейчас», говорил я, одеваясь, ища банку из-под консервов. Нашел, зачерпнул воды из аквариума, поймал сачком рыбку и тихонько-тихонечко выбрался на улицу. Жили мы тогда в Фалеевском переулке, в двух шагах от набережной Москвы-реки.

Я спустился к самой воде, выпустил рыбку, она вильнула золотым хвостом, крикнула: «Спасибо, мальчик!» — и уплыла.

А я вернулся домой, так же тихо и так же незаметно разделся и уснул, и приснился мне страшный сон, что волшебную золотую рыбку выловил из аквариума кот Джентльмен и сожрал, как какого-нибудь обыкновенного караса.

Проснулся я оттого, что кот Джентльмен орал благим матом: мама одной рукой держала его за загривок, прижимая к полу, а другой шлепала по заднему месту и говорила:

— Вот тебе, обжора, хулиган, безбожник!

Я знал, что кот ни в чем не виноват, я пожалел его, прошептал:

— По рыбьему велению, по моему хотению пусть Джентльмен спасется от мамы.

И что же вы думаете? В ту же секунду кот завопил еще громче, вырвался от мамы, сиганул в форточку и исчез. Золотая рыбка не обманула меня.

Потом она исполняла многие мои желания — всякие пустяки пустяковые. Серьезных желаний у меня еще не было, а когда появились с годами, то я уже не верил в сказки и готов был согласиться с маминым утверждением, что это не я выпустил золотую рыбку на волю, что мне приснился сон, а в действительности бедная рыбка была съедена коварным Джентльменом. Я готов был поверить маме, а не себе, но все же не мог, не хотел ей верить, да и ныне не верю, ни во что я ныне уже не верю, ни в какие сказки, а в волшебство золотой рыбки, которую я выпустил на волю, все еще верю.

Когда мне было трудно в жизни, когда тяжело мне было, когда сомнения, или разочарования, или печаль охватывали меня, когда неоткуда было ждать утешения и успокоения, когда одиночество мучило меня или жалость к себе самому от жизненных невзгод и я ощущал себя таким же незащищенным, как в детстве, казавшемся уже нереальным, далекой сказкой,— я звал золотую рыбку, прося ее помочь мне обрести покой, согласие с самим собой и с внешним миром, в котором так нелегко жить; и золотая рыбка приходила на помощь, и согласие наступало.

В ту ночь, казавшуюся последним моим испытанием на земле, когда мы ползли с Анкундином Безденежных, таща друг друга во мраке по глине, я твердил и твердил, чтобы вспомнила золотая рыбка меня и спасла. И она спасла.

Она все могла, моя золотая рыбка,— охранять моих друзей, наказывать врагов, сотворить чудо из чудес.

Помню, нас было трое солдат, мы приползли через линию фронта еще ночью на окраину деревни за языком, но язык не хотел идти к нам. Уже брезжил рассвет, мы лежали в густой пшенице, метрах в десяти от дороги, а за дорогой беззвучно, затаясь, как и мы, тек ручей, куда немецкие солдаты ходили из деревни за водой. Обычно ходили, но в то утро будто знали, что мы ждем их, и отсиживались в избах. Без языка мы не могли вернуться к своим, а возвращаться

надо было давным-давно: ночь, наш союзник, таяла стремительно.

Неожиданно в дали далекой за горизонтом раздался гул машины, он приближался быстро, так же быстро, как уходила ночь. И вот уже виден грузовик с солдатами, мчащийся к нам по заросшей травой дороге через пшеничное поле.

Но потом свершилось то, что я не могу забыть, что вспоминаю с мистическим ужасом.

Грузовик остановился совсем недалеко от нас. Совсем рядом. Мы замерли. Застыли. Окаменели, боясь обнаружить себя. Из кабины выпрыгнул юный офицер, весело крикнул что-то, солдаты охотно ответили ему смехом, стали выпрыгивать из кузова. Их было много, человек двадцать. Не двадцать, а двадцать пять, я сосчитал, я помню, что их было двадцать пять молодых, крепко сбитых парней, охваченных веселым возбуждением.

Офицер построил их по пять человек в пять рядов. Мы никак не могли понять, зачем он их так построил и что они собираются делать здесь, посреди пшеничного поля. Он построил их, резко крикнул что-то, первые пять солдат шагнули вперед, расстегнули ширинки на брюках и, гогоча, стали мочиться. Они орали, играли струями, моча лилась из них бесконечно, стегая высокие хлебные стебли.

Наконец первый ряд исыка, на смену шагнули вперед еще пять солдат, расстегнули ширинки по команде своего юного офицера и с новой силой, уже не смеясь, а злобясь, ожесточаясь, обрушили на землю новый поток мочи. Их сменил новый ряд, затем другой, третий, четвертый — это было не простое действие людей, исполняющих естественную потребность организма. Нет, это был злой ритуал: они мочились на русскую землю, казнили ее, глумились над нею, кривляясь, гогоча, плюясь, выкрикивая ругательства. Они сбесились от своей затеи, им нравилась такая бессмысленная и такая жестокая казнь чужой земли. Полоска мокрой пшеницы, казалось, обуглилась на наших глазах.

— Будьте вы прокляты,— шептал я в бессильном ужасе,— чтоб вы сдохли. Сдохли.— Я вспомнил золотую рыбку и сказал заветные слова:— По рыбьему велению, по моему хотению пусть они сдохнут все.

Немцы взобрались в грузовик почти пьяные от своей затеи и помчались к деревне. И вдруг на мосту через широкий овраг машина заскользила на мокрых досках и рухнула вниз...

Языка мы не взяли в тот раз, мы ушли и уже ползли через немецкие заграждения к своим при ярком дневном свете, под ожесточенным огнем. Но, право же, это было не так страшно — ползти на виду через минное поле, как то зрелище, которое мы только что видели...

Давно, давным-давно я не вспоминал золотую рыбку. А если и вспоминал когда, то неизменно убеждался, что ее волшебство стало бессильно противостоять неизбежной закономерности жизни. И сейчас кого я молил? Ее? Или бога, в которого — увы! — так же не верил, как не верил и в детскую сказочку про золотую рыбку? Но, право же, я готов был поверить во что и в кого угодно — в бога, в черта, в рыбку, в дьявола, в ангела-спасителя, во что угодно, лишь бы не произошло того, что, видимо, произошло. Если самолет разбился, то пусть произойдет чудо и дочь Аристарха Безденежных останется живой. «По рыбьему велению, по моему хотению...» — твердил я.

Если бы я хоть во что-нибудь верил, но я давно ни во что не верил, и потому мольба моя не была услышана ни богом, ни рыбкой, ни дьяволом, никем. Через два дня я узнал, что самолет разбился и все пассажиры погибли.

Эта весть раздавила меня. Ее не было, а я должен жить, как всегда... Утром, идя на работу, спускаясь по эскалатору в метро, я поймал себя на том, что ищу ее глазами. Это стало уже привычкой. Каждый раз, когда я видел ее с эскалатора, сверху, с запрокинутым

лицом, напряженно всматривающуюся в толпу, ищущую меня в движущейся толпе, радостно преображавшуюся, когда наши взгляды встречались, я большей частью испытывал досаду. Искал ее глазами, ждал ее и все же тяготился встречей с нею.

Но в то утро равнодушная толпа обволакивала меня, толпа колыхалась в вестибюле пестрая, безликая, суетливая, и не было в ней маленького стержня, улыбочивого пятнышка, того центра, вокруг которого многие месяцы все двигалось, кружилось.

Я спустился в шумный вестибюль и сразу ощутил это состояние потери — мне не хватало ее, улыбки на ее лице, своей досады, своей неловкости оттого, что улыбающаяся девочка льнет ко мне, смотрит на меня с откровенной влюбленностью. Не хватало, наконец, взглядов пассажиров, рассматривающих нас с определенной заинтересованностью. Никто сегодня не обращал на меня внимания, я был для этих людей никем, ничем, я был для них и не был, существовал и не существовал. Я мог спокойно двигаться, читать газету или не читать, сидеть или стоять — никто не обращал на меня внимания, словно я потерял свое лицо, свою индивидуальность, которая еще недавно заставляла этих людей вглядываться в меня и в мою юную спутницу.

Я ждал поезда. На платформе было шумно, и в то же время этот единый сплошной шум лишился какой-то ноты, какого-то одного живого звука.

Уборщица разбрасывала опилки и сметала их в маленькие кучки широкой метлой. Она отодвинула урну для мусора и запричитала над нею. За урной лежали трупики двух воробьев, Кольки и Лельки, залетевших сюда, на станцию «Проспект Мира», еще поздней осенью с холодной улицы. Кто их так прозвал — Колька и Лелька, — не знаю, но так звали их все постоянные пассажиры и все служащие станции, подкармливавшие воробьев крупой и хлебом. Каждое утро у последнего вагона кольцевой линии, направлявшегося в сторону Новослободской, лежала горстка пшена и блестела лужица воды, а воробьи сидели на люстре, раскачивающейся от ветра из туннеля, и кричали нежными голосами. Оттого, что они здесь, оттого, что живут и чирикают под землей, становилось просветленнее, однако жизнь здесь хоть и на просторе, но в той же неволе — и они погибли вместе в один день, забившись за мусорную урну.

Уборщица подняла их за тонкие лапки, бросила в ведро с опилками и унесла. А я сел в поезд и поехал своей дорогой.

Только теперь, когда ее не стало, когда ничего не осталось в мире от нее, одно имя, я понял, что значила для меня эта девочка. Я был ранен второй раз в жизни. И, наверно, та — фронтная — рана зажила быстрее и легче, чем эта, сделавшая мир вокруг меня пустым и никчемным. Никогда я не думал, что все, что я пережил за этот год, так прирастет ко мне, станет почти главным в моей жизни. Да и что главное — те долгие годы, которые я пробегал по земле до встречи с нею, или этот единственный год, вернувший мне молодость? Судьба жестоко наказала меня за то, что я не понял неценного подарка, ниспосланного мне. Сейчас меня окружала пустота, вокруг витало слово «смерть», и всюду, везде, всегда я неосознанно приглядывался к женским лицам, в каждом из них ища и находя ее черты.

Нет, внешне ничего не изменилось ни во мне, ни в моей жизни — все те же педсоветы, те же заседания в роно, в горно, сообщения в Доме учителя, по-прежнему я верчусь, функционирую, произношу привычные слова — и никому не ведомо, как трагически кончилась моя вторая, тайная жизнь. Только проницательная Алла Дмитриевна видит, что я не живу, а болею, и беспокоится, и советует сходить то к одному врачу, то к другому, то пичкает настоями всевозможных трав.

— Ты заработался, — сказала Алла Дмитриевна, — нервишки пошаливают, надо лечить нервишки.

И однажды заехала за мной на такси в школу, решительно сообщила, что узнала адрес одного старого врача, который вылечивает похожие недуги. Я не стал возражать, сел в машину, и мы помчались куда-то на окраину Москвы.

В старом деревянном доме жил старик-старичок, врач-исцелитель. Он вышел на крыльцо нас встречать, и, увидев его, я ощутил, как мурашки пробежали по телу: передо мной стоял, протягивая ко мне руки, мой давным-давно умерший отец. Да, это был он и голосом и обликом, постаревший за долгие годы нашей разлуки,— мой отец, который никогда не умирал во мне, хотя я и забыл его, живя своей жизнью.

— Иди сюда, сынок,— сказал он, протягивая ко мне хрупкие, старые руки.

Я припал к ним и сразу почувствовал покой на душе, забвение всех своих забот и волнений. Я чувствовал себя ребенком, маленьким мальчиком и в то же время уставшим, стареющим человеком, прошедшим по долгой дороге жизни и вернувшимся к своим истокам. Блудный сын в рубище, усталый сердцем, обманувший себя самого, я наконец-то возвратился в отчий дом... Седой, дряхлый, всепрощающий отец гладил меня по — увя! — тоже уже седеющей голове.

— Кто тебе сказал, сынок,— говорил он, — что я все могу? Все болезни в нас самих.

Мы прошли с ним в дом, оставив Аллу Дмитриевну во дворе. В большой комнате было пусто — стол стоял, кровать, вот и все. Пахло тут теплыми, прогретыми на солнце сосновыми бревнами. Старик принес табуретку, усадил меня.

— Отдохни, успокойся...

Он сел на кровать напротив и, щурясь и улыбаясь, смотрел на меня с той самой отцовской открытой улыбкой, которую я тут же вспомнил, и ощутил, и ужаснулся, потому что память воскресила во мне то, что я забыл. Эта отцовская улыбка, слегка смущенная, даже виноватая, всегда раздражала меня. Я стыдился отца, его необразованности, неумения выражать свои мысли, косноязычия его, стыдился того, что он всего-навсего дворник, не сумевший добиться никаких жизненных благ, стыдился и того, что он даже со мною держался почти с подобострастием, как держался со своим начальством.

...Он даже умер с этой виноватой, извиняющейся улыбкой, стыдясь, что доставляет мне хлопоты, ибо я был так занят важным делом: сдавал выпускные экзамены за десятый класс в школе, сидел, решал задачи по геометрии. Он вошел со двора, сел на диван, сказал, тяжело дыша:

— Сынок, водицы бы, а? — И посмотрел на меня тоскующим, извиняющимся взглядом.

Я принес ему воды, от него пахло луком, он любил лук, крошил его во всякую еду, и потому от него всегда исходил запах лука, резкий, неприятный, смешанный с запахом махорки. Он выпил воду, отдал мне чашку и сказал:

— Учись, сынок, учись...

— А я что делаю? — ответил я, сердясь, и вернулся к своим занятиям.

Я решал задачи, а он тихо умирал за моей спиной, боясь нарушить мою сосредоточенность. Так и умер без звука, без стопа, тихо, не помешав мне...

От старика тоже пахло луком и табаком, но запах этот не казался мне скверным, наоборот, этот запах был дыханием жизни.

— Ты ждешь награды? Зачем? — спросил старик. — Ты еще не понял, что стать героем может любой при особых обстоятельствах? Ведь велик только тот, кто велик в своей ежедневной обыденной жизни. Зачем тебе награда?

— Какая награда? — воскликнул я. — Я не жду никакой награды.

— Ждешь,— сказал старик,— не обманывай себя. А ведь награды без наказания не бывает, и счастья без несчастья не бывает, и жизни без смерти тоже не бывает.

Я почти не слышал его слов, потому что слушал его голос, забытый голос отца, вдыхал запах лука и табака, возвращаясь в давно ушедшее время; с тоской думая, что в прошлом уже ничего нельзя исправить, и ничего нельзя вернуть оттуда, и никогда уже мне не вымолить прощения у тех, кто ушел из этой жизни.

— Иди, сынок,— сказал старик.

Мы ушли. Алла Дмитриевна совала ему какие-то деньги, но он не взял.

— Мне ничего не надо, все у меня есть...

Ощущение просветленности и покоя долго, многие дни не оставляло меня. Время приносит забвение и исцеление от всех бед и всяческих болезней. Время бежало, прошел год, и та пустота, которую я чувствовал как зияющую рану, тоска и печаль, охватившие меня, ушли, растаяли, как туман...

Наверно, я так бы и дожил свой век, вспоминая этот стремительный год, в котором зажглась и погасла, промелькнула Иринина жизнь как случайный эпизод, как печальное происшествие. Наверное. Если бы снова не поехал в Заволжье, на свою и ее родину.

Я остановился в том старом доме, где останавливался прошлый раз, отдохнул с дороги и, хотя были уже сумерки, пошел искать дом Аристарха Безденежных.

Память не подвела меня, дом этот я нашел быстро. Окна и двери были забиты досками. Калитка, ведущая во двор, тоже была заколочена. Однако стоило мне посильнее толкнуть ее, как гвозди со скрипом, со стоном поддались и калитка открылась, пропуская меня на заросший высокой травой двор.

Здесь, в этом доме, в этом дворе, она выросла, тут неведомый мне Аристарх Безденежных качал ее на ноге как на качелях, подбрасывая к небу, и она визжала от восторга и сладкого страха. Нет, это не ее, это меня подбрасывал мой отец в давние-давние времена, и не здесь, а в московском душном дворе. Мы были тогда еще едины, я и мой отец...

Я отодрал доски от двери, легко отодрал и вошел в дом. Там стоял мрак, только сквозь щели заколоченных окон длинными тугими полосами пробивалась лунная, мертвенная пыль, пахло сыростью. Я зажег спичку, увидел стол посреди комнаты, покосившийся шкаф, от которого исходило тихое шуршание, словно бегали в нем тараканы. А может, и бегали?.. Спичка погасла, и тьма стала еще гуще, еще жутче. Я споткнулся обо что-то мягкое, мне даже показалось, что-то живое шевельнулось у моих ног, и замер, испугавшись. Снова зажег спичку и увидел на полу истлевший тюфяк. Выругавшись, я пхнул его, и в лицо мне ударило пылью, грибной плесенью. Старый, истлевший тюфяк...

Дом был мертв. Все в нем было мертво, пропахло тленом... Зачем я вошел сюда? Мне было и жутко и печально. Дом погибал, погиб уже без своей хозяйки. Паутина обвила мне лицо, она приклеилась к моим губам и щекам, я не мог ее отодрать, она стянула лицо, как маской. И вдруг я ясно услышал женский голос: «Кто тут?» То ли с улицы, то ли из глубины дома, из самих его стен женский голос испуганным шепотом вопрошал: «Кто тут?» — а я молчал, окаменев от ужаса: это был Ирин голос, это она спрашивала меня. Я боялся шевельнуться, но ноги не держали меня, и я опустился на трухлявый вонючий тюфяк, напрягшись, призвав себе на помощь весь здравый смысл, понимая, что не может быть того, чего не может быть, и в то же время чего-то еще ожидая. Чего? Голос не повторил больше своего вопроса. Наваждение ушло, но ощущение жути осталось: я слы-

шал ее голос, явственно слышал и ошибиться не мог, приняв чей-то другой голос за ее.

Я сидел на тюфяке, все тело мое зудело, чесалось, но я не решался пошевелиться, да и не мог: руки и ноги сковало холодом. Тьма была, лунная полоса отбрасывала слабую тень от забитого окна. Крестообразная тень эта лежала на полу возле моих ног. Будто в сырой, холодной могиле я сидел, погребенный здесь заживо, паутина, которую я так и не смог отодрать, заклеила мне рот.

Наконец я сумел встать и осторожно, боясь собственных шагов, на цыпочках пошел к двери, во двор, шатаясь, выполз на улицу...

Я долго спал, а когда проснулся, день уже был в разгаре, солнце стояло высоко, и казалось, что ночью мне приснился страшный сон, не наяву это было — могильная темнота Ириного дома, вонь трухлявого тюфяка, настроженный шепот: «Кто тут?» — и ужас, который я испытал.

Моя хозяйка из большой, тяжелой лейки поливала огород. Она в этом году не поехала в Белоруссию на могилу сына. Может быть, и поехала б, если бы знала, что я намереваюсь к ней приехать, но я и сам не знал, приеду ли сюда. Да и теперь не знал, зачем приехал. В самом деле, зачем?

Хозяйка поливала огород, возле сарая петух гонял кур, на заборе сидела кошка, лениво смотрела на их суетливую беготню. Я умылся во дворе за домом из ручьейника, охая и ахая от холодной колодезной воды. Здесь в огороде была превосходная колодезная вода, та самая живая вода, возвращающая к жизни даже мертвых.

Ночной кошмар рассеялся, все, что случилось, было игрой ночного города, сейчас же, днем, я знал: даже самого дома Ирины, зачлоченного досками, может вообще не оказаться, а вместо него будет стоять винный или табачный ларек или будка Союзпечати.

Интересно, сохранился ли ларек «Пиво—воды» на Инженерной — Советской улице? Или его не было, как, может быть, не было и дома, где будто бы умер мой однофамилец Владимир Васильевич Махонин? Неужели я на самом деле верил в таинственные метаморфозы этого городка, живущего двойной жизнью — ночной и дневной? Не во мне ли самом эти метания кривды и правды, темноты и утренней свежести, старости и молодости? Не во мне ли они?

Я не сразу нашел дорогу к Инженерной улице, память подвела меня, я поплутал по городу, но наконец увидел знакомый ее изгиб, тихие домики с расписными наличниками окон, полынь возле заборов, чугунные тумбы водоразборных колонок, пустые скамейки рядом с калитками. Собаки лаяли где-то в глубине дворов, я не видел их, и они не видели меня, но шаги, наверно, слышали и предупреждали меня, что они на страже, справно несут свою службу...

Дом № 27, который, как я помнил, стоял здесь только ночью, а днем вместо него возвышалась облепленная мухами пивная палатка, был на месте, сейчас, в середине дня, облитый солнечным светом. За забором змеилась в глубь сада дорожка, посыпанная желтым песком, благоухали розы, на густых старых яблонях наливались яблоки, за садом виднелся дом, терраса, в раскрытых окнах ветер шевелил занавески. Я толкнул калитку, она не скрипнула, поддалась легко, и песок под моими ногами не зашуршал, когда я ступил на дорожку. Я шел по ней беззвучно, и когда уже почти дошел до дома, женский голос спросил:

— Вы что-то ищете?

Я обернулся. В тени яблонь, прикрытая их мощными ветвями, сидела в знакомом мне кресле-качалке старая женщина в голубом халате, и вся она была голубая, руки, истонченные старостью, тоже были голубыми, под тонкой, прозрачной кожей виднелись сплетения голубых сосудов, и волосы ее отливали голубизной, и глаза ее не выцвели с годами, они светились синевой.

— Нет,— сказал я,— то, что я потерял, уже никогда не найду.

— Ну что вы,— она засмеялась легким, непринужденным смехом,— нет ничего такого, чего нельзя снова найти.

— Извините,— сказал я,— мне хотелось взглянуть: ведь в этом доме жил когда-то Владимир Васильевич Махонин.

— Почему же «жил»? — спросила она.— Он и сейчас живет. Физическая смерть разве забвение? Вы знали его?

— Нет... Но я тоже Махонин Владимир Васильевич.

Она пристально посмотрела на меня, без любопытства, но изучающе, заинтересованно.

— Что же, смотрите, молодой человек.

— Спасибо.

— За что же, помилуйте! — воскликнула она.

— За «молодого человека».

— А разве нет? Или я и вам кажусь дряхлой развалиной?

— Ну что вы! — сказал я.— Вы дама средних лет, приятная во всех отношениях.

В самом деле, она была стара, и в то же время старухой ее не назовешь. Благородная стать была в ее облике, в осанке, движениях, голосе, в живых глазах.

— Мне, голубчик, восемьдесят два года. Я знаю то, чего не знала раньше: не существует ни молодости, ни старости. Есть болезни, есть усталость души. Старость — это душевная усталость, усталость мысли, чувств. Молодость и старость неотделимы, они вместе живут, как утро и вечер, правда и неправда, страх и отвага. Мне восемьдесят два года, молодой человек, я и стара и молода. Владимир Васильевич и умер и живет. А иначе и быть не может: чтобы познать счастье, надо изведать несчастье. Принимая жизнь, надо принять и смерть. Не так ли, друг мой? Ну идите, идите в дом...

Я поднялся на знакомую мне террасу. Ничего в ней не изменилось за много месяцев — на столе стоял самовар, в высокой вазе цветы. Открытая дверь вела в длинный коридор, в конце которого виднелась другая дверь.

Я толкнул ее, она скрипнула, и распахнулась, и вывела меня на другое крыльцо с другой, противоположной стороны дома. Я увидел неогороженный пустырь, подступавший прямо к стенам дома, палатку «Пиво—воды» вдалеке и бочки, бочки вокруг нее. Эта улица, куда я сейчас вышел, была почти точной копией той, на которую дом № 27 обращен фасадом. Действительно, чудес не бывает: в прошлом году я блуждал, значит, по разным улицам, принимая их за одну и ту же. Ха-ха, вот и все чудеса и все сказки. Все объяснимо. Как жаль, что уже нет сказок! Впрочем, не рано ли я отрекался от сказок?

Я вернулся по коридору на террасу, в сад, где сидела в яблоневой тени старая голубая дама, верящая в то, что только тот мир реален, который, как расхожая монета, имеет две стороны, и обе натуральны, обе настоящие, обе одновременно — и день и ночь, и утро и вечер, и старость и молодость.

— Спасибо,— сказал я.

— На здоровье, голубчик,— ласково проговорила она.

И все-таки почему в этом городе, и только тут, где я когда-то родился, именно тут охватывают меня ощущение тревоги и неясные какие-то томления, похожие на угрызения совести, что ли, хотя мне не в чем ни укоряться, ни совеститься? И только тут я вспоминаю о том, что давно не был на могиле родителей. Так ли я занят (занят, конечно, занят), чтобы в течение многих лет не найти времени поклониться праху отца и матери? Куда-то всю жизнь бегу и бегу и не могу — или не хочу? — остановиться; и все вокруг меня тоже торопятся, спешат, словно опаздывают на поезд. Она тоже спешила на самолет и погибла... Зачем я снова приехал сюда? Не знаю...

Я шел к Ирениному дому, где пережил ночью столько страха.

Дом стоял заколоченный, у калитки росли чертополох и полынь — печальная, мертвая картина. Рядом с этим домом, с одной и с другой стороны, жили живой жизнью соседские дома: дым валил из трубы одного, ребенок играл со щенком, урчала свинья, девушка полола грядки в огороде другого дома. Я не видел ее лица, но изгиб шеи, плечи, пучок волос на затылке напомнили мне Иру — все молодые женщины были похожи на нее, во всех девичьих лицах я находил ее черты, и эта всей фигурой напомнила мне ее...

Я стоял, смотрел, она почувствовала, наверно, мой взгляд, выпрямилась, Ирининым знакомым жестом поправила волосы и обернулась...

Это была она, Ирина.

Нет, я не ощущал ни страха, ни удивления. Это странно, невероятно, но я и в самом деле не испытал того, что, кажется, должен был испытать человек, увидев перед собой живым того, кто был мертв. Я окаменел, даже сердце не дрогнуло, стоял и смотрел на нее.

— Ну что вы смотрите так? — сказала она. — Это я, я. Здравствуйте.

Я не мог двинуться. Да, это была она. Воскресшая? Или никогда не умиравшая? Я еще не понимал, что произошло, но знал уже, что обманут. Как, каким образом, почему обманут — не в этом суть, всему найдется объяснение, и это ощущение прежде всего было во мне, а не удивление, не радость встречи с нею. Я себя пожалел за то, что пережил так много и так попусту.

— Бог мой, ну что вы так смотрите? — воскликнула она. — Это я, честное слово.

А я никак на нее не смотрел, я и видел ее и не видел, я себя оплакивал. Что я мог ей сказать? Ничего я не сказал, прошел мимо, едва держась на ногах от ощущения не радости, а несчастья, обрушившегося на меня. Да, в самом деле, даже признака радости, что она жива, что смерть ее — это какое-то наваждение, недоразумение, не мелькнуло у меня. Слезы душили меня, я себя оплакивал, то потрясение, которое испытал, старый дурак, узнав о ее гибели, те чувства, владевшие мною потом все время, постоянную душевную неустроенность, словно я был виноват в ее смерти. Ведь если тогда живую я не сумел ее полюбить, то мертвую в своих воспоминаниях почти любил. «Что произошло, как, каким образом она жива, невредима, если самолет погиб?» — эта мысль даже не мелькнула у меня. Я шел, едва переставляя тяжелые ноги, она была жива, а я — мертв.

Я был выпотрошен, опустошен и, добредя до дому, свалился на постель не раздеваясь и заснул. Проснулся уже в темноте, выпил стакан молока из погреба, но не остудил сухость во рту, то болезненное горение, которым был охвачен, как при высокой температуре.

В ночной полутьме я сидел на крыльце без мыслей, без чувств, то ли дремал, то ли в самом деле был болен...

На улице раздался шаг. Я не то чтобы узнал их, я скорее почувствовал, что это она идет. И в самом деле увидел у калитки в свете фонаря Ирину. Она вошла во двор, села рядом со мною на крыльце. Она молчала. И я молчал.

— Ты же мертва, тебя нет, — наконец зло сказал я. — И это не ты, а ведьма, привидение. Ты — оборотень?

— Не надо, — проговорила она хрипло. — Зачем так? Не надо меня оскорблять.

— Какие уж тут оскорбления! — воскликнул я. — Я восхищен! Я спрашиваю: ты — оборотень?

— Самолет сделал посадку в Энске, сказали — на три часа, я уехала в город погулять, вернулась — он уже взлетел на моих глазах и на моих же глазах загорелся, упал и взорвался. Все погибли. А я осталась одна. Чуть с ума не сошла. Я бежала из аэропорта, все документы мои остались в самолете. Хотела вернуться в Москву и даже купила билет и поехала, но в дороге решила, что в Москве мне нечего делать. Добралась сюда, хотела дом продать, не нашла покупате-

лей, забила окна, двери, отправилась все же в Москву. Уволилась. Получила документы. Вы хотели, чтобы я исчезла, вот я и исчезла... Вы ходили сегодня ночью в моем доме? Вы?

— Я ходил, я... Но почему ты не спросишь, что я испытал, узнав о твоей гибели? Зачем ты так жестоко солгала мне?

— Я не лгала,— помолчав, ответила она сухим, жестким тоном.— Наоборот, я ушла от лжи...

— От лжи? — воскликнул я.— От какой лжи?

— Господи! — жалобно сказала она.— Не надо! Я и улетала-то тогда и в Москву не вернулась, потому что объясниться не хотела, не могла. И сейчас не надо. Вы не поймете меня. Простите. Я вас любила, очень любила...

— Спасибо.— Я усмехнулся.

Однако слова ее пробудили то, что жило во мне в глубине души. А может, самолюбие мое было задето? Но я понял, что далеко не равнодушен к этой девочке. И теперь, потеряв ее и снова обретя, я испытывал одно только желание — дотронуться до нее, прикоснуться, забыться, прижавшись к ней... Что называется любовью — не знаю, но, может быть, все, все, что я пережил, почувствовал возле нее за весь этот год — и раздражение к ней, и неприязнь, и редкий покой вечерних прогулок, и сияние ее глаз, смотрящих в мои глаза, и потрясение от ее гибели,— все то, что я никак не хотел называть любовью, на самом деле и было любовью.

— Благодарю,— повторил я,— но за что же ты так со мной?

— Не надо,— сказала она,— я же говорю: я убежала, чтобы не объясняться...

— Почему? — Я взял ее руку, уткнулся лицом в ее ладони, пытаясь поцеловать их.— Ира, девочка моя, почему?

Она мягко, но настойчиво отстранилась.

— Все потому,— сухо сказала.— Не сотвори себе кумира — это правда. Я любила вас слепо, а потом — как, сама не знаю! — прозрела, что ли.

— Объясни, я ничего не понимаю! — воскликнул я в отчаянии.

— Не знаю, простите, пожалуйста, не знаю, не могу ничего объяснить... Вы единственный человек, которого я любила в своей жизни. И не знаю, полюблю ли кого-нибудь так... Я ничего не могу объяснить. И не хочу. Не надо объяснений. Вы тяготились мною. Я ушла. Зачем же вам мои объяснения?

— Что ты мелешь? — сказал я, разозлясь.— Заманивала, заманивала меня в свою западню и когда заманила и я уже висел на крючке, как глупая рыба...

— Как кто? — спросила она, и в ее голосе была усмешка.

— Рыба,— почти заорал я,— глупая рыба! Есть такие, в воде живут. Карась, окунь, щука, нототения! Зачем ты устроила эту комедию? В чем я виноват перед тобою? Говори! — Я схватил ее руку и сжал так, что даже моим пальцам, впившимся в ее тело, стало больно.

— Мне больно!

— Говори! — повторил я, почти ненавидя ее в это мгновение.

— Ну зачем же так? Зачем? — Она выдернула руку и, отстраняясь от меня, заговорила быстро, сердясь, распаяясь с каждым словом: — Вы хороший, добрый, мягкий человек. Но слабый. Думаете одно — делаете другое, улыбаетесь тем, кого ненавидите. Или не так? Так, так. Плывете, плывете по течению не оглядываясь... Я придумала вас. Войну прошли, ничего и никого не бойтесь, рыцарь без страха и упрека... А вы... Во что-нибудь вы верите?

— Бред какой-то! — воскликнул я.

— Нет, не бред,— сказала она, в голосе ее были слезы.— Вы хороший человек, но почему у вас в жизни двойная бухгалтерия? Да, конечно, так многие живут, я сама такая. Но разве в этом утешение?

Я ушла, потому что не могла это сказать вам, сил не было, да и какое право я имею говорить вам такое.

Все, что она говорила срывающимся голосом, почти не трогало меня, потому что ко мне не относилось. Это она не обо мне говорила, а о другом каком-то человеке. Конечно, была в ее словах какая-то малая, мельчайшая доля правды, но эту мельчайшую частицу правды с таким же успехом можно приложить к миллионам других людей. Ей ли судить мою жизнь? Я уже прожил свой век, и прожил добропорядочно, ее молодой максимализм — пустое толчение слов. Живя с другими людьми, надо приспособливаться к ним. А как иначе? Я никогда не обидел в своей жизни, не оскорбил, не нажил, слава богу, врагов...

Впрочем, нет, ее слова задели меня. Задел ее шепот: «Я разлюбила вас», в этом все дело — «разлюбила». Если быть до конца честным с собой, то, конечно, ее любовь не нужна мне, мне хватало воспоминаний, и все же это жесткое «разлюбила» было как удар, как пощечина. А все остальное — слова, слова, в которых так мало смысла...

На улице в пустой, гулкой тишине громко заблеяла коза, и над забором появилась рогатая морда, поймала яблоневую ветку, торопливо стала сжевывать с нее листья.

— Ах, господи! — воскликнула Ирина. — Откуда взялась, Андромеда? Я ее целый день ищу, — сказала она и побежала к калитке. — Домой, душа пропащая, домой!

Но коза была проворнее, она отщипнула последний лист и побежала вдоль улицы, слышалось только глухое постукивание ее копыт.

— Ну, заяц, погоди! — крикнула Ира, устремляясь за нею...

Я вернулся в дом, лег и, хотя думал, что не смогу заснуть до утра, заснул тут же, сразу же, как только голова коснулась подушки.

Куриное радостное квохтание разбудило меня, курица ходила под окном и орала, хвастаясь, что снесла яйцо, я прогнал ее, бросив в нее спичечным коробком. Было веселое, солнечное утро, недавно прошел дождь, влага испарялась с деревьев, с травы, радуга-дуга висела в небе. С крыши в бочку капала вода, плюхалась капля за каплей — тук-тук, по сырой земле ползли сытые черви, куры лениво охотились за ними. Петух застыл возле лужи, из клюва у него висел, изгибаясь, длинный червь, ни проглотить его, ни выплюнуть петух никак не мог.

Благостное утро, и на душе у меня было благостно. Душа была охвачена радостью всепрощения. Я не обижался уже на Ирину. Зачем мне на нее обижаться? Я простил ее, я старался ее понять, хотя и не мог понять. Глупая девочка, она не права, нет. Что она наговорила? Как жестоко и несправедливо судила меня. А за что? Я человек, я такой, как все, как многие. Она не ошиблась во мне, она не поняла меня. Главное же — понять человека. Ничего нет легче и ничего нет труднее — понять человека. Я знал, мне нужно объясниться, я должен с ней объясниться, я простил ее за те страдания, которые она принесла мне, моя прошлая боль не столь уж и велика теперь.

С этими чувствами я и пошел к ней. Меня встретила ее соседка, та самая женщина, с которой мы хоронили Аристарха Безденежных.

— Ой, а ее нету! Уехала. Раненько сегодня подхватила и укачала. Кто же ее знает куда? Приехала дом продать, покупатель нашелся, не продала, «пусть так живут» — сказала и фью, ускакала.

..Я никогда больше не видел ее, она сбежала, куда — не знаю.

Годы идут, жизнь катится к своему пределу, фронтовая рана от вражеской пули давным-давно зажила, но ранение, которое нанесла мне дочь Аристарха Безденежных, ноет и ноет, а чем его лечить, не знаю... Слова ее жгут меня... Отчего я так часто и так смутенно вспоминаю их? Время бежит, бежит, а я не могу ее забыть.

Неужели я люблю ее? Нет, не люблю. Или ненавижу? И не любви нет у меня.

Тогда что же?..

И. ГРЕКОВА

★

ВДОВИЙ ПАРОХОД

Повесть

1

Мой муж был убит на фронте в самом начале войны. Мы оставались в Москве. «Мы» — это я, моя мать-старушка почти без ног и моя дочь Наташа четырнадцати лет. Какое-то оцепенение помешало мне действовать. Эвакуироваться вовремя мы не успели, а потом, в суматохе, было уже поздно. Впрочем, мне предложили одно место в машине, отъезжавшей на восток со двора незнакомого учреждения; все спешили, по воздуху летали документы из какого-то развешанного архива. Одно место? Разумеется, я отказалась. Потом заколебалась: «Отправить Наташу?» — и сразу же: «Нет, не отдам». Машина уехала. Обо всем этом я рассказала дома, сомневаясь в правильности своего решения. «Все верно, — сказала мама, — погибать, так вместе». Она вообще бодрилась, была суха, подобранна, много вязала, шевеля спицами где-то у самого уха и летящими губами считая петли. Наташа, та вообще ничего не понимала, пела по утрам, завязывая банты перед зеркалом; меня ужасало, как легко она пережила смерть отца. Теперь я понимаю, что для нее вообще жизнь была нереальной, а тогда мне подчас хотелось ее ударить.

Одним словом, мы остались на месте, так было легче — ничего не предпринимать. Жили как бы по-старому в нашем старом доме, в старой квартире с высокими закругленными окнами, выходившими во двор, где мирно висело разноцветное белье и какая-то нежная провинциальность оплетала плющом балконы. Работы у меня не было. Я продавала на барахолке кое-какие вещи и тут же покупала или выменивала кое-какую еду. Осень шествовала вперед, уже по утрам руки покусывало морозом, плющ побагровел и усох. Жизнь формировалась, в городе восстанавливался порядок, пошатнувшийся было в дни поспешной эвакуации. Выдавали карточки, заботились о затемнении, мальчишки искали шпионов, сигналивших врагу с чердаков вспышками света. Я сама однажды видела такую вспышку, мигавшую ярко и загадочно. В магазинах иногда появлялись ненормированные продукты, странные, например крабы и шампанское. За ними выстраивались очереди, люди посмеивались: за чем стоим? Одну такую очередь я выстояла, после этого мы всю ночь ели крабов и пили шампанское, а Наташа тренькала на гитаре. В этом ночном празднестве было что-то глубоко нечестивое. Время от времени налетали немецкие самолеты, их я не боялась, я вообще ничего не боялась, была как-то уверена, что худшее в нашей семье уже произошло и ничего больше произойти не может. К тому же налеты случались сравнительно редко и их последствия на огромном лице города были почти незаметны. Развалины убирались, и на их месте быстро разбивался сквер. В горо-

де властвовали азростаты заграждения — гигантские колбасы, днем ведомые под уздцы девушками в военной форме, а вечером поднимавшиеся сторожами в чуткое небо. В их пузатом спокойствии было что-то надежное: спите, люди. Голос из репродуктора, привычно скандировавший знакомые слова: «Граждане, воздушная тревога», уже не пугал, мы под него не спеша одевались. Бомбоубежище было не в нашем доме, а в соседнем, через двор, мне все казалось, что мы занимаем в нем чье-то чужое место. А мама беспомощна, и таскать ее туда было мученьем. Да что долго объяснять? Так или иначе, в убежище мы ходить перестали.

Однажды поздно вечером после отбоя вновь объявили тревогу. Наташа подняла голову с подушки и сказала с досадой: «Мама, опять тревога? Ух как они мне надоели!» — а я ответила: «Ничего-ничего, спи, доченька». Это были последние слова, которые мы друг другу сказали, потому что как раз в эту ночь наш дом был разрушен бомбой. Мама и Наташа погибли, а я — нет. Как говорится, чудом уцелела. Чудом ли? Скорее это было одно из тех обратных чудес, чудес зла, автор которых — сам дьявол. У меня был перелом позвоночника, ноги и обеих рук. Как ни странно, я была в сознании. Помню тяжесть навалившегося кирпича, какую-то дверь, косо и страшно вставшую над мной, мысль: «Мама? Наташа?» — мысль: «Конец». Когда меня вытаскивали, я кричала: «Осторожнее!» — потому что берегла руки.

Потом был промежуток полного беспомыслия. Первым ощущением, которое я осознала, была непомерная тяжесть, именно тяжесть, а не боль. Мне представлялось, что это все еще был кирпич, который почему-то не разбирали. Только много позже я поняла, что это был не кирпич, а гипс. Он окружал меня со всех сторон, я была в нем замурована, заключена. Кроме тяжести, я ничего не чувствовала. Я была слепа. Меня окружала темнота, не безлично серая, а огненно-черная, что могло означать одно: я слепа. В черноте иногда вспыхивали искры, звездообразные взрывы света. Они были подвижны и катились всегда в одну сторону. В какую-то минуту я раскрыла губы и сказала: «Мама? Наташа?» — но ничего не услышала. Я была глуха.

Так, в глухой темноте шло для меня время без времени, отмечаемое только сверканьем катящихся искр; они появлялись через регулярные промежутки, измерить которые я не могла, знала только, что они регулярны и образуют четкий рисунчатый ритм. Искры сами по себе были очень красивы, они чем-то напоминали живых существ, может быть, морских звезд, но неумолимость, с какой они катились всегда в одну сторону, была не от живого мира.

Зрение вернулось ко мне раньше, чем слух. Через некоторое неопределенное, но очень долгое время я увидела свет. Он брезжил, колеблясь и как бы сомневаясь, в водянисто-серой комнате, похожей на аквариум, потому что в воздухе-воде над моим лицом висела большая белая рыба. Я открыла рот, чтобы сказать все то же: «Мама? Наташа?» — и опять ничего не услышала. Белая рыба встрепенулась, махнула хвостом и на большой скорости промчалась мимо. Вместо нее появилась другая, но оказалось, что это не рыба, а белая косынка медицинской сестры. Под косынкой на бледно-желтоватом, слегка отечном лице светились внимательным удивлением большие глаза. «Значит, я в больнице и не слепа», — подумала я и посмотрела вдоль себя в сторону ног. На койке лежало нечто белое, очень большое, что по занимаемому месту должно было быть мной, но не было, а ощущалось как посторонняя тупая тяжесть. Мне вливали в рот что-то теплое, не имевшее вкуса.

Сознание возвращалось ко мне постепенно, но не равномерно, а толчками. Несколько позже света стал возникать звук, тоже искрами, взрывами, вначале болезненными. Однажды я открыла глаза и увидела, что возле меня сидит моя подруга и плачет. Плач был громкий и напоминал икание. «Мама? Наташа?» — спросила я и услышала собствен-

ный голос, резкий, как крик. Моя подруга ничего не ответила, но по ее лицу я поняла, что они погибли. Я была вся в гипсе, с ног до головы, и не могла ни биться, ни двигать руками, ни себя уничтожить. Опять мне что-то вливали в рот. Вернулись беспомощность, чернота. Кажется, я заклинала ее стать вечной. Сознание приходило, мигало и пропадало опять. Душевная боль не была постоянной, она возникала взрывами и тогда была нестерпима — казалось, что она разорвет изнутри гипс.

После того я еще год провела в больнице, и врачи боролись за мою ненужную мне жизнь. За этот год воля к смерти, очень сильная вначале, успела во мне погаснуть. Ее заменила ненависть к гипсу, желание уничтожить уже не себя, а гипс. Потом стал появляться, вспыхивая и опять пропадая, интерес к законному миру. Он был доступен вначале лишь боковому зрению, но чувствовалось, что он велик и прекрасен. Потом, когда мне освободили шейные позвонки и я уже могла поворачивать голову, законный мир открылся во всю ширину и оказался в самом деле велик и прекрасен. Там шевелились ветки, падал дождь, гуляли голуби. Все это было свежо и ярко, много ярче, чем в обычной жизни. Я, например, никогда не видела таких синих голубей. В дальнейшем эта яркость слегка померкла, но в какой-то мере сохранилась и до сих пор. Иногда меня поражает, скажем, яркость дождя.

Итак, я уже могла поворачивать голову. Теперь я уже хотела поправиться, если это возможно. Оказалось, что это возможно. В один прекрасный, насквозь солнечный день сплошной гипс заменили на облегченный, ликующе-легкий, почти невесомый. В этот день я брталась с мухами, невесомо летавшими по солнечной палате. Прошло еще время, и вот я уже могла сидеть на койке, владеть руками, есть. Еда, скудная в те времена, занимала в жизни людей большое место, что трудно понять тем, кто не голодал. Принятие пищи превращалось почти в обряд. Я удивлялась, что с трепетом жду раздачи обеда, но трепет был. Шаркали шаги, гремела посуда, появлялась санитарка в разношенных тапочках, с янтарными голыми пятками, начиналась раздача. Я ела. Потом я спала — долго, запоем, как спят грудные.

Когда меня выписывали, оказалось, что подвижность рук частично утеряна, а это означало еще один конец — по профессии я пианистка. Впрочем, этот конец мало значил рядом с другими. Пожалуй, я не была по-настоящему талантлива. От таланта мне досталась только свирепая совесть, заставлявшая меня без конца упражняться, днем — на рояле, ночью — впустую, барабани пальцами по колену, и яростное недовольство собой, а этого мало. Мне дали третью группу инвалидности и выпустили в жизнь. Помню, как я ее встретила, выйдя из ворот больницы, как стояла, бестолково глотая воздух, убитая солнечным светом, а моя подруга держала меня под локоть.

Первые недели прожила у нее. Но это не могло продолжаться вечно. Я стала хлопотать о жилплощади. «Зачем тебе это нужно? — говорила подруга. — Оставайся, живи у меня». Нет, этого я не могла. Стыдно сказать, она меня раздражала. Она впала в какой-то экстаз самопожертвования, была говорлива, вздорна, много плакала и словно требовала того же и от меня. Но я не могла плакать — то, что во мне было, не сводилось к слезам... А ее деспотические заботы! От них можно было с ума сойти. Как, например, она кричала на меня в подлинном гневе за то, что я вышла на улицу без шарфа. Как будто он что-нибудь значил, шарф. Как будто сама я что-нибудь значила. Как будто что-нибудь значили мы все, бесполезные перед лицом того огромного, что происходило в мире... Радио она не слушала, газет не читала, вся погрузилась в испуганную суетню. А когда мы обедали, она внимательно делила еду на неравные доли, всегда стараясь подсунуть мне ту, что побольше, а я возмущалась, и начиналось смехотворное перебрасывание тарелками... Нет, мне надо было иметь свой угол, свои четыре стены, чтобы жить.

В райсовете довольно скоро мне выделили комнату, освободив-

шуюся то ли за выездом, то ли за смертью жильцов. Комната оказалась небольшая, еще уменьшенная своей стройной продолговатостью, с высоким, смугло задымленным потолком. Окно выходило на задний двор, где стояли рядами голубые мусорные баки, а на их фоне шествовал, осеняя себя хвостом как флагом, ярко-оранжевый кот. Все это увиделось мне прекрасным, особенно закатный солнечный свет на огненной шерсти кота. От прежних жильцов в комнате оставалась кровать, брошенная, очевидно, за непригодностью: сетка прохудилась и кое-где была грубо стянута веревками. Я присела на кровать, сетка подалась, закрипела. Железная полоса под коленями была восхитительно холодна. Да, мне все это понравилось, хорошо бы и на будущее сохранить эту пустоту, простоту и яркость. Я не хотела обзаводиться вещами. Говорят, корабли, обрастая ракушками, теряют ход. Я не хотела терять ход, хотя идти мне было некуда. И все же какой-то легкий ход мерещился мне как благо. Кстати, нелюбовь к вещам осталась у меня навсегда.

Моя подруга дала мне самое необходимое: стол, стул, матрас, одеяло, кое-что из посуды, из носильных вещей. Она хотела бы дать больше, всю меня осыпать подарками, но я не брала. Помню нелепый спор из-за приземистого предмета, который она называла козеткой, — мне так же мало хотелось впустить его в свою комнату, как паршивого пса. Подруга настаивала, я решительно сказала: «Лучше умру» — и опять она плакала, а я нет. Теперь я жалею, что не взяла.

Нам предстояла разлука: вскоре моя подруга должна была уехать к замужней дочери куда-то в Сибирь. Она страшилась отъезда и, говоря о нем, снова и много плакала, а я была черства. Мне бы понять ее тревогу, ее усталость, ее предчувствия... Слезы текли по ее маленьким, похудевшим щекам. Записывая для меня свой адрес, она надела очки, и по ее постаревшему лицу я поняла, что обе мы уже немолоды. На прощанье она сунула мне пачечку денег и сказала: «Отдашь, когда сможешь». Этих денег я ей так и не вернула, потому что вскоре она умерла. Я не знаю, где ее могила, растут ли на ней цветы и какие. Я пыталась выслать свой долг ее дочери, но перевод вернулся с пометкой: «Адресат выбыл». Этот невозвращенный долг до сих пор меня мучает рядом с другими долгами и винами, которым нет числа.

Моя подруга уехала, и я осталась совсем одна. Ни родных (все умерли), ни товарищей по работе (все разъехались), ни даже соседей по дому (дом разрушен, и на его месте разбит сквер). Прежде подпирали заботы: свои заботы о ком-то и чьи-то заботы о тебе. Слово «беззаботный» обычно сопровождает представление о счастье. А на самом деле до чего неприятна, неприкаянна жизнь без забот! Прошло много времени, пока я к ней приспособилась. Первое время я даже не могла готовить еду: мне казалось диким кормить самое себя.

Деньги, которые мне оставила моя подруга, подходили к концу. Пора было поступать на работу. О прежней профессии, конечно, и думать было нечего — с этим я примирилась безропотно, кто знает, может быть, с тайной радостью, что больше не надо изводиться отсутствием таланта... Мне было все равно, где работать, но что я могла, что умела? Для физической работы я не годилась. Для умственной? Тоже скорей всего нет...

— Какое у вас образование? — спрашивали меня.

— Консерватория... — отвечала я, стыдясь. — По классу рояля.

— Играть можете?

— Нет.

— Что же с вами делать, товарищ? Подумаем. Заходите еще.

Они думали, а я заходила еще и еще, но работы не было. Я была как просительница, кланяющаяся на бедность. После отказа (а это всегда был отказ, хотя и отложенный) я дрожащими руками собирала свои вещи: мешочек с хлебом или картошкой, суковатую палку-кляку, су-

мочку со справками, заменявшими мне документы. Нередко справки падали на пол, я их собирала, страдая от собственного калечества и жалости окружающих, иногда выражавшейся в том, что они начинали сидя суетиться и двигать руками. Потом я заматывалась шалью и уходила не оборачиваясь, боясь, как бы мне не предложили денег за нищий взгляд.

Так прошло несколько месяцев. Я начала уже терять надежду, как вдруг мне предложили работу! Да, настоящую работу, музыкальным воспитателем в Дом ребенка.

— А что такое Дом ребенка?

Мне объяснили: это вроде детского дома, только для самых маленьких, от рождения до трех лет. Говоря популярно, вроде яслей.

«Популярно говорил» мой работодатель, инспектор по художественному воспитанию, огромный детина, ражий до ужаса, с рыжими волосами в ноздрях. У него было дел выше головы, на столе сотни бумажек и разные дыроколы. Говоря со мной, он ритмично постукивал карандашом.

— Ну как? Все ясно?

Я колебалась. Предложение испугало меня, всколыхнуло всю бездну моей неуверенности в себе. Ничего я не знаю, не умею. И все же это была работа, а работать было необходимо, чтобы жить. А жить надо было непременно, неизвестно для чего, но надо! Никогда еще я не была так жадна на жизнь. Меня радовал, меня страстно интересовал мир со всеми своими подробностями: лиловым асфальтом улиц, бегучими дымами в небе, зеленой прошлогодней травой, лезущей из-под грязного снега грубым символом бессмертия... А живые существа: кошки, голуби, дети со своей занятостью и тайной! Не надо это понимать так, будто я забыла свое горе. Нет, горе было во мне, горе было свято, но жизнь привлекала меня безмерно...

Карандаш стукнул весьма решительно.

— Жду ответа. Устраивает это вас, товарищ Флерова?

Стук означал: не задерживай. Даже он, этот ражий, был мне интересен.

— Устраивает, но... боюсь, не справлюсь.

— Пустяки! «Чижик-пыжик, где ты был?», — пропел он фистулой. — Ну как? Сыграете «Чижика»?

Я поглядела на руки, пошевелила пальцами. Пальцы двигались.

— Пожалуй, сыграю.

— Тогда заметано. Даем направление в Дом ребенка. А вы не тешитесь. Повеселее, повеселее, мамаша!

Кажется, впервые в жизни меня назвали мамашей, а было мне тогда неполных сорок лет. Потом называли по-всякому — и мамашей, и бабушкой, и бабусей. Даже бабой-ягой. Ходила я с палочкой вроде клюки, спина согнута, мальчишки бегали за мной и кричали:

— Баба-яга, костяная нога!

Ко всему привыкаешь.

Дом ребенка, куда мне дали направление, помещался в окраинном переулке, в одном из тех, где Москва перестает быть Москвой, где вылезает из-под ее облика глубокая, глухая провинция. Там стоят, развесив ветви, старые, дуплистые деревья, под ними уютятся покосившиеся пятнистые домики, серо-лиловые, как всякая обветренная, мытая дождями древесина. На окнах домиков данью времени кое-где сохранились крестообразные бумажные наклейки — наивное средство, будто бы сохранявшее стекло во время налетов, — ими очень увлекались в начале войны. А сейчас было начало весны — слабое, солнечное начало; пахло землей, мокрыми ветками, будущим. Я шла переулком, опираясь на свою клюку, и меня радовало, как гибко и свободно идет от колонки женщина с ведрами, как плавно похаживает на ее плече ко-

ромысло, роня светлые полновесные капли. На деревьях целым кагалом картаво орала какие-то птицы, должно быть грачи. Нищая, весенняя прелесть домиков, бумажных крестов, грачиных гнезд трогала надеждой, обещанием жить. Радиорупор на углу передавал что-то бодрое о положении на фронтах; под ним стоял, задрав голову, старик в обтрепанных валенках, и его борода сквозила на солнце.

Дом ребенка, в конце переулка, за высоким забором, тоже весь насторожился в ожидании жизни. В саду меж подтаявших, рябо почерневших сугробов парами ходили по дорожкам под присмотром воспитательницы очень маленькие, очень тихие дети. Они были одинаково скромно и бедно одеты в казенные ватнички. Дом был каменный, двухэтажный, в кольце террас, сплошь затканых плющом, голым, усохшим за зиму, но жадно желающим жить. Когда я подходила к дому, меня поразил тихий хор маленьких плачущих голосов, доносившийся из одного крыла сквозь раскрытые форточки. Женщина в белом халате с бадейкой в руке вышла из дома. Я спросила: «Что это?» — разумея тихий хор.

— Грудные плачут, — ответила она. — Ну, это так говорится — грудные, а где ихние груди? Матерей нет — кто погиб, кто бросил. Наши все искусственники, на смесях растут. Рахит замучил, но ничего, боремся. А вам что надо, мамаша?

У нее было нежное, полное, желтоглазое лицо, чуть оттененное пушком у выпуклых губ.

— Мне заведующую, — сказала я, — меня, знаете, сюда направили на работу.

Женщина засмеялась и махнула бадейкой, указывая, куда мне идти. Это могло означать: тоже, работников посылают... «Нет, не возьмут, — подумала я, — кому я тут нужна со своим «Чижином?»»

В сенях стояли батарейкой бутылочки с сероватым молоком, аккуратно заткнутые ватными тампонами. Дверь в кабинет заведующей была открыта. Я вошла. Заведующая, очень немолодая, со складками заботы на желтом лице, считала на счетах. Я положила ей на стол свое направление.

— Сейчас, — сказала она, продолжая считать. — Не десять рук. Бухгалтер больна. А я здорова?

Мне было трудно стоять, я села. Щелк-щелк — говорили счеты. В окно светило солнце. Тонкая разрезная тень от плюща осторожно двигалась по столу, по желтым рукам заведующей. Хора грудных отсюда почти не было слышно, он звучал еле-еле, слабой музыкой жалобы, нотой печали. «Нет, не возьмут, — снова подумала я, — слишком здесь хорошо».

Заведующая кончила считать, отодвинула счеты и взяла мое направление.

— Арифметику знаете?

— Плохо, — ответила я, спешно припоминая таблицу умножения.

— Вот как и я. Дважды два еще знаю, а более высшего — нет. Мне грамотные сотрудники ох как нужны. Рабочие руки требуются. А кого присылают? Только что не в гробу.

Я встала, собираясь уйти. Мешочек, сумочка...

— Постой, не лотошись! — прикрикнула она. — Я не со зла, это у меня плач души. Надо же мне поделиться! Не делишься, не делишься — и лопнешь.

Я молчала.

— В мое положение тоже надо войти. Няnek нет. Нюрка на завод возмечтала, не сидитя ей, штопор в заднице. Слесарей нет, ведра все прохудились. Молока не допросишься, суют суфле. А от суфле какой рост? Я им говорю: «Дети, говорю, расти им надо». А они: «У всех трудности». Подавись они своими трудностями, тьфу! Все одна, кругом одна, помощников нет. С ума сойду, прямо в психическую, под душ Шарко.

Я молчала. Все правда, мне остается уйти.

— Не входишь в положение. Ну ладно, возьму. Ставка есть. Не козу же брать на эту ставку.

Так меня приняли в Дом ребенка на ставку музыкального воспитателя.

Странная была эта должность, эта ставка. И почему она существовала? Загадка. Казалось бы, рассуждая по разуму — война, всего не хватает, мало молока, мало хлеба, а тут — музыка. И вот поди ж ты, тоненький культурный ручеек, кем-то и когда-то задуманный, струился себе и струился, помогал жить... В Доме ребенка имелся даже рояль — старенький, глубоко расстроенный, но со следами чистого, благородного тона. Я взялась за работу. Первым делом надо было позвать настройщика. По этому поводу мне пришлось выдержать баталию с нашей заведующей Евлампией Захаровой. По ее мнению, звук был очень даже хорош. Но я подавила ее авторитетом, сославшись на свое специальное образование (вообще-то я редко о нем вспоминала). Отыскался и настройщик, замшелый старик, очень словоохотливый, который все время спрашивал: «Вы меня узнаете?» — разумея под этим: вы меня понимаете? «Узнать» его было довольно трудно по запутанности его мыслей, но одно было ясно: за работу он требовал бутылку. Опять бой с Евлампией Захаровой, которая вместо бутылки давала чекушку, то есть четверть литра. Старик был непреклонен, и через неделю заведующая сдалась. Откуда она достала бутылку — неизвестно. Эта женщина была хозяйственным гением, могла что угодно добыть, обменять, выклянчить. «Если б знать арифметику, я бы далеко пошла!» Одним словом, рояль был настроен. Я села за него со страхом. Руки, руки. Но они кое-как слушались. Я сыграла несколько пьесок из «Детского альбома» Чайковского. Когда-то, очень давно, я их разучивала, сидя у рояля с бантом в косе, мечтая о воле, о дворе, о «казаках-разбойниках», а меня заставляли играть, заставляли... Тогда я ненавидела музыку, словно предчувствовала, что ничего из меня не выйдет... «Болельщик куклы», «Похороны куклы»...

— Ничего, — сказала заведующая, — бывает хуже. Все-таки инвалид.

— А «Катюшу» можете? — спросила Нюра, та самая полнолицая техничка, которая тогда, в первый день, махнула на меня бадейкой. — Я «Катюшу» сильно обожаю. Услышу — и плакать.

Я кое-как по слуху подобрала «Катюшу». Нюра заплакала.

— Все-таки что значит образование, — сказала она, кончив плакать. — Рожу сына — обязательно в консерваторию отдам.

Так началась моя вторая музыкальная жизнь. В каком-то смысле она была удачнее, чем первая. Понемногу, день ото дня я становилась бойчее, начинала дерзать. Я не только играла — я пела! Детские песенки я извлекала все оттуда же, из глубин своего детства с бантом в косе. Вот эту песенку пела мне няня, эту — мама...

Никогда я не думала, что маленьким детям так нужна музыка! Они впитывали ее, как сухая земля пьет воду. Даже самые маленькие, грудные. Когда был музыкальный час для грудников, их высокие белые крашенные железные кроватки, плоско застеленные, без подушек, вкатывали в зальце, где был рояль. Грудные плакали, жалуясь на судьбу. Но как только я начинала играть, они замолкали и слушали. Их молочно-синие глаза глядели неопределенно-загадочно, наблюдая что-то недоступное людям, находящееся, может быть, даже у них за затылком. А некоторые поднимали крохотные ручки с розовыми лучиками пальцев и играли ими как будто в такт. Те, что постарше, ползунки, понимали еще больше. Они стояли в своих манежиках на слабых, гнущихся, еще не ходящих ножках и, цепляясь за перильца, так и тянулись к песне. Лучше всего было, когда они все вместе начинали петь, робко и нестройно гудя. Это ползунковое

тение всегда трогало меня — не скажу до слез, слез у меня не было, но до раздирающей внутренней дрожи. А старшие, ходячие — года по полтора-два, — как они жадно толпились вокруг рояля! Дети были бледненькие, рахитичные, ножки колесиком, по сравнению с домашними малоразвитые. Многие из них не умели говорить, объяснялись знаками и птичьим щебетом... Но тут они оживлялись, повизгивали, каждый норовил стать поближе, уцепиться за мое платье. А какой-нибудь один — самый смелый, самый взрослый — дотягивался до рояля и трогал клавишу пальцем. Возникал звук. «Музыка», — говорила я, и они лепетали за мной трудное слово. Для них музыка была чудом, да она и была чудом. Рояль кряхтел, мои ограниченно подвижные руки двигались непроворно, и все же это была музыка, как будто играла не я, а она сама, великодушно прощающая мою неумелость...

В Доме ребенка понемногу ко мне привыкли. Иногда я помогала Евлампии Захаровне с арифметикой. Хороши были мы обе! А иногда, оставаясь после работы, я сопровождала няням, поварихам, а они пели. Положительно хороший голос был у Нюры, не голос, а колокол. В хоре он не просто выделялся, а царил, создавая другим богатырский фон. «Вам бы учиться, Нюра!» Она только рукой махала. Она мечтала пойти на фронт, в крайнем случае — на оборонный завод, но оставалась, жалея детей и заведующую, которую терпеть не могла, но все же любила. У этой Нюры был вообще парадоксальный характер. Страстная законность и презрение к закону. Она не была замужем, но решение родить сына было в ней твердо: «Познакомлюсь и рожу».

В общем, своей работой я была довольна. Зарплата моя была маленькая, меньше, чем у технички, но мне хватало. По должности мне полагалось питание, и я возвращалась домой с баночкой супа.

3

Домой...

Работа работой, а у человека должен быть дом, куда он возвращается, снимает рабочее платье, надевает халат, живет.

Дом, куда меня поселили, — большой и мрачный, шестизэтажный, построенный где-то в начале века с потугами на стиль модерн, весь извилистый, с лилиями по фасаду. Теперь он был запущен и одичал, облупился; лифт не ходил, штукатурка отваливалась, во дворе валялись обломки лилий. В квартире, кроме моей, было еще четыре комнаты: в трех жили три женщины, по одной на комнату, а четвертая, запертая, пока пустовала — ее хозяйка, Громовы Федор и Анфиса, были на фронте.

Со всеми этими людьми, соседями по квартире, выпало мне жить, и стали они мне теперь как новая семья — одна из тех, что складываются не по выбору, а по суровому случаю. Прежде ведь и женились-то не по выбору, а по сватовству, и ничего, жили. А для меня-то, вдвойне одинокой, это была единственная возможная форма семьи — если бы не она, я бы не вытянула...

Соседи мои пока были: Капа Гущина, Павла Зыкова (все ее звали Панькой) и Ада Ефимовна. Вижу я их всех такими, какими встретила впервые: не старыми, но и не молодыми. С тех пор прошло много лет; конечно, мы все изменились, но я изменений не замечаю, и по-прежнему мы все не старые, но и не молодые. Все так же черны гладкие Капины волосы (разве появились две-три сединки), все так же стройны ломкие Адины ноги. Пожалуй, Зыкова с годами еще отошала и в ее перманенте больше стало седого сена, но по-прежнему она груба и энергична и по-прежнему стоит за правду, как ее понимает.

Капа Гущина, Капитолина Васильевна, тогда работала ночным сторожем (теперь пенсионерка). Низкая, полная, книзу широкая, как

шахматная фигура. Ходит плавно, неслышно, на суконном ходу. Мобы не признает, всегда на ней несколько юбок почти до полу — может быть, потому, что ноги кривы. Лицо, впрочем, миловидное, яблочное. Говорит на «о». Очень религиозна, любит церковь и все божественное: похороны, свадьбы, крестины. На старости лет мечтает уйти в монастырь, «да нет их теперь, монастырей-то, истребили, как клопов дустом». Была замужем два раза, оба мужа умерли.

Ада Ефимовна — бывшая опереточная артистка, давно потерявшая голос и покинувшая сцену, но на всю жизнь преданная искусству; пошла в билетерши, лишь бы не расставаться с театром, с его огнями и бархатом. По сцене ее фамилия Ульская, по паспорту — Заяц; это ужасно, она до сих пор краснеет, когда почтальон приносит ей пенсию и приходится расписываться так неприлично. В сущности, некрасива: нос утюжком, щеки из мягких выпуклостей, но какое-то «черт меня побери» безусловно есть. Улетающий шарфик, отставленный мизинчик, пышная юбочка. О себе говорит уменьшительно: «болит головка», «озябли пальчики». Картавый голосок с изъянцем, на манер жаворонковой трели. Картавит не только на «р», но повсюду: «милая» звучит у нее как «мигая», с таким мягким, придыхающим «г». Сентиментальна, добра, смешлива. Смеется так, словно ее щекочут и она согласна; глаза при этом становятся луночками и почти исчезают. Была три раза замужем; третий муж (кажется, он-то и звался Заяц) умер, два первых живы, поют.

В комнате дальше всех от парадного входа, темнее и неказистее всех (наверное, бывшей людской) живет Панька Зыкова, Панька-монтер, тогда и теперь монтер, должно быть, до самой смерти монтер: время ее не берет. Высокая женщина-полумужчина, вся из грубых сочленений: кажется, у нее не два колена, а десять. Когда ходит, от нее ветер по комнате. Свирепа и справедлива, чужого не возьмет, своих прав не уступит. Меня возненавидела с первого взгляда, но что-то есть в этой ненависти горячее, откровенное, привлекающее больше, чем пустое равнодушие. Была замужем, муж умер. Говорить о себе Панька не любит, сведения о ней ходят стороной, главным образом через Капу, которая все знает.

Когда я еще только поселилась в квартире и никого из соседей толком не знала, Капа Гущина спросила меня:

— Муж есть?

— Погиб на фронте.

— Значит, вдова?

— Вдова.

Капа насмешливо, но с каким-то удовлетворением хмыкнула:

— Здрасьте. Еще одну прислали. Теперь у нас полная команда. В каждой комнате по вдове. Прямо не квартира — вдовый пароход.

«Вдовый пароход, — повторяла я, вернувшись к себе. — Вдовый пароход». В этих словах было что-то завораживающее. Какое-то неспешное, неуклюжее движение. Часто я не спала по ночам, глядела в свое голое окно, за которым падал дождь или шел снег и в любое время года качался фонарь со своей тенью. Мне казалось, я чувствовала, как движется вдоль времени неизвестно куда вдовый пароход со своей командой.

Прошло много лет, и до сих пор мы вместе и всё куда-то плывем на вдовьем пароходе.

Живя так долго вместе и рядом, нельзя оставаться чужими, и мы не чужие. Между соседями возникает своеобразная родственность, отнюдь не любовная, скорее сварливая, но все же родственность. Они ссорятся, оскорбляют друг друга, срывают один на другом свою нервную злобу. — и все же они семья. Заболеешь — соседи купят что надо, принесут, чайник согреют. Умрешь — соседи похоронят, помянут, выпьют.

Про каждую из своих соседок я так много знаю, что возникает иллюзия прозрачности, как будто их души видны сквозь тело. Я не могу уже отдать себе отчет, откуда я про них столько знаю: то ли сами они мне рассказали, то ли рассказали о них другие, то ли я сама себе это вообразила. Так или иначе, каждую из них я вижу с пронзительной ясностью снаружи и изнутри. В последнем я скорее всего ошибаюсь: внутренний мир каждого человека сложнее, чем может представить себе другой. Но я стараюсь. Неотвязное влечение переселяться в других людей. Иногда мне кажется, что я потеряла свои глаза и смотрю на мир попеременно чьими-то чужими глазами: то Капиными, то Панькиными, то глазами-луночками Ады Ефимовны. А чаще всего — серыми глазами Анфисы, которую я любила больше всех и больше всех была с ней близка. Анфиса Громова была мне вроде сестры — богоданной, судьбоданной, — хотя и ссорились мы жестоко и подолгу были почти врагами. Теперь она умерла, а мы, остальные, выжили. Хотя в ее смерти как будто бы меня обвинить нельзя, все же я вины с себя не снимаю.

Анфисы Громовой тогда еще не было с нами. Она вернулась осенью сорок третьего года.

С той мучительной ясностью зрения чужими глазами, изнутри людей, которая, может быть, меня обманывает, я вижу, как она вернулась.

День осенний, сумрачный, подслеповатый. Дождь. Анфиса, крупная в своей длинной шинели, грязью забрызганной по подолу, стоит у подъезда. Из-под нелепой маленькой пилотки свисают на щеки прямые мокрые волосы. Вещевой мешок за плечами, так называемый сидор, горбит ее и старит. Она не решается войти в подъезд и вместо того глядит на воробьев, скачущих по лужам смирно и молча, словно больные дети. Ей воробьев жалко. Большой, грязно-желтый, известково облупленный дом кажется ей чужим, будто и не жила она здесь никогда. Постояв у подъезда и пожалев воробышков — просто так, чтобы оттянуть время, — она вздыхает, отворяет дверь, которая тяжело бухает противовесом, и начинает подниматься по лестнице. Идет она трудно и медленно, как старуха. Лямки сидора режут плечи, особенно левое, возле ключицы, где в прошлом году ранило. Она останавливается на площадке и опять вздыхает.

Приехала.

4

Стоя на площадке третьего этажа перед собственной дверью, Анфиса и узнала ее и не узнала. Почтовый ящик вроде бы новый, с замком — при ней такого не было. Новый список жильцов приколот кнопками по углам. Звонить: Зыковой один раз, Гущиной два, Ульской три, Флеровой четыре раза. Никакой Флеровой Анфиса не знала и встревожилась: не ее ли комнату, часом, отдали? Она позвонила два раза, Гущиной. Никто не отзывался. Она — еще два. За дверью зашевелились, цепочкабрякнула, и знакомый голос спросил:

— Кто там?

— Свои, — ответила Анфиса.

— А кто свои-то? Свои-свои, а пальто сопрут в одночасье.

«Вот оно как на гражданке живут, друг другу не доверяют, — подумала Анфиса, — на фронте лучше».

— Открой, Капа, это я.

Дверь приотворилась, показался любопытный черный глаз.

— Не узнаешь?

— Батюшки, Фиска! — ахнула Капа и вовсю распахнула дверь. — А я тебя сразу-то не признала. Страшная ты больно, не обижайся на меня, только очень страшная.

А сама-то Капа ничуть не изменилась, такая же гладкая. Видно, брешут, будто на гражданке плохо живут.

— Здравствуй, прощаая. Чего не писала? Мы тебя и в живых не числили.

— А я живая.

— Ну-ну. Живая, так проходи. С чем пожаловала? Ай отвоевалась?

— Значит, отвоевалась,— тихо сказала Анфиса и перешагнула порог. Тяжелый, намокший сидор она сразу спустила с плеч и поставила на пол, держа за ляжки.

В прихожей полутемно: может, и не заметит Капа? Заметила... Она да не заметит! Шустрые черные глазки сразу нашарили, куда впитаться — в живот, на котором грубо топорщилась шинель, не сходясь на пуговицы. Увидела и просияла, будто маслом ее смазали:

— С подарочком! Проздравляем-кланяемся!

Анфиса молчала.

— С Федором, что ли, судьба свела?

Анфиса помотала головой: нет.

— Так-так. Ветром, значит, надуло. Бывает...

— Ты меня, Капа, не спрашивай ни про чего. Нет моих сил. Устала, измокла, как пес. Сидор тянет, а плечо-то раненое.

Капа плечом не заинтересовалась, а живо спросила:

— В сидоре чего?

— Так, кой-чего. Концентраты, табак, тушенка «второй фронт»...

— «Второго фронту» баночку дашь?

— Две дам, только разберусь. А ключ от комнаты моей, у тебя он?

— А как же! У меня.

У Анфисы отлегло от сердца. Значит, не отдали комнату.

— А я смотрю, читаю на двери: Флерова О. И. Думаю, отдали мою комнату. Сердце так и екнуло.

— Боже сохрани, я разве отдам?

— А что за Флерова такая?

— Бог ее знает. Вдова. Прислали вместо Макошиных. Психованная, вроде интеллигентки. Радиоточку завела, слушает. А что по той точке дают? Быр да быр. Добро бы только хор Пятницкого завела или частушки — это еще терпимо, а она воп замогильный слушает, скрипка не скрипка, гармонь не гармонь, тьфу. Панька Зыкова обижается за точку, а я ничего. Мне что? Пускай слушает. По мне все хороши, все люди.

— Ключ, значит, у тебя? Мне бы его...

— Будь покойна. И ключ, и комната, и вещи. Я одной пуговицы не взяла. Я не бандитка какая-нибудь, я бога помню. Вы-то, нынешние, бога забыли. Вот он вас и наказывает — войну наслал. У Елоховской новый батюшка так и говорит: «Воздастся вам по делам вашим...»

— Мне бы ключ, Капа. Устала я.

— Постой-погоди, не бойся-сомневайся, все отдам, ни синь пороху не пропало, все на месте, и платья висят и пальто-коверкот. Тоська-дворница все молотила: «Продай да продай. Фиску, грит, давно убило, и косточки дождем моет, а ты над ее добром, как кощей над смертью». «Нет, грю, не продам, вернется Фиска». Ан по-моему и вышло. Несу, несу.

Капа принесла ключ. Отворили дверь, запахло мышами. Комната сразу как ушибла Анфису: грязь, пылица, обои отстали... Федоровы воскресные брюки, чистая шерсть, на стене висят, наверно, моль поела... На кровати — раскиданные подушки в грязных наволочках...

— Жил тут кто без меня?

— А кому жить? Никто не жил. Тебе Панька Зыкова будет хлопать, будто я за деньги ночевать пускала. Ты ей не верь, врет она, как змей. Язык у нее длинный, в ногах путается. Всего два раза только и пустила, да и то не за деньги, а по любезности. Такая хорошенькая парсчка. как два голубка. Я и пустила. А денег мне от них не надо,

разве что из продуктов принесут, возьму, чтобы не обижать. А твое все цело, проверяй.

— Брюки-то Федора он носил? На стенке висят, я в шкафу оставила, в нафталине.

— Про брюки ничего не знаю. Такая хорошенькая парочка. Нужны ему твои брюки, как попу мячик. Одет изящно: галстучек модный, курточка-трофей... А у нее-то по плечам кудри, кудри...

Анфиса не слушала — смотрела на цветы. Были у нее цветы, были... Во всем доме не было лучше. Теперь сохли в горшках одни сухие будылья. И так стало ей жалко цветы, ну жальче всего...

— Обещалась поливать, Капа...

— И верно, не поливала, все некогда. Мой грех. Крутишься-крутишься, из очереди в очередь, да стоговить хоть никакое, да постирать — вот и день прошел. А ночью у меня работа. А ты цветка не жалея, человека надо жалеть, а не цветок.

— Да я ничего.

— Какое ничего, вижу — жалеешь.

— Не жалею я, просто устала.

— Ну отдыхай, Христос с тобою.

Ушла. Анфиса стянула с себя мокрую, жесткую шинель (кажется, поставь ее — так и будет стоять), взялась за кирзовые сапоги, сорок третий размер. Пока их стаскивала, так задохлась, будто дистанцию пробежала. Размотала портянки, присела передохнуть. Большие босые ступни с искривленными пальцами поставила на пол, слегка развела колени и уложила на них попривольнее большой, неудобный в носке живот. В животе загулял-завозился ребенок, выставил вбок что-то острое, не понять — локоть или коленку. Даже из-под гимнастерки было видно, как он угловато выпятился. Анфиса заулыбалась, как всегда, когда сын ее — она знала, что у нее непременно сын будет, — резвился очень уж прытко. Его молчаливая, подвижная, никому не подвластная жизнь ее умиляла: «Наружу просится, деточка моя милая». Ребенок побрыкался-побрыкался, спрятал угловатое внутрь и затих. Анфиса тоже затихла. В дверь постучали — опять Капа.

— Я грю: Фиса, ты мне за хранение кофту зеленую отдай. Тебе ни к чему, а мне в церкву ходить. Я ночи не спала, имение твое сторожила.

— Ладно, отдам.

— Я только по справедливости, мне чужого не надо. Ведро твое в кухне стоит — я в нем и не мою. А Панька Зыкова моет. «Ведро, грит, теперь коммунальное, поскольку владелицу убило». Стыда нет. Разуется, голяшки наружу, зад кверху и моет. В чужом-то ведре...

— Мне не жалко, пускай моет.

— Мужика к себе поселила демобилизованного, для грешной плоти. Живет непрописанный. Утром моется-моется, всю раковину захаркал. В сортире с папироской заседает...

— Мне-то что, пускай заседает.

— Тебе все пускай да пускай. Вот и допускалась.

— Капа...

— Молчу-молчу. Я всегда молчу, никого не обижаю. Со мной похорошему — и я по-хорошему. Я помочь хочу, вразумить. Вот сидишь босая, а пол холодный. Долго ли женское воспаление схватить? Обуйся толком, тогда и сиди. Чайку тебе поставить?

— Спасибо, Капа, я сама.

— Больно ты культурная вернулась. Высшее образование. Не навязываюсь. Адью.

Капа вышла. Обиделась. Анфиса, все так же сидя с босыми ногами на голом полу (чем-то приятен был этот холод), задумалась. Давно пора ей было подумать, а в дороге все некогда...

О муже, о Федоре...

До женитьбы работали они с Федором на одном заводе, она кла-

довщицей, а он лекальщиком. Специальность редкая, дефицитная, Федора на заводе ценили. К тому же он большим ударником был. Познакомились в самодеятельности: Был у них женский хор под названием «Снежинка». Загодоуправление не поскупилось, одело весь хор в белый атлас до полу. Красиво было. Построят хор полукругом — глаза разбегаются, такая белота, такое сверкание. Анфиса в том хоре пела. Голос у нее был сильный, чистый, хоть и толстоват, назывался альт. Руководитель-то альты больше любил, чем сопрано. Сопран на заводе сколько угодно, а альтов — раз, два и обчелся.

А Федор солистом на гитаре играл. Так и познакомились. Дальше — больше. Стал за ней ухаживать, и сразу видно, что не с глупостями. Потанцевал раза три — падеспань, вальс, польку-кокетку, — а потом прямо и говорит: выходи, мол, за меня замуж. Анфисе Федор ничего, нравился, одно ее смущало, что он моложе ее на год: ей двадцать шесть, ему двадцать пять. А собой он был очень даже взрачный, легок, как перышко, пониже ее и в плечах поуже, а сильный. Волосы рыжеватые, легкие, вились костерчиком. Анфиса подумала и согласилась.

Поженились и стали жить. Кому-то дали им от завода хорошую, светлую, двадцать метров. Справляли свадьбу за счет заводууправления, кричали «горько», все как у людей. Скоро Анфиса бросила работать, потому что расчету не было: зарплата ничтожная, Федор при хорошем уходе втрое принесет. Она хлопотала по хозяйству, чистоту поддерживала на высшем уровне, а еще и времени оставалось, когда все переделает, радио послушать: любила музыку. Придет Федор с завода усталый, помоемся, кудри расчешет, а она ему сразу обед на стол. Борщ как огонь, с салом, с перцем. Или же кислые щи на свинине. Федор к мясу-то не очень стремился, больше на горячее налегал. Накушается, оботрет губы и обнимет ее: «Ах ты моя красавица!» Анфиса красавицей не была, но и уродом тоже нельзя назвать: прямая, сильная, статная, коса русая ниже пояса. Любил Федор, когда Анфиса при нем косу распускала, расчесывала.

Федор работник был золотой и на заводе и дома. Запаять, починить, покрасить — все он. В квартире его уважали. Даже Панька Зыкова на что злыдня, а и та его стеснялась. Для нее музыка — нож острый, а когда Федор дома — не возражала. А Анфиса с Федором под гитару разные песни пели, и из кинофильмов, и с радио, и из самодеятельности. Он — за сопрано, она — за альт. Особенно хорошо у них получался дуэт пастушка и пастушки «Мой миленький дружок». А еще они пели старинные песни, народные, которым Анфису бабушка научила. Детство у нее было трудное, деревенское, мать от бедности злая, а бабушка — золото. Сама хорошо пела и Анфису выучила. Вот и пригодилось в семейной жизни.

Федор выпивкой не увлекался, разве на Первомай или на Октябрьскую. Да и то не шибко и поведения не позволял. Скажет только: «Перебрал я, Фиса» — и спать ложится. Утром проснется: «Ты уж меня прости за вчерашнее». А чего прощать-то? Мужчина, он и есть мужчина. У Анфисы отец, можно сказать, не просыхал. А тут человек в кои веки раз выпьет. Она ему — рюмочку на опохмелку, все по чину.

Хорошо жили, ничего не скажешь, одно только — детей не было. Анфиса маленьких очень любила, сначала надеялась, что свой родится, а потом и надеяться перестала. Значит, неплодная. Ну что теперь поделаешь? Был ей Федор вроде ребеночка: глаза голубые, волоски кудрявые. За последние годы поредели они, стали на темечке просвечивать. Федор очень огорчался: «Лысый буду, разлюбишь меня». «А мне ты и лысый хорош». И в самом деле, разве в волосе счастье? Был бы душевный покой. Вечером лягут они спать, пододеяльник чистый, прохладный, подушки как лебеди, будильник подтикнувает: я тут, я тут. Анфиса обнимет Федора за шею, голову его мужскую, тяжелую к себе на плечо положит, и так ей хорошо! Слушает она, как Федор спит, и сама потом засыпает.

Прожили восемь лет, все хорошо, и вдруг война! Федору сразу же повестку прислали. Собрала его Анфиса, поплакала. Вечером сели за стол — проводить солдата. Капа выпила водочки и ну вопить по Федору как по покойнику. Анфиса-то не выла, она выть по-бабьи не умела, а все же стыдно было, что не она воеет, а Капа.

Утром Федор встал, умылся, покушал, кушак подтянул — и прощаться. Анфиса ему на грудь так и приклеилась — не оторвать. Он легонько ее отстранил. «Ну-ну,— говорит,— не навек прощаемся, может, и не убьет меня, жди». И ушел. Ушел как сгинул — ни письма, ни открыточки. Анфиса осталась одна, и так скучно ей стало, так темно, будто свет вырубил. Пошла проситься обратно на завод, взяли ее в цех: рабочих рук не хватает. На заводе все по-новому: мужиков забрали, одни бабы, да ребята-фабзайцы, да старый мастер Кузьмич, да Мороза похожий. Анфиса работала на совесть, но тоска-скука не проходила. Как-то незачем стало ей жить. Обед она не готовила, перебивалась кой-как, всухомятку, одну чистоту поддерживала по-старому, да и то бессознательно, как кошка умывается: шарк да шарк себе лапой по морде. И будильник ее раздражал по ночам, и спала она плохо. Похудела, подурнела. А писем все не было. Ждала-ждала, терпела-терпела и решила сама ехать на фронт. К Федору. Где он воюет, она не знала, а все-таки на фронте она будет к нему поближе, вдруг да и встретятся.

Поступила на курсы медсестер. Там она была самая старая, кругом девчата, а ей тридцать пять. Училась ничего, овладевала навыками. Теория ей плохо давалась, но на курсах на теорию особо не налегали, больше на навыки. Окончила курсы — получила назначение. Куда — ей было все равно, потому что где Федор, она не знала. Просила только поближе к переднему краю, ей и дали. Если бы знала, нипочем бы сюда не просилась, да дело сделано — работай. Работала Анфиса, как всегда, на совесть, хотя и была большая трусиха, боялась бомб, как волков. Не так страшен обстрел, как бомбежка, лучше пусть сбоку прилетают, чем сверху падают, хотя это кто как любит. Анфиса бомбы особо не любила, даже брезговала ими, видела одну неразорвавшуюся — как свинья.

Когда начиналась бомбежка, она все старалась засунуть куда-нибудь голову: под койку так под койку, под стол так под стол. Засунет, а зад наружу. Сестры-товарки над ней потешались: «Смотри, Фиска, самую нужную часть оторвет!» В общем, кое-как привыкла, перемогла свою трусость, работала не хуже других. Главное, раненые ее любили, она на них хорошо действовала, умела и уговорить и успокоить, даром что сама трусиха. Большая, сильная, кого хочешь поднимет, ее так и называли Фиска Подъемный Кран. Косу пришлось отрезать, не лезла под пилотку, да и мыть хлопотно, воды дефицит — больше чайника не дадут. Боялась, что разлюбит ее Федор, когда увидит, что нет косы. Но и в стрижке она была еще ничего. Сама-то в зеркало не смотрелась, но девчата говорили, что ничего, для такой пожилой даже совсем прилично. И даже один раненый лейтенантик в нее влюбился! Беленький, хиленький, кадык торчком, как у битой курицы крылышко. Бредил с температуры, позвал: «Пить». Подошла, дала напиток, а он: «Анфиса Максимовна, я вас полюбил». Вот комик — полюбил! Она ему в матери вполне. Однако виду не подала, не засмеялась над его чувством, приглубила его, волосы расчесала, он и уснул. Думала, забыл про свою любовь — нет, не забыл. Перед тем как ему эвакуироваться — синий такой, сквозной,— опять подозвал и за свое: «Фисочка, я вас очень люблю и мечтаю на вас жениться». А температура уже нормальная. Чудик! Фиса опустила глаза и сказала: «Извиняюсь, я замужем». Такую пьесу разыграли.

И другие тоже к ней обращались, хоть и не с такими словами, но обращались. Нежные они, мужчины. В бою герой, идет петухом в самое что ни на есть пекло. А в госпиталь попадет — куда что девается!

Укола боится, в обморок падает, капризничает, как ребенок. И ласка ему нужна, как маленькому. Это Фиса хорошо понимала, и любили ее больше за понимание, а так, за другое, не за что было любить — ни красоты, ни молодости.

Ранило ее, когда госпиталь перебазировали. Обстрел, носилки, все орут, ад крошечный, падает и сверху и сбоку — с ума сойти. Анфиса впопыхах и не заметила, как ранило, и не больно совсем, как будто толкнул ее кто в плечо и окликнул. Потом заметила: батюшки, кровь! И по рукаву и по переду. Анфиса крови боялась, к чужой не могла привыкнуть, а тут на тебе — из самой ее как из поросенка. Она закричала тонким, заячьим голосом, присела на корточки и закрыла лицо. Потом ее вели к машине под руки, она спотыкалась, зажмурив со страху глаза, и все говорила: «Братцы, братцы». Ее ведут, ее сажают, а она как заведенная: «Братцы, братцы». Очень перепугалась.

А больно стало уже потом, на койке, больно так, словно тебе плечо с мясом вырывают. На операции вынули у нее осколок — большой, корявый, с мизинец ростом, страшно подумать, что в ней сидел, — и как он ее не убил? Долго она его в мешке таскала, потом потеряла где-то, а жаль: Капе бы показать, пусть убедится, что и в самом деле воевала, не шутки шутила.

Отлежалась Анфиса после ранения — зажило на ней быстро, как на собаке, почему-то собака считается особо живучей, — поправилась, снова в госпиталь, только уже не лежать, а работать. Сначала все боялась, как бы опять не ранило. При каждом выстреле или разрыве начинала психовать, допускала небрежности, инструмент роняла стерильный, потом обтерпелась: боялась, но в норме.

О Федоре она не очень часто думала: некогда было. Иногда разве вечером, укладываясь на ночь, вспоминала, как лежали они рядышком: она у стенки, он с краю, и голова его у нее на плече, как раз на том, где ранило. А днем не очень-то раздумаешься — только поспевай. Работать и вместе думать Анфиса не умела, что-нибудь одно: или работа, или думанье. Уставала она крепко. В усталости пропадал, забывался Федор. По частям вот он: глаза, руки, волосы рыженькие, а в целого человека не складываются. Может быть, убило его, а может быть, и жив — ничего в этой войне не рассмотришь. Анфиса все же надеялась, что жив, потому что сказал «жди», а зря такими словами не бросаются. Она и ждала, добросовестно, ни на кого не польстилась, хотя и были желающие.

Так оно и шло, пока не появился Григорий. Околдовал он ее, наверно. Уже выздоравливал, нога в гипсе, ходил на костылях, а весело, с танцем: стук-стук. Сядет, костыли рядом, ногу вперед и хвастается:

— Во, красота! С такой-то ногой мне и цены нету. Килов на десять. Девушки, налетай: прошу тыщу. Кто больше?

Девушки смеются и Анфиса с ними, хотя ей не смешно, а страшно. С собой молодец — статный, сухой, железный, кудря на лбу, уши острые. На цыгана похож, на конокрада. Анфиса таких видела в детстве, ходили по деревням. Бабы все детей пугали: «Отдам цыгану». Такой вокруг пальца обведет в один момент. Григорий с ней и не заговаривал, а она уже чувствовала, как он ее вокруг пальца обводит.

Однажды были они одни, без девчат (ушли на танцы), и Григорий сказал:

— Эх, Фиса-Фисочка! Нравишься ты мне очень. Ну, больше всех Других.

У нее сердце так и упало: обводит! Григорий добавил:

— На лошадь похожа. Я лошадей люблю. Зверь добрый, стоит сено жует, глаз большой, умный. Запряги — везет. Ну точно как ты.

Конокрад! Анфиса, изо всей мочи ему сопротивляясь, только и смогла вымолвить тихим таким голосом:

— Жена небось есть.

— Это есть. Это у каждого есть. Эка невидаль — жена!

— И дети?

— Детей пока не было, не стану врать. Может, без меня народились. Это бывает.

— А тебе не обидно?

— Зачем обидно? Я и сам с усам, свое возьму, не прозеваю. Я человек веселый, люблю, чтобы всем весело было. «Жди меня!» — передразнил он с веселой ужимкой и выругался. — Вот тебе и «жди». Она там ждет, она там горюет, сопли размазывает, а меня, на-кося выкуси, убило! Ай-ай-ай, какая жалость! Нет уж, пока живем, пускай ей будет весело, и мне весело, и тебе весело, Фиса.

Тут он обнял Анфису одной рукой — другая удерживала костыль, — и рука эта, твердая, железная, так и стиснула ее обручем. Обвела, обхватила, и не податься. А главное, как все просто: мне весело, тебе весело, ему весело. Молодой месяц в окошке над левым раненым плечом стал поворачиваться, заваливаться и упал в преисподнюю.

Так и вышла у них любовь. Встречались они в процедурной, по вечерам крадучись, горячо и коротко, и тут только Анфиса узнала, что такое любовь. Раньше она думала, что любит Федора, — куда там! Никакого сравнения. Вот с Григорием это была любовь, все было новое, особое, весь свет менялся, и месяц в окошке не месяц, а белый цветок, и облака вокруг него ангелами. И, туда же, стук костылей как музыка, и дыханье частое в темноте — ну ни у кого такого не было! В процедурной пахло дегтем от мази Вишневого, этот запах стал Анфисе, как коту валерьянка.

От любви она изменилась, похорошела, глаза обвело черным, и дикое что-то появилось в лице. Девчонки замечали, хихикали — ей хоть бы что. Даже бомбежек перестала бояться.

А потом Григорию сняли гипс, и пришло ему время уезжать, возвращаться к себе в часть. Анфису как по голове ударило, когда она узнала, что будет разлука. Прямо затрясло:

— Я без тебя не могу. Я без тебя умру.

— Небось не умрешь. Не ты первая, не ты последняя. Не горюй, Фиса-Фисочка, держи хвост пистолетом!

— Я ж люблю тебя, Гриша!

— Подумаешь, делов! Я, например, тоже тебя люблю, и что? Эх, бабы! Целоваться с вами сладко, расставаться — хуже нет. Это я такой стих сочинил.

И уехал. И адреса не оставил. И писать даже не обещал, и ничего у нее не осталось, даже фотокарточки.

Что тут поделаешь? Стала жить, работать, как раньше, только без души — душа каменная. Жизнь была какая-то ненастоящая, вроде сна. А сны-то как раз были настоящие, во снах приходил Григорий, стучал костылями, хотел ее целовать, но тут как раз сон кончался, она просыпалась и плакала. Один раз он пришел черный и сказал ей: «Фиса, меня убило». Она вскрикнула диким голосом, так, что с соседних коек девчата посыпались, кинулись к ней, а она только тряслась и кусала стакан с валерьянкой. Целый день она плакала, работала и плакала, конечно, в ущерб работе, так что врач даже на нее цыкнул. А ночью опять пришел Григорий — веселый, на костылях и совсем живой. «Врал я, — говорит, — что меня убило». Тут им удалось-таки поцеловаться, и целовались до безумия, пока все не кончилось.

Так и жила, между снами. Много времени прошло, месяца три.

Однажды ночью ушел от нее Григорий, оставив ее, как всегда, с бьющимся сердцем, с мокрыми глазами. Лежала, думала и вдруг почувствовала, что где-то глубоко в животе у нее забился живчик. Похоже, как, бывает, щеку дергает: так-так! Она и внимания не обратила, мало ли что бывает на нервной почве.

Другой раз живчик забился уже не ночью, а днем. Шла с бинтами, а он как запрыгает! Тут Анфиса поняла и похолодела. Не может быть! А живчик свое: так-так. Подтверждает. Прошла в процедурную, лица

на ней нет, девчат перепугала. Ну и дела! Не может быть, она же неплодная.

Прошла неделя, и сомнений уже не оставалось: живчик был тут, живой, прыгал и стучал, радовался и набирался сил. Он-то радуется, а ей смерть. Пока, слава богу, не видно, а узнают — куда деваться?

А вскоре уже и заметно стало. Мылись с девочками в бане, а санитарка Клава как скажет: «Тетья Фиса, да вы в положении!» Анфиса только голову опустила, чего уж тут говорить.

Клава, конечно, раззвонила по всему госпиталю. Стали люди на Анфису поглядывать да посмеиваться, а она погибать. Думала, не выдержит позора, даже приготовила таблетки, чтобы отравиться. Но оказалось все не так страшно. Люди посмеивались, но не очень, без издевательства. Дело обычное: в тыл отправят, только и всего. Главный хирург, правда, очень сердился: время горячее, а Анфиса у него лучшая сестра. «Вы у меня правую руку отрубили, поймите вы, глупая женщина!» Но потом и он присмирел, простил ее вину. А другие — те вообще не сердились, даже сочувствовали. Та же Клава-брехунья норовила за нее тяжелую работу сделать. И раненых поднимать ей не давали, если кто крупный. Добрые все же люди. Про Федора-мужа никто и не помянул, да и про Григория мало говорили: поболтали и кончили, и выходило так, будто она, Анфиса, сама по себе в положении сделалась, и что теперь поделаешь — носи, рожай. Так что таблетки она выбросила.

Когда уже порядочно вырос живот и все к ее положению привыкли, Анфису вызвал к себе замполит Василий Сергеевич. Строгий мужчина. Пришла бледная — вот оно, начинается. Сейчас скажет: «Как же так, Громова, от живого мужа... Он кровь проливает, а ты...» Но ничего такого замполит не сказал.

— Так, Громова, вот, значит, какое дело... Кто же тебя, а?

Анфиса молчала, а он свое:

— Ты не стесняйся, Громова, скажи кто. Может, аттестат тебе выйдем. Ты женщина солидная, не станешь с кем попало... Ну, говори, кто?

Так и не сказала.

— Не хочешь — не говори. Тебе же добра желают, истукан ты в юбке. Придется тебя домой отправлять. Ты откуда?

— Из Москвы.

— Из столицы мирового пролетариата? Ну что ж, поезжай, пополняй ряды жителей столицы.

Анфиса заплакала.

— Дура, это я шутя. Шуток не понимаешь. Эх, бабы, жидкое вы племя, хоть и геройское. Адрес давай.

Записал Анфисин адрес в книжечку.

— Ну что ж. Всего тебе хорошего. Рожай на здоровье. Только смотри, чтобы сына. Вон сколько нашего брата перебило.

Анфиса улыбнулась, зареванная, неуклюжими губами и пообещала, что родит сына. Она знала, что сына, и имя ему выбрала красивое — Вадим.

Отправили ее с другими пузатыми. Снарядили хорошо: полный сидор наложили продуктов питания и сыну приданое — миткалю и марли. Хорошие люди.

— Пиши, Громова, как будешь жить, — сказал замполит, — если что, обращайся, поможем.

И поцеловал ее по-братски. Хороший человек...

Ехали долго. Дороге конца не было. Эшелон то и дело отцепляли, ставили на запасные пути. Женщины ждали, слушали паровозные гудки, курили и ссорились. Потом опять ехали, становились дружнее, а потом опять стояли и ссорились.

Путь был долгий, тяжелый, но кончился путь и вот она дома. Какой-никакой, а дом...

Анфиса переставила на полу затекшие, заочевенные ноги. Поси-дела, подумала — и хватит. Главное-то, о Федоре, и не обсудила, это потом. Пора за уборку. Грязи выше головы, только разгребай. «Вставай, страна огромная»,— сказала себе Анфиса, улыбнулась своей шутке и встала.

6

На кухне было полутемно: окно выходило на заднюю, глухую стену соседнего дома да и день уже кончался — коротки осенние дни. У плиты стояли две женщины; одна, в попугайном халатике,— Ада Ефимовна; другая, измученная лицом, в темном платье и серой шали, наверно, и была Флерова, новая жиличка. Женщины обернулись на вошедшую Анфису; Ада, кажется, ее не узнала.

— Здравствуйте, Ада Ефимовна. Это я, Анфиса.

Ада всплеснула руками, рукава так и вспыхнули. И рассыпалась картова, будто в горле катались горошинки:

— Боже, какой сюрприз! Анфиса! Вот не ожидала! Это прекрасно!

— Вот, вернулась,— сказала Анфиса.— Буду жить.

— Давайте познакомимся,— сказала темная женщина.— Я Флерова Ольга Ивановна. А вас зовут Анфиса Максимовна, если не ошибаюсь?

Анфиса кивнула, подала руку. У Флеровой было худое смуглое лицо с желтизной вокруг глаз, как от синяков, когда проходят. Коротко стриженные волосы, полуседые-получерные, небрежно причесанные, махрами падали на лоб. Глаза синие, пристальные, так и пытаются. Заметила, что ли?

Ада опять картова застрекотала:

— Ах, Анфиса, если бы вы знали, как я жалела, что вас убили! И как рада, что не убили! Мне так много надо вам рассказать! Вообще у меня было множество переживаний в области искусства, войны и любви.— Она подошла, поцеловала Анфису мягкими губами, отступила и прищурилась: — Нельзя сказать, чтобы вы похорошели. Что делать! Все мы дурнеем. Такова жизнь.

«Положения-то моего не заметила»,— думала Анфиса.

— Я так надеюсь, так надеюсь на вашу поддержку,— частила Ада,— Гущина без вас совсем распустилась, выступает в роли диктатора.

Все такая же егозливая — нет на нее войны! Только вот волосы другие: где желтые, где седые, а местами зеленые, как ярь-медянка. Ада заметила Анфисин взгляд на своих волосах и объяснила:

— Это я экспериментирую. Эрзац-хна. Война войной, а все же надо себя поддерживать. Долго ли опуститься? Покрасилась, высохла, позеленела.

Флерова издала горлом какой-то странный, кашляющий звук.

— Вы со мной не согласны, Ольга Ивановна?

— Нет, отчего же, вполне согласна.

— Если хотите, во время войны женщина особенно должна за собой следить. И по линии внешности и по линии чувства. Любить искусство, природу... Вот вы, Анфиса, вы смотрите на звезды?

Анфиса не знала, что отвечать. Только ей и дела что смотреть на звезды.

— И напрасно. А я смотрю и эмоционально наслаждаюсь. Иногда даже плачу. Такая я уж дурочка, совсем ребенок.

— «Ребенок»,— передразнила, входя, Капа Гущина.— Скоро сто лет, а все ребенок!

Ада что-то пискнула, метнулась, как цыпленок от ястреба,— и в дверь.

— Дура яловая,— сказала Капа.— Трень-брень, фик-фок на один бок.

Темная лицом Флерова внимательно на нее поглядела и вышла.

— Видала? — спросила Капа. — Зырит и зырит, и неизвестно, чего зырит. А уж черна, а уж худа — мощь загробная. Правильно люди-то говорят: худому не верь. А полный человек добрый, доверчивый. Вот я...

В кастрюльке, которую Ада оставила на плите, что-то зашипело, поднялась шапкой. Анфиса протянула руку — убавить газ.

— Не тронь! — крикнула Капа. — Сама поставила, сама и следи. Пусть выкипит, пусть выгорит — пальцем не двину!

«Да, не очень-то дружно живут, — подумала Анфиса. — При Федоре лучше было».

И тут же побледнела при мысли о муже. Здесь, стоя в кухне, она вдруг увидела его целиком, и он был страшен.

Распахнулась дверь, и с ветром вошла Панька Зыкова — костлявая, угловатая, ну прямо фашистский знак. Стала перед Анфисой — руки в боки, ноги врозь — и сразу на крик:

— Так и знай, пеленки на плите кипятить не позволю! Здесь я обед готовлю, а она, извиняюсь, пеленки гаженые!

Анфиса еще и пеленок-то не пошила, а уже кипятить запрещают... Вступилась Капа:

— А тебе кто позволил, чтобы не позволять? Все мы тут жильцы, все одинаковые. Я позволяю — пускай кипятит. А ты лучше за газ плати как положено.

— А я и плачу как положено! Все платят поровну, у каждого комната!

— Надо не покомнатно, а почеловечно! Сколько человек — столько и плати! Я одна, и Ада одна, а тебя двое, ты и плати вдвое!

Панька прямо задохнулась:

— За кого же это вдвое?

— Как за кого? За Николая, за твое нещечко!

Панька плюнула и заорала:

— За Николая?! Еще чего выдумала! Он здесь и не живет, а я плати?

— Вот уж и не живет! И днюет, и ночует, и сортир занимает, а она: «Не живет»!

Панька перешла на высокий крик, Капа тоже. Анфиса только моргала. Под конец Панька крикнула: «Ни на черный ноготь не уступлю!» — вышла и дверью хлопнула.

Капа отпыхивалась после своего ора, отпыхалась и сказала:

— Вред, а не баба. Чирий ходячий. Ты меня, Фиса, против нее удержи. Все-таки двое нас, а она одна. Тот-то, непрописанный, нос высунуть боится. А пеленки кипятить, не бойся. Ребенок — создание божие. А за свет и газ платить будем почеловечно: вас с ребеночком двое — и заплатишь вдвое. По справедливости.

Анфиса вдруг громко заплакала и сказала, сморкаясь в фартук:

— Я только за ведром, а у вас бомбежка. Ведро-то мое где?

— А у нее, у Паньки, в уголку. Коммунальное! Как бы не так. Бери-бери, не бойся, я поддержу.

Анфиса набрала в ведро воды из-под крана и пошла убирать. Можно было бы согреть на газе, да отвыкла она от гретой. Вымыла пол, выскребла ножиком, помыла-протерла окна, прибралась, почистилась — смотришь, и день прошел. За работой и не заметила, что ничего не ела, да и не хотелось. Готовить — значит, на кухню идти, выйдет Панька, начнет галдеть и Капа тоже: «Почеловечно!» Лучше хлебушка поесть. Анфиса достала из сидора початую буханку, поела, запивая водой. Как села, в животе опять заходил-загулял ребенок, куда-то стремился.

— Тихонько, моя деточка, — сказала ему Анфиса. — Дома мы теперь, скоро родиться будем.

Ожидая родов, Анфиса жила потихоньку, продукты экономила, шинель продала на рынке — так и жила. Да и много ли ей надо? Ела она теперь помалу, не то что прежде — тогда у нее аппетит был слава богу, вдвое против Федора уминала. Чай не варила, чайком угощала ее Ада Ефимовна, добрая душа, хоть и опереточная. А тараторит-тараторит, прямо в ушах звенит, и все про любовь, как это не надоест одно и то же? Один год было у нее три любовника, и всё Борисы. Это надо же! Анфиса такого не признавала, чтобы в один год да троих. Все-таки стыд надо иметь.

С Флеровой Анфиса особенно не знакомилась. Но вот кончились у нее спички. Где взять? Ады нет дома, наверно, загуляла. Анфиса постучалась к Флеровой:

— Можно, Ольга Ивановна?

— Пожалуйста, Анфиса Максимовна.

Все-таки вежливый человек, культурный. Зря ее Капа хает.

— Спичками у вас хочу позаимствоваться.

— Пожалуйста, берите хоть весь коробок.

— Да мне только газ зажечь.

— Ну пожалуйста. Да вы присядьте, поговорим.

Сели. Ольга Ивановна курила папироску и пепел стряхивала каждую секунду: у нее еще неросло, а она стряхивает. А так она ничего, не такая уж старая, как показалась вначале, только седая и щека с изъяном. Курит жадно, как пьяница пьет. И чего только в этом куренье находят люди? Анфиса и на фронте-то не привыкла, а была солдатом. Комнатенка голая, без всякого уюта, один стул, да стол, да книжная полка. Бедно живет.

Ольга Ивановна спросила Анфису:

— Как вы свою жизнь планируете? Работать будете?

Спрашивала она жадно, как курила.

— Да нет, кто меня сейчас возьмет? Потом уж...— Хотела сказать «когда родится» — постеснялась.

— А я про вас все думаю,— сказала Ольга Ивановна.— Я, знаете, в Доме ребенка работаю — это ясли для сирот, знаете? Там очень нужны нянечки, они бы вас взяли. Ребенка в ясли и сами в ясли. А?

Улыбнулась и взяла новую папиросу. Странная какая! Чудная, а милая. Анфисе показалось, что знакомы они давно-давно. Очень было бы с ней хорошо, если б не сверлила так глазами.

Стала она к Ольге Ивановне захаживать. Посидит, побеседует, встанет, уйдет. Чаю предложит — откажется (не за тем ходит). А то и выпьет. Чай пустой. Иногда книжку попросит, прочтает, вернет. Книжки-то были не ахти интересные, больше переводы, про прошлое. Анфису они не очень затрагивали. Одну книгу она, правда, с жадностью прочла, называется «Униженные и оскорбленные». Про жизнь, автор Достоевский. Спросила Ольгу Ивановну, нет ли другой книжки этого автора. Дала ей Ольга Ивановна «Бесов» — не понравилось. Глупости какие-то говорят, да еще убивают. И не надо ей про такие страсти читать: ребеночку повредить может.

Иногда Ольга Ивановна включала радиоточку, слушала она последние известия, а то и музыку. Панька Зыкова от музыки в большой гнев приходила, предметы швыряла, но запретить не в ее было власти. А они аж симфоническую слушали, Анфиса больше из любезности, голова у нее уставала от симфонической. По своей-то душе она песни любила. Иной раз они с Ольгой Ивановной даже пели под радио шепотком, чтобы не услышала Панька. Смешно — пожилые, а как маленькие.

Вот и завязалась между ними дружба. Постепенно Анфиса Ольге Ивановне все про себя рассказала. И как с Федором жила, и как на фронте, и про Григория, и все.

Ада Ефимовна ревновала, что Анфиса ходит к Ольге Ивановне, говорила, что Флерова — холодная, замкнутая натура, без любви и вдох-

новения. И все неправда, Анфисе лучше знать. Впрочем, Аде ревновать было особенно некогда, потому что завязался у нее роман. «Последняя любовь», как она говорила.

7

С тех пор как вернулась Анфиса, стало у нас в квартире как-то уютнее, для меня по крайней мере. Глаза Анфисины меня радовали: серые, сострадательные, они излучали тепло и разум.

А вообще в квартире было беспокойно, все время на грани кризиса. Кто-то с кем-то всегда ссорился, враждовал: то Капа с Панькой Зыковой, то Панька с Анфисой, то Ада Ефимовна с Капой, да и со мной бывали столкновения, хотя я искренне хотела мира. Нет специально плохих слов — все зависит от тона, от контекста. Когда я говорила Капе: «И не стыдно вам, Капитолина Васильевна?» — я уверена, это ее оскорбляло больше, чем Панькин мат.

В квартирных битвах образовывались группировки, коалиции, заключались союзы. Коалиции менялись, как узоры в калейдоскопе, чаще всего по неизвестным причинам. Иной раз все ополчилось против одного. А бывали мрачные периоды войны всех против всех. Периоды мира всех со всеми тоже бывали, но редко, только по случаю особых событий. Коммунальные страсти часто называют мещанскими. Ерунда! Какие же они мещанские? Пусть порожденные малыми причинами, но сами страсти — высокие, благородные, можно даже сказать, аристократические. Каждый борется не за себя, а за высшую справедливость. В борьбе за справедливость он готов пожертвовать собой, пострадать, лишь бы покарать зло. Кто виноват, что каждый понимает справедливость по-своему?

Вот и в нашей квартире все были за справедливость, но каждый понимал ее по-своему. И каждый по-своему был прав. Одно из самых тяжелых убеждений, вынесенных мною из жизни: каждый человек внутри себя прав. Даже квартирное пугало Панька Зыкова. Тяжелый человек, спору нет, а ведь по-своему она права.

Мне кажется, Панька Зыкова — человек, одержимый страстью. Эта страсть терзает ее, и корчит, и кричит из нее вслух. Она страстно хочет одного: чтобы все были равны. Каждому, как другому, никто никого не лучше. А так как принцип этот все время нарушается, она бурлит. Почему у Ады комната восемнадцать метров и светлая, а у самой Паньки — четырнадцать и темная? Неправильно! Почему на кухне стол Гущиной у окна и ей светлее, чем другим? Тоже неправильно! Пускай уберут гущинский стол от окна, поставят в угол. Мне от этого будет теснее — пускай! Зато по справедливости.

Панька мечтает, чтобы всем было одинаково. Если нельзя одинаково хорошо, пусть будет одинаково плохо. Возможно, эта идея засела в ней еще со времен военного коммунизма, когда всем было одинаково плохо. Нас, соседей, Панька разнообразно презирает. Аду Ефимовну — за «паразитство», за то, что всю жизнь пела и плясала, как та стрекоза, а наказания-то ей и не было: еще и пенсию выплачивают! Меня — за пустые претензии, за радиоточку, за то, что хожу с палочкой, «бью на жалость», за то, что в свое дежурство не мою полы сама, а нанимаю Капу. Бесполезно было бы ей объяснять, что я инвалид, что у меня спина не гнется, что я попросту не могу мыть пол. «Припечет, так сможешь!» И, возможно, она права. Припекло бы — и смогла бы. Я для Паньки барыня, и бедная барыня, что хуже всего. Умственный труд она за труд не считает и то, что в нашем обществе он вообще-то оплачивается выше физического, считает за величайший абсурд.

Капу Гущину Панька презирает за религию — темнота деревенская! — и про себя считает ее нечистой на руку, все мечтает поймать на воровстве, но ни разу в этом не преуспела. Мстит ей за это мелкими скверностями: то к телефону не позовет (так и висит трубка), то

чайник пихнет с плиты, только что на пол не сбросит: зачем лишнюю конфорку занимает?

А Анфису Панька презирает за женскую слабость. Чего хотела, того и доспела. Так-то воевать много найдется желающих! Сама Панька сурово добродетельна. Она своему мужику, хоть и непрописанному, вот как верна! А чем плохо? Песен не поют, не скандалят, посидят смирно на своей площадке, выпьют водочки, если есть, и спать лягут. А почеловечно она платить не будет, пусть лопнет Капа. Нет такого закона, чтобы за гостя платить.

Думаю, что Панькина злость от дурной жизни. Жила скучно, трудно, рано осиротела. Красотой судьба не наградила, одно дала — большой рост, как у мужика, а зачем это женщине? Ни к чему. Муж был неласковый, попрекал ростом, называл в насмешку Иванов Великим. Детей не было, муж не хотел, три аборта сделала, потом захирела по женской линии. А муж от печени помер: печень у него алкоголем пропиталась. Плохой был муж, а все-таки свой, законный, пришлось ей попереживать, потом кое-как успокоилась. Работа монтера — тяжелая, мужицкая. Зарплата низкая. Панька гордая, самостоятельная, чаевых не берет, считает за взятку. У нас не царизм. И она права...

А может быть, все это и не так. Может быть, даже наверное, Панька гораздо сложнее, чем я ее себе представляю. Ведь она — человек...

Прикидывая в мыслях квартирные ссоры, я всякий раз со скорбью убеждалась, что каждый по-своему прав. Менее всего правой я ощущала себя. С моей назойливой, скорее всего дурной привычкой все время глядеть чьими-то глазами я смотрела на себя со стороны — глазами Паньки, Капы, даже Ады Ефимовны, даже Анфисы, в общем-то любившей меня, и разнообразно раздражалась. Я понимала, как должны раздражать мои неловкие пальцы, согнутая спина, пристальный взгляд, моя манера мыть чашки не просто как люди моют, а с содой и солью... Ясно, они были правы, а я скорее всего нет. Впрочем, это сознание всеобщей правоты и моей собственной неправоты ничуть не делало меня обходительней. Когда задевали меня и мою справедливость, я огрызалась по-своему, не хуже других.

8

Вот уже скоро Анфисе родить. Сходила она в консультацию. Там похвалили ее таз, сказали, чтобы не беспокоилась: родит как из пушки. И срок назначили.

— Тридцать семь мне уже, разрожусь ли?

— Разродишься, голубушка, — сказала врач. — Что за упадничество? И думать не смей. Делай физкультуру.

И книгу дала — физкультура для беременных.

Стала Анфиса делать физкультуру, да больно смешно, бросила. Кому делать нечего, пусть физкультурятся. Стала ждать срока. И срок прошел и еще две недели сверх срока, а все никто не родится. Ждет, продукты изводит, а все без толку. И мальчик внутри затих: не умер ли? Боже сохрани!

По Капиному совету Анфиса сходила в баню, жарко попарилась. Утром запросился Вадим наружу. Отвезла Анфису в роддом Ада Ефимовна (Ольга Ивановна была на работе). Попрощались у двери.

— Ну, Христос с вами, как говорит Капа, хотя я в него и не верю, но на всякий случай... Если бы вы знали, Анфиса, как я вам завидую... Материнство — великий акт.

— Спасибо за вашу доброту, — сказала Анфиса и заплакала. — Если что не так, простите.

— Не надо плакать, когда такая радость: человек родится! Может быть, великий...

Анфиса вошла в приемный покой. Там было светло и страшно, на

стенах висели плакаты про неправильные роды: лицевое положение, ягодичное... Нашли что повесить! Ее уложили на белый холодный топчан, осмотрели.

— Ну, у этой скоро. Не женщина, слон.

Слон слонем, а вышло не скоро, ох как не скоро! Главное, боли кончились. Лежала мешок мешком, ни родить, ни уйти. Придут слабые схватки и сразу же пропадают. Двое суток так продолжалось. И ребенок не шевелился. Анфиса плакала:

— Умер, наверно. Значит, и мне умереть.

— Не умрешь,— говорили ей.— Все нормально, лежи себе.

На третьи сутки врач решил: будем стимулировать. Анфису стимулировали, и еще через сутки родился Вадим — слабенький, полузадохшийся, косоголовый.

— Гора родила мышь,— сказал врач.

Анфиса лежала слабая после крика, но легкая, будто с нее гору сняли.

— Мамаша, у вас мальчик.

Мальчик... Она и так знала, что мальчик. Жив ли? Почему не кричит?

— Задохся, оживляют,— сказала женщина на соседнем столе. У нее, видно, был перерыв между схватками, и она облизывала покусанные губы.

Анфиса задвигалась, хотела крикнуть, но голос пропал. В углу что-то делали с ее мальчиком. Послышался ребячий крик, но слабый, какой-то лягушачий.

— Покажите мне, покажите,— хрипела Анфиса.

Ей показали мальчика издали. Он был страшен и мал, висел почему-то вниз головой. Его унесли. Анфиса билась и требовала:

— Дайте мне сына. Я ж его и не разглядела...

Никто не обращал внимания — шмыгали мимо.

— Сына мне дайте! — крикнула она вернувшимся голосом.

На нее прицкнули:

— Тихо, мамаша. Кормить принесут, вот и увидишь.

Анфиса замолчала. Дисциплину-то она понимала — сама сестра. Скоро ее перевели в другую палату. Время шло, а мальчика не несли. Так и есть, умер, а ей не говорят. Рядом все матери кормят, а ей не несут. Она не вытерпела, несмотря что дисциплинированная, и начала громко рыдать. Рыдать и кричать:

— Сына моего дайте мне! Дайте моего сына! — И билась головой о железную койку.

— Тише, тут не базар,— сказала строгая не то нянечка, не то сестра.— Сто вас лежит, ни одна не позволяет, только ты, Громова.

Анфиса кричала:

— Сына! Дайте мне сию минуту моего сына!

— Это что же такое? — прикрикнула строгая.— Мы работаем, а ты орешь как поросся? Сейчас врача позову.

В дверях она кликнула:

— Владимир Петрович, зайдите-ка, тут мамаша Громова позволяет!

Пришел врач, тот самый, кто у нее принимал. Рукава засучены, очки выше лба, лицо сердитое. Он сурово поглядел на Анфису и сказал:

— Не хулиганить!

Она испугалась, притихла. Чего-чего, а хулиганства за ней никогда не было. Решила молчать.

К вечеру у нее поднялась температура, не очень большая, 37,9, а все-таки.

— Сама виновата, накричала себе,— сказала строгая.

— Сына бы мне,— попросила Анфиса.

— Не положено. Спи, мамаша.

— Умер, верно? Скажи, не томи.

— Умер? Никто не умер. Смертность у нас изжитая. Спи.

Анфиса забылась. В полубреду ей казалось, что белая стенка палаты надвигается, надвигается, а там, за стеной, ее сын. Его к ней не пускают. Вот он уже вырос, встал на ножки и идет к ней ножками: топ, топ... А его не пускают, и он умирает. Где-то рядом копают ему могилу. «Положите меня с моим мальчиком, закопайте меня с моим мальчиком!» — кричит, надрывается Анфиса, но никто не слушает. И опять явь и белая стена, а за стеной мальчик, его закопали.

Когда она проснулась, был белый день в белой палате, за окнами подушками лежал молодой снег, а на потолке играли зайчики. Вокруг женщины кормили детей — белые пакетики на белых подушках. Вошла нянечка, не та, строгая, а другая, веселая, — на каждой руке по свертку, по ребенку, положила к двум женщинам.

— А мой? — спросила Анфиса. — А мой? — И вдруг вспомнила, что его закопали, и крикнула: — Моего закопали?

— Зачем закопали? Орет петухом, — сказала веселая. — Твой-то на всю детскую самый горластый. Генералом будет. Мы его так и зовем: генерал Громов. Несу, несу.

Она вернулась еще с двумя свертками. Один из них орал: это и был Вадим. У него было гневно-красное, напряженное лицо, он ворочал головой туда-сюда, что-то ища слепым разинутым ртом.

— Товарищ генерал, кушать подано.

Нянечка положила ребенка на подушку рядом с Анфисой. Он орал отчаянно, злобно, без слез. Она совала ему грудь, он не брал, злился, крутил головой, тыкался носом. И вдруг поймал сосок, ухватил, зажевал беззубыми деснами. Пошло молоко. Ребенок глотал усердно, отчетливо.

— Хорошо сосет, — одобрила нянечка. — Активист.

Молоко шло обильно, тугой струей. Ребенок морщился, кашлял, сердился, терял сосок, и опять находил, и опять трудился — глотал, глотал.

Анфиса кормила своего сына. Она вся переливалась в него, в своего хозяина. Никто никогда не был ей таким хозяином, ни Федор, ни Григорий, никто. Только Вадим.

9

Через несколько дней Анфису выписали. Приехала за ней опять Ада Ефимовна, верный товарищ. Чирикала, умилялась, что ребенок очень уж мал. Говорила о святости материнства.

— Я никогда не знала этого счастья. Все для искусства и для фигуры. И что? От искусства оторвана. Фигуру, правда, сохранила, а для чего? Фигура есть, а жизни нет.

«И правда, — подумала Анфиса, — на кой она, фигура, когда жизни нет». А вслух сказала с лицемерием:

— Не жалейте, Ада Ефимовна, еще неизвестно, как у кого судьба обернется.

Вадим орал.

— Красивый ребенок, — сказала Ада, заглянув в щель одеяла. — Оригинальная расцветка. Только почему он кричит? У меня в ушах вроде обморока.

Приехали домой. Дома — одна Капа.

— А ну-ка покажи.

Показала.

— А ну-ка разверни.

Развернула. Вадим копошился и орал, криво суча красными ножками.

— Ничего, ребенок справный, цвет свекольный, — похвалила Капа. — Свекла-то, она лучше, чем репа. Репный ребенок плохо живет. А у твоего — руки-ноги, все на месте. Орет зычно, шумовик. Звуку от него много будет. Я-то ничего, а Папьяка задаст тебе жару за шум.

— Ребенок ведь, понимать надо.

— А я говорю: кошка? Ребенок.

Вадим орал.

— Федору радости, — сказала Капа. — Вернется, а ему сюрприз — кока с маком.

— Не надо, Капа.

— А я что? Я ничего. Мое дело маленькое. Ты блудила, ты рожала, ты и отвечай.

На столе стоял букет. Анфиса удивилась:

— Откуда?

— Психованная принесла. Нет чтобы полезное что: распашонку, чепчик... Цветы...

Капа так и называла Ольгу Ивановну: психованная. Не любила ее, хоть и пользовалась, когда та платила ей за дежурство. А по-Анфисиному: не любишь — не пользуйся.

К вечеру пришла Ольга Ивановна. Молча поцеловала Анфису, молча оглядела Вадима своими синими, пристальными, в желтых тенях глазами. Дергалось что-то у нее в лице.

— Спасибо, Ольга Ивановна, за цветы.

— Не за что, Анфиса Максимовна. Я же вас люблю.

Хорошо стало Анфисе, что ее кто-то любит.

Одна Панька Зыкова к Анфисе не заглянула. Притворялась, будто ей неинтересно.

Вадим и в самом деле оказался самостоятельным, трудным ребенком. Орал днем, орал ночью почти без перерыва. Рот у него, можно сказать, не закрывался. Положишь — кричит, на руки возьмешь — кричит, стоймя поставишь — опять кричит. Покормишь, насосется — и обратно кричит. Да как! Весь синий становится, до того негодует. Носила в консультацию, сказали: здоров, а почему кричит — неизвестно.

— Вы, мамаша, его не балуйте. Покормите — положите в кроватку. Покричит-покричит и уснет.

Нет, Анфиса так не могла. Кричит — значит, плохо ему, значит, она виновата. Сказать-то ведь не может, бедный, где у него болит.

Анфиса его носила, Анфиса его качала — не помогает. Соску-пустышку даже в рот не берет, выплевывает, будто его оскорбили. Беда! Приспособилась она его вниз головой качать — в таком положении иногда Вадим утихал и засыпал на полчаса. Тут-то бы и ей поспать, а не спится! Только и подремлешь, покуда кормишь. Он сосет, а ты спишь. Лежа Анфиса кормить себе не позволяла, чтобы не придушить ребенка. На стуле кормила, на стуле спала.

— Это он потому орет, что некрещеный, — сказала Капа. — Просит его душенька теплой купели. Окрестишь — сразу будет шелковый. Хочешь, окрещу?

«Может, и впрямь окрестить?» — иногда думала Анфиса, когда всем становилось невмоготу, но тут же гнала эту мысль как недостойную. Пусть растет как все, советским человеком. А то вырастет, в комсомол вступать, и вдруг дознаются: крещеный. Стыда не оберешься.

Панька Зыкова особо ребенком не интересовалась, и то слава богу. Чтобы ее не дразнить, Анфиса часто кипятила пеленки не в кухне, а у себя в комнате на примусе. Сушила на отоплении. Ничего, приспособилась. Только бы сон. А сна-то и не было. Она до того извелась не спавши, что ходила шатаясь, как пьяница. На ходу засыпала. Идет в кухню и спит, пеленки стирает и спит. Просыпается, когда головой падает чуть не в воду. А пора уже было на работу устраиваться: деньги, какие были, проела и молоко стало убывать. Вадим злился, рвал грудь и еще шибче орал, теперь уж от голода, вполне можно его оправдать. Выписали ему в консультации бутылочки: бе-рис, ве-рис. Он эти бери-сы-верисы не очень-то признавал, ему грудь подавай, да побольше. Анфиса, что было лишнее, все продала, за нелишнее взялась: туфли, ва-

ленки. Оставила самое необходимое, что на себе. Задолжала всем: Ольге Ивановне, Аде Ефимовне, Капе, только у Паньки не просила, до того еще не дошла. Прожила чужие деньги — и опять нет. Хочешь не хочешь — пора на работу.

Ольга Ивановна, как и обещалась, устроила их с Вадимом в Дом ребенка, ее нянечкой, его воспитанником, хотя и против правил: он же не сирота. Стали они на работу ходить: Анфиса нянчить, а он — орать. Орал исправно, все уши прокричал персоналу. Анфиса нарочно от него в другую группу ушла, в ползунковую, чтобы не слышать, не расстраиваться. А все равно слышно, даже через стенку. Он на весь дом самый горластый.

Анфиса в ползунковой работала усердно, как всегда, работала всякую работу, только очень уж изводилась жалостью: к своему, к чужим. Да какие чужие? Все свои, обо всех сердце болит, всех жалко: плачут-жалуются, а сказать ничего не могут. На руки взять не смей, не положено, да и некогда. Накормить, переменить, постирать — только поворачивайся. Анфиса иногда против правил все же брала ребятишек на руки: очень уж жалко. Прижметя такой, хлюпает, щека мягкая, нос сопливый, ну просто сил нет, до чего жалко.

Вечером после работы Анфиса брала Вадима, завертывала его в свое, домашнее, нарядное одеяло и увозила домой. Ехать было далеко, трамваем, автобусом. В транспорте Вадим почему-то спал, а дома принимался орать с новой силой, но все-таки стал поспокойнее, иногда часа два проспит без буянства, и на том спасибо.

Одет был Вадим получше других ребят, кофточки мягкие, байковые, распашонки с кружавчиками, сшила на последние деньги. Шапочку — кроличий пух — связала и подарила Ада Ефимовна. Тем-то, сироткам, никто не свяжет, никто не подарит.

Поближе к весне стал Вадим подрастать, развиваться, научился сидеть, играть игрушками, вроде как поменьше стал кричать, вошел в разум. Летом перевели его в ползунковую. Красоты стал необыкновенной — глазки из молочных сделались черными, реснички длинные, на щеках румянец. На всю ползунковую он самый был красавец. Сидят ползунки в манежиках, а он среди них как принц небесный. Глаза как звездочки, волосики кудрявые, во рту два зуба блестят сахарком. Когда Ольга Ивановна играла ползункам на рояле, песенки пела, Вадим больше всех понимал: музыкальный! Он начал уже вставать понемногу, делал «дыбочки», и любо-дорого было смотреть, как он в голубых своих штанишках, со сползшей лялочкой на плече стоит, уцепившись одной рукой за бортик, и с ножки на ножку переминается, будто танцует. Никто в ползунковой группе не умеет так танцевать! По развитию всех впереди, раньше всех лопотать начал «мама» и «дай». Ножки крепкие, столбиками — вот-вот пойдет! И ночью стал спать, слава богу, спокойнее: только раза три-четыре к себе потребует, а это ничего, терпимо. Жизнь вроде уже хорошая получилась. А главное, война подходила к концу. Пушками бахали салюты — то за один город, то за другой, и по всему небу, как цветы, — ракеты, ракеты. Очень Анфиса любила салют. Иной раз даже будила сыночка своего Вадика, выносила его на улицу: «Гляди, салют». Он послушно глядел, на каждый залп махал ручкой, и в глазах у него отражались разноцветные звезды.

И вот — кончилась война! Только подумать: кончилась! Всю ночь с 8-го на 9-е Анфиса с Ольгой Ивановной не отходили от радио. А оно-то наяривало! Целую ночь — веселые песни, марши и танцы. А победу все не объявляли, и уж невмочь становилось ждать. И вот — объявили! А в квартире никто не спал, дверь на лестницу не запирали: заходи кто хочет. Заходили, поздравляли какие-то незнакомые. Пришел дворник, принес водки, предложил выпить «заслуженному женскому коллективу». Выпили все, даже Ольга Ивановна. Опять не спали. Утром поехали на работу — Ольга Ивановна и Анфиса с Вадимом. Весть о победе уже гремела по улицам. Весь город — сколько там есть

миллионов! — высыпал на улицы, черно было от народа, красно от флагов. И Дом ребенка — тоже. Ребятишки, как клопы кургузенькие, в темных ватничках выстроились на улице, махали флажками и пели — кто в лес, кто по дрова. А обед был прямо как в мирное время: Евлампия Захаровна распорядилась — все, что в кладовой, на стол! Ребят — конфеты, шоколад. Многие из ребятишек в глаза не видели конфету, не знали, как ее разворачивать...

Вечером после работы попросила Анфиса:

— Ольга Ивановна, вы уж тут, пожалуйста, приглядите за Вадимом, а я побегу.

— Бегите, Анфиса Максимовна.

Побежала Анфиса туда же, куда все, — на Красную площадь. Людей — как воды в половодье. Целуются, обнимаются. Качают офицеров, солдат. И музыка, музыка. Репродукторы словно с ума сошли. И гармоника на каждом углу и пляска. Какой-то солдатик потащил и Анфису плясать. Она, хоть и старая, пошла. Плясала и плакала. Кругом многие плакали. А над площадью красное знамя, как язык огненный, высоко стоит...

Вернулась Анфиса домой — еле ноги волочит. Ольга Ивановна спрашивает:

— Ну, как там?

А щека дергается. Отвечает Анфиса:

— Пляшут, поют, плачут. — И сама в рев.

Пришла Капа со всенощной. Просфору принесла, рассказывала, как батюшка возглашал за победу русского воинства. Панька Зыкова пирог испекла, всех угощала...

Так вот, значит, кончилась война. Большая радость, а страшная. У кого погибли мужья — ревом режут, море разлитое. Анфиса, та все сразу — и радовалась, и редела, и ждала, и боялась: вернется Федор. Нет, не вернулся. Все сроки прошли — нет и нет. Значит, оказалась и она солдатской вдовой.

Что ж теперь делать? Стала жить вдовой с сыночком своим ненаглядным, с красавчиком. И Ольга Ивановна мальчика полюбила, баловала по-всякому: то игрушку принесет, то яблоко, а то и книжку — сама ему вслух читает. В Доме ребенка отдельно с ним занималась, слух развивала. Говорила: способный. В квартире к Вадиму тоже хорошо относились, ценили его красоту. И Ада Ефимовна и Капа — нет-нет да и приласкают, даром что некрещеный. Одна Панька, всегда суровая, проходила мимо него с ветром. Еще сердитее стала, чем прежде. Да и было с чего: в недавнем времени ушел от нее мужик, тот самый, непрописанный. Вещи собрал и канул. Жил он с ней не так уж долго, но и не коротко — успел облысеть. Вот какая бабе судьба: к кому возвращаются, а от нее ушел. Обсуждали на кухне Панькины дела, спорили. Капа была за то, что законно ушел: деловой мужик на одних костях не улежится. Ада Ефимовна, напротив, жалела Паньку, а мужчин осуждала как класс. Впрочем, Паньку очень-то не пожалеешь. Лицом почернела, как осиновый сруб, а нет чтобы поделиться. Не женщина — комбайн.

10

Не помню, когда и как впервые пришло мне в голову сочинять для детей музыку. Композиции я никогда не училась и не думала, что к ней способна, а тут попробовала — и что-то вышло...

Мы сидели вечером в концертном зале Дома ребенка — Анфиса дежурила, а я осталась просто так, возле рояля. Робко, сперва потихоньку стала я наигрывать что-то свое. Анфиса и внимания не обратила.

— Анфиса Максимовна, — спросила я с сердцебиением, — как вам кажется эта музыка?

— Ничего,— рассеянно сказала Анфиса.— Музыка мелодичная. А что?

— Это я сочинила.

— Да не может быть!

Анфисины серые глаза раскрылись так широко, в таком изумлении, что я засмеялась.

— Что ж тут особенного? Сочинила, и все.

Анфиса не могла прийти в себя:

— Это надо же! Человек музыку сочиняет. А как он называется, кто музыку сочиняет?

— Композитор.

— Вы, значит, композитор?

— Да нет, какое там.

— Вы же сочинили — значит, композитор.

— Вот смешная! Композиторы бывают разные, большие и маленькие. Я — самый маленький, крохотный композитор. Не стоит об этом говорить.

Анфиса только рукой махнула:

— Крохотный! Да мне дай сто тысяч, я ни за что такого не сочиню.

Уважение ко мне Анфисы с этого дня возросло безмерно. Я просила ее никому не говорить, что сочиняю музыку. Она свято блюла секрет, но ее так и распирало. Бывало, играю, а она наклонится и спрашивает шепотом:

— Это тоже вы сочинили?

— Нет, что вы, Анфиса Максимовна, это Чайковский.

— А я думала, вы.

Однажды я сочинила для ребят торжественный туш, чтобы идти к елке. Я его сделала в стиле полонеза, с припаданием на каждом такте, и они припадали, да как! Серьезные, колченогие, светящиеся усердием. У меня прямо ком в горле стоял. «Похлопайте тетеньке Ольге Ивановне!» — крикнула Анфиса (она-то знала, что туш мой), и дети захлопали слабыми, влажными своими ладошками, этот звук походил на начинающийся дождь... А потом мне попались в каком-то журнальчике забавные стишки про белочку и ежонка, и я положила их на музыку. Не бог весть что, но получилась песенка, ребята пели ее с увлечением. С тех пор я прямо заболела композиторством. По ночам, когда не спалось, я уже не смотрела в окно, а сочиняла музыку, напевая в нос и разыгрывая на одеяле воображаемый аккомпанемент. В то время мне даже хотелось (странное дело!) иметь рояль... Настоящего композиторского дара у меня, разумеется, не было. Была любовь к музыке и некая «наслышанность». Бывает же, что начитанные люди могут писать грамотно, похоже на то, как пишут другие. Так и я. И все-таки одно время я была увлечена. Меня поддерживало простодушное восхищение Анфисы. Также нашла знатока...

Смех смехом, а радость творчества, пусть не вполне оригинального, согревала меня. И дети, певшие мои песенки, радовали меня больше, чем когда они пели чужие...

Самым одаренным в старшей, выпускной группе был Вадим Громов. Красивый, смелый, сообразительный, он пел лучше всех, танцевал лучше всех, лучше всех выговаривал «р», раскатывая его как-то особенно щеголевато. Был ловок, подвижен, в играх всегда коноводил. Знал наизусть множество стихов. Когда приезжала какая-нибудь комиссия, Евлампия Захаровна старалась щегольнуть Вадимом: вот, мол, каких детей мы выращиваем! Он и в самом деле был прелестен со своей светящейся смуглотой, яркими глазами, быстрыми ножками.

Смущало меня только его высокомерие. Маленький король — и

его подданные. Они ничего не видели — он видел все. Они ничего не знали — он все знал.

— Дурррак! — говорил он, щеголяя раскатистым «р». — Дурррак, не видел автобуса! А я в автобусе ехал! И на трамвае ехал!

Ребята слушали его, как жреца. Он был среди них самый опытный, самый красивый, самый развитый, самый...

Вскорости Дом ребенка постигло горе: умерла наша заведующая Евлампия Захаровна. Умерла она от рака желудка, как-то быстро и деловито, хорошо зная, что у нее рак, что надежды нет и что дело это, в общем, житейское. До самых последних недель она ходила на работу, перемогая боль и слабость, куда-то звонила по телефону, на кого-то привычно сердилась, но вдруг среди всего этого внезапно и страшно бледнела, закрывая глаза, как бы не в силах взглянуть в лицо собственной смерти. С тех пор как заболела, она стала охотно со мной разговаривать, часто без особого дела вызывала меня в кабинет. Из всех окружающих, кажется, только одна я не врала ей, не уверяла, что она поправится, и она за это особенно меня ценила. Разговаривали мы с ней кратко и деловито; смерть не была главной темой наших бесед, но присутствовала в них наравне с другими. Евлампия Захаровна упоминала о ней бегло, походя, не избегая ее, но и не тяготая к ней как-нибудь особо. Шла, например, речь об огороде. «Это вы уже после меня посадите», — спокойно говорила Евлампия Захаровна, и я не возражала, разговор шел серьезный и деловой.

Однажды она спросила меня:

— Ты смерти боишься, Ольга Ивановна?

— Нет, не боюсь. Я уже умирала, и не было страшно. Но жизнь я люблю и умирать не хочу.

— Вот и я так. Смерти не боюсь, а жизнь люблю. Еще бы годочка два пожить, да не выйдет. Жизни моей осталось месяца три.

— Этого никто не знает... Может быть, долго еще проживете...

Она посмотрела на меня снисходительно, как взрослый на ребенка:

— И ты туда же! А я думала, серьезный человек!

Когда Евлампия Захаровна слегла уже совсем, ее поместили в больницу. Я приехала ее навестить и поразилась быстроте, с какой болезнью делала свое дело. Лежал скелет.

— Что смотришь? — спросила она звучным голосом, странным в устах скелета. — Печать смерти видишь?

Я молчала.

— Спасибо, что не врешь. Все врут. А ты не врешь.

Что я могла сказать? В таких случаях женщины плачут, но у меня не было слез.

— Слушай, Ольга Ивановна, я тебе расскажу, как это — умирать. Ничего не страшно, а кажется, будто очень серьезное дело делаешь, трудное дело и не знаешь, хватит ли сил. Хотя, с другой стороны, если рассудить хорошенько: какие такие силы нужны, чтобы умереть? Она, смерть, все сама сделает: придет, и возьмет, и успокоит, а ты лежи себе полеживай... И еще, Ольга Ивановна, все думаю я: на что этот самый последний момент будет похож? Думаю, на рвоту. Рвать меня будет моей душой.

— Евлампия Захаровна, — сказала я, взяв ее за руку, — смерти нет, вы ее и не почувствуете. Какой-то философ сказал: не бойся смерти — пока ты жив, ее еще нет, когда ты умер, ее уже нет.

— Больно мудро, — заметила она, бросив на меня критический взгляд из глубоких глазниц. — Какой философ это говорил?

— Не помню...

— Передай ему: все врут.

Евлампия Захаровна закрыла глаза. Я потихоньку вышла.

Через неделю она умерла. Похороны были на удивление многолюдные. Пришли люди, о которых мы и понятия не имели: какие-то военные, один священник с заколотыми под мягкую шляпу длинными волосами, выводок прелестных молодых девушек, похожих друг на друга, как сестры... Многие плакали. Больше всех убивалась Нюра. Она кричала, что из-за покойницы на фронт не пошла, а теперь, как на грех, война кончилась и ее, Нюрина, жизнь вся разбита...

Похоронили, оплакали и отсожалели, и опять жизнь закрутилась своим чередом, только без заведующей. Временно ее замещала старшая сестра Юлия Ивановна, пожилая трепещущая женщина, боявшаяся любого начальства, любой ответственности. Она руководила Домом ребенка, стараясь только ничего не решать, чтобы было все по-старому. И все шло по-старому, по заведенному порядку. Я играла детям свои песенки и рассказывала им про тетю Ланю (так они звали Евлампью Захаровну). В моих рассказах тетя Ланя была похожа на добрую фею; тут же путалась Золушка в кирзовых башмачках, и Золушка эта была ни дать ни взять Анфиса Максимовна...

И вот в один недобрый день из горздраводела прислали новую заведующую, Инну Петровну. Это была женщина нестарая, полная, с горой светло-золотых крашенных волос, пышно взбитых на гордо закинутой крутолобой голове.

Войдя в Дом ребенка, она сразу сказала: «Беспорядки!» — и все притихли. Она сложила губы, зажав их изнутри, как пинцетом, и мы поняли, что нам придется круто. Так и получилось.

Инна Петровна была неумна, зла и битком набита педагогикой. Страшная была наука! О самом живом говорила самыми мертвыми словами.

На меня она вначале не обращала внимания, наводила порядки на более важных участках. Юлию Ивановну она запугала насмерть, намекнув ей, что за упущения ее арестуют. Та пыталась оправдаться, говоря, что так было заведено еще при покойной Евлампии Захаровне...

— Легче всего валить на мертвых, — замечала заведующая, защемив своим пинцетом губы.

Нюре она наговорила такого, что та не выдержала и подала заявление об уходе.

— Плакать не будем, — сказала Инна Петровна, — незаменимых нет. Но характеристика в наших руках.

И в самом деле, накатала характеристику — хуже нельзя. И индивидуализм, и недисциплинированность, и анархо-синдикалистские настроения. Нюра эту характеристику на пол бросила и плюнула:

— Что я, без характеристики пропаду? Слава богу, не головой — руками работаю.

До меня Инна Петровна добралась месяца через три. Она поинтересовалась, откуда я беру материал для занятий с детьми. В частности, песни. Кем они утверждены?

Пришлось признаться, что мои песенки нигде и никем не утверждены. Заведующая пришла в ужас, закудаhtала по-куриному:

— Как же так? Как же так?

Немного успокоившись, она объяснила мне, что я совершила серьезное нарушение. Пользование в работе с детьми неапробированными, непроверенными материалами в наше время приравнивается к идеологической диверсии. В одном детском саду пели дореволюционные песенки... Заведующую сняли. Надо всегда помнить, что дети не просто поют, что в процессе пения они выковывают свое мировоззрение...

И дети и песни умирали под ее словами.

— Вы меня поняли?

— Я вас поняла.

Она помолчала, чувствуя подвох.

— Вы можете ко мне относиться, как вам нравится. Я требую только соблюдения дисциплины. Надеюсь, больше нарушений не будет?

— Не будет,— пообещала я.

И их не было. Кончилась моя композиторская деятельность... Некоторое время, особенно по ночам, меня еще преследовали смешные звуки, легкие синкопы полечек, но это прошло. Собственно, никто не мог запретить мне сочинять. Никто не мог проверить каждую ноту: свое я играю или чужое? Важно было отбить охоту, и этого Инна Петровна добилась. Но не во мне дело и не в моей музыке. Скоро пришлось уволиться из Дома ребенка Анфисе — самой любящей, самой талантливой из нянечек. Талант — это любовь, и он у Анфисы был в полной мере. А у Инны Петровны, как это часто бывает у профессиональных руководителей, был безошибочный нюх на все свежее, нестандартное. Она сразу его вытаскивала на свет и упраздняла. Так произошло и с Анфисой.

11

Вадим к этому времени подросток уже порядочно, ему было почти четыре года, и для Дома ребенка он был переростком. Все правда. Но он был не простой воспитанник, а особый: мать приводила его только на день, а ночевал он дома и был крупнее, развитее и упитаннее других ребят, потому что Анфиса жизни для него не щадила. Сама она работала теперь воспитательницей в старшей группе, у трехлеток, и Вадим там же. «Так и дальше будет,— тешила себя Анфиса,— всегда вдвоем. Он в ясли — и я в ясли. Он в школу — и я в школу. Он в институт — и я в институт, кем-нибудь, а уборщицей-то возьмут. Нынче эта специальность дефицитная».

Евлампия Захаровна, покойница, против Вадима не возражала. В самом деле, куда девать ребенка, если мать работает? Пускай приводит.

Анфиса не только своего, Анфиса всех детей любила, своего ничем не выделяла, спроси кого хочешь. А в старшей группе была у нее даже любимчики. Кудрявых она особенно любила. Нет-нет да и поцелует. При Евлампии Захаровне все было ничего: целуй сколько хочешь, только не бей. А новая заведующая против:

— Анфиса Максимовна, поцелуй отдельных детей запрещаются.

Поди ж ты, отдельных детей! Вместе их, что ли, всех целовать? Но молчала, не спорила. Понимала, что образования ей не хватает: шесть классов кончила да курсы военного времени, а другие — с законченным средним. Без образования и уволить могут, а этого боялась Анфиса: все-таки прижилась и сын при ней. Она старалась пополнить образование, подчитать. Записалась в библиотеку, дали ей там книжек по дошкольной педагогике. Читала-читала, а толку нет. Написано много, а все не по делу. Толкуют про особенности возрастной психологии, про формирование личности, да так нудно, словно мешок полощут. А какая личность? Ребенок, и все. Люби его, играй с ним — и он тебя будет любить.

И правда, дети Анфису любили. Все с вопросами обращались. Например:

— Анфиса Максимовна, а зачем гусь?

Гуся ребята в глаза не видели, выросли в городе. Анфиса им объясняла как могола:

— От гуся перо, от пера подушки, от подушек сон сладкий, пуховой. Ты спи-поспи, моя деточка, говорит сон. А деточка спит, и в ушах у него колокольчики серебряные так и звонят...

— Звонят... — повторяли дети.

А еще кто-нибудь спросит:

— Почему гусь лучше курицы?

А у нее сразу готов ответ:

— Потому что у гуся шея. С такой шеи далеко видно, до самого края света. Спросит краесветный житель: «Кто это на меня с такой высоты смотрит?» А ему говорят: «Это гусь»...

И довольны дети. А то подерутся — и сразу к ней:

— Анфиса Максимовна, он меня...

— А ты что?

— А я его.

— Оба хороши, — говорила Анфиса, — а ну-ка оба сюда, один под правую руку, другой под левую. Две руки у меня, два домика. В каждом домике печка, в каждом домике свечка, в каждом домике фунтик с укладочкой...

Детям понравилось, сами стали играть в домики. Услышала заведующая:

— Что за фунтик такой? Откуда фунтик? Дореволюционная мера веса.

— Это так Анфиса Максимовна говорит.

Инна Петровна подкуснула губу с ужимкой. Потом:

— Анфиса Максимовна, цитируют вас дети.

— Как цитируют? — всполошилась Анфиса.

— Фунтик какой-то, да еще с укладочкой.

— Ах, это? Пустяк какой-то. Сказала и забыла.

— В воспитании пустяков не существует. Каждым своим шагом, каждым словом воспитатель должен способствовать...

«Дура ты, дура переученая, — тоскуя, думала Анфиса. — Мне бы твое образование».

...Умерла рыбка.

«Мысли о смерти животных не должны омрачать счастливое детство советского ребенка», — говорила себе Анфиса голосом заведующей, а слезы, незаконные, так и текли. Не только о рыбке — о себе, о Федоре, о Вадиме, обо всех сиротках...

Вскоре заведующая добралась и до Вадима. Стала придираться к тому, что он переросток, что мать незаконно уводит его домой каждый вечер и этим способствует распространению инфекции. Требовала, чтобы Вадима убрали из Дома ребенка, перевели в обычный, городской детсад...

Анфиса Максимовна тосковала, отмалчивалась. Уж очень не хотелось ей уходить. Но заведующая нудила, как осенняя муха:

— Любая комиссия, обнаружив такие нарушения, вправе будет отстранить меня от работы...

Ну что ж? Сила солому ломит. Прощай, Дом ребенка! Вот уже в последний раз пришли сюда Анфиса с Вадимом. Анфиса плачет, целует всех, прощается, а Вадим стоит в сторонке, опустив голову, копает каблуком ямку, и лицо у него гневное. Что он думает?

Назавтра Анфиса с Вадимом идут на работу в новый городской детсад. Каково-то будет там? «Ничего, — думает Анфиса. — Главное, вместе — куда ты, туда и я».

Новый детсад, куда устроились Анфиса с Вадимом, оказался большой, просторный, по помещению куда лучше, чем Дом ребенка. Все по последнему слову. В туалетах не горшки, а унитазики, детские, специальные, низенькие, как грибочки. Шкафики новые, сушилка для одежды. Спят на террасе в спальнях мешках. А на площадке чего только нет! И тебе качели и тебе карусели. Ребята в садике — рослые, упитанные, все больше дети научных работников, а у тех пайки хорошие, их к лучшим распределителям прикрепляют. Анфису взяла воспитательницей в среднюю группу — зачли ей опыт за образование, — а Вадима определили в малышовую. Ну да ничего, невелика разлука — она на первом этаже, он на втором.

Анфиса сперва тосковала по Дому ребенка, по ребятам своим любименьким-кудрявеньким. Здесь дети были резвей, развитей, зато шумные, эгоистичные. Подерутся — беда! Понемногу привыкла, и дети ее полюбили. К интеллигентским тоже подход надо иметь. И заведующая ничего была, только зануда. Говорит как плачет.

А Вадим приживался плохо. Никак не мог привыкнуть, что он не главный. По утрам хныкал:

— Не хочу в садик! Хочу в домик!

Домиком называл Дом ребенка. Анфиса умилялась:

— Какой постоянный! Женится — не изменит.

А Вадим просто искал привычного себе поклонения — и не находил. И ему было плохо. Как-то он подошел к воспитательнице своей, малышовой, группы и тронул ее за локоть, сказавши:

— Эй! Смотри, это я.

Она поглядела равнодушно и весело круглыми черными глазами.

— Ну, и чего мне на тебя смотреть?

— Это я. Вот я.

— Подумаешь, Художественный театр!

Так и не восхитилась. Вадиму было больно, горько. Никак он не мог выразить, чего ему не хватает.

Понемногу и он обжился в новом садике, но ходить в него не любил.

12

Вадиму было уже четыре года, когда вдруг неожиданно-негаданно вернулся Федор.

Дело было вечером, Анфиса выкупала, уложила сына, пошла в магазин, вернулась домой, а там Федор. Сидит на стуле возле кровати, смотрит на ребенка и молчит. Анфиса так и онемела — руки-ноги отнялись и душа провалилась.

— Здравствуй, Анфиса, — сказал Федор, а сам не встает.

— Здравствуй, Федя, — чуть слышно ответила Анфиса.

— Значит, вот у тебя какие дела.

Анфиса заторопилась:

— Ты, Федя, здесь оставайся, твоя площадь, ты и живи, а мы уйдем.

— Нет уж, зачем вам уходить. Лучше я уйду. Я мужчина.

Встал, плечи расправил и прошелся по комнате. Тут она заметила, что у него одна нога короче другой. Анфиса от жалости заплакала.

— Цыц, — сказал Федор, — сопли не распускай. Без того тошно.

Водка есть?

— Нету, Федя. Я у Капы спрошу. Может, у нее есть.

— Ступай.

Анфиса — к Капе просить водки. У той оказалась бутылочка. Ушла баба, все-то у нее есть. Говорит:

— Бери, раз такой случай. — И прибавила: — Федор-то небось рад-радехонек. Бил?

— Нет. Не бил покамест.

— А что делает?

— Молчит. Вадика разглядывает. Ой, боюсь я, Капа, чего будет?

— Ну-ну. Сама нашкодила, сама и отвечай. Любишь кататься...

Анфиса принесла водку, поставила на стол, к ней закуску какая была (хлеба черного с луком и сухую рыбину), подала рюмку, полотенце колени накрыть. Федор сел.

— Зачем одну рюмку? Себе налей.

— Не пью я, Федя.

— Ради случая выпьешь.

Налили, выпили в молчании.

— Значит, вот как, — сказал Федор.

— Так уж вышло. Виновата я. Сама не знаю, как случилось.

— Вины твоей передо мной нет,— сказал-отрубил Федор и кулаком пристукнул.— Вины твоей нет, и нечего нам про это разговаривать.

Он показал подбородком на кровать, где, откинув руки, спал ребенок в своей удивительной красоте, весь в ресницах.

— Сын?

— Сынок.

— Зовут как?

— Вадим.

— А по отчеству?

Анфиса замялась. Федор усмехнулся половиной лица и сказал:

— Если не возражаешь, будет Федорович.

— Феденька!

Анфису так и кинуло Федору в ноги. Себя не помня ткнулась она ему лицом в колени, в заношенные хлопчатобумажные галифе, кричала, просила прощения. Федор брезгливо высвобождал ноги из ее объятий, отталкивал от колен ее мокрое лицо.

— Хватит, Фиса, не ори. Не в кино. Сказал, и все. Вставай да садись за стол праздновать.

Анфиса, вся смятая, присела на краешек стула.

— Пей!

— Не привыкла я...

— Зато я привык.

Федор пил рюмку за рюмкой, хмелел и мрачнел, колотило его горе. Велел принести гитару (хорошо, что не продала!). Бант на гитаре был мятый, вялый, Федор его сорвал, на пол бросил. Попробовал струны. Так и есть, расстроена и одной струны не хватает. Кинул гитару на кровать, она зарыдала, а Федор запел так, без гитары, взвыл диким голосом про московский пожар. Встал, пошатнулся, сжал кулаки (Анфиса втянула голову в плечи), спросил: «Боишься?» — и рассмеялся. Рухнул на колени, голову на стул — так и брякнуло. Плачет, что ли? Нет, молчит. Анфиса, затаив дыхание, слушала: молчит. Скоро раздался слабенький, детский храп. Значит, спит, слава тебе, господи.

Анфиса оттащила бесчувственного, каменно-тяжелого Федора к себе на кровать, стянула с него сапоги, расстегнула гимнастерку, накрыла его одеялом, сама легла на полу.

Утром встала тихонько, чтобы не тревожить Федора, разбудила мальчика, одела его, накормила. Вадим таращил сонные глазки на чужого дядю и привычно хныкал:

— Не хочу в садик, хочу в домик!

— Тихо, моя деточка,— говорила Анфиса шепотом,— мы кроликов поглядим, черепашку... Кролик выспался, ножками стук-стук. Где ты, говорит, черепашка, я по тебе соскучился...

Ушли. Когда вернулись, Федор был пьян и пил четыре дня беспробудно. Он не кричал, не буянил, но как-то падал внезапно и страшно, будто ударенный, и погружался в беспамятство.

«Господи, припадочный,— думала Анфиса,— Моя вина».

На пятый день Федор очнулся и сказал:

— Хватит, попраздновал. Давай теперь жить.

Начали жить. Федор на работу не торопился, были у него деньги, какие — Анфиса не знала, да и не спрашивала: не мое дело, мужчина сам себе хозяин. Получает ли пенсию — тоже не знала, а должно быть, получает как инвалид. Деньги на хозяйство Федор вносил молча, положит на стол, и все. И на сколько времени — не скажет, расчитывай как хочешь.

Днем, пока Анфиса с Вадимом в садике, Федор сидел дома, мастил зажигалки, вытачивал портсигары из плексигласа (верно, на продажу, потому что они исчезали). Анфиса опять же не вмешивалась. Вечером молча и скучно обедал, читал газету, покуривал. Какой-

то кашель у него появился, отрывистый, недобрый. И не улыбнется. С мальчиком, впрочем, играл. Мальчика он полюбил, называл Вадим Федорович. Анфиса, сознавая свою вину, была с Федором робка, угодлива. Утром накроет стол, завтрак ему подает:

— Кушать будешь, Федя?

— Оставь, я сам возьму.

Всегда «сам». Будто его кто отравит...

Каждый день-то не пил, а пройдет два-три месяца — прямо в запой. Не кричит, не буянит — падает. Один раз Анфису побил. Был в запое, а денег, видно, нет. Сказал ей:

— Дай на чекушку.

— Нет у меня, Федя.

И правда нет.

Тогда он ее ударил. Губу в кровь рассек. Ударил и ушел. Вернулся трезвый.

— Ты, Фиса, меня прости. Не знаю, что со мной делается. Я на работу поступаю.

Анфиса, конечно, заплакала:

— Да разве я... Мало ты меня побил, Феденька. Я еще не такого стою.

Федор отмахнулся с брезгливостью. Вскоре он и в самом деле поступил на работу. Взяли его в ремонтную мастерскую. Хоть и инвалид, а руки еще есть, инструмент не уронят.

13

С тех пор как вернулся Федор Громов, наша квартира как-то переменялась, приосанилась, что ли. Все-таки мужчина в доме, хозяин законный. Женщины уже не ходили растрепаны, в затрапезном виде. Что-то милое, почти девичье мелькало в их лицах, когда они уступали ему дорогу, стараясь казаться меньше, моложе, изящнее... Боже мой, думала я, как все это страшно и жалко и как это человечно.

И ссор в квартире поубавилось: стеснялись Федора.

А Федор, как ни странно, подружился со мной. Первый раз он зашел по моей просьбе починить радиоточку. Починил, постоял, посмотрел книги. Разговорился. Стал заходить. Нет-нет да и стукнет в дверь:

— Ольга Ивановна, вы заняты?

— Нет, что вы. Заходите, Федор Савельевич.

Он входил, присаживался на стул бочком, чтобы меньше занимать места (сама я сидела на кровати, может быть, все-таки стоило бы завести второй стул?), начинал разговор:

— Ольга Ивановна, а правду говорят, в Америке такую машину придумали, что сама, без человека, задачи решает?

— Не знаю, Федор Савельевич, может быть, и придумали.

— А как, по-вашему, хорошо это или плохо? В газетах пишут — плохо, идеализм.

— А по-моему, ничего плохого. Я вот в школе задачи не умела решать, так и не выучилась. Дали бы мне машину, пусть бы решала. Разве плохо?

Федор смеется. Странный у него смех, словно кашель. А глаза хорошие, голубые.

Многое он у меня спрашивал. Думал, что я образованная. А я — невежда. Очень мне иногда было жаль, что я невежда. На его вопросы чаще всего один ответ: не знаю.

— Как вы думаете, Ольга Ивановна, а Гитлер вправду самоубился? Говорят, враки: кукла это была вместо Гитлера.

— Не знаю, Федор Савельевич.

— А если бы вам привели Гитлера, сказали бы: «Убивай, если хочешь», — вы бы убили?

— Не знаю... Думаю, не убила бы.

— И я не убил бы. Я никакого человека бы не убил.

— Вы же воевали. Приходилось же вам убивать?

— А я их в лицо не видел, кого убивал. Видел бы — не убил бы. Я думаю, все люди так. Покажи ему в лицо, кого убить надо, — испугается, не убьет... Трудное это дело...

Иногда расспрашивал обо мне самой:

— Вот у вас высшее образование. Чему вас учили?

— Музыке.

— Я думал, музыка не учење. Мы в самодеятельности тоже музыку проходили. Я думал, это так — для удовольствия.

— Федор Савельевич, в любом деле есть любители и профессионалы. Вот я, например, консервную банку открываю как любитель, а вы — как профессионал.

Смеется. Потом:

— А какая у вас профессия?

— Играть на рояле.

— Почему же у вас рояля нет?

— Был. Это дело сложное. Его вместе с моим домом разбило, когда бомба попала...

Помрачнел, помолчал. Потом через силу:

— Я извиняюсь, Ольга Ивановна, что про такое дело спрашиваю. Если не надо — не буду.

— Нет, отчего же, пожалуйста.

— Я хотел спросить... Вот вы все потеряли, а живете. Откуда силы у вас берутся? Если трудно вам, не отвечайте.

— Попробую ответить. Жизнь — это вообще большая сила. Видали, как трава асфальт пробивает?

— Видал...

— Слабая травинка, а сила у нее огромная...

— Понял.

Или совсем уже странные вопросы:

— Как вы думаете, корова чувствует?

— Право, не знаю. Думаю, кое-что чувствует.

— Например, возьмут у нее и зарежут телят. Она горюет?

— Наверно, горюет. Только не по-нашему, по-своему.

— А я думаю: по-нашему. Только нам ее горя не видно. Оно глаубоко в корове спрятано.

Станный человек, а добрый. Посидит и уходит.

— Вы меня, конечно, извините, Ольга Ивановна. Время у вас отнял разговорами.

— Что вы, Федор Савельевич. Я очень рада.

Попривыкли мы друг к другу, и я даже сама стала у него кое-что спрашивать. Например:

— Зачем вы пьете, Федор Савельевич?

— Сам не знаю зачем. Хорошего тут нет, а пью. Разом зарыдает внутри тоска, и ничего не надо, только бы выпить. Выпьешь — и ничего, будто бы лучше.

— Пожалели бы Анфису Максимовну.

— А я не жалею? Очень даже жалею. Оттого и пью.

Разговоров об Анфисе он вообще избегал, но как будто все же стремился к ним. Избегал, стремясь. Один раз сказа́л неохотно, кривя губы:

— Она что? Она думает, виновата, ну и старается, услуживает. А мне это больше всего невыносимо, ее услужение. — Помолчал и прибавил: — Душит она меня.

Про мальчика он говорил охотнее, неизменно называя его «мой наследник Вадим Федорович». Видно было по глазам, по улыбке, что дорог ему Вадим, что гордится он его красотой, смышленостью. Однажды он сказа́л:

— Вы, конечно, можете надо мной смеяться, что я чужого сына как своего люблю. А я и забыл, что он не мой, можете верить, не верить.

— Очень даже верю.

— Вы бы не могли так полюбить чужого ребенка?

— Очень даже могла бы.

Конечно, Федоровы ко мне визиты не прошли незамеченными. Женщины нашей квартиры — все, кроме Анфисы, — дружно ревновали ко мне Федора. Странная ревность — без любви, без повода, без оснований. Бедный суррогат чувства, появляющийся там, где жизнь недожита, любовь недолюблена. Все эти женщины недожили свое, недолюбили, недоревновали.

Стоило мне выйти в кухню, как я погружалась в ревность. Косой взгляд Паньки Зыковой, мчащейся мимо с утюгом в руке, Капина ехидная улыбочка, взгляд круглых глаз исподлобья, даже Адино усиленное поханье — все это означало одно: ревность.

Любопытно... Я с моей палочкой предмет ревности? Забавно.

Одна Анфиса не ревновала, напротив, радовалась: слава богу, Федору есть куда пойти, отвести душу.

— Ольга Ивановна, хорошо, что у вас на него влияние. Может, вы его пить отучите? Вот хорошо бы! Он вас ужасно как уважает...

— Я стараюсь, Анфиса Максимовна. Только вряд ли.

— Старайтесь, пожалуйста! А я для вас постараюсь. И полы помую и постираю. Все что хотите!

А у самой глаза в надежде: а вдруг?..

Капа по-соседски хотела было вразумить Анфису, чтоб лучше смотрела за своим мужиком. Но та ее так шуганула, что любо-дорого. Сама мне рассказывала:

— А я кричу: «Не смей! У них с Федором чистая дружба! Не касайся ее грязным своим языком!» Так и сказала, а сама трясусь, как паду́чка. Дала себе волю. Капка перепугалась — и шась из кухни! Точная кошка — нашкодила и вон, пока носом не натыкали. Я ей вослед вилку бросила. Целый вечер голоса ее не было слышно.

14

Ко мне пришла Ада Ефимовна. Села на кровать, стройно скрестила подъемистые ножки (каждый подъем выгнут, как лук), сказала решительно:

— Знаете что? Нам надо поговорить. Мне надоели эти афинские ночи.

— Какие ночи?

— Афинские. Ну, загадки, ревность и прочее. Вы меня понимаете? Я говорю о Федоре Савельевиче. Я окончательно решила вам его уступить.

— Как уступить? — Я даже рот раскрыла.

— Только не перебивайте. Дайте закончить мысль. У меня все очень стройно получается. Ситуация такова: ясно, что он жену свою не любит. И было бы странно, если бы любил. Она гораздо ниже его развитием, хотя и он не блещет. К тому же родила от другого. И так, ее он не любит. Остается выбор: вы или я. Сначала я рассчитывала на него для себя. Конечно, у него есть недостатки, но на этом безмужчинье выбирать не приходится. Обдумала и решила: нет. Здесь я не найду счастья. Во-первых, я не переносу запаха водки. Конечно, можно было бы его перевоспитать, но у меня слабый, женственный характер, я для этого не гожусь. Кто годится? Ясно, вы. И я собрала все свое великодушие и пришла к вам. Берите, перевоспитывайте. Он женится на вас, вы его перевоспитаете, и он будет отличным мужем. Анфиса, благодарная вам за спасение мужа, тоже будет счастлива. И все наладится, все будет прекрасно.

Я слушала ее как обалдевая, не находя слов. Все это было идиотично, за пределами понимания.

— Ну как, по рукам? — спросила Ада и засмеялась своим отдающимся смехом. Слушая этот смех, всегда хотелось обернуться: где мужчина?

— Это какой-то бред, — сказала я. — Это нелепость. Уверяю вас, ничего подобного мне и в голову не приходило. Ни мне, ни ему.

— А его любовь? — лукаво спросила Ада.

— Какая любовь? Нет здесь никакой любви и быть не может!

Ада погрозила пальчиком:

— Кого вы думаете провести? Только не меня! Влюблен без памяти, как трубадур. Или Тристан, не помню кто.

Я пожала плечами, встала.

— Ада Ефимовна, вы фантазерка. И, пожалуйста, больше не будем говорить об этом. Хорошо?

Она была разочарована, но смирилась, ушла.

Вот нелепость! Забыть, и все.

Но когда в следующий раз Федор ко мне зашел, между нами что-то стояло. Я приглядывалась к нему внимательнее, чем обычно. Тристан. Трубадур. Неужели Ада права? Не может быть! Ерунда, плод Адиноного воспаленного воображения. И все-таки...

С каждым разом становилось яснее: это нелепо, но Ада права. Федор в меня влюблен. Особенный голос, мешканье на пороге, растопленный взгляд голубых глаз с кровавыми прожилками... Однажды он принес мне букет цветов в молочной бутылке, пристукнул им, ставя на стол гордо и скромно, и сомнений у меня не осталось: влюблен. Или, может быть, хуже: любит? Да, любит.

Мысль эта была мне ужасна из-за Анфисы. Но дело было не только в Анфисе. Ну ладно, Федор любит меня, а я? Конечно, нет, никого я не могла любить, Федора меньше всех. Почему же тогда мысль о его любви была мне отрадна? Неужели и я, как все те, недожившие, недолюбившие, неужели во мне еще живет женщина и просит на бедность? Я, урод, существо без пола и возраста, с моей хромотой, седой, палочкой, — я еще женщина и мне нужно, чтобы меня любили?

Я шла на работу, и птицы пели, и клюка моя казалась легкой, я улыбалась, чувствуя себя любимой. Я улыбнулась заведующей, у которой сегодня было несчастное лицо. Я обрадовалась детям и смело пропела им запрещенную песенку. Я была счастлива несколько дней...

А потом началось плохое. По лицу Анфисы я поняла, что она знает. Анфиса вообще была на редкость чутка и догадлива: ты еще подумать не успела, а она знает. Однажды утром я увидела ее враждебное лицо... Мне стало ясно, что делать: прекратить. Смешно, ничего не было, но и то, чего не было, следовало прекратить.

Когда Федор зашел ко мне опять с букетом, я сказала ему:

— Федор Савельевич, не надо вам больше сюда ходить.

Он побледнел, все понял.

— Это она вам сказала?

— Нет, я сама.

Федор помолчал, потом сказал «эх!», ударил себя букетом по бедру и вышел, прихрамывая. Я смотрела ему в спину, и, помню, меня поразила мысль, что мы оба хромые — и я и он. Раньше я как-то не замечала, что он хромой.

После этого Федор больше ко мне не заходил. Встречая меня в коридоре, он кланялся одной головой, но не заговаривал. Через Капу я знала, что пить он стал еще больше. Однажды я подошла к телефону. «Громов ваш? — спросили меня. — Звонят из вытрезвителя, можете его забрать». Погибая от стыда, я позвала Анфису. Какая непримиримость ко мне была на ее лице, когда она говорила по телефону «да, да» и повторяла адрес...

А потом за пьянку и прогулы Федора уволили с работы. Спасибо, что не судили: директор спас, пожалел фронтовика.

Потеряв работу, Федор жил дома, продал костюм, гитару. Требовал у Анфисы денег, она не давала, он бранился, уходил с приятелями, возвращался страшный, рваный. Все это я узнавала через Капу: Анфиса со мной почти не разговаривала. Когда Федор выходил по утрам на кухню, руки у него тряслись, штаны висели... Увидев меня, он отворачивался. И женщины перестали за собой следить. Ада Ефимовна выходила на кухню в бигуди. При виде Федора она встряхивала головой, и бигуди укоризненно звенели. Укоризна относилась не к Федору — ко мне... И в самом деле, разве не была я виновата? Только подумать: человек пришел, цветочек принес, а я, тупица бессердечная, его прогнала... А с другой стороны, что мне было делать? Растолковать Анфисе? Разве тут растолкуешь...

Сколько я понимаю, у Федора одна была радость — Вадим. Мальчик рос красивый, крупный, проворный и обожал отца. К матери он был скорей равнодушен, спокойно принимал ее рабскую преданность, а об отце говорил непрестанно: «Папа сказал», «Папа сделал», «Вот папа придет»... Жили худо, бедно. Анфиса извелась, пожелтела, состарилась.

Все это кончилось страшно: Федор попал под трамвай. Упал лицом вниз прямо на рельсы, вожатый не успел затормозить. Было воскресенье — солнечный, яркий осенний день. Помню отчаянный крик чей-то на лестнице: «Фиска, иди скорей, твоего мужика трамваем зарезало!» Помню, как выскочили мы с Анфисой, как побежали туда, куда нас вела, шумя, густая толпа людей, оживленных и как будто веселых. Я бежала со своей палкой, хромя и задыхаясь. Анфиса выла и рвала на себе волосы. Помню расступившуюся толпу и по середине, на рельсах, желтые кленовые листья («Осторожно, листопад!»), кровь и еще что-то розовое, разрезанностью своей странно и страшно похожее на телятину. Самого Федора я не видела, потому что опустила на колени рядом с Анфисой — она упала и колотилась головой об асфальт, а я подставляла руку, чтобы оберечь эту голову...

— Через меня зарезало! — кричала Анфиса. — Я виновата! Арестуйте меня, арестуйте!

Ее подняли, повели домой под руки, а она все кричала:

— Арестуйте меня, арестуйте!

Дома оставался один Вадим. Я нашла его в углу кухни перепуганным, плачущим, дрожащим. Ему было уже лет шесть, он кое-что понимал, но не хотел понимать, берег себя, как всегда берегут себя дети от горя. Я его увела в мою комнату. Он цеплялся за меня, прислушивался, вздрагивал:

— Кто это там кричит?

А кричала Анфиса.

— Никто не кричит, — отвечала я, — это тебе кажется.

Наконец крики прекратились, кто-то двигал мебель, но и это кончилось. Я показала Вадиму картинки, спела ему смешную песенку, дала конфетку. И вот он уже смеялся, разглядывая картинки, с шоколадом на губах, с большими слезами на дрожащих ресницах. В квартире была тишина, мальчик смеялся. Скоро он устал и заснул на моей кровати.

Все три дня до похорон Федора я его от себя не отпускала, водила с собой в Дом ребенка, уверив его, что он мой помощник, воспитатель. Он охотно вошел в роль, утирал малышам носы, бранил их за мокрые штанишки. Заведующая хмурилась, видя такое нарушение правил, но молчала. У нее, как у многих грубых людей, было какое-то суеверное почтение к смерти. Меня не покидала мысль, что она несчастна, а зажатые пинцетом губы — только сопротивление внутреннему горю...

Вечером Вадим засыпал на моей кровати, а я спала рядом, боясь

скрипнуть сеткой... Он был дорог мне всем своим маленьким существом.

Что было в эти дни с Анфисой — не знаю. Увидела я ее только после похорон, на поминках. Она постарела на десять лет, не плакала, только жевала платок и дергала головой.

На другой день я к ней зашла. Анфиса стояла лицом к окну, спиной к двери и на мои шаги не оглянулась. Я подошла, мы обнялись, прислонились друг к другу, и я отвела губами с ее лба прядку жестковатых, чуточку влажных волос.

15

После смерти Федора как-то само собой получилось, что мы с Анфисой и Вадимом стали жить вместе, одной семьей. Мальчик ко мне привязался, и я его полюбила, а Анфиса стала мне как сестра.

Иногда мы с нею ссорились, очень уж она стала нервна, просто иногда истерична, да и я не лучше, все вламывалась в какую-то пустую амбицию. А должна была бы сдерживаться: ей было хуже, чем мне. Ссорились из-за пустяков, из-за выеденного яйца.

Вот, например, Анфисино дежурство. Она вымыла пол, прибрала кухню, сходила в баню, попарилась. Возвращается розовая, добрая, помолодевшая. Зовет пить чай, а я на кухне стираю. Не постереглась, набрызгала на пол.

— Барыню-то сразу видно, — говорит Анфиса, сердито блестя глазами, особенно серыми на розовом чистом лице. — Вам бы все книжки читать, а мы рабочий класс. Дай-ка, думаю, на пол набрызгаю, рабочий класс подотрет.

— Бог с вами, Анфиса Максимовна, какая же я барыня? Такой же рабочий человек, как и вы.

— Такой же, да не такой. Я и за свое дежурство мою и за ваше, а вы с книжкой прохлаждаетесь.

Тут уж я не выдерживаю, взрываюсь:

— И не стыдно вам? Вы же знаете, у меня спина больная. И уж если на то пошло, я вам плачу за дежурство!

Анфиса в слезы:

— Копейки больше у вас не возьму! Можете умолять, в ногах валяться — все! И Вадик у больше конфет не носите! Правду про вас Капа говорит: психованная! Барыня на вате!

Мне бы посмеяться, а я обижаюсь. Коплю горечь.

Несколько дней не разговариваем. Ей тяжело и мне тяжело.

Когда мы с Анфисой в ссоре, Капа ликует:

— Вот я же тебя оберегала про эту психованную. Корчит из себя неизвестно чего.

Капа радуется еще и потому, что, когда мы с Анфисой в ссоре, дежурит за меня она, Капа. Все-таки маленький доход. Анфиса злобно следит, как Капа моет за меня пол, раковину. По ее мнению, плохо моет. Бушует коммунальная ревность — к полу, к раковине, к маленьким моим деньгам. А ведь Анфиса бескорытна, я-то знаю.

Когда мы с Анфисой в ссоре, у меня такое чувство, будто где-то открыто окно и оттуда дует. Надо пойти повиниться, но гордость не позволяет. Так и живем, дуемся, и, проходя мимо, я всей спиной чувствую, как она меня ненавидит.

Миримся мы трудно и медленно. Испечет Анфиса пирожки и мне несет попробовать. Швырнет на стол молча и вон. Я — за ней:

— Анфиса Максимовна!

Анфиса подождет губы:

— Я не почему-либо, а по-соседски. Возьмите, мне не жалко.

— Тогда мне не надо.

— Сказано: не жалко. Это вам жалко своего добра.

Беру пирожки, несу на кухню, ставлю к ней на стол, браня себя

за мелочность. Анфиса выбрасывает пирожки в мусорное ведро и уже вся трясется:

— А, брезгуешь мной! Я тебе побрезгую! Я тебе покажу!

Через минуту моя дверь открывается и в комнату легит какой-нибудь мой подарок. За годы совместного житья их накопилось немало, всегда есть что швырнуть. Я тоже распалюсь, и подарок отправляется в мусорное ведро. Оттуда его извлекает Капа:

— Вот дуры-то бабы! Добро губить! А я не гордая, я возьму.

Итак, торжествует Капа, а я иду к себе, задыхаюсь и злюсь на себя.

Зато какое облегчение, какая радость, когда мы наконец помиримся!

У меня недостаток: я никогда не сделаю первого шага. Умру, но не сделаю. Анфиса лучше меня, великодушнее. Она приходит ко мне — добрая, глаза светятся, на щеке ямочка. Очень она красива в такие минуты.

— Ольга Ивановна, простите меня, глупую.

— Анфиса Максимовна, дорогая, это вы меня простите.

Обнимаемся. Анфиса плачет, а я нет. Чувствую под рукой ее вздрагивающее плечо. Поднимает мокрый сияющий взгляд. Обе смеемся. Так и живем.

Между нами двумя растет Вадим — красивый и избалованный, дерзкий и смелый. Мы немножко ревнуем его друг к другу и обе балуем наперебой, счастье еще, что у нас мало денег, а то бы мы его вконец испортили. Когда мы ссоримся, Вадим это понимает и хитро берет то одну, то другую сторону. Иногда мне кажется, что он не любит ни ее, ни меня. Но что подделаешь, я-то его люблю! Как он хорош, когда, напроказив, вбегает ко мне, чтобы похвастаться, блестя глазами:

— Тетя Ольванна! Какое я болванство сделал!

Растет Вадим, и вот ему уже пора идти в школу. Анфиса плачет:

— Целую жизнь не разлучались. Он в Дом ребенка — и я в Дом ребенка. Он в садик — и я в садик. Мечтала: он в школу — и я в школу. А не выходит. Кем я туда пойду? Нянечкой, сторожихой. Зарплата почти ноль. А в садике я питаюсь...

Посоветовавшись, мы решаем: Анфиса остается в садике, Вадим идет в школу. Радость подарить мальчику портфель, пенал, азбуку... Вот он уже стоит готовый, необычайно взрослый, в мешковатеньких брючках, с портфелем в руках. Вот мы проводили его в школу. Я целую его в пушистую щечку, он холодно отворачивается. Анфиса, разумеется, плачет. Ему противны женские слезы. Он решительно входит в школьную дверь.

Так они разлучаются в первый раз.

16

Вадим ходил в школу, Анфиса — в детсад, я — в Дом ребенка, трудно вставая по утрам, порой изнемогая от придирок заведующей, которая становилась все мельче, все злее и напористее, словно вымещая на людях свое горе. Про нее ходили слухи, будто муж от нее ушел к молодой. Однажды вечером я застала ее в зале. Она сидела нагнувшись, положив голову на спинку стула. Эта голова была как крупный золотой цветок, сломанный ветром. При звуке моих шагов она подняла голову и быстро заперла свое лицо. Но поздно: я успела увидеть ее человеческие глаза.

В Доме ребенка была полоса карантинных: корь, ветряная оспа, потом коклюш. Коклюшных не изолировали. Ребята закатывались протяжным кашлем и плохо пели.

А в квартире шла своим чередом коммунальная жизнь со страстями, разгоравшимися по разным поводам, обычно мелким.

Я давно уже научилась не презирать мелкость поводов: ведь страсти-то были подлинные, большие, вровень со знаменитыми «любовью и голодом». Наряду с ссорами в коммунальном быту цвело трогательное великодушие: люди готовы были друг другу помочь, поддержать, одолжить, может быть, потому, что, помогая, они утверждали себя. Каждая была бедна, но горда и щедра, как богачка. Если кому-то случилось испечь пирог, большая его часть шла на угощение соседей — разумеется, не врагов, а союзников, по группировке. Эти группировки все время менялись, вчерашний враг сегодня становился союзником, и ему несли щедрый кусок пирога. Даже Панька Зыкова, которая в сатанинской гордости своей никогда ни с кем не объединялась — разве на пару дней с Анфисой против Капы или наоборот, — даже гордая Панька и та иногда стучалась в мою дверь, молча ставила на стол тарелку с куском и удалялась, отринув мою благодарность.

Жизнь шла, медленно происходили перемены. Мы все старели, Ада Ефимовна — меньше всех, она все еще верила в колдовство любви и переходила от одного воображенного романа к другому. Но и она порой впадала в хандру, переставала красить волосы, причесывала их гладко-гладко и говорила загадочно: «Это траур по моей жизни. Я несчастна. «Чайка», Чехов».

Капа Гущина все еще работала ночным сторожем, но не шмыгала весь день, как раньше, а часто и помногу спала. Былая победоносность, присущая ей в ссорах, понемножку отступала, и тише становилось на кухне... А Панька Зыкова сделала себе перманент и ходила еще быстрее, еще пуще поднимая вокруг себя ветер и словно куда-то торопясь на своих жилистых, сильных ногах.

Мне самой в то время жилось неплохо. Жизнь баюкала меня, как езда. Есть люди, которые больше всего любят ехать, все равно куда, все равно как: в поезде так в поезде, в машине так в машине. Мимо них мелькает, и им не скучно. Я дошла в этом деле до крайности. Я могу ехать, не двигаясь с места. Я сижу, а мимо меня течет жизнь, завораживая сменой подробностей. Капля наверху висит, сверкает, наливается, падает. За ней другая. Это захватывающе интересно. На краю дорожки возник воробей. Очень мужественный воробей. Видно, что его душа велика для такого нежного, небольшого тельца. Вот он подрался с товарищем из-за червя, обидно клюнул его в плечо, уткакал. Клюв у него просвечивает по краям, а в клюве чудесный червяк. Благословенна жизнь!

Время от времени встречала я на улице старых своих знакомых, еще по прежнему существованию. Эти встречи всегда были неловкими и тягостными. Им было неловко видеть меня искалеченную, обездоленную, лишенную профессии, они искренне меня жалели, но помочь не могли. А мне была тягостна их жалость, чужды их интересы. Покинутый мною мир казался странным, как дом, в котором жил когда-то, давным-давно, и уже успел забыть, с какой стороны дверь твоего подъезда... Рассказывали мне о человеческих судьбах. Такой-то, подававший в свое время надежды, оказался пустышкой, еле зарабатывает на жизнь, а такой-то, наоборот, процвел, лауреатствует, ездит по заграницам, имеет огромный успех, за месяц три фотографии в газетах, последняя в «Культуре и жизни» — видели? «Нет», — отвечала я. Знакомый прощался, уходил от меня, как от постели тяжело, безнадежно больного. После каждой такой встречи я себя спрашивала: полно, а так ли уж я обездолена? Завидую ли я их жизни — с соперничеством, со счетом заграничных поездок, газетных снимков? Нет, не завидую... Как раз в то время я перечитывала «Английские письма» Карела Чапека и по-новому прочла фразу, поразившую меня щемящей своей музыкальностью: «О родина моя, не имеющая морей, не слишком ли узок твой горизонт, тебе не хватает, пожалуй, шумных далей? Да, да, но могут быть шумные просторы вокруг наших голов,

если нельзя плавать, можно по крайней мере мечтать, бороздить широкий и высокий мир в полетах мыслей; на свете хватит места для путешествий и пароходов...»

Мне было за что благодарить судьбу. У меня была работа, был дом, была угловатая и нелепая, но все же семья: Анфиса, Вадим. Впервые за много лет распалась стена, отделявшая мое прошлое от настоящего. Я уже могла вспоминать о прошлом без внутреннего крика.

От этих воспоминаний мне часто не спалось по ночам, но бессонница меня не тяготила. С какой-то отрадой я глядела в окно, где качался фонарь со своей тенью, и чувствовала, как идет, покачиваясь, к неизвестной, но блаженной цели вдовый пароход.

17

Время от времени мой рассказ прорывает тревога, она мешает мне продолжать. Неужели это закон, что человеческие отношения с годами вырождаются и на месте живой ткани вырастает дикое мясо? И возникает гложущий вопрос: когда? Нет, еще не тогда. Тогда еще все было, пожалуй, благополучно. Мы с Анфисой работали, Вадим учился в школе. Учился так себе: ни хорошо, ни плохо, угрюмо. Мне кажется, его крепко ранило сознание, что он не самый лучший. В сущности, весь его путь после Дома ребенка был путем из «самых лучших» в «не самые». Подрастая, он сделался не так уж красив: погрубел, потяжелел, ссутулился, как-то проступила в нем Анфисина крупная кость. Для нее-то он по-прежнему был божеством. Баловала его иступленно. Работала, как она выражалась, «в две смерти» (в две смены). Нанималась стирать белье, мыть окна (третья смерть). Все для него. Одеть, обуть, витамины, фрукты, театр, кино — все ему. Сама обтрепалась, обносилась, глядела почти старухой. А Вадим был неласков, поцелуешь — утрется. Она к нему, он — «отстань». Стал дерзок, появилась у него привычка держать голову вниз, взгляд исподлобья.

— Ты меня не бодай, — говорила Капа, — я тебя не больно-то боюсь.

Вадим усмехался. Он вообще усмехался, что бы ему ни говорили. Обижал кота. Стрелял из рогатки. стекло разбил. Мать за стекло заплатила, плакала, а он усмехался. Шалости для мальчика вообще-то обычные, но необычная усмешка, издевательская.

Сложные какие-то отношения складывались у него во дворе. Кто-то ранил его, видно, жестоким словом «безотцовщина», что-то слышал он от людей, знавших, что не все в его семье было гладко...

Не помню, когда я от него услышала впервые знаменитую формулу: «Все врут». Очень рано он за нее ухватился и решил, что все постиг, все объяснимо. Она стала для него чем-то вроде лейтмотива. Зайдет ко мне полувраждебный, с издевочкой и через каждые две-три фразы: «Все врут». И вы врете, и она, то есть мать, врет, и все врут.

— Как тебе не стыдно, Вадим? Это она-то врет? Она в тебе души не чаёт, больше жизни любит.

— Все врет. Все по-нарочному. Мне картошку — на сливочном, себе — на постном. Сама бедная, а скрывает, чтобы думали: богатая.

— Вадим, откуда у тебя такие слова: «бедная», «богатая»? Нет у нас ни богатых, ни бедных, просто одним немного легче, другим тяжелее, и все.

— А Колька Лохмаков бутерброд с семгой принес, надкусил и выбросил. Скажете, не богатый? И в школе учительница врет. Все врут.

В этом «все врут» он крутился как заколдованный. Присвоив эту нехитрую идею, он уже считал себя выше других. Об Анфисе говорил с презрением, ничего ей не прощал, все ставил в счет: и ссору с Капой, и слезы, и то, что полы моет за деньги, а главное, что врет. Разубеждать его было вполне бесполезно, он от этого коснел еще больше. Раз он сказал с испугавшей меня интонацией покойного Федора:

— Душит она меня...

Отца он поминал не особенно часто, но видно было, что помнит, любит. И как в зоопарк ходили, и как выточил ему Федор пушечку, заложишь туда горошину — стреляет.

А однажды Вадим сказал слишком уж по-взрослому, по-коммунальному:

— Вы ее защищаете, а я знаю. Отца из-за нее зарезало. Ему жить хотелось, а она не давала. Вот и пил.

— Что за гадость, Вадим? Кто это тебе сказал?

— Никто не сказал. Я сам.

Эх, мне бы не спорить с ним, мне бы постараться его понять...

Никогда не забуду того дня, когда Вадим узнал, что Федор ему не отец. Подслушал разговор между Капой и Адой Ефимовной. Прибежал ко мне бледный, трясущийся, на лбу капельки пота. Вцепился мне в руку, как маленький:

— Что они говорят? Что они там говорят?! Они говорят, что папа мне не отец!

Я молчала. Хотела сказать «врут», но не решилась.

Вадим зарыдал на крик:

— А, молчите! Значит, правда!

Я стояла над ним, не зная, чем его успокоить. Вадим рыдал отчаянно, перекидывая голову туда и сюда, при каждом движении на горле вздрагивал тоненький кадычок. Яростность его горя меня поразила. Я для чего-то пыталась открыть ему лицо, отвести в сторону крепко сжатые пальцы. Когда мне это удалось, он укусил меня за руку. Боже мой, я ему не помогла, я к нему не пробилась. Я поднесла укушенную руку к губам... Он вскочил бешеный, кинулся в дверь.

— Никогда к вам не приду, так и знайте!

Поздно вечером пришла Анфиса, плакала:

— Злые какие люди! Зачем надо было ребенка смущать? Жили себе и жили...

— Они не нарочно. Он случайно услышал.

— Нет, нарочно! Капа давно на меня зуб точит. У меня сын, а у нее умер. И ваша Ада тоже злыдня порядочная. Завидует мне, что у меня сын, вот и сговорились сына отнять...

— Неверно это, Анфиса Максимовна, зачем на людей наговаривать?

— А, так вы за них? Они злодейство сделали, а вы оправдываете? Ладно же! Так и будем знать: они вам дороже меня.

Перестала плакать, ушла. На этот раз замкнулась надолго. Проходя на кухне мимо меня с Капой, отворачивалась. Отказалась за меня дежурить. Теперь в мое дежурство мыла полы Капа, а Анфиса в эти дни становилась как бешеная, ногой толкала ведро... Как-то раз я по привычке повесила белье на ее веревку. Прихожу — сорвано, лежит на столе, а стол грязный.

— Ну уж это, знаете... — сказала я, налила воды и стала стирать дрожащими руками.

— Вешай на мою, не стесняйся, — сказала Капа. — Мне веревки не жаль.

Я и повесила. Что тут было!

Словом, бушевали коммунальные страсти. Я страдала, и Анфиса страдала. Я была права, и она права.

Где-то в этих сложностях я потеряла из виду Вадима. Он ко мне не заходил, а когда встречал меня в коридоре, опускал голову и бычился. Я перед ним не заискивала — из гордости. Проклятая дура! Нашла с кем гордиться — с ребенком! Не прощу этого себе во веки веков! Потому что именно тогда я потеряла Вадима. Анфиса понемногу, не скоро, вернулась, а Вадим — нет.

Бедный, как ему, верно, хотелось отвести душу, если он стал

ходить к Аде Ефимовне! Первый раз, когда я это обнаружила, ревность меня так и ударила. Комната Ады рядом с моей. Однажды я услышала ее картавый щебет, русалочий смех. Ясно, у нее кто-то был. Мужчина?.. Нет, я поняла, что у нее Вадим. Он что-то ей говорил горячо, взрывчато, я узнала его голос, слова «все врут»... А она смеялась. Она с ним не спорила, она смеялась. Я ударила кулаком по подоконнику и не заметила, что расшибла руку. Это глупо: руки мне надо беречь.

С тех пор Вадим начал ходить к Аде, а меня стал избегать. Может быть, стыдился своей вспышки, не знал, как ее загладить? А вернее, в это тяжелое время именно Ада была нужна ему, не я. Я была слишком тяжела, серьезна, инстинктом его тянуло к ней. Собака ведь тоже знает, какую ей есть траву...

18

В тот вечер Вадим был у Ады чуть ли не в первый раз. Он постучал в дверь.

— Кто там? Впрочем, входите, я уже одета.

Вадим вошел.

— Можно?

— Конечно, что за вопрос. Все можно. Садись, я сейчас кончу.

Ада Ефимовна перед зеркалом наносила на лицо последние штрихи. Кончила, повернулась к Вадиму:

— Не правда ли, я пикантная?

— Я в этом не понимаю.

— Надо понимать красоту. Красота — это стержень духовной жизни.

Вадиму про стержень понравилось.

А комната у Ады Ефимовны забавная, как игрушка. Занавески смешные, с зайчиками, как в детском садике. В углу на тахте, раскинув руки, огромная кукла.

— Это Алиса, — сказала Ада Ефимовна. — Познакомься с моей дочкой Алисой.

— Зачем у вас кукла? — спросил Вадим.

— Поклонники подарили. Заграничная, глаза закрывает, говорит. Вот попробуй.

Вадим попробовал, и правда: открывает глаза, закрывает и животом говорит вроде «мама», не по-русски. Вадим поиграл куклой не без удовольствия, но быстро опомнился.

— Зачем вам кукла, вы же взрослая.

— Взрослому тоже надо поиграть. Что наша жизнь? Игра.

Последние слова она пропела, закатив глазки.

Вадиму тоже понравилось. Это правильно, что жизнь — игра. Игра — это почти вранье, только весело.

Поговорили о разном: о школе, об отметках, о коте Барсе, которого Вадим опять привязал за хвост к двери уборной. Человек входит, а кот ревет. Ада похохатывала, щурила глаза-луночки:

— Ну Вадим, ну можно ли быть таким жестоким?

С Адой было легко. Выпили чаю с конфетами. Посмотрели фото на стенках — все стены обвешаны. Больше все портреты самой Ады Ефимовны в разных ролях: то с веером, то в цилиндре, то в полосатом купальнике. Висели еще портреты разных мужчин, с усами и без усов, с плащами и без плащей, у всех рты открытые, поют.

— Мои товарищи по сцене, — объяснила Ада Ефимовна. — Сцена — это целый мир. Ты этого пока не понимаешь, после поймешь.

— А это кто, жирный? — спросил Вадим. Жирный ему особенно не понравился — пышным пузом, разинутым ртом.

— Это мой первый муж. Он был не жирный, а полный, представительный. Мужчине полнота не вредит, это женщина должна беречь фигуру.

— Он умер?

— Нет, зачем умер? Поет. Выдающийся артист.

Она назвала фамилию, которая Вадиму ничего не сказала.

— Почему же Капа говорит, что вы вдова?

— Это по третьему мужу. Он действительно умер, хотя предварительно меня бросил. От этих переживаний у меня и голос пропал. А какой был голос! Чистое серебро.— Ада Ефимовна слегка припекалась, но тут же опять рассмеялась.— Ты еще молод, ты не знаешь, что значит тоска по прошлому. Но зачем унывать? Жизнь прекрасна! В ней столько радостей: музыка, любовь, природа, архитектура...

Вадиму было и стыдно слушать ее и как-то приятно.

— Ну, я пошел. Спасибо за чай, за конфеты.

— Не за что. Приходи опять. Если бы ты знал, как я одинока...

Когда Вадим ушел, Ада Ефимовна начала отходить ко сну. Это серьезное дело занимало у нее ежедневно часа два, не меньше. Постельные постель, взбить подушечку. Разложить аккуратно ночную рубашечку с кружевцами. Потом — омовения, лосьоны, питательный крем трех сортов. На ночной столик — стакан сладкого чая, печенье. Любила, ночью проснувшись, куснуть сладенького.

Окончив приготовления, легла. Но не спалось: вспоминался Вадим. Хороший мальчик, хотя и озлобленный. Мог бы и у нее быть такой сын, если б не сделать одного из аборт... Жизнь, посвященная себе, ее ужаснула. А что, в сущности, было в этой жизни? Любовь? Настоящей любви не было. Она-то готова была любить по-настоящему, до гроба, но обстоятельства не позволяли: вечно ее бросали, обманывали. Вспоминая о своей жизни, где не было любви, а были только мужчины и аборты, Ада Ефимовна горько заплакала...

А Вадим стал захаживать все чаще и чаще. Сначала дичился, потом привык. Смешная она, а добрая.

Анфиса была против.

— Нашел с кем водиться! Ни ума, ни разума. Одно слово — опереточная. Когда ты к этой, к Флеровой, ходил, разве я возражала? Серьезный человек, композитор.

Вадим ее не слушал, ходил к Аде, а не к Ольге Ивановне. С Адой ему было легко. «Все пройдет, все пройдет», — напевала она.

Иногда она ставила ему давние пластинки с записями своих опереточных арий: «Послушай, не правда ли, чистое серебро?» Пластинка крутилась, поскрипывала, далекий голос молодой Ады пел-заливался, а рядом сидела старая Ада и глухо, почти без голоса сама себе подпевала. Вадим слушал, как пели две Ады, и, странно сказать, ему это нравилось. К Аде он был снисходителен, не то что к другим, к матери. Понемногу он осмелел, развязался, стал говорить с Адой о том, что все врут.

— Да, да, — кивала Ада, — ты прав, в жизни много лжи и обмана. Счастье — обман, любовь — обман.

— Я не про то. Я про то, зачем все врут?

— И я вру? — кокетливо спрашивала Ада Ефимовна, утапливая глазки между щек.

— Конечно врете. Зачем вы волосы красите? Они же у вас седые.

— Ну, знаешь, Вадим, — обижалась Ада Ефимовна, — ты называешь враньем стремление к красоте.

— Ну ладно, у вас стремление, — великодушно соглашался Вадим. — А у нее? Она-то зачем врёт?

«Она» означало мать.

Ада Ефимовна в ту пору Анфису недолюбливала, но все же считала нужным вступиться:

— Нельзя так говорить о матери! Она тебе всю жизнь отдала!

— А мне не надо. Зачем она меня родила? Я не просил.

Купила мне новые брюки, а самой есть нечего. Я их нарочно папиросой прожег.

— Так ты еще и куришь?!

— У нас все курят. Прячутся в туалете и курят втихаря.

— Значит, и ты врешь? — смеялась Ада Ефимовна.

— Нет, я не вру. Я раз на переменке в открытую закурил. Вобла заметила, раскудахталась: «Ах, ах, мальчик курит!» Тащит к директорше. А я и директорши не боюсь. Что она мне сделает? Сама до смерти боится всяких чепе. Школа на первом месте в районе, ей неохота первое место терять. Она сама меня боится. «Громов, нам с тобой надо серьезно поговорить». А у самой глаза так и бегают. Я ей прямо сказал: «Бойтесь вы меня». Она — с катушек долой. Я заржал и пошел. И ничего мне за это не сделали... Все одинаковые, все врут...

— Откуда у тебя такая разочарованность? — говорила Ада Ефимовна. — Ты как Байрон.

Вадим даже немножко гордился, что он — как Байрон.

19

Одно лето Вадим жил в пионерском лагере, а Анфиса Максимовна оставалась в городе со своим садиком, откуда многих детей разобрали, увезли на дачу, и она, можно сказать, отдыхала.

И вдруг неожиданно приехал к ней гость — замполит. Тот самый, который провожал ее с фронта, когда домой уезжала. Изменился, а узнать можно.

— Здравствуй, Громова, — сказал замполит бодрым, военным голосом. — Я к тебе в гости приехал. Не прогонишь?

— Да что вы, Василий Сергеевич, как можно? Да я...

Замполит пожилой, но еще твердый, авторитетный. Пришел в комнату, все оглядел.

— Живешь-то как?

— Хорошо.

— Ну, молодчина. Так и живи. Кто у тебя родился? Сын?

— Сынок.

— Молодец, Громова. А я, знаешь, адресок твой сохранил, ну и заехал посмотреть, как живешь, выполняешь ли свои обязательства.

Анфисе было и странно и жутко, что приехал к ней замполит с ревизией. Собрала на стол, за бутылкой сбегала. Приняла честь по чести. Замполит выпил, загрустил, разговорился. Рассказал о себе. Он уже на пенсии. Живет бобылем. Жена умерла. Дочь взрослая, замужем за пограничником, запретная зона. Мог бы, конечно, там притулиться, не прогнали бы небось дочка с зятем. Да рано ему словно бы в чистые дедушки выходить. Хочется еще поработать, пользу, как говорится, поприносить. Здесь, в Москве, проездом обратно от дочери. Вот пришел к Анфисе посмотреть, как живет, старое вспомнить.

Навспомнилились они в тот вечер досыта и песен напелись — фронтовых, любимых. У него баритон еще крепкий, у Анфисы альт уж не тот, поскрипывает. Помянули боевых товарищей, кто погиб, кто жив. У замполита связи со многими оставались. Главный хирург, тот, который так на Анфису сердился, когда стала она в положении, вышел в большие люди — академик, заведует клиникой, оперирует на сердце, даже из-за границы, из капстран, к нему приезжают. А Клава-санитарка — врач, отоларинголог (сразу и не выговоришь!), успевающая женщина, троих родила, а работы не бросила. Вспомнили госпитальную жизнь, тушенку «второй фронт», и бомбежки, и то, как Анфиса боялась...

— А все-таки героиней была, — сказал замполит. — Ты, Фиса, героиня.

Анфиса смутилась, руки спрятала. Говорила она с оглядкой, кри-

вя рот, чтобы не было видно дырки, где не хватало зуба. Под конец вечера осмелела, стала даже улыбаться, но аккуратно. Замполит сказал:

— А ты, Фиса, еще на уровне как женщина. В тебя еще влюбиться можно. Замуж не собираешься?

— Что вы, Василий Сергеевич, мне да замуж. Я старуха.

— И не такие выходят.

Посидел, пошутил и ушел. На другой день наведася снова. И стал приходить. А там, смотришь, незаметно-незаметно и притулилась к нему Анфиса, а он к ней. Про любовь у них разговору не было, ясное дело, немолодые, а просто хорошо ему было с Анфисой, а ей с ним.

В квартире, конечно, заприметили, что у Анфисы жилец появилась. Шила-то в мешке не утаишь. Пересудам конца не было. Уж на что Ольга Ивановна и та стояла иной раз на кухне, слушая, что про Анфису говорят. А Капа — так прямо в лицо и выразилась:

— Палит тебя грех, Анфиска. В твои-то годы не о мужиках, о душе думать надо.

— Ты-то сама святая,— огрызнулась Анфиса.

— Я не святая, я грешная, я богу молюсь, чтобы простил он мои грехи. Вот и ты молись.

— Религия — опиум для народа,— сказала Анфиса и обрадовалась, как она Капу ловко отбрила.

— А ты дура мухортая. Вякаешь, чего не поймешь. Религия — опиум, а ты — копиум.

Что такое «копиум», Анфиса не знала, но очень было обидно.

Одна Ада Ефимовна Анфисе сочувствовала и все про свое — про любовь:

— Я рада за вас, Анфиса, всей душой рада. Любовь — это сон упоительный... Помню, мы с Борисом...

— Это с которым?

— Не помню. Кажется, с первым. Нет, со вторым...

Панька Зыкова швыряла вещи и требовала, чтобы Анфиса платила за свет и газ почеловечно, то есть втрое. Она забыла, что сама когда-то требовала покомнатно.

А с Ольгой Ивановной у Анфисы была, что называется, полоса отчуждения. За что-то поссорились, да так и не помирились. Сейчас ей казалось, что Ольга Ивановна следит за ней своими строгими глазами, осуждает... А чего осуждать-то? Разве сама не женщина?

Замполит у Анфисы привык, обжился, отогрелся. Все предлагал: распишемся. Она не решалась, тревожил ее Вадим: как отнесется? Однако и не отказывала. Василий Сергеевич ее с ответом не торопил, но вел себя уверенно: свет чинил, новый кран поставил на кухне, начал даже работу подыскивать. И в квартире к нему постепенно привыкли: все-таки мужчина в доме...

А Вадим жил в лагере и тосковал. Зачем только его на два срока отправили? Ему и одного выше ушей... Лагерный быт он терпеть не мог — все эти линейки, барабаны, дурацкие эти походы, где все притворяются, что интересно, а ведь врут: скучно до смерти. С товарищами он не сходилась, считая их глупыми, а то, что многие из них были куда развитее его, предпочитал не замечать. Часто один ходил по территории. Как ни странно, он думал о матери. Вспоминалось ему, как она еще в Доме ребенка сидела в саду среди ребят вся золотая на солнце, с венком из одуванчиков на голове. Как светились на солнце ее полные, стройные руки. В первый раз за свою жизнь он скучал по матери, хотелось ее увидеть.

Однажды завхоз ехал в город, взял его с собой. Вадим всю дорогу думал: то-то мать обрадуется! Заплачет, просияет, начнет целовать. Он мужчина, ему эти нежности ни к чему. Он просто потреплет

ее по плечу. Шел домой с волнением. На лестнице встретила ему Капа.

— Приехал, ну-ну. Радости!

По лицу Капы, веселому, с хитрецей, было видно: что-то случилось.

— А что такое?

— А ничего. Сам увидишь.

Вадим вошел в комнату и увидел: мать сидит за столом нарядная, а рядом с ней чужой человек, мужчина. Обедают. Мать вскочила:

— Вадик! Вот не ждала! Обрадовал!

А у самой глаза бегают.

— Никаких Вадиков,— сказал Вадим.

— Ты совсем или погостить?

— Погостить.

Мужчина встал, и Вадим увидел его суровое пожилое лицо.

— Познакомься, Вадим. Это Василий Сергеевич, вместе воевали.

Вадим руки не подал, кивнул, буркнул невнятное.

— Садись кушать,—хлопотала Анфиса.—Подогреть тебе? Я мигом.

Вышла. Вадим сел, положив на стол кулаки. Василий Сергеевич тоже сел.

— Не желаю,— сказал Вадим.

— Чего не желаешь?

— Ничего. Сказал: не желаю — и не желаю.

Замполит пристально его разглядывал.

— Ну и фрукт же ты, Вадим.

— Какой есть.

Вадим нагло улыбался. Ему хотелось плакать.

— Что же, по-твоему, мать и права на жизнь не имеет?

— Не имеет.

— Фрукт,— повторил замполит.

Вадим улыбался. Вошла Анфиса.

— Кушай, сынок.

— Не хочу. Кушайте сами.— И к двери.

Анфиса за ним:

— Вадик, Вадик!

Замполит ее удержал:

— За кем гонишься, глупая баба?

— Сын он мне,— билась Анфиса.

В этот вечер они легли молча, а утром Василий Сергеевич сказал:

— Погостил — и довольно. Поеду к себе.

— Вася!

— Сказано: поеду. Не выйдет у нас с тобой жизни. Сразу видно. Не можешь ты своего стервеца обуздать. Или можешь?

Анфиса молчала.

— Не можешь,— сказал замполит.— Дело наше, значит, кончено.

Точка.

В тот же день он уехал. Анфиса рыдала, его провожая, но понимала: так надо.

Вадим вернулся осенью загорелый, с чужим лицом.

Вот как бывает: растишь-растишь сына, а он чужой.

По мере того как вырос Вадим, все чаще они с матерью ссорились. У него одно слово: «Мне не надо».

— Вадим, я тебе брюки погладила, возьми.

— А мне не надо.

— Я же для тебя стараюсь, сил не жалею тебя обслужить.

— А мне не надо, чтобы ты для меня старалась.

— Тебе не надо, так и мне не надо. Ты так со мной, и я так.

Дня два не разговаривают. Вадим пропадает неизвестно где. Приходит только ночевать. Курят. Анфиса Максимовна взрывается:

— Молод ты еще курить. Сам заработай, тогда и кури.

— А, ты меня своим хлебом попрекаешь? Ладно же! Хватит! Не буду у тебя есть!

И не ест. День не ест, два не ест. На третий день Анфиса Максимовна ползет к нему с повинной:

— Прости меня, Вадик. Виновата. И кури, пожалуйста, только не вредничай.

Буркнет что-то, сядет за стол, ест будто бы равнодушно, а видно, какой голодный. Наестся — и вон из дому:

— Ну, я пошел.

А куда — спросить не смей. То придет ночевать, а то нет. Анфиса Максимовна ходит босая к парадной двери, каждый шаг на лестнице слушает: нет, не он. Не выспится, встанет разбитая, а ей на работу. Вечером вернется Вадим — и сразу дерзить. После какой-нибудь очень уж обидной дерзости трясутся у нее руки и начинает она, что называется, психовать. Не жалко ей ничего, кидает вещи. Раз целую стопку десертных тарелок на пол бросила. Испугался Вадим, но оправился, усмехнулся презрительно и пошел по осколкам.

Иногда Анфиса Максимовна говорит Вадиму:

— Ну, давай с тобой жить по-человечески, по-хорошему.

— А я что? Я ничего, — отвечает Вадим. — Я по-человечески живу.

Анфиса жалуется Ольге Ивановне (опять между ними дружба):

— Презирает он меня, ох презирает!

— За что же ему вас презирать?

— А за это самое, за Василия.

— Мерзость это и гадость — его презрение, — говорит Ольга Ивановна и поджигает губы. Наверно, чувствует, что и ее саму Вадим презирает. Ольга Ивановна Вадима теперь разлюбила. Даже Ада-стрекотуха стала его побаиваться: больно жесток.

А ей, Анфисе, сын всегда сын.

21

...Нет, я не разлюбила Вадима, чем-то он мне был дорог все-таки. Слишком много я в него вложила, чтобы так, без борьбы его уступить.

А вина была моя. После того как он начал ходить к Аде Ефимовне, я на некоторое время из дурацкого своего самолюбия оставила его в покое. Не хочет — не надо. Тут-то я его и упустила. Потом спохватилась, но поздно. Ушел человек. Так и не удалось мне к нему пробиться.

Иногда я его приглашала к себе. Он отказывался, говорил: «Некогда». Если я очень уж настаивала, заходил, садился на краешек кровати и говорил: «Ну?» Значило это: начинайте, так и быть, свои фокусы.

Пыталась я с ним говорить о школе, о жизни, о книгах... На все он усмехался презрительно, отчужденно. Новое словечко у него появилось: «пирамидон». Так назывались у него высокие слова, нежные чувства, понятия «совесть», «долг», «доброта»... Скажешь ему что-нибудь, а он прищурится и этак врасстяжечку, отчетливо: «Пи-ра-ми-дон».

Особенно не любил он разговоров о книгах: они ему напоминали школьные уроки литературы, где, с его точки зрения, был сплошной «пирамидон». Литературу у них учили «по образам», и ненавидел он их до зубовного скрежета.

— На кой мне образ Лизы Калитиной из «Дворянского гнезда»?

Наплевать мне на это гнездо вонючее... Она «ах», он «ох», она в монастырь — бух, а я учи!

Я пыталась как умела ему растолковать глубину и прелесть русской литературы, говорила сбивчиво, искала слова, все время боясь впасть в «пирамидон» и все-таки в него впадая... Ведь плакала же я в юности, читая Толстого, Тургенева, — неужели нет у меня средств передать другому эти слезы, этот восторг? Вадим глядел с усмешечкой. Когда я замолкала, он спрашивал иронически:

— Можно идти?

— Иди, Вадим.

Разговоров о матери он вообще избегал, а после истории с замполитом и вовсе перестал о ней говорить, как будто не было ее не только в этой квартире — на свете. Однажды я сама осторожно навела разговор на опасную тему, вспомнила Василия Сергеевича. Ненависть на лице Вадима вспыхнула так ярко, что я испугалась.

— Он мне сказал «фрукт».

— Ну и что? Может быть, пошутил? А может быть, ты сам вел себя вызывающе?

— Он мне сказал «фрукт». Человеку не говорят «фрукт»...

22

Вадим был в девятом классе, перешел в десятый, когда рядом с ним появилась Светка. Дело было в совхозе — послали их туда всем классом на прополку овощей. Работать было трудно — земля перепаханная, кирпич кирпичом, и сорняки торчали из нее, как щетинистые, злые волосы. Кой-где среди сорняков попадались слабо-зеленые веерочки моркови; вместе с ними из земли выдергивались тщедушные розовые хвостики. Ребята их обчищали и пытались есть, но они были сухими и вялыми, их тут же выкидывали вместе с ботвой. Видно, все это поле было вспахано и засеяно, а теперь пропалывалось не для того, чтобы что-то выросло, а для отчетности. Вадим чувствовал в этом все то же вранье, которое преследовало его повсюду, но уже не тосковал, как прежде, а злорадствовал: выходило по его — все врут. Товарищи его в разговорах на эту тему не поддерживали, им было скучно говорить и слушать про вранье. Они просто шутили, просто полоди, просто пытались грызть морковные хвостики и выкидывали их вместе с ботвой. Вранье их не тревожило, оно у них не болело... Вадим сознавал себя умнее их, выше, мыслящим более государственному. И вместе с тем он завидовал их веселой общности. Он-то всегда был один, пока они наслаждались купаньем, печеной картошкой, песнями у костра. Он тоже купался и ел картошку, только без наслаждения, а с сознанием некой высокой своей миссии. По вечерам становилось прохладно, запевали комары, тонкий месяц выходил на синее небо. Ребята жгли костер, тренькали на гитаре, били комаров, смеялись. «И чего смеются?» — думал Вадим. И все-таки ему было завидно...

Однажды он сидел у самого костра, ощущая жар на лице, и помешивал в огне длинной рогатой хворостиной, уже обугленной на конце, который своими черными рожками напоминал хитроватого черта. Вадим раскалил черта и, постукивая, отбивал у него рога. Тут кто-то тронул его за руку.

— Пойдем прошвырнемся, — сказала Светка.

В первый раз он на нее поглядел. Этакая незаметинка, белая мышка. Остренький нос, острые зубки. Впрочем, хорошенькая, пожалуй.

Сейчас она, полуприсев рядом с Вадимом, согнув детские колени с царапинами, положила свою маленькую руку на его большую и грубую и сказала:

— Давай прошвырнемся.

«Очень нужно», — хотел было ответить Вадим, но вместо того встал, потянулся, и они вместе со Светкой пошли по голубой пыльной тропе в сторону леса. Светлый месяц висел наверху, и какая-то птица кричала, тоскуя.

— Чего это она? — спросил Вадим.

— Наверно, детей своих ищет, — тихо ответила Светка.

На ее щеках бродили большие тени от темных ресниц, и вдруг она показалась ему очень красивой. И лес, и месяц, и неизвестная птица, ищущая детей, — все было новым, загадочным, никогда не виданным. А новее всего был сладкий холодок около сердца. Робяя, Вадим взял Светку под руку. Тонкий прохладный локоть отдал себя его руке с пугающей готовностью. Холодок у сердца переходил в стеснение, словно его кто-то там давил. Дойдя до леса, тропа круто загибалась вправо, в темноту, под округлые насупленные деревья. Вадим понял, что там, среди этих деревьев, можно отдохнуть от вранья. На самой опушке они остановились. Она подняла к нему свое неузнаваемое, правдивое лицо.

— Ты чего? — спросил он.

— Я тебя давно уже заметила. Ты интересный.

— Скажешь тоже... — смутился Вадим.

— Не отрицай. Ты всех интереснее в нашем классе. Может быть, даже во всех девятих... Пожалуй, только Вовка Суханов интереснее тебя...

Вадим даже зубами скрипнул. Вовку Суханова он терпеть не мог. Этаким бело-розовым красавчиком, не парнем, а пирожное с кремом. А главное, передовик. Он и отличник учебы, он и спортсмен, он и общественник. Ловко писал сочинения, выступал на собраниях, врал, врал...

— Интереснее меня, так с ним и... — сказал он грубо.

Светка вся подалась вперед, закинула руки ему на шею.

— Не обижайся. Это я объективно говорю, а субъективно...

Субъективно она его поцеловала. Холодок возле сердца превратился в мороз. Горький месяц скатился куда-то вбок, и в мире осталась только Светка — ее тоненькое, доверчиво вставшее на цыпочки тело.

Потекли-замелькали считанные дни в совхозе. Раньше Вадим их ненавидел, считал по пальцам, скоро ли кончатся. Теперь он тоже считал дни, но наоборот: неужели проходят? Задержать бы, остановить! Каждый вечер Вадим со Светкой, держась за руки, не обращая внимания на подначки ребят, уходили в лес. Там под широко расставшейся, мохнатолапой елью был их единственный, их правдивый дом. Вадим приносил в кармане клеенку, которую на последние гроши купил в сельмаге; эта клеенка называлась у них «домашний уют». Она великолепно пахла свежей синтетикой, от этого запаха у Вадима даже днем кружилась голова, и он украдкой целовывал его со своих пальцев. А вечером этот запах расцветал и мешался с невинным, цыплячьим каким-то запахом светлых волос... Обнимая Светку, вдыхая ее детские волосы, Вадим каждый раз ощущал боль переполненности в сердце. Ему больше не хотелось говорить и думать о том, что все врут. Может быть, они и ввали, но это было не важно. А дни, хоть он и заклинал их помедлить, проходили стремительно. Вот уже и месяц из узенького стал широким, круглым и зрелым, а потом похудел с одного бока и быстро стал убывать... «Эх ты, косорылый!» — грозился ему Вадим. Месяц его обкрадывал. А тут еще и Светка стала капризничать. Не к месту опять вспомнила о Вовке Суханове. Вадим ее ударил, Светка заплакала:

— Какой ты грубый, какой некультурный...

Вадим и сам был в ужасе от того, что сделал, но старался держать себя в руках.

— Ты позволил себе ударить женщину...— всхлипывала Светка.

— А что? — сказал Вадим.— Это мораль прошлого века, что женщину ударить нельзя. А ты посмотри итальянские фильмы. Там женщин по морде хлобыщут за милую душу.

Светка подняла глаза с каплями на ресницах.

— Так там бьют, потому что сильно любят. Любят до невозможности, потому и бьют.

— Светка, я тебя люблю,— сказал Вадим,— я тебя люблю до невозможности, потому и бью. Прости меня, прости. Ну, ударь меня куда хочешь. Я с ума сошел.

Слезы на ее щеках были солонны. Опять прижалась — значит, простила. Целует — значит, любит. Он все бормотал:

— Прости, прости, я от тебя сумасшедший.

Кто их поймет, женщин? Назавтра она была с ним холодна, отказалась уйти от костра. И послезавтра тоже. Пела с ребятами под гитару, словно дразнилась. Вадим страдал. Назло ей позвал гулять рыжую Майку-баскетболистку, самую высокую девчонку в классе, похожую на парня с гармошкой. Ничего у него с ней не вышло. Хотел поцеловать — дала в ухо. Пошли назад. «Подумаешь, царевна-несмеяна», — бормотал Вадим. Светка у костра шурилась и улыбалась, как будто ей все равно, что он с Майкой ходил.

А вскоре наступил и день отъезда. Так они со Светкой и не объяснились. С утра шел дождь, мелкий, но прыткий, холодный. Ребята рассаживались по грузовикам. Когда Светка влезала в машину с большого колеса, она показалась ему маленькой и несчастной. Он помог ей и пожал ее холодную детскую ногу. Она отчужденно на него поглядела, а ногу поджала под себя. Ну и пускай, ничего ему не нужно.

У Вадима плаща не было, сейчас пригодился бы «домашний уют», но он его на днях выбросил, чтобы избавиться от запаха. Шел дождь, ему предлагали брезент укрыться, но он не взял, нарочно промок, чтобы простудиться, заболеть, умереть к черту.

В городе все было по-прежнему: та же опостылевшая квартира, та же комната, та же мать...

— Сынок,— сказала она, робко радуясь,— как же ты вырос, похорошел, я бы тебя не узнала...

И, разумеется, заплакала. Он так и знал.

— Опять! Терпеть этого не могу. Бабьи слезы — одно вранье. Плачешь, а не видишь, что промок до нитки. Дай сухое.

Анфиса заахала, запричитала, собирая ему сухое, а он сидел нахохленный, злой, мечтая: хорошо бы умереть. Однако не умер, даже не заболел.

Пошел в школу. И там все было по-прежнему. Светка казалась чужой, да и некрасивой: маленькое лицо озабочено, морщинка у губ. Она ему улыбнулась — Вадим насупился. Пусть повилает хвостом. Ждет, чтобы сам подошел. Не дождется.

И вот — прошло уже больше месяца — Светка сама назначила ему свидание.

— Приходи завтра в сквер после уроков, скамейка у памятника жертвам.

Вадим кивнул. Сначала он думал, что не придет, чтобы еще больше ее наказать, но пришел. Она уже была там, сидела понурая, шевеля камешки носком босоножки.

— Ну, чего тебе надо? — спросил Вадим. Он опять ее любил.

— Приветик,— сказала Светка.— Надо с тобой побеседовать.

Какая-то она была вся опущенная. И волосы не разбросаны по плечам, а сколоты на затылке так, что видны уши.

— Ну, говори скорее,— хрипло сказал Вадим,— а то мне некогда.

Светка заплакала. Опять, черт, эти бабьи слезы! Что мать, что она... Любовь падала, убывала.

— Не реви. Говори толком, в чем дело.

(«Мужчина должен быть свиреп»,— сказано в какой-то книжке.)

— Я не могу так сразу. Мне стыдно.

«Наверно, скажет: «Люблю тебя»,— думал Вадим, и сердце его опять забилося и любовь прибыла. Эти швырки от любви к нелюбви и обратно были мучительны. Он прямо вспотел.— Скорей, ну, скорей говори: «Люблю тебя»...»

Светка открыла рот, втянула в себя воздух и на этом вдохе сказала:

— Ой, Вадик, кажется, я попалась.

— В каком смысле попалась?

— В обыкновенном, как все попадают. Ну что я тебе буду объяснять? Как маленький.— Она перестала плакать и сухо глядела на него.— Маленького строишь,— сказала она с ненавистью.

— Ничего не строю, только не понимаю...

— Тогда понимал,— сказала она со страшной враждебностью.

Она была страшна со своими волосами, по-бабьи собранными в пучок, с маленькими сухими глазами. Ни о какой любви речи быть не могло. Что же теперь от него требуется? Жениться, что ли? Не-возможно. В десятом классе! И как он матери скажет?

— И что ж теперь делать? — спросил он, избегая ее глаз.

Она молчала.

— Жениться, что ли?

Светка захохотала.

— Жениться! Вы только на него посмотрите — жених с соплей!

— А что же делать?

— Что все, когда попадутся. Я уже сговорила с одной, сделает дешево.— Она назвала сумму. Вадим обомлел.— Половина у меня есть, надо еще столько же. Я думала, ты...

— Нет у меня, Светка.

— У матери возьми.

— Не даст она. Да и нет у нее.

— Ну, достань где-нибудь. Ты же мужчина.

Вадим тосковал смертельно.

— Ладно. Попробую.

— Смотри только скорей. Мне не позже пятницы надо. Она требует вперед, а сегодня вторник.

— Говорю, постараюсь. Ну, пока.

— So long,— сказала Светка почему-то по-английски и ручкой потрясла по-заграничному, ладонью вперед.

Вадим скрипнул зубами. Целые горы вранья!

Деньги он достал у Ады Ефимовны. Пришлось ей все рассказать — без этого не давала. Ада Ефимовна ужаснулась, но и пришла в восторг:

— Ты ее любил, любил?

— Ну, любил.

— Бедные дети! Но ты мне дай слово, что это в последний раз.

Слово он дал охотно, он и сам был в ужасе от того, во что впутался. В четверг он отнес деньги Светке. В пятницу она в школу не пришла, в субботу тоже. Вадим разрывался тревогой и раскаянием, воображал себе худшее — что Светка умерла или все рассказала матери, и та побежит жаловаться. За субботу и воскресенье он весь изматался, а в понедельник Светка пришла в школу как ни в чем не бывало, даже не бледная и волосы опять по плечам распустила. Все врала. Вадим дал себе слово не любить никогда.

Десятый класс прошел быстро, по урокам как по кочкам — и вот уже Вадим окончил школу и принес домой аттестат. Аттестат так себе, ни плохой, ни хороший — с троечками. Анфиса Максимовна прочитала его и заплакала:

— Что ж теперь делать? Куда ты сунешься с таким аттестатом? Моя мечта, чтобы ты учился... Домечталась...

У других ребят дома праздник: все-таки окончили, хотя бы и с тройками. У него одного слезы. Слез этих Вадим прямо-таки видеть не мог.

— А я и не хочу в вуз. Больно нужно — за гроши инженером вкалывать! Пойду работать, и все.

Анфиса Максимовна зарыдала в полный голос. У нее даже началась истерика, как в дореволюционной литературе. Вадим плюнул и ушел на кухню.

У плиты хозяйничала Ада Ефимовна в микропередничке, мастерила какой-то соус. Готовить она вообще не умела, но время от времени затевала что-нибудь необыкновенное. Соус булькал в судочке.

— Что это у вас? — мрачно спросил Вадим.

— Соус прентаньер с белым вином. Старинный рецепт. Должно быть нечто изумительное, если не подгорит.

Вадим выразил на лице глубочайшее презрение ко всему дореволюционному, в том числе и к соусу прентаньер. Ада Ефимовна засмеялась:

— А ты отчего такой мрачный? Что случилось?

— Школу кончил.

Ада Ефимовна всплеснула руками:

— Ах, что ты говоришь? Поздравляю, поздравляю!

Соус немедленно убежал.

— Так я и знала, — спокойно сказала Ада Ефимовна. — Домашнее хозяйство не для меня. Я создана для высшей нервной деятельности. На чем мы остановились? Да, я тебя поздравляю. Целый большой этап твоей жизни кончился, начался новый.

— Ну их на фиг, эти этапы, — сказал Вадим.

— Господи, как ты циничен! Неужели вся молодежь такая?

— Еще хуже.

— Не верю, не верю.

В кухню донесся рыдающий голос Анфисы Максимовны.

— Что это? — удивилась Ада.

— Празднует мой большой этап. Радуется успехам сына.

— А что, плохие успехи?

— Хреновые.

— Опять цинизм?

— Извиняюсь. Я хотел сказать: средние. По успеваемости я на двадцатом месте, а в классе тридцать человек.

— Так это же хорошо — на двадцатом месте! С конца или с начала?

— К сожалению, с начала.

— Все равно хорошо.

— А она думает, что плохо. Говорит: всю жизнь мечтала дать сыну высшее образование.

— Мечта есть мечта, — сказала Ада Ефимовна неизвестно в каком смысле.

Вечером пришла Ольга Ивановна, принесла подарок — готовальню. Вадим сухо поблагодарил:

— Спасибо, но теперь не те времена. Тушью никто не работает, только в карандаше.

На выпускной вечер Вадим не пошел. Надо было вносить деньги, а он у матери брать не хотел. Да и не надо ему никаких вечеров.

Пролежал, прокурил дома. Мать теперь против курения возражать не смела, только открывала форточки.

Потом начались опять разговоры о вузе, об образовании — сплошная нуда. Вадим сдался, не выдержал характера. Он подал-таки бумаги в один из институтов, где конкурс поменьше, и стал готовиться к приемным экзаменам.

Лето было жаркое, тягучее, с необлегчающими грозами. Вадим готовился к экзаменам и злился. Кто это придумал такое хамство, чтобы из одних экзаменов — в другие? Кончал школу — экзаменовался, теперь надо поступать — снова экзаменуйся. И, главное, по той же программе! Никакого смысла, кроме мрачного издевательства, в этом порядке не было. Что-нибудь одно: или верить аттестату, или не верить. А так серединка на половинку, аттестат предъявляй и все-таки экзаменуйся...

А главное, никуда ему не хотелось поступать. Хотелось жить как живется, не надрываться, работать понемногу и чтобы жили из тебя не тянули. Есть же счастливики, которых никто никуда не тянет: хочешь работать — работай, хочешь учиться — учись. В мыслях Вадима вообще постоянно присутствовали какие-то «счастливики», какие-то «другие», которым он мрачно завидовал. Не то чтобы он считал их лучше себя, скорее наоборот, а вот их приспособленности, незатейливости завидовал. В вопросе об учебе он уступил матери и за это злился и на нее, и на себя, и на «счастливиков».

Анфиса Максимовна, с робкой благодарностью встретившая согласие сына учиться дальше, из кожи лезла, чтобы создать для него все условия. Детский сад уезжал на дачу — она не поехала, поступила временно уборщицей на одну ставку, потеряла в зарплате, но разве до этого, когда такое дело решается: вся жизнь, судьба сына? Она ухаживала за ним, как за тяжело больным, ходила на цыпочках: учись, сынок, только учись. Учиться-то он учился, только не очень усердно. Часто отходил от стола, ложился на спину и курил. Она робко за ним следила: опять лег?

— Как бы не заболела головка у тебя от лежания! Открыть окно?

— Не надо.

— Отчего ты все лежишь?

— Думаю.

— А... Думай, думай.

Экзаменов Анфиса ждала, как страшного суда. Когда они наступили, каждый день для нее был как год. Она дрожала, надеялась, чуть ли не молилась. А тут еще Капа сбкоу вертится:

— Одна вот такая же, как ты, страдающая мать три года сына в институт пижала. Пишает-пишает, и все без толку. И надоумил ее батюшка поп: «Ты, говорит, молебен справь святой Софии-премудрости». Она и справила. Приняли. А не справила бы — нипочем бы не приняли...

Анфиса от Капы наружно отмахивалась, а в душе так и шел-тала: «Дай бог! Дай бог!» Молебен, однако, не справила.

Так или иначе, потому или по-другому, с экзаменами получилась осечка: Вадим недобрал каких-то там баллов, не то двух, не то трех, и по конкурсу не прошел. Ну а это было крушение.

После экзаменов Вадим залег. Целыми днями лежал, курил, с матерью не разговаривал, на все только одно: «Оставь меня!» Не дай бог шизофрения!

Мучилась Анфиса: как помочь ему? Думала-думала и надумала. Была в их садике девочка средней группы, Люся Наволочкина, кудрявенькая. Кто-то сказал Анфисе, что у Люси дедушка работает деканом в том самом институте, куда поступал Вадим. А декан — это

вроде большой начальник. И решила Анфиса тайком от Вадима к тому декану съездить. Узнала адрес, поехала. Страшно, но для сына чего не сделаешь.

24

Дом, где жил декан, оказался старинный, важный, с завитушками и колоннами. В подъезде черные мраморные женщины держали на головах пузатые вазы. Анфиса Максимовна шла и боялась: а ну как декан прогонит ее прямо вниз по лестнице? На беду, лифт не работал. Она едва взобралась на пятый этаж. Тучность на нее напала последние годы, совсем трудно стало одолевать лестницы да и мыть полы. Чуть нагнешься — в глазах темно, в голове больно.

Отдышалась, позвонила. Дверь отворил сам декан — старик высоченный, нос рулем, брови пышные — и сказал по-старинному:

— Милости просим.

— Вы меня простите, я к вам по делу, я воспитательница в садике, где Люся ваша.

Декан побледнел:

— Что-то случилось? Говорите сразу.

Он втащил ее за руку в прихожую, осторожно прикрыв дверь во внутреннюю комнату.

— Говорите, только тихо. Жена, знаете, сердце...

— Нет-нет, — заторопилась Анфиса Максимовна, — с Люсенькой ничего, на даче она, я в городе, а садик на даче. Но там все в порядке, если бы что, я первая знала бы...

— Правду говорите?

— Истинную правду. Провалиться, если вру.

— Как же я испугался! Глупый старик. Только и жизни. что в ней, в этой кудрявой гусыне. Вы меня извините.

— Да что вы! Это я виновата. Надо было позвонить, а я такое нахальство позволила...

Анфиса Максимовна заплакала. Очень она теперь стала слаба насчет слез.

— Батюшки светы! — сказал декан. — Плач на реках вавилонских. Плачьте, не стесняйтесь, вам легче будет. Пройдемте, я вам валерьянки накапаю.

В кабинете — тяжелая мебель, тяжелые занавески, множество книг. Декан захлопотал у шкафчика, суетливо пританцовывая, бормоча про себя что-то вроде стихов, где рифмовались «валерьяночка», «баночка», «бодряночка» и еще невесть что. Накапал себе и ей, чокнулся. Выпили.

— За компанию как не выпить? Вот так и спиваются... Я тут за компанию с вами чуть не заревел... Хороша была бы картина! А?

Он смотрел на нее по-приятельски, чуть поводя из стороны в сторону рулевым носом. Брови у него такие пышные и кудрявые, что прямо лезут в глаза. Кудрявые книзу, а не кверху.

— Милости прошу, — сказал декан, жестом приглашая ее садиться.

Она села, и он сел.

— Я вас слушаю.

«Как в суде», — подумала Анфиса и заволновалась.

— Не знаю, как и начать. Сын у меня, Вадим, единственный, с сорок четвертого года. Нынче десятилетку кончил, подал документы в ваш институт...

— Ну и что?

— Недобрал на экзаменах.

Декан помрачнел.

— Что ж я тут могу сделать? У нас не лавочка и я не сиделец...

— Не знаю... Я к вам за советом.

— Вы понимаете, что от меня ничего не зависит? — закричал декан. — Я даже не имею отношения к приемной комиссии! А если бы и имел...

— Понимаю, — сказала Анфиса Максимовна и встала.

— Нет, ничего вы не понимаете! Сядьте, балда вы этакая! — Он насильно ее усадил, больно дернув за руку. — Вы небось думаете: бессердечный старик, может помочь, а не хочет! Думаете, а?

Анфиса Максимовна испугалась. Она действительно в эту минуту именно так и думала. Декан захохотал:

— Я, знаете, умею читать мысли.

— Лучше я пойду, — сказала Анфиса.

Она стала приподниматься с кресла. Кресло было глубокое, вставать трудно.

— Сидеть! — цыкнул декан. — Раз уж пришли, так пришли, придется сидеть. Расскажите мне все по порядку. Что за сын, почему недобрал, может быть, недоразумение, выясним...

Приоткрылась дверь, и мягкая, полная, белая старушка просунулась и спросила:

— А, у тебя гости, Сережа? Я не помешаю?

— Помешаешь, — свирепо сказал декан.

Старушка засмеялась и исчезла. И так почему-то завидно стало Анфисе... Вот и она могла бы, сложишь все иначе, стучаться к мужу и спрашивать: «Не помешаю?» Молодости она никогда не завидовала — только спокойной старости.

— Слушаю вас, — повторил декан, сложил руки, неподвижно установил нос и почти прикрыл глаза загнутыми бровями. — И, пожалуйста, как можно подробнее.

Часа через два успокоенная, повеселевшая Анфиса Максимовна, стоя у остановки, ждала автобуса, чтобы ехать домой. Автобус долго не шел, и хорошо, что не шел — в кои-то веки подышишь воздухом. И небо розовое было такое красивое, с кудрявыми тучками. Давно не видела неба, все некогда было взглянуть, вот жизнь-то какая... А какие хорошие Сергей Петрович и Софья Владимировна! Есть же люди — хорошо живут. Не в книгах счастье и не в мебели, а в любовном покое. Чаем ее поили, к чаю крендельки, пухлые, нежные, во рту тают. Верно, сама пекла. Хотела спросить рецепт — постеснялась. А у Софьи Владимировны ручки-то, ручки — маленькие, нежные, как те крендельки.

Сергей Петрович ничего определенного не обещал, но она ехала домой радостная, и даже в автобусе какой-то дядька ей сказал:

— Счастливая у вас улыбка, девушка!

Наверно, пьяный. А все приятно...

Приехала домой. В комнате темно: верно, Вадим куда-нибудь ушел. Она зажгла свет и увидела, что он не ушел, а лежит на кровати, закинув длинные ноги на спинку, а глаза с ненавистью смотрят в потолок. В руке — погасшая папироса.

— Вадик, что с тобой? Болен?

— Здоров.

— А лежишь почему?

— Хочу и лежу. А что? Нельзя полежать человеку?

— Отчего нельзя? Устал — раздевайся и спи.

— А я хочу так.

— Кто ж это лежит одетый? С ногами на покрывале, а мать стирай. У меня руки тоже не казенные. Утром с ведром, вечером с корытом...

— А кто тебя просит? Сам постираю.

— Знаю я, как ты стираешь. Папироску в зубы, пых-пых — и пошел. А мать надрывайся.

Вадим сел на кровати и закричал:

— Не надо мне твоего надрыванья! Понятно? Прекрати свое надрыванье!

Он вскочил и стал на нее надвигаться с таким безумным лицом, что Анфиса Максимовна перепугалась. Она взвизгнула и начала отступать, заслоняясь руками, словно от удара. Но Вадим не ударил.

— Все ты врешь, вот и сейчас врешь, будто я тебя хотел бить! Очень мне нужно руки об тебя марать!

Он одевался судорожно, не попадая в рукава, наконец попал, свирепо застегнулся и выскочил за дверь.

— Вадим, куда ты? Вадим, вернись!

Но его и след простыл. Только хлопнула дверь на лестницу.

— Скандалисты,— громко сказала Зыкова в соседней комнате.— Терпеть не буду, выселю через суд.

Анфиса Максимовна рухнула на кровать. Ей было все равно, что за стеной Панька Зыкова. Пусть себе злыдничают. Анфиса Максимовна ударила кулаком в стенку, окровавила кулак, поглядела на него с удивлением. Боль была приятна. Тогда она с размаху ударила головой в ту же стенку. В горстях у нее были собственные волосы, она с наслаждением их рвала и уже не плакала, рычала. Она слышала, как отрывается каждая прядь с головой вместе, и думала, что это хорошо — без головы. Во рту у нее оказалось одеяло — она закусала его зубами и рвала на части, рвала. Потом она почувствовала на голове легкий идущий дождик, что-то холодное и замерла с одеялом в зубах. Струйки дождя текли ей за шиворот.

— Анфиса Максимовна, милая, что с вами? — спросил голосок с жаворонковой трелью. Над ней стояла Ада Ефимовна в своем попугайчатом халатике, волосы накручены на бигуди, и поливала ей голову водой из дрожажного стакана.

— Ну, успокойтесь, это просто у вас истерический припадок, это бывает, у меня самой было. Это от переживаний. Валерьянки выпить, и все пройдет.

Анфиса Максимовна выпустила из зубов одеяло, подняла взломаченную голову и сказала:

— Спасибо. Я уже пила.

— Что?

— Валерьянку.

— Ну, тогда что-нибудь другое выпейте. Важно, чтобы выпить. У меня в аптечке салол с беладонной. Хотите?

— Давайте,— махнула рукой Анфиса Максимовна. Сейчас ей было уже стыдно, что она так кричала. Зря себе волю дала.

Ада Ефимовна побежала за лекарством. В дверях появилась Ольга Ивановна, худая, большеглазая, на ходу запахивая халат.

— Анфиса Максимовна, разденьтесь, давайте я вас уложу.

Она стала разувать Анфису, та поджимала ногу, не давалась. Впорхнула с лекарством Ада Ефимовна:

— Глотайте, запивайте.

«Экая я, всех переполошила»,— думала Анфиса. В голове у нее что-то звенело, как комар. Она сматывала с пальцев длинные, русые, мало поседевшие пряди.

В эту ночь Вадим домой не приходил, а на другой день явился — тише воды, ниже травы, сам спросил: не надо ли сходить за хлебом (ответила: «Нет»), и целую неделю его не было ни слышно, ни видно, только окурков целые горы. За эту неделю в институте должны были вывесить списки. Анфиса Максимовна ходила туда каждый день, но ей говорили: «Рано». Наконец вывесили. Она прочитала все листы — Громова В. Ф. не было. «Так я и знала, так и знала»,— приговаривала она озябшими губами, но все не верилось. «Справки в приемной комиссии»,— сказал кто-то за ее спиной. Каким-то ветром по-

несло ее в приемную комиссию. Там толкались озабоченные парни и девушки, расстроенные родители. Какая-то мамаша, крашенная-перекрашенная, громко рыдала, требуя «уважения к отцам». Бледный, истощенный и, видимо, уже раздраженный до крайности председатель махнул на нее рукой и вышел. Очередь загудела. Секретарша старалась навести порядок, разослать кого куда.

— Вы поймите, Владимир Александрович уже ушел, сегодня приема не будет, понятно? — Глаза у секретарши были выпуклые, как у трески. Такая убьет — не поморщится. — А вы по какому делу, мамаша? — спросила она Анфису. Из тресковых глаз смотрела канцелярская враждебность. Где, в каких кабинетах, в каких приемных не приходится ее видеть?

— Сын у меня, Громов Вадим. Вадим Федорович.

— Смотрите внизу в списках.

— Там нету.

— Нет — значит, нет. Значит, не принят, мамаша. Ясно?

— Ясно. — Анфиса продолжала стоять.

— А что, ваш сын больной, сам не может прийти? Или он из детского садика?

— А вы не переживайте, — сказала другая девушка, собой незаметненькая. — Этот год не попал, на будущий примут.

— Беда с этими мамашами, — вздохнула первая. — Никакой дисциплины. Ходят и ходят. Все равно бесполезно.

— Постой, Алка, — сказала незаметненькая, — может, он в дополнительном списке... — И прикусила губу, видя по лицу другой, что зря сболтнула.

— А есть дополнительный? — затрепетала Анфиса.

— Еще не утвержден, — сказала Алла. — А тебя кто за язык тянул? — обернулась она к незаметной.

— Девушки, милые, — взмолилась Анфиса Максимовна, — дайте хоть глазком взглянуть...

И выпросила-таки. И там собственными глазами увидела, буква в букву: «Громов В. Ф.».

Ну, теперь можно и умирать. В крайнем случае Вадим сам пробьется.

Исходя благодарностями, себя не помня от счастья, Анфиса вышла. Ноги несли ее как пушинку. Куда полнота девалась, одышка? У подъезда института — телефон-автомат. Она зашла в кабину и набрала номер декана Сергея Петровича.

— Вы меня извините, Громова беспокоит, Анфиса Максимовна. Помните, у вас была?

— Припоминаю, — сказал голос Сергея Петровича с некоторым сомнением. — Чем могу служить?

— Приняли Вадима.

— А, очень рад.

— Я вас поблагодарить хотела. Уж так благодарна, так...

— Это за что же? Я тут, моя милая, ни при чем и благодарить меня не за что.

Анфиса Максимовна молчала, сжимая в руках тяжелую, надышанную трубку.

— Вы меня слушаете? — строго спросил декан.

— Слушаю.

— Запомните, вы мне ничем не обязаны. Так и знайте. Поняли?

— Поняла.

— А за вас я рад, рад. Привет отпрыску. Как-нибудь заходите, мы с Софьей Владимировной рады будем.

— Спасибо.

Анфиса повесила трубку. Нет, не зайдет она больше к ним никогда.

От разговора с деканом радость ее попритухла, но все еще была жива. Окончательно добил ее Вадим.

— Поздравляю студентом,— сказала она не без игривости.

Вадим равнодушно поднял голову.

— Я же не принят. В списках нет. Я смотрел.

— Ты в дополнительном. Сама видела: Громов В. Ф.

— А кто тебя просил ходить? — крикнул Вадим.— Оставишь ты меня когда-нибудь в покое?

— Я — мать. Всякая мать за сына переживает.

— Нечего было переживать. Подумаешь, институтишко занюханый. Я и не хотел туда идти вовсе. Я хотел работать. И зачем только поддался на уговоры? Эх...

Анфиса Максимовна часто-часто заморгала.

— Опять реветь? — злобно спросил Вадим.— Надоели мне твои кинофильмы. Раз уходил и опять уйду. Навсегда уйду, учти.

Вот тебе и радость...

Заснула она в ту ночь поздно и плохо спала, снились какие-то пустяки, глупости, шкафы с книгами, они двигались и старались ее задавить. Она от них, а они за ней. Еще крендельки снились и руки Софьи Владимировны, тоже как крендельки. Она, Анфиса, пыталась те крендельки целовать, а Софья Владимировна не давала, смеялась мелко, как изюм сыпала. Совсем измучилась с этими снами. А под утро приснилось другое: пришел Федор покойный, стал перед ней грозно и спрашивает: «Что ты сделала с моим сыном?» И выходило во сне, что Вадим Федору сын, а она, Анфиса, перед ним виновата, что его от другого отца родила. И так она мучилась, так плакала, что проснулась. Все было полно слезами, а в ушах звенело — тонкий звон, комариный, так, бывает, звенит лампочка, перед тем как перегореть. Утром у нее отнялась щека, стала как мертвая. Анфиса ее массировала — не помогает, ущипнула — боли не слышно. Смешно даже, одной щекой умерла! Потом прошло.

26

Осенью Вадим пошел учиться. Институт с первого же дня ему не понравился. Как собрались они на первую лекцию по высшей математике в большом двусветном зале со скамейками амфитеатром, Вадим посмотрел вокруг себя: нет, не нравится! Чего он хотел, он сам определенно не знал, но, во всяком случае, не этого. Началась лекция. Профессор, сухой и щетинистый, похожий сразу на воблу и зубную щетку, вызвал у Вадима решительное отвращение. Он начал с латинского изречения, которое тут же перевел на русский. «Хвастает», — решил Вадим.

Самую лекцию он не понял. Профессор говорил текуче, гладко, сложносочиненными предложениями, такими длинными, что, пока дело доходило до конца, можно было забыть начало. Среди причастий и деепричастий полностью терялся смысл. Вадим сперва пытался записывать, потом бросил, устал. Кроме того, он не знал, как пишутся некоторые слова, и боялся, что кто-нибудь из соседей заглянет к нему в тетрадь. Он начал разглядывать аудиторию; то, что он увидел, тоже ему сильно не понравилось, особенно обилие и некрасота девчонок, — это обилие досадно подтверждало его мнение, что институт второсортный, заштатный, куда не пойдет по призванию ни один уважающий себя парень, а идут потому, что здесь конкурс поменьше. Девчонки, многие в очках, старательно записывали, вскидывая на профессора молящиеся глаза. Вадим был убежден, что все они пришли сюда, чтобы выйти замуж. И в самом деле, что они еще могли делать? Баба-инженер — курам на смех. Но и парни тоже Вадиму не понравились, особенно один с гривой, которой он как-то залихватски

встряхивал, и другой, белый, как альбинос, настолько белый и бледный, будто он прожил несколько лет в подземелье. Эти двое были к Вадиму ближе всех, он осмотрел их особенно тщательно и с омерзением. Больше всего его раздражало внимание, с которым они пялились на доску и судорожно записывали слова профессора — в общем-то, пустые слова, если разобраться. В ушах Вадима эти слова стучали, как горошины в погремушке. Стараясь не слушать, он начал думать о чем-то своем — хорошего не получалось. Уже с давних пор в Вадиме укрепилось сознание, что ему чего-то недодали, чем-то обделили. Вот и сейчас на лекции, облокотившись на узенький пюпитр, подпершись кулаком, он не столько думал, сколько чувством перебирал все свои обиды и еще сильнее ополчался на мир. Вспомнилась ему ироническая улыбка учительницы еще в первом классе, когда он никак не мог прочитать сложное слово «башмачок» и ребята смеялись, а он и не знал, что за штука этот «башмачок»? После ему Ольга Ивановна объяснила, что в старое время говорили не «ботинки», а «башмаки». Почему они смеялись? Спросить каждого, что такое «башмачок», — наверное, никто бы не ответил. После этого случая он долго отказывался читать вслух, может быть, из-за этого так понастоящему и не выучился... Вспомнил, как мальчики с его двора выходили в День Победы нарядные, некоторые даже с отцами за руку, и одному отец дал поносить свой орден. А он, Вадим, тоже нашел у себя дома медаль, нацепил ее и пошел во двор. А Петька Гаврилов сказал ему: «У тебя и отца-то не было»... Потом вспомнил, как Светка обозвала его женихом с соплей, и внутренне закипел от ненависти. Нет уж, больше они его не обведут! Потом подумал о матери с тем сложным чувством обиды и задыхания, которое всегда сопровождало его мысли о ней, его встречи с нею, его ссоры с нею и всю его жизнь с матерью в опрятной комнате с зелеными обоями (на них чередовались какие-то нудные квадраты с нудными ромбами), и вообще жизнь была нудна... В эту минуту профессор, видимо, произнес какую-то шутку, какую — Вадим, конечно, не слышал, но услышал смех студентов, как ему показалось, угодливый, и с отвращением увидел, как профессор засмеялся вместе со всеми, крупно скаля желтые зубы. С этой первой лекции все было решено для Вадима: институт ему противен, он сделал ошибку, когда пошел сюда ради матери, но больше его не обманут, не на такого напали... Что именно он будет делать — он пока не знал. Одно было ясно: он должен непременно кому-то что-то доказать...

27

Когда Анфису спрашивали, как дела, она неизменно отвечала: «Все слава богу». Сын устроен, учится в институте, теперь можно и передохнуть. И мне она тоже говорила: «Слава богу». Но я ей не верила: слишком тревожно блестели ее глаза. Мне кажется, она и тогда уже была тяжело больна, но виду не подавала. Внешне она изменилась к худшему: потучнела, потяжелела, ходила с одышкой, словно преодолевая каждым шагом какой-то рубеж. А больше всего меня пугали припадки, которые время от времени на нее находили: приступы гнева, отчаяния, когда она билась, кричала, царапала себе лицо и руки, находя в своей несдержанности дикое удовольствие. Я упростила ее сходить к невропатологу. Тот нашел признаки истерии, прописал порошки, капли, режим, обтирания. Порошки и капли Анфиса спе, за принимала, но от брома у нее делался насморк, она неделями жестоко чихала, и в садике на нее посматривали косо. Она бросила принимать бром; насморк прошел, а возбуждение нет. Насчет режима и обтираний даже и речи не было... Мне кажется, наши врачи мало представляют себе женскую трудовую жизнь, когда прописывают режим, диету... Какой тут режим, только бы не

рухнуть. Анфиса работала на полутора ставки, да дом, да хозяйство — все за счет сна. По возрасту она могла бы уйти на пенсию, но об этом и думать было нечего — из-за Вадима. А Вадим не очень-то радовал — учился неохотно, часто прогуливал, в первую же сессию нахватал двоек, стипендию не получал, на материны попреки только отмалчивался и курил, курил... Анфиса из кожи лезла, чтобы его накормить, одеть, обуть, — Вадим ничего не замечал, не ценил. «Всю себя, — говорила Анфиса, — как в яму бросаешь».

В чем тут было дело? И только ли Вадимова была в том вина? Наверно, нет. В любом конфликте всегда две стороны, две правды. Наверно, не только Вадим был виноват перед нами, но и мы с Анфисой были перед ним виноваты. Особенно я. Мне-то надо было быть умнее: ведь я не была, как Анфиса, жертвой рабьей материнской любви...

Порой я ее едва узнавала. Прежде она была жизнерадостна, любила шутку, музыку, книги. Книг она прочла не так-то много, но то, что прочла, помнила отлично, до мельчайших подробностей (мы, много читающие, никогда так не помним) и часто поражала меня тонкостью своих замечаний. Так, она, например, заметила один и тот же характер у Нехлюдова и Левина и сказала: «Наверно, сам с себя написал...» Внимательно читала газеты. Больше всего любила «Из зала суда», но и политические статьи тоже просматривала. «А где это — Куба?» — и охотно отыскивала с моей помощью маленький остров на Вадимовом школьном глобусе. Видела животных, птиц, деревья, цветы. Радовалась солнцу. Теперь ее словно заслонило от всего. Радио слушать она перестала, почти ни с кем не разговаривала, все куда-то торопилась со странным наклоном вперед и немного вбок. Это торопление разительно не вязалось с ее неуклюжей, медленной походкой на отечных ногах. Жизнь стала преследовать ее мелкими несчастьями: она роняла вещи, теряла деньги, в магазинах ее обсчитывали. На все это она реагировала бурно, даже театрально, с закатыванием глаз, дрожью рук и ног, рваньем волос. Грешным делом, я ее осуждала за эти спектакли. Мне было ее жаль, но не очень-то верилось в подлинность ее горя: слишком оно было крикливое. Тогда мне казалось, что подлинному горю пристало быть молчаливым. Я была не права. Теперь-то я знаю: всякое горе — горе.

Очень чуткая, Анфиса угадывала мое неодобрение и замыкалась. Ко мне она заходила не часто, остерегалась при мне плакать. Уже не было прежней близости между нами, жадной общительности прежних лет. От книг она отказывалась: «Некогда, у меня своя жизнь — книга с картинками». Это тоже казалось мне фальшивым. Время от времени мы с нею ссорились, без прежних скандалов, без бросания подарков, но с суровой, грубой горечью. Сладких, радостных примирений тоже не было. Мне тогда казалось, что я кругом права. Какое жестокое заблуждение! Упаси меня боже от правоты. Правый человек слеп, правый человек глух, правый человек — убийца.

Время от времени ее посещали какие-то маленькие, летучие параличи: то палец отнимется, то щека, то пятка на ноге перестает чувствовать, и она ходит с каким-то неуверенным приплясом. Это быстро проходило, но все же меня беспокоило. Опять я уговорила ее пойти к врачу. Сходила, вернулась разочарованная:

— Обратное все то же: нервы, истерика, кали бромати. Ничего не понимают врачи. По-ихнему — истерика, а по-моему — просто жизнь. Жизни не знаете, вот и прописываете.

Последнее относилось, конечно, ко мне. Анфиса любила меня попрекать тем, что я, мол, не знаю жизни.

В это сложное время Вадим стал почти врагом: еле кланялся, никогда не заходил, на мои попытки общения отвечал ухмылкой. Дела его в институте шли неважно. Разговоров об этом он не любил, но гордость не позволяла ему врать. Он все признавал. Хвосты по мате-

матике—да. По языку—тоже да. Подумаешь, пересдам. А нет—тоже не страшно.

Однажды он сказал:

— Ничего вы не понимаете, хоть и старая. Ах, высшее образование! А какой толк? Вот у вас высшее, а жизни не знаете...

Оба ссылались на жизнь—и Анфиса и он. Может быть, я и в самом деле не знала жизни? Мне было горько, очень.

28

А Вадим ходил в институт, опьяняясь своим пренебрежением к нему. Все в институте было ему противно: и золотые памятные доски, напоминавшие о тех, кто когда-то здесь учился (подумаешь, наука!), и портреты ученых в коридорах (среди них был и тот самый, с желтыми зубами, высший математик, читавший первую лекцию, а после с наслаждением поставивший ему две двойки), и стенные газеты, полные какими-то сплетнями о нарушителях дисциплины, об отстающих. Вадим сам был в числе отстающих, но отставал не по глупости, а по гордости: этого никто не хотел понять. Топили в институте неистово, несмотря на теплую погоду; от раскаленных батарей несло баннным жаром, и Вадим задыхался. Лекций он, в общем-то, не слушал, посещал их через две на третью, только бы отстали контролеры. А контролеров кругом было достаточно: староста, комсорг, профорг. Их Вадим ненавидел, помимо всего, и за то, что все они были бабы. Особенно он не терпел профорга Люду Никитину с ее молочной полнотой, белокуростью, золотыми сережками в маленьких чистых ушах. Проводя с ним воспитательную беседу, она краснела малиновым пятнистым румянцем и покусывала кончик карандаша беленькими стройными зубами. Вадим был убежден, что и беседы и перевоспитание—вранье, а на самом деле она просто в него влюблена. Вадим был красив и знал, что красив; это сообщало его повадке с женщинами какое-то тяжеловатое хамство. Правда, сейчас он был далеко не так красив, как в детстве, когда мимо него нельзя было пройти, не обернувшись на его черные глаза и великолепную улыбку... Но он себя в детстве не помнил и сравнивать не мог.

На одной лекции по теормеху (теоретической механике) рядом с Вадимом оказался мало знакомый ему толстый студент в очках по фамилии Савельев, со странным бабьим именем Клавочка. У него была неопрятная челка почти до самых очков, на жирной груди рубаха с оторванными пуговицами и в одном ухе—серьга. Он что-то усердно рисовал в своей тетради. Вадим заглянул ему через плечо: что он там рисует? Оказалось, голых женщин. Вадим вообще таких рисунков не любил, но эти показались ему выполненными довольно искусно. После лекции они вышли вместе. Вадим спросил:

— Ты что, художник?

И ожидал в ответ что-нибудь вроде избитого: «Да, от слова „худо“». Но Клавочка сказал другое:

— Я никто.— И подмигнул круглым карим глазом из-под треснувшего стекла.

— Ты бабами увлекаешься?

— Ничем я не увлекаюсь. Просто существую.

Это Вадиму понравилось. Он тоже хотел бы просто существовать, но у него не получалось. Всегда выходило, что он кому-то что-то должен.

Так они познакомились. Поругали профессора теормеха и заодно сам теормех, который неизвестно зачем нужен, потому что в жизни такие абстракции не встречаются. Клавочка сказал, что вообще науки не нужны, а главное—иметь инженерный нюх. Это тоже Вадиму понравилось, выходило, что не так уж он плох со своим небрежением

к наукам, а нюх у него был, он чувствовал его в груди. Впрочем, он на симпатию плохо поддавался (если человек ему нравился, он прежде всего подозревал его в корысти). Он спросил у Савельева с подковыркой:

— А почему тебя зовут Клавочкой, как бабу?

— Умные родители, интеллигенты в первом поколении, искали мне редкое, красивое имя и нашли: Клавдий. Удружили. Я сначала переживал, хотел официально менять, через газеты: мол, такой-то Клавдий Савельев меняет имя и фамилию на Гений Ветошкин. Но раздумал. Игра не стоит свеч.

— Я вообще ненавижу красивые имена,— сказал Вадим, у которого тоже было красивое имя, и вся горечь против матери в нем всколыхнулась, пошла кругами.

Вскоре у Вадима с Клавочкой завелась дружба — не то чтобы настоящая дружба, а нечто вроде солидарности отверженных. Родило их острое отвращение к математике и критическое отношение ко всему вообще. Оба презирали институт, науки, передовиков и карьеристов, всех и всяких воспитателей и перевоспитателей. Только выражалось это у них по-разному: у Клавочки весело, а у Вадима трагично. Клавочка паясничал, передразнивал профессоров, произносил длинные речи за комсомольских руководителей, бичуя лень и разгильдяйство, строил рожу за спиной своих воспитателей (воспитывать Клавочку считалось на курсе самой тяжелой общественной нагрузкой), и все это беспечно, порхающе. Вадим так не мог. Он весь кипел изнутри, когда его воспитывали. Главное, в-чем-то он все-таки им завидовал. Опять перед ним маячила завидная чья-то общность, умение войти, слиться. Клавочка никому не завидовал. Он был сибарит. Он говорил:

— Я бы хотел быть на колесиках и чтобы всегда было под гору.

К концу года оба они обросли хвостами. Где-то впереди маячило отчисление.

Клавочка не унывал:

— Помнишь, как говорил Ходжа Насреддин, когда по приказанию шаха учил осла читать? Что-нибудь случится: либо шах сдохнет, либо осел, либо я сам. А до тех пор...

А до тех пор была молодость, была Москва со своими коленчатыми переулками, с прямыми проспектами, со светлыми витринами, полными дорогих, недоступных вещей. Были здоровые ноги, вечное безденежье, надежды на что-то неопределенное, которое вот-вот придет. Были вечеринки в каких-то малознакомых компаниях, где Клавочка, мастерски игравший на зубах и легкий на слово, неизменно был душой общества. Были, наконец, короткие прислонения к чужим нежным плечам, поцелуи в коленчатых переулках, затем редкие, всегда ошеломляющие встречи — крадучись, где-то в дебрях коммунальных квартир, за чьей-то дверью, за чьей-то спиной, может быть — мужа. Ни одной из этих женщин Вадим не любил, но порой ходил целую неделю как пьяный от пережитой близости.

Институт окончательно отошел, выродился. Где-то там текла веселая и общая студенческая жизнь. Готовились к экзаменам, писали шпаргалки, зубрили сопромат и теорем, сдавали и пересдавали, делали доклады, пели в самодеятельном хоре... Интересовались спортивными, шахматными рекордами... Сколько шуму было, когда один из студентов взял первенство страны по прыжкам в воду! Ребята гордились и радовались, хотя отлично знали, что чемпион числился уже четвертый год на первом курсе и только «зарабатывал очки». Все это знали, но никого это не трогало, не хватало за душу так, как Вадима. Способность страдать от вранья он себе ставил в заслугу, в доблесть: значит, он был чем-то выше других, чутче, совестливее. Только почему-то никто, кроме него самого, этого не замечал...

Пришла весна — с запахом распускающихся листьев, с горячими ладонями в коленчатых переулках... Разумеется, ни Вадим, ни Клавочка весенней сессии не сдали. Надежды на то, что кто-нибудь сдохнет — либо шах, либо осел, либо сам Насреддин, — не оправдались, никто не сдох, и Вадима с Клавочкой представили к отчислению. Клавочка, верный себе, не унывал:

— Кто знает, может быть, это к лучшему... Всю жизнь заниматься делом, которое тебе не по душе... Это все равно как жить с женщиной, у которой изо рта пахнет.

— А какое дело тебе по душе? — спросил Вадим.

Клавочка подумал и ответил:

— В сущности, я бы хотел эксплуатировать чужой труд. Поскольку в наших условиях это невозможно, придется ехать на целину.

Экое трепло! Клавочке было хорошо трепаться: у него не было матери. Старенький отец, оставшийся учитель, жил где-то в провинции пенсионером, он вряд ли даже знал, где учится его сынок. Другое дело — у Вадима. От одной мысли, что придется обо всем сказать матери, у него сводило челюсти. Как можно скорее, как можно грубее, лишь бы это было кончено! Он пришел домой и сказал:

— Хватит с меня, наплясался по твоей дудке. Ухожу из института, еду на целину.

Анфиса Максимовна так и застыла. Не веря смотрела на него серыми светлыми глазами.

— Шутишь, сынок?

— Какие шутки! Вот, уже путевка в кармане.

Анфиса Максимовна сползла со стула на пол и стала пытаться обнять Вадимовы ноги. Она была тучна и смехотворна. Вадим содрогнулся от пронзительной жалости, но тут же ее подавил.

— Не ломай комедию. Довольно я на них насмотрелся.

Анфиса Максимовна лежала как в обмороке, бледная, почти зеленая. Вадим выбежал, стукнул в дверь к Ольге Ивановне:

— Идите к ней, играйте с ней ваши комедии, а с меня довольно, наигрался.

Ольга Ивановна, встревоженная, встала, кутая платком угловатые плечи:

— В чем дело, Вадим?

— Ухожу из института, еду на целину. Мать лежит в обмороке. Это вы ее, вы научили...

Выражение ненависти на его лице было ужасно.

29

Когда Вадим уехал на целину, Анфиса Максимовна сразу погасла, осела, обмякла. И что хуже всего: работа ее больше не увлекала. Лепечут ребята, а ей все равно.

Понемногу возникла и укрепилась в ней мысль: на пенсию. Напоследок пожить на свободе. Хочешь — спи, хочешь — гуляй, хочешь — книжки читай.

— Я же для своей радости ни минутки не прожила, — говорила она, ощипывая на себе одежду и нехорошо блестя глазами. — Вот на пенсии поживу в свою сласть.

Я ее отговаривала:

— Ох, не делайте этого, Анфиса Максимовна! Без работы вы жить не сможете. Я вот постарше вас годом, к тому же инвалид. Вполне могла бы уйти на пенсию, а работаю...

— Не равняйте с собой. У вас жизнь хорошая была.

— Это у меня-то хорошая жизнь? Ну уж... Ведь вы мою жизнь знаете. Мало у меня было горя?

— Есть горе и горе. У вас горе было тяжелое, а благородное, без стыда. А стыдное горе старит, гнетет. Вы стыдного горя не знали.

— Не завидуйте мне, Анфиса Максимовна.

— Вы образование получили. Вот выйду на пенсию, время будет, я тоже образование получу.

Ну что с ней поделаешь? Пусть идет на пенсию, может быть, и в самом деле лучше ей будет.

Ушла Анфиса Максимовна на пенсию. Проводили ее торжественно, заведующая даже речь произнесла о скромных героях труда. Выделили ценный подарок — наручные часики под золото. Анфиса Максимовна плакала: жалко было ребят, жалко товаров, даже заведующую и ту жалко, хотя, если правду сказать, придира она и слишком пунктуальная.

Первые дни миновали быстро. Больше всего ее поражало, что не надо рано вставать, спи себе хоть до полудня. Поздний сон всегда представлялся ей каким-то бесчинством, вроде воровства. Ну что же, уговаривала она себя, заслуженный отдых. Отдыхай. Делай что хочешь.

Потом оказалось, что делать-то и нечего. Маленькое хозяйство на одну себя много времени не отнимало: чай, да каша, да щи на три дня. Чайник маленький, кастрюлька маленькая, вроде как дети стряпают в садике. А кончишь, чашки перемоешь, — и вроде скука берет. Возьмешь книгу — скучно, все не о том. Ей бы про жизнь, а там про соревнование. Радио включишь — опять скучно, частушки приелись, серьезная музыка утомляет. Кот подойдет, выгнет спину, почешется. Все-таки живая душа.

— Ну что, котька? Остались мы с тобой одни.

Мурлычет кот. Мягкий, а тоже скучный.

— Гулять, — сказал врач. — Как можно больше гулять.

Она и гуляла. Старалась как нанятая. Ходила к своему бывшему садику, глядела из-за забора, как ребята играют, и так ей жалко их, так жалко, будто своих. Воспитательница новая, молодая, книжку читает, на ребят и не смотрит, а Миша Пантюхов весь в луже изгаздался, да и воду оттуда пьет. Куда ж она смотрит? Анфиса Максимовна как закричит:

— Миша, сию минуту от воды!

Миша послушался, узнал ее, за ним и другие. Кричат: «Анфиса Максимовна!» — подбежали к забору, тянутся. Воспитательница книжку бросила, тоже к забору:

— Гражданка, обращаться к детям на территории воспрещается.

Гражданка! Дожила, что в своем родном садике стала гражданкой...

Больше она к садику не ходила. Только себя растревлять.

Очень тосковала она по Вадиму. Он писал редко и сухо, неласково. О себе сообщал мало: здоров, работает, получает неплохо. На один праздник прислал перевод, не особо много, но все-таки. Перевод без слов, одни деньги. Наплакалась от радости, да и от тоски. Жалко сына. Живет, бедный, где-нибудь в бараке, а кругом ветры свистят. Она раз видела картину про целину, там все были ветры, ветры и бараки, бараки... Больше всего она боялась, чтобы он там, на целине, не женился. Мало ли какая попадется — ленивая или злыдня. Привезет ее сюда: «Мама, познакомься, это моя жена». Жена хихикает, палец оттопыривает, работой брезгует... Анфиса Максимовна целые спектакли разыгрывала, как обижает ее сноха, не кормит: «Вы, мама, старенькая, вам есть не надо».

Всегда щедрая, Анфиса Максимовна стала теперь скуповата, все боялась, что не хватит пенсии. Полюбила сладкое, съедала потихоньку, у себя в комнате, чтобы не угощать. Увидят — ест, растреплет Капа по всему дому: «Громова на пенсии, а ест пирожные. Откуда у нее

такие деньги?» Начнут проверять и — чего не бывает? — отнимут пенсию. С Капой теперь ссоры были тяжелые, страшные, на досуге-то. Капа попрекала ее Вадимом: «Съела ты судьбу человека, ненасытная утроба твоя. Одного погубила, мало тебе, за другого взялась». А с Ольгой Ивановной прежней дружбы не было. Зайдешь к ней поделиться, а она книжку сует, будто лекарство какое. В книжке, моя матушка, про других написано, а ты мне такую дай, чтобы про меня. А сама все губы поджигает, брезгает. Слезами ее брезгает. Нет, правильно люди говорят: замкнутая она, гордая. А чем гордиться-то? Что работает, не пошла на пенсию? Нет, голубушка моя, старость, она старость и есть. Крепись не крепись — она свое возьмет. Годом раньше, годом позже, а всем на пенсию.

Спала теперь Анфиса Максимовна слабо, некрепко. Просыпается среди ночи и все думает, думает. А в ушах у нее звенит, звенит.

31

Вадим жил на целине уже второй год, работал, и злился, и все еще хотел кому-то что-то показать, но не доказывалось, и выходило, что он самый что ни на есть обыкновенный парень, в чем-то даже похуже других. Жили они в бараке вместе с Клабочкой Савельевым. Клавачка на целине быстро пооблинял, оброс бородой, челка у него свалаялась, шуточки успеха не имели, и выходило, что он при всем своем свободном уме тоже самый что ни на есть обыкновенный парень. Выпендриваться-то особенно было некогда. Работа тяжелая, злая. Вадим выучился водить грузовик, техника была хреновая, запчастей не хватало. В горячую пору спать не ложились — ездка за ездкой, день и ночь. Ветры дули в степи, и солнце жгло, а зимою мели бураны, снег двигался сплошной бедой, ничего не было видно — ни жилья, ни дороги.

Однажды Вадим выехал в буран, заблудился в степи, потерял направление, а тут и мотор заглох и встали они с машиной намертво. Ковыряться-ковыряться — не выходит ни черта. Вадим забился в угол кабины, накутал на себя все тряпье, которое было в машине. Мороз наступал неумолимо, ему стало страшно. Вспомнились рассказы про водителей, которые в степи замерзали. Один, говорят, подлез под машину, подпер ее домкратом, да неудачно: машина рухнула, придавила ему руку. Бился-бился, кричал-кричал — так и замерз. Утром нашли его — весь оледенелый, а рука до самой кости изгрызена — пытался спастись, отъев себе руку, а кости не одолел... Вадим всегда хвастал, что жизнь ему вовсе не дорога, а тут струсил, проклинал судьбу и ревел со слезами.

Утром его нашли товарищи, отвезли в больничку. Оказалось, что отморожены пальцы на ногах, ничего больше. Однако пришлось полежать. Врач жаловался, что пациент ленивый, выздоравливать не хочет.

Пока Вадим лежал в больничке, влюбилась в него медсестра Женя — невзрачная женщина лет тридцати. Глаза светлые-светлые, волосы венчиком, фигуры никакой. Уход ему был от нее по первому классу точности: мытье-бритье с одеколоном, шоколад, витамины. Вадим любить себя и обхаживать снисходительно позволял, думал: много их таких еще будет. Берег он себя мысленно для чего-то другого, а для чего — и сам не знал. Для чего-то высшего. От нечего делать читал книги, тоже Женя ему приносила. Читал невнимательно, заранее решив, что все там вранье, разве что про шпионов ему нравилось — там и не требуется, чтобы правда. Один раз как-то попалась ему книжка без начала, без конца — то и другое оторвано, ни автора, ни названия. Вот эта книжка ему понравилась. Какой-то вор, каторжник, пришел обокрасть епископа, а тот ему подсвечники подарил и так далее... Очень Вадим этой книжкой увлекся, зубами скрипел, когда дошел до последней страницы, а конца-то и нет.

Навещали его товарищи, ребята из автохозяйства, похлопывали по плечу, чему-то своему радовались, гоготали, говорили про запчасты, про заработки — это все было ему скучно. Считал себя выше таких мелких интересов. Лежал и слушал их разговоры с таким выражением на лице, как у лорда Байрона. Как на грех, ребята этого выражения не замечали. «Ну, бывай здоров, поскорей выписывайся, у нас там сплошная запарка». Пришел однажды его навестить Клавочка Савельев, изменившийся и чистый: челка подстрижена, бороды нет, свитер с оленями. Не паясничал, смущенно сказал: «А я, брат, женился». Вадим усмехнулся, на ком — не спрашивал, ясно, на ком тот мог жениться. Спросил только, где жить собираются, оказалось — у жены. «Ты из общежития-то не выписывайся, — сказал Вадим, — мало ли что. Оставь за собой койку». Клавочка пообещал.

Отлежался Вадим — и опять на работу. В комнате теперь жил он один, Клавочкина койка пока пустовала. Женя приходила раза два в неделю — постирать, починить, постряпать. Оставалась и на ночь, конечно. Утром уходила, цепляясь за него глазами как репейниками, верно, ждала, что скажет: «Распишемся». Ну нет, не на такого напала. А Клавочка ходил женатый, смиренный, тихий — куда что девалось. Работал нормировщиком. Жена его оказалась объемная, хозяйственная, злая. Эх, Клавочка, Клавочка, продешевил ты себя...

А Вадим жил один на один со своей голодной, неустроенной душой, все перебирая в ней, перетряхивая, все стараясь найти, что там неправильно и в чем он ошибся. Главное, скучно ему было с самим собой. Даже разлюбил он свои любимые мысли о том, что все врут... Ну и что? Куда-то тянуло его, а куда — неизвестно. Стал он почему-то обращать внимание на то, что раньше презрительно называл явлениями природы. Когда шел по утрам на работу, смотрел на небо, где гуляли розовые босые тучки, или на круглую большую степь, ровно расчесанную бороздками пахоты, или на грачей, оравших в земляных выемках, и что-то у него ныло в душе, переворачивалось. Всего страннее, что стал он подолгу думать о матери, и эта мысль уже не душила его, как раньше, а трогала. Словно бы он тосковал по ее слезам, по ее смирению, по ее скользющему слову «сынок».

32

После того как уехал Вадим, а Анфиса стала угрюмой и необщительной, у меня как-то ослабело чувство коммунальной семьи. Как ни странно, причиной тому отчасти стал телевизор. Панька Зыкова купила его в кредит, очень гордилась покупкой и из гордости пускала смотреть всех желающих. Теперь квартирные жильцы почти все вечера просиживали перед экраном с одинаково голубыми лицами, впишись глазами в мерцающее, чуть рябое изображение. Даже Капа Гущина, церковница, не могла устоять против соблазна. Анфиса ходила не каждый день (у нее уставали глаза), а я по-старомодному предпочитала коротать вечер с книжкой. «Отстаеете, Ольга Ивановна», — сказала мне однажды Панька (с покупкой телевизора она стала общительнее и даже как будто добрее). Что поделаешь? Я была для телевизора, наверно, слишком стара. Зато чем старше я становилась, тем нежнее и ревнивее любила свою работу. Боялась, что придется когда-нибудь с нею расстаться — упразднят, например, должность или заставят выйти на пенсию.

Какое это чудо — работа с детьми! Дети окружали меня, как живая, текучая вода. Они все время менялись — уходили одни, приходили другие, и в этом тоже была своя грустная прелесть... Страшно подумать, что было бы, если бы в свое время я попала, скажем, делопроизводителем в какую-нибудь канцелярию. Да я бы там умерла...

Шло время, и наши дети, питомцы Дома ребенка, становились сытее, наряднее, красивее, развитее. Я уже научилась находить среди

них одаренных — просто по выражению глаз. Знаю, что учительнице не положено различать детей, заводить среди них любимцев. Что поделаешь, у меня были любимцы... Особенно любила я двух девочек: черненькую и беленькую, Аню Ложкину и Маню Веткину. Аня — пряменькая, высоконькая для своих лет, с личиком фарфоровой смуглоты, с такими черными глазами, что в них даже просвечивал оттенок голубизны. «У Ани Ложкиной глаза темно-черные», — говорили ребята. Аня была музыкальна, с отличным слухом, но стеснительна до болезненности. Когда я просила ее спеть, она утыкалась лицом мне в живот и туда выпевала мотив верным-верным, тоненьким-тоненьким голосом. Маня Веткина, напротив, была очень бойка, речиста, и голос у нее был низкий — ребячий бас. Крохотное тельце на тонких, паучьих ножках, голова большая, светлокудрявая, огромные серые глаза, плутовская улыбка... Маня могла говорить не умолкая в течение часа, да так умно, резонно, бойко, что все диву давалась. Прочитанную накануне книжку могла повторить почти дословно. Одна беда: не признавала стихов, пересказывала их прозой... Когда мне удалось оторвать Аню Ложкину от своего живота, они с Маней Веткиной пели дуэтом — флейта-пикколо и виолончель...

Все чаще к нам в Дом приходили люди, желавшие усыновить ребенка. Какая-нибудь бездетная пара, а то и одинокая женщина, жаждавшая материнства. Один раз даже приходил одинокий мужчина. Устраивались смотрины, будущие родители выбирали себе сына или дочь. Какая, в сущности, жестокая процедура! По правилам дети не должны были знать, что их осматривают, «выбирают». Но какими-то судьбами они всегда знали. Даже обсуждали заранее: кого выберут? Быть выбранным считалось большой удачей. Ребята знали, что выбирают охотнее красивых, крепких, кудрявых. Маня Веткина была убеждена, что ее выберут: «Кудрявые всем нужны». «А ноги?» — возражали другие. Ноги у Мани и в самом деле были тонковаты...

На смотринах в музыкальном зале дети вели себя скромно, тише воды, ниже травы, но всей повадкой, глазами, руками, спинами умоляли: «Выбери меня, выбери!» И выбирали лучших. И уводили. Так однажды выбрали Маню Веткину. День, когда ее увели, был одним из самых грустных... Хотя за нее я должна была радоваться. Ее удочерила женщина с тонким лицом, с такими же, как у Мани, серыми глазами, недавно потерявшая дочку. Уходя, Маня Веткина уже называла ее мамой...

Однажды я пришла домой с работы и увидела, что у двери стоит Ада Ефимовна с ключом в руках и вид у нее озабоченный.

— Здравствуйте, Ольга Ивановна. Хорошо, что вы пришли. Пытаюсь отпереть — не выходит. Вы знаете, я не в ладах с техникой. Звоню-звоню — никакого результата.

— А там кто-нибудь есть?

— Анфиса Максимовна. Когда я уходила, она была дома. Попробуйте своим ключом.

Я попробовала — дверь оказалась запертой на цепочку. Позвонила раз, другой, третий — никто не шел.

Ада была бледна, я тоже встревожилась.

— Что-то случилось, — сказала она. — У меня такое предчувствие.

— Спит? — предположила я.

— Нет, так не спят, она особенно, у нее сон плохой, все жалуется.

— Позовем дворника?

Дворника на месте не оказалось, один топор. Мы стояли во дворе. Дом ремонтировался, весь в лесах. Окно в комнату Громовых было распахнуто.

— Я влезу в окно и изнутри вам открою, — сказала Ада.

— Как же вы влезете? Третий этаж...

— А я по лесам, по лесам...

Живо, как обезьянка, Ада стала карабкаться вверх. Ее юбочка развеялась колоколом. Снизу мальчишки кричали: «Глядите, бабка лезет!» Все это было как в дурном сне. Добравшись до третьего этажа, Ада помахала мне ручкой и скрылась в оконном проеме. Я поднялась по лестнице — лифт опять не ходил. Я позвонила — никто не отзывался. Вдруг шум какой-то в коридоре. Бежала Ада, кричала Ада:

— Ужас какой! Она умерла, умерла!

— Впустите меня.

Ада, крича, путалась с цепочкой.

— Какой кошмар! А тут еще цепочка...

Наконец она меня впустила. Мы кинулись в Анфисину комнату. Она лежала на полу вниз лицом, ноги были неуклюже вывернуты внутрь носками. Я попыталась ее повернуть вверх лицом — тяжелая, грузная, она была мне не по силам. Мне показалось, она дышит, жива.

— Ада, звоните скорей в неотложную!

— Звоню, звоню.

Ада кричала по телефону:

— Вы понимаете, человек умирает! Оставьте меня с вашими подробностями!

А я все пыталась перевернуть Анфису, как будто от этого зависела ее жизнь. Кое-как мне удалось повернуть ее на бок, но она сразу же опять завалилась ничком. В горле ее что-то булькало: жива.

Приехала неотложная. «Инсульт», — сказал врач. Анфису погрузили на носилки, вынесли, увезли. Я побежала посылать телеграмму Вадиму.

Вся квартира притихла. Вечером ко мне пришла Капа.

— Ольга Ивановна, я у Анфисы-то в комнате прибрала. Я по-христиански. Тоже был человек.

— Не говорите «был», Капитолина Васильевна, она ведь еще жива.

— Жива, а помрет обязательно. Перст божий. Дуло ее как на дрожжах. Спрашиваю: и куда ты толстеешь? Обижается. Вот и вышло по-моему.

Капа была сурова, но потрясена и этим располагала к себе. Я ее угостила чаем. Она не отказывалась, выпила. К чаю ничего не было.

— Тебя, Ольга Ивановна, удар не тронет, ты сладкого не любишь, вот и худая. Меня вполне может тронуть через мою полноту. Для глаза-то оно хорошо, а для удара плохо.

После чая она сказала:

— Ольга Ивановна, позволь у тебя посидеть вечером. Моя комната рядом с Анфисиной, боюсь чего-то. Смерти своей боюсь.

— Пожалуйста, сидите, я очень рада.

Капа просидела у меня вечер и говорила, говорила... Жалела Анфису, упрекала себя:

— Грех на моей душе. В соблазн я ее вводила, покойницу. Мне бы помолчать, а я спорить. Будто дьявол меня за язык дергает.

Она упорно называла больную покойницей, и я перестала уже возражать. Там, где-то вдалеке, Анфиса лежала без чувств, без речи, недоступная для нашего понимания. Тьма, отделявшая ее от нас, была так густа, что мало чем отличалась от смерти...

За этот вечер Капа рассказала мне всю свою жизнь. Родилась она в селе близ Сергиевского Посада, по-теперешнему Загорск. С малых лет любила в церковь ходить. У Троице-Сергия больно хороши соборы, один другого лучше, один другого краше, как в раю. Маковки голубые, звездочки золотые, а уж внутри... Долго описывала она церковную службу, старалась пробиться сквозь косную свою речь, чтобы я все это увидела: и огоньки свечей желтенькие, и дым от кадила си-

ний, легучий, и пение ангельское. Досадовала сама на себя, что не так у нее получается, вздыхала и все повторяла с молитвенным вздохом:

— Умиление, райский крин.

Потом стала про себя рассказывать, про свою жизнь:

— Шла замуж не по воле. Выдали меня рано, за старика. Вредный был, колючий, из ушей волосы. Требовал, чтобы любила, а я молодая была, не знала, как это любят. Родился, однако, у меня мальчик, хорошенький-расхорошенький, вылитый херувим, ну как на иконах рисуют. Я на него радуюсь, я на него люблюсь, просто молюсь, а грех на человеческое молиться. Вот и наказал меня бог. Третий год было Коленке, и помер. Скарлатина задушила. Я его таскаю, я его таскаю. Умоляю, чтобы жил. А он глазки раскрыл, обхватил меня за шею, прижался, рыднул один раз и кончился.

Капа помолчала, откашлялась и продолжала другим голосом:

— Ну вот. Детей больше у меня не было. Муж-то помер вскоре после Коленки. Схоронила старого, а меня уже за другого сватают. Хоть и не старик, а больно нехорош. Собой ничего, крупный, как говорится, об дорогу не убьешь, но косоротый. Щека у него порублена сабельным ударом и все будто бы оскалится. Это уже после гражданской было. Началась у всех новая жизнь, а для меня все старая. Деревня наша бедная-разбедная. У отца с матерью ребятишек копна, рот на рте, пить-есть каждый просит. Куда одеваешься? Вышла за косоротого. Потом обтерпелась, оказался мужик ничего, не первый сорт, но все же. Привыкла. Не пьет, не курит, по бабам не ходит — мужик как мужик, бывает хуже. Убили его в коллективизацию, он колхозы насаждал, а в него из-за темного угла кулачье пулынуло. Пылыла я тогда, ничего не скажешь. Выть-то я хорошо умею, на все село первая артистка. Потом мне тетка Анисья: «Капа, хочешь, грит, в Москву?» А я тогда ничего не понимала, дура дурой. Трамвая в лицо не видела. Грю: «Хочу». Отвезла она меня в Москву и устроила прислугой, по-нынешнему — домработницей. А прислугой известно как — ни чести, ни позору. Все ничего, живу, только полюбила одного страшной любовью. А он был женатый. Грех любить женатого, а я любила, несмотря что грех. Такая это была любовь, что если в книжке ее описать, никто не поверит. Люблю, а живу в прислугах. Думаю, стыдиться будет он меня, и ушла на фабрику. Дали мне общежитие. Подружки меня жалеют за мою сильную любовь, занавеской отгородили и не возражают, когда женатый ходит ко мне ночевать. Несколько лет я в грехе прожила, как свинья в навозе. Только приходит раз в общежитие этого, женатого, жена — и мне в волоса. Подрались мы с ней до скандала, до коменданта. Из общежития выперли. Куда деваться? Опять в прислуги. Девочку нянчила, сильно ее любила, а женатый с того времени отстал. Выростила девочку, в школу ей идти, и грят мне хозяева: «Прости-прощай, больше ты нам не нужна». Это как же? Растила-растила — и не нужна? Вот когда поревесть-то пришлось. Вся отсырела... Однако устроилась в ночные сторожа. Комнату дали, эту самую, где теперь живу. Сторожем хорошая работа, много времени для души остается. Сторожи себе, только не спи. Сижу, тулуп глубокий, теплый, и звездочки на небе считаю. Стала я по ночам-то о боге думать, по ночам сподручнее думать, чем днем. Наверно, думаю, за грехи мои бог от меня отступился. Ан врешь, горят-мигают звездочки, — бог, он ласковый, всему отец. Пришла я к батюшке посоветоваться. Он грит: «Бог все прощает, любые грехи, только молись». Стала молиться, церковь посещать. Теперь, как на пенсии живу, ни одной службы, можно сказать, не пропускаю. Слава богу, дала мне советская власть пенсию. Я советской власти против ничего не имею, заботится о простом человеке. Только думаю: зачем они церкви позакрывали? В селе у нас был храм, теперь склад. Большая радость от церкви человеку, красота большая... Я об Анфисе-то молиться буду,

много я с ней нагрешила. Господь все прощает, только молись. Я за Анфису-то свечку поставлю в пятьдесят копеек, не пожалею.

Капа замолчала, снова откашлялась и спросила:

— А что, Ольга Ивановна, если я у тебя ночевать останусь? Крепко я себя разбередила, страшно одной ночевать, покойники придут.

— Пожалуйста, Капитолина Васильевна. Ложитесь на кровати, я на полу лягу.

— Нешто я допущу, чтобы хозяйка — да на полу? У меня раскладушка есть, слава богу, не нищая.

Капа принесла раскладушку, мы постелили, легли. Комната моя узенькая, раскладушку пришлось поставить почти вплотную к кровати. Капа долго ворочалась со скрипом и звоном, потом сказала:

— Жизнь — это срам.

Я не отвечала.

— Ольга Ивановна, ты спишь?

— Нет, не сплю.

— А по-твоему, бога нет?

— Думаю, нет.

— А как же спадчая?

— Какая спадчая?

— А лампа. Слушай, что со мной было. Хотела я свечку Николаю Угоднику поставить, большую, за рубль. И вдруг обуяла меня жадность, выбрала другую, за пятьдесят копеек. Поставила, думаю: «Угоднику все равно, а я женщина бедная». И что же ты думаешь? В тот же день вечером сижу вяжу чулок, а лампа над моей головой как взорвется да как упадет, и осколок от абажура прямо так на меня и спал. Бог-то видит, что пожалела я денег на свечку, вот меня и наказал. А абажур-то, он не рубль — он целых два пятьдесят стоит. А ты говоришь: бога нет.

— Спице, Капитолина Васильевна, ничего я не говорю. Спице спокойно.

Она еще поворочалась и затихла, заснула. А я не спала до утра.

33

Вадим приехал через несколько дней черным-черный, с каким-то усохшим лицом — и сразу в больницу. Анфиса его не узнала. Лежала она в палате на десять человек. Голова обритая, взгляд бессмысленный. Кругом стонали, хрипели, жаловались другие больные. Анфиса лежала молча, с глазами, затаянными тусклотой.

Вадим целые дни проводил в больнице, всех врачей поднял на ноги. Врачи отвечали: что мы можем? Тяжелый инсульт, вся правая сторона парализована, речевые центры тоже.

— Она поправится? Будет ходить? — спрашивал Вадим у врачей как у нерадивых слуг.

Ему отвечали неопределенно, скорей отрицательно:

— Пока неизвестно. Поражения глубокие, но, может быть, постепенно некоторые функции восстановятся. Организм в основе своей здоровый... Сердце работает неплохо.

Скоро в больнице привыкли к его присутствию. Он приезжал каждый день, ставил цветы к изголовью Анфисы Максимовны и садился рядом на шаткий стул. Сидел он так часами, стиснув на коленях большие смуглые руки. На запястье левой шли часы, стрелки двигались быстро, он не замечал, как проходило время. Он смотрел в лицо, искаженное болезнью. Один глаз был открыт, но бессмыслен, другой прищурен и словно подмигивал.

— Мама, — окликал он ее время от времени, — мама, ты меня слышишь?

Мать глядела на него насмешливо, словно говоря: «Ага! Добился своего?»

Когда приносили еду, Вадим брался за ложечку и пытался кормить больную. Неизвестно, глотала она или нет; иногда в горле у нее булькало и что-то вроде глотательной судороги проходило по шее. Жидкость выливалась из бесчувственных губ, пачкала наволочку. Вадим приподнимал тяжелую щетинистую голову, подсовывал под нее полотенце, снова подносил ложку к свинцовым губам.

В уход за матерью он ринулся очертя голову — ожесточенно и самозабвенно. Он не только кормил и мыл ее, он выполнял и другие процедуры, от которых мужчины обычно уклоняются, оставляя женщинам все нечистое, отвратительное. Вадим ни от чего не уклонялся, все делал с непроницаемым, гневным, темным лицом.

Когда Анфисе Максимовне стало хуже, он добился разрешения оставаться в палате на ночь. Женщины поздоровее роптали: «Зачем в палате мужчина?» Парализованным было все равно. Вадим сидел истукан истуканом, послушно отворачивался, когда предлагали ему отвернуться, но как-то удивлялся тому, что это важно. Труднее всего ему было, когда он ловил чей-то шепот: «Вот это сын! Всякой бы матери такого сына!» Тогда он стонал себе в нос. С врачами был строптив и требователен, раздражал их ироническими замечаниями, не скрывая, что считает их лодырями, неучами, даром жрущими свой хлеб. Врачи отвечали ему дружной неприязнью.

— Поймите, мы не боги,— сказал ему молодой ординатор с розовым благополучным лицом.— Мы делаем все возможное, уверяю вас, но случай практически инкурабельный. Прибавьте возраст, тучность... Каждая жизнь имеет предел.

Вадим чуть его не прибил. Он боролся за мать, он знать не хотел ни о каких пределах. Он хотел, чтобы она жила, чтобы еще хоть раз сказала ему «сын».

Проводя в больнице дни и ночи, он урывками ел в соседней забегаловке, а спал тут же в палате на скрипучем стуле, ронял голову и просыпался. Глаза у него провалились, нос обвелся резкой чертой, даже горбина какая-то прорезалась хищно, что-то страшноватое появилось во взгляде.

Других посетителей он к матери не допускал: «Нечего вам тут делать». Так он выставил Капу, явившуюся было с бутылочкой святой воды, и Аду Ефимовну, которая пришла с коробкой шоколадных конфет. Коробку он с презрением отверг: «Эх вы...» Исключение делал для Ольги Ивановны, которую иногда допускал постоять на пороге палаты, говорил: «Насмотрелись? Довольны?»— и тоже гнал.

Однажды я решила объяснить с Вадимом. Я подкараулила его в коридоре. Он нес судно, и лицо у него было такое гневное, взрослое, незнакомое, что я невольно обратилась к нему на «вы».

— Вадим, постойте, поговорите со мной. Почему вы меня не допускаете к Анфисе Максимовне?

Он прямо заклокотал.

— Потому что вам это не нужно. Вам же на нее наплевать.

— Не буду вам возражать, вы сами знаете, что это неправда. Поймите, нельзя так отгораживаться от людей. Я вас бесконечно уважаю за все, что вы для нее делаете...

— Чихать мне на ваше бесконечное уважение. Если я что и делаю, так не для вашего уважения.

— Дайте мне возможность хоть чем-то вам помочь...

— Зачем это? Почему вы сюда ходите?

— Станный вы человек. Хожу потому, что люблю ее, жалею, хочу помочь.

— Все это ложь.

Я вздрогнула, впервые услышав взрослое «ложь» вместо ребяческого «вранье».

— Я не лгу. Мне жаль ее и жаль вас. У вас такой ужас внутри.

— Все это ложь,— исступленно повторил Вадим.— Вот вы говорите: жалеете ее. А согласны вы, как я, дежурить здесь целые сутки? Все за ней убирать, выносить, как я выношу? Если согласны — ладно, я тоже согласен: оставайтесь тут вместо меня.

Он захохотал; нянечка, подтиравшая пол, поглядела на него с ужасом.

— Я этого не могу. У меня работа.

— Вот-вот! Работа! Значит, все лжете насчет любви и жалости. Если человек любит, жалеет, ему на все наплевать: на работу, на дом, на родных, знакомых. Ведь вы свою работу для нее не бросите? Нет. Значит, и говорить не о чем.

Повернулся, ушел в палату.

35

Ночью он опять дремал на стуле возле койки Анфисы Максимовны. Мать лежала перед ним как гора. Эта гора мучительно дышала. Появляясь отец, Федор, брал его на руки, ласкал, подбрасывал. На руках отца светились рыжие волоски. Вадим пламенно любил эти волоски, эти руки. Между матерью и отцом что-то стояло, а он это что-то разрывал, разрушал. Раздавался треск, что-то рушилось, он почти падал со стула, опоминался, опять слушал дыхание матери — хрипкое, переламывающееся на каждом вдохе. И опять: руки отца, руки отца...

Месяца через два Анфисе Максимовне стало лучше. Она открыла оба глаза, пропал иронический прищур. Стала глотать, есть. Вадим был счастлив. Он поднимал ее, сажал, обкладывая подушками. Она была бледна, худая, на себя не похожа с этой остриженной головой, зарастающей седой короткой щетинкой, но глаза были уже осмысленные, смоченные разумной слезой. Одна рука все еще была неподвижна, но другая — худая, исколотая — поднималась к голове, хотела поправить волосы, их не было, и глаза недоумевали. Она пыталась даже говорить, но речи не получалось. На губах лопались какие-то заикающиеся, размытые звуки: ти-ти-ти или кара-кара-кара... Она явно хотела ему что-то сказать, Вадим из себя выходил, чтобы понять, приближал ухо к ее губам, упрощал: «Мама, говори же, говори» — но получалось все то же: кара-ти-ти-кара или наоборот — ти-ти-кара-кара-кара, и без конца...

Когда врачам стало ясно, что состояние больной стабилизировалось и ждать больше нечего, ее решили выписать. Главврач сам говорил с Вадимом.

— Конечно, вы человек молодой, мы понимаем, что вам тяжело взять на себя такую обузу. Но поймите и нас, мы не можем держать у себя хроников. У нас каждое место на счету, сами видите — лежат в коридорах. Вы где работаете?

— Сейчас нигде. Работал на целине.

— Вы можете хлопотать, чтобы ее взяли в дом хроников. Вам как целиннику пойдут навстречу. Возьмите необходимые справки...

— Нет уж, спасибо. Милостей мне не надо. Я свою мать как-нибудь сам прокормлю.

— Как хотите,— сказал главный врач. Этот молодой человек вызывал в нем какое-то враждебное уважение.— Во вторник мы ее выписываем.

Во вторник Вадим привез Анфису Максимовну домой. Она радовалась, как ребенок, лепетала свое «кара-ти-ти-кара», а Вадим глядел

на нее мрачно и ласково, подтыкал одеяло, подносил ей к уху будильник, говорил «тик-так».

Возвращение Анфисы Максимовны обсуждалось квартирой на все лады. Снова в кухне кипели горячие пересуды.

— Он человек молодой, — сказала Капа, — жениться захочет, а куда жену привести? В комнате тело лежачее.

— Как можно так рассуждать? — чирикала Ада Ефимовна. — А если бы такое с вами случилось, что бы вы сказали?

— То бы и сказала: бог ушиб — и лежи. Чем чужой-то век заедать, лучше помру по-хорошему. Смерть одна — что в больнице, что дома.

Панька, обычно в таких случаях молчавшая, неожиданно произнесла свое мнение:

— Всем помирать. Мне помирать. Тебе помирать.

Неясно, что это значило, но, кажется, она была согласна с Капой.

— Зачем вы ее-то обвиняете? — сказала Ольга Ивановна. — Она больной человек, ее привезли, и все.

— Больной-то больной, а все ж понимать надо, — сказала Панька.

36

Я купила кое-каких гостинцев — яблоки, шоколад, печенье — и постучалась к Грозовым.

— Войдите, — сказал Вадим.

Анфиса Максимовна лежала в широкой, нарядно убранной постели. Казалось, женские руки готовили эту постель. Строченый пододеяльник, пышные, высоко взбитые подушки, нарядное, атласное одеяло. На подушках — бледное, худое лицо, до странности измененное ежиком седых волос. Анфиса, всегда такая женственная, в этом виде была похожа на старика. В глубине лица словно плавали ставшие огромными серые глаза. Она меня узнала, оживилась, заговорила горячо и быстро:

— Кара-ти-ти-кара! Ти-ти-кара-кара-кара. Кара-ти-ти-кара!

В этом потоке звуков были какая-то безумная выразительность, беглость, ритм.

— Содержательная речь, — сказал Вадим. Он сидел у стола полуспиной к нам.

Анфиса Максимовна взглянула на него с негодованием («Боже мой, она все понимает!» — подумала я) и опять заговорила теми же звуками, но в другом порядке, в другом тоне:

— Кара-кара-кара-ти-ти-кара! Ти-ти-кара-кара-кара-кара!

Казалось, она говорит вполне осмысленно, но на чужом языке... Я положила гостинцы на стул у кровати (он был щегольски застлан белой салфеткой). Она закивала мне и опять заговорила по-своему. На этот раз все было понятно: она благодарила меня...

— Ну, довольно, — сказал Вадим и подошел к постели. — Посмотрели, и хватит. Нам пора спать. Правда, мама?

Он погладил ее по седой щетинистой голове. Она умоляюще, нежно и косо взглянула на него снизу вверх. Я ушла.

37

Шли дни, недели, месяцы. Состояние Анфисы Максимовны было все то же. Вадим по-прежнему за ней ухаживал. Его изводило, сбивало с ног обилие стирки. Только что все переменит, вымоет, положит чистое — опять двадцать пять.

Целыми днями он стирал и кипятил простыни. На кухне постоянно можно было видеть его мрачную фигуру, согнутую над корытом. Всякую помощь он отвергал.

— Дай постираю, мне дело привычное, — предлагала Капа.

— Не надо,— отвечал Вадим.

Белье он развешивал тут же на кухне, для чего протянул над плитой ряд рыболовных лесок, и даже грозная Панька не смела ему ничего сказать. Стряпал он тоже сам, неумело и гордо, не терпел, чтобы ему советовали. Сварив обед, шел кормить с ложечки Анфису Максимовну. Он кормил ее, как сердитая нянька опостылевшего ей ребенка:

— Ам-ам, открой рот. Открой, тебе говорят. Ам-ам, не отлынивай.

Потом кое-как обедал сам, ед остывшее, невкусное, без интереса. Мыл посуду и снова стирал.

Он втянулся в такую жизнь, он уже забыл, что бывает другая. Деньги у него пока были, заработанные на целине, а на будущее он не загадывал. Как говорил Клавочка: либо шах...

Иногда он сердился на мать, ссорился с ней — это когда ему казалось, что она косноязычит нарочно. Учил ее разговаривать:

— Ну, мать, полно лодырничать, давай заниматься. Открой рот, говори «а». Понимаешь? «А-а».

— Кара-ти-ти-кара,— отвечала Анфиса Максимовна.

— Брось ты свою титикару,— сердился Вадим.— Говори «а».

Она очень старалась, мычала, трясла головой, но ничего не выходило.

— Глупая! Я же для тебя стараюсь. Вот научишься говорить — все сможешь сказать, все попросить. Захочешь чаю — попросишь чаю. Другого захочешь — тоже. А сейчас ты как зверь бессловесный. Будешь учиться, а?

Нет, ничего не получалось. Вадим ходил даже на консультацию к логопеду, но тот ничего путного не посоветовал, говорил о торможении, о нервных центрах, о лечении заик гипнозом, спросил, сколько пациентке лет, а когда узнал — умолк и перестал советовать.

Вадим решил учить мать уже не разговору, а грамоте. Купил разрезную азбуку.

— Смотри, вот буква «а». А вот «м». Вот я сложил «мама». Понимаешь? «Мама» — это ты.

Он тыкал ей в грудь пальцем. Она тараторила, кивала и тоже тыкала в грудь пальцем здоровой руки.

— Молодец! Все поняла. Теперь сама сложи — «мама».

Он брал ее руку в свою, направлял холодные, вялые пальцы, складывал их шепотью...

— Ну, ну!

Ничего не выходило. И чем больше старался Вадим, тем хуже. Анфиса Максимовна кивала, соглашалась, все понимала, но слова из букв у нее не складывались. Он сердился, а она плакала. Лицо у нее при этом не морщилось, не менялось, только глаза становились страдальческими и из них текли большие прозрачные слезы. Этот беззвучный плач всегда потрясал Вадима.

— Ну вот, опять ты меня берешь за горло! Ну зачем ты меня терзаешь? Я же для тебя стараюсь, пеня ты несчастный! Ну хочешь, я сам с тобой заплачу? Смотри, до чего ты меня доводишь!

И он плакал сам лающим плачем, давясь и захлебываясь.

Когда стало ясно, что с чтением не получится, Вадим забросил буквы, но не отступил. Ему надо было, необходимо пробить стену, отделявшую его от матери, вступить с нею в общение. Для чего ему это надо было, он сам не знал, но очень, смертельно надо. Он взялся за цветные карандаши. Рисовал ей, как ребенку.

— Вот это солнце. Оно красное. А вот это лист. Он зеленый. Поняла? Теперь возьми красный карандаш. Не зеленый, а красный. Красного цвета не знаешь! Говорят тебе русским языком: красный! Вот хорошо. Молодец.

Похвала Вадима была для матери счастьем. Она расцветала.

Он возился с нею терпеливо, как дрессировщик, и за три месяца

научил ее различать и брать в руку красный карандаш, зеленый, синий...

А потом у Вадима кончились деньги. Надо было поступать на работу. Шофером он идти не захотел, хоть и хорошо оплачивается. Жизнь шоферская — в разъездах, а ему надо было поближе к дому. По протекции дворника он устроился в будке на ближайшем углу чистить ботинки и продавать шнурки.

Будка была стеклянная, Вадим сидел в ней как экспонат. Через каждые два-три часа он запирали ее и шел домой; там он кормил мать, менял ей простыни и снова шел на угол. Работа ему была ненавистна. Отпуская покупателям шнурки, он щурился, гримасничал, нарочно старался выбрать пару похуже, помахристее; просили у него черные — подавал коричневые словно по ошибке. Ботинки чистил, впрочем, на совесть, щеголяя скольльзящими движениями потертой бархотки. Чаевые отвергал с негодованием, один раз бросил гривенником в клиента, тот обиделся, привел милиционера. Милиционер выслушал обе стороны и решил в пользу Вадима:

— Это не он, это вы, гражданин, советского человека гривенником оскорбили. Дали бы в крайности пятьдесят копеек...

А потом на Вадима подали заявление. Какие-то пенсионеры жаловались, что его часто нет на месте: хочешь почистить обувь — и не можешь. Пришлось работать строго по часам, бегать домой только в обеденный перерыв. Ни в какие объяснения по этому поводу он не вступал.

Один раз чистил Вадим чьи-то ботинки, солидные, черные, с рантом, случайно поднял глаза и увидел, что перед ним сидит, поставив ногу на скамеечку, не кто иной, как его бывший декан Сергей Петрович Наволочкин. Вадим чуть не умер от унижения. Сергей Петрович его, как ни странно, помнил.

— А, Громов! Вот как пришлось встретиться.

Вадим молчал, усердно полируя ботинок.

— Ну что же, дело хорошее. Вы, помнится, математику не любили. Нашли себе дело без математики, а?

Крупные брови декана по-прежнему воинственно загибались к самым глазам. Снизу, в ракурсе, лицо казалось злорадным.

— Зачем издеваетесь? — сказал Вадим.

— Что вы, я и не думал издеваться. Как здоровье вашей матушки?

— Она больна, — коротко ответил Вадим.

— Надеюсь, ничего опасного?

Вадим мотнул головой.

— Ну, кланяйтесь матушке, кланяйтесь. Скажите ей, что Люся, ее воспитанница, уже в школу ходит, во второй класс.

Вадим уже кончил с ботинками. Сергей Петрович встал, уплатил ему за работу копейка в копейку, поправил кашне, прикоснулся к шляпе.

— Ну-с, будьте здоровы. Если новая работа вам не по душе и надумаете опять в институт — заходите, поговорим. Только на этот раз без дураков. А?

Вадим кивнул. Институт, ученье — все это было как на другой планете.

Днем он работал, а вечером и ночью стирал. Анфиса Максимовна лежала все в том же состоянии, говорила «кара-ти-ти-кара» на разные лады, но голос ее звучал тише и оживления было меньше.

Однажды, придя домой, он застал ее на полу, почти у самой двери, в обнимку со стулом. Видно, она пыталась встать, выйти, куда-то выбраться, хватаясь за стул, но не справилась, упала. После этого он стал, уходя из дому, привязывать ее к кровати и запирает на ключ.

Я стирала на кухне и услышала какие-то звуки из комнаты Громовых. Кто-то стонал, плакал, почти выл. Я стукнула в дверь.

— Анфиса Максимовна, это я. Можно к вам?

Звуки усилились. Я толкнула дверь — заперта. Я поискала ключ везде, где обычно кладут ключи, — нет. Звуки становились глуше, хриплее, потом затихли. Жива ли?

Я кинулась к дворнику, умоляя взломать дверь.

— Понимаете, там больная, заперта одна, может быть, умерла...

— Не имею права взламывать частное помещение. Не позволено по конституции.

— Оставьте конституцию, там же больная, ее надо спасать.

— А сын где? На работе? Так это же близко. Сбегайте за сыном.

Я побежала к Вадимову киоску. Его там не оказалось. «На базу поехал», — сказал милиционер. А Анфиса, возможно, умирала...

Я притащилась обратно к дворнику:

— Сына нет. Если вы сейчас же не взломаете дверь, вы ответите по статье сто сорок шестой.

Что это за статья, я и понятия не имела. Но помогло. Он пошел ломать дверь, досадуя, что его оторвали от занятий.

Дверь распахнулась с треском. Анфиса Максимовна лежала без сознания, свесив голову. Я не сразу поняла, что она привязана.

— Зверь, — сказала Капа, вся любоблытство. — Привязал мать, как козу на выпасе.

Анфиса была жива, но в глубоком обмороке. Глаз тускло светился сквозь маленькую щель. Врач сделал укол, привел ее в чувство. Она хрипло дышала и смотрела бессмысленно. Что с нею было? Чего она испугалась? С ужасом она смотрела в окно. Там было что-то, там... Я сидела у ее кровати. Время шло, за окнами становилось темнее, она заснула.

Вечером пришел Вадим. Увидев, что дверь взломана, а я сижу у кровати, он пришел в ярость. Он надвинулся на меня с опущенной головой, с низкими, тяжелыми кулаками:

— Кто дал вам право? Я этого так не оставлю! Вы за это ответите!

Я не испугалась. Я вообще не боюсь стихийных бедствий: грозы, бомбежки, разгневанных мужчин.

— Это вы не имеете права запираить ее, привязывать, как животное. И почему? Только потому, что не хотите ни от кого принять помощи.

— Молчите! — крикнул Вадим. — Много вы понимаете, мерзкая женщина!

Я спокойно прошла к себе в комнату. Тяжелые шаги приблизились к моей двери. Вадим приоткрыл ее и крикнул:

— Вам запрещаю туда ходить! Слышите, вы?

— А вы дурак, — сказала я.

Тоже, умна...

С этого дня Вадим перестал со мной здороваться. Взломанную дверь починили, поставили новый замок. Уходя, Вадим по-прежнему запирает дверь, но Капа подсмотрела, куда он прячет ключ. Иногда в его отсутствие я по-воровски проникала в комнату. Анфиса Максимовна лежала непривязанная, тихая, старая, отросшие волосы плоско липли к подушке. Время от времени она начинала бормотать «карати-ти-кара», но без прежнего оживления. К гостинцам была равнодушна. В глазах у нее был страх, она с ужасом глядела в окно, протягивала туда руку, как будто оттуда, именно из-за окна, ожидала неминуемой беды. Посидев, я уходила на цыпочках. Она провожала меня глазами. Я опять запирала дверь.

Самое худшее, что Вадим несколько раз приходил пьяный. Из-за двери слышны были дикие звуки, Вадим двигал мебель, хохотал.

Иногда он плакал лающим, собачьим голосом. Один раз он привел с собой женщину...

Может ли быть предел человеческим мучениям? Я понимала, что Анфиса Максимовна умирает, но уже не желала ей жизни, думала: хоть бы скорей. Все мы так думаем, когда умирает тяжелый больной, измучивший себя и других. Мы оправдываем себя тем, что желаем конца мучений ему. Это ложь, на самом деле мы желаем конца мучений себе...

И вот в одно утро Вадим пришел на кухню и сказал, ни на кого не глядя:

— Мать умерла.

Дверь стояла незапертая, пришли все. Анфиса Максимовна лежала плоско и тяжело, не отдохновенно, а словно трудясь на своем смертном ложе. Лицо ее было зеленоватым и строгим, осуждающим.

— Слава богу, отмучилась,—сказала Капа.—Упокой, господи, душу новопреставленной рабы...

— Все там будем,— буркнула Панька.

Ада плакала куриным, квохчущим голосом.

Капа вымыла, прибрала покойницу. Мы положили тело на стол.

— Кожа да кости, а тяжела,—говорила Капа.— Покойник, он всегда тяжелый. Живого душа держит.

Насчет смерти и похорон Капа все знала:

— Слава богу, не первого хороню! Я и обмою, я и обвою, я и в гроб уложу. Зеркала завесить, а не то душа в них смотреться будет, ей, душе, тяжело, страшно увидеть себя в зеркале. Покров ни в коем разе не подшивать, не то пришьешь вечную жизнь.

На лоб покойнице Капа положила бумажную полоску с молитвой — все же крещеный человек, хоть и неверующий. Пришел Вадим, сказал: «Это — убрать».

Хоронить он решил в крематории. Капа возражала, говорила о страшном суде. Ангел трубит, все по трубе встают, каждый в свое тело вселяется, а у кого сожгли — нет тела, куда хочешь вселяйся... Он не слушал. А вообще в эти дни до похорон он был почти кроток, вежлив со всеми, задумчив. Мне принес стул. Часто встряхивал головой, как бы сгоняя мысли.

39

Хоронили Анфису Максимовну накануне Октябрьских праздников. На работе в этот день было сложно, готовились к завтрашнему утреннику, спешно дошивали костюмы, гладили, гаддели. Мой первый солист Васючок Шишкин внезапно потерял голос, сипел и кашлял, пришлось вместо него срочно вводить другого, а он не хотел, плакал. Назавтра, кажется, ожидалась комиссия. Заведующая нервничала, по десять раз заставляла повторять кантату, и, как всегда в спешке, ничего не получалось. Рояль звучал отвратительно, одна клавиша западала, настройщик уже включился во встречу праздника и был невменяем. Одним словом, бред.

Кремация была назначена на семь часов. Я решила ехать в крематорий прямо с работы, не заходя домой, но репетиция не ладилась и я боялась, что не успею. В начале шестого я сказала заведующей, что больше не могу, она с укусным лицом меня отпустила, заметив, что времени еще вагон и нельзя ставить личное выше общественного. Я промолчала. Для меня времени было в обрез, одной езды больше часу, да еще пересадки. Такси в такой день достать было немыслимо... Я вышла на улицу. Подмерзшая земля звенела под ногой, воздух был сух и холоден, наверху катился полный месяц, с налету ныряя в безумные светлые облака и снова выпрыгивая. Яркий месячный свет заливал переулок. Вдруг неподалеку засветился зеленый огонек. Чудо — такси! Я подняла руку, машина подкатила, виляя по мерзлым кодобинам.

- В крематорий,— сказал я, и мы покатили.
- Хороните кого? — спросил шофер.
- Я кивнула. Он пощелкал языком.
- Родственника?
- Нет, подругу.
- Ну, это еще ничего.

Мы ехали через всю Москву, оживленную, праздничную, иллюминированную, с гирляндами цветных лампочек, с ярко освещенными портретами на фасадах домов. На ветру хлопал кумач, город куда-то летел, приосанившись, охваченный веселым волнением. Толпы людей стремились в магазины, из громкоговорителей лилась музыка, кое-где пошатывались успевшие досрочно встретить праздник. Машина мчалась сквозь летящий, хлопочущий, огнями сияющий город. Я старалась не смотреть на счетчик, где угрожающе нащелкивались цифры. Денег могло не хватить. Мы приехали. К счастью, денег хватало, даже с избытком. «Счастливо вам похоронить»,— сказал шофер, принимая чаевые. Я вошла в зал, сопровождаемая его напутствием. Оказалось, я приехала за час до срока. Было шесть.

В зале стоял горький, сырой и странный запах осенних цветов, они были в руках и в гробах — легкоперистые хризантемы и крохотные астры, похожие на судорожно сжатые лиловые кулачки. Я не купила цветов, не успела. Я ничего не успела.

Я оглядывалась кругом с какой-то болезненно обостренной наблюдательностью, видя и фиксируя все происходящее, несмотря на душевную боль, а может быть, именно из-за нее... Ждать было еще долго. За это время успело состояться несколько похорон, все ужасно похоже друг на друга. Приносили, ставили на боковой постамент очередной гроб (во всех почему-то лежали одинаковые желтые старики), люди плакали, тихонько переговаривались. Потом администраторша, нестарая женщина в ярко-зеленой вязаной кофте, с молотком в руке и накрашенными губами, говорила: «Можете переносить». Зажигалась центральная люстра над главным, огороженным постаментом. Мужчины несли гроб к центру, зажимая под мышкой шапки или передавая их женщинам; как-то теснясь и стесняясь, ставили гроб на подмостки, обитые черным бархатом, причем путались, и администраторша покрикивала: «Головой, головой вперед!» К стене прислоняли крышку (два раза она падала), затем все становились у балюстрады, окружавшей гроб, и начиналась музыка. Вступал орган. Одинокий скрипач с равнодушным лицом подыгрывал органу. Разнообразие не было: играли либо «Похоронный марш» Шопена, либо «Элегия» Масне. Женщины плакали, некоторые пытались голосить, но как-то тихо и на редкость прилично. Потом администраторша в зеленой кофте говорила: «Родные, прощайтесь». Новый взрыв плача; люди подходили к гробу вплотную, становились на колени или, склоняясь, тянулись губами ко лбу покойника, раздавались тихие вопли. Администраторша объявляла: «Прощание кончено», гроб заколачивали (несколько очень сухих ударов, традиционно обозначающих конец), снова вступала музыка, и гроб вместе с подставкой опускался под пол; над ним постепенно смыкались створки черного бархата с подрагивающим на них цветочком — остатком чьих-то похорон. Сразу же тушили люстру. Родные, поддерживая под руки какую-нибудь женскую фигуру (вероятно, жену или дочь старика), выходили с центральной площадки и из зала. Не проходило и трех минут, как начинались следующие похороны. Снова «можете переносить», путаница мужчин, установка гроба, музыка, заколачивание, опускание под пол, подрагивание цветочка на бархатных створках. Все это было страшно, но не обычным страхом смерти, а мертвой стандартностью, оптовостью процедуры.. И еще меня поразила одна странная подробность. В публике все время находился один и тот же человек — довольно молодой, черноволо-

сый, скорее красивый. Он подходил к каждому гробу, вмешивался в группу провожающих, пристально глядел в лицо старика, затем нес гроб вместе с другими, становился у балюстрады, а когда начиналась музыка — плакал. Кто он был такой и почему плакал над каждым покойником — ума не приложу. Может быть, сумасшедший, может быть, актер, обучавшийся плакать, а может быть, и человек, похоронивший здесь что-то для себя безмерно дорогое...

Уже дело шло к семи, и сердце у меня ныло нестерпимо, и вот внесли новый гроб, и этот оказался наш, мой. И сразу же казенные стены зала осветились для меня подлинным, собственным горем. Я увидела в гробу лицо Анфисы. До чего изменили ее последние десять — двенадцать часов!.. Голова лежала на подушке с грубыми, вероятно бумажными, кружевцами. Это не я положила ее в гроб, не я причесала. Она была скромно и скупко обложена цветами. Кругом стояла, тоже скромная и скупая, кучка людей — впереди Вадим, твердо расставивший ноги, бледный и очень красивый, за ним все квартирные жильцы — коммунальная наша семья, — все воспитательницы из детского сада, дворник с нашего двора, трагически мявший в руках шапку. Гроб несли Вадим, дворник и шофер похоронной машины. Мужчин было мало, и гроб кренился. Ада Ефимовна подскочила, уцепилась жиденькими пальчиками за гроб. Вадим перекошенным ртом сказал ей: «Не надо». Гроб установили. Опять, уже в который раз, орган заиграл «Элегию» Массне, но на этот раз музыка меня захлестнула. Что-то укусило меня в глаза, и я почувствовала, что из них текут слезы. Ощущение, забытое за много лет, было раздрающе отрадным. С восторгом идя навстречу слезам, я плакала — широко, волюно, обильно, с благодарностью Анфисе за то, что она жила. Орган умолк, я перестала плакать. «Родные, прощайтесь». Родная моя. Я поцеловала Анфису в каменный лоб. Лица Вадима в последний момент я не видела, только его горько ссутуленные плечи. На одно из них я невольно положила руку. Он обернулся с выражением загнанной собаки и прикосновением щеки столкнул мою руку со своего плеча — это было так, будто он ее поцеловал. Опять заиграла музыка, гроб стал погружаться, сомкнулись черные бархатные створки, на которых подрагивал все тот же цветок.

Потушили люстру. Мы стали расходиться. В стороне уже поставили новый гроб.

40

После похорон Вадим вернулся домой. Все было чисто прибрано, кровать вынесена вон, комната казалась большой и гулкой. Жизнь была пуста. «Кара-ти-ти-кара», — сказал Вадим и рассмеялся, но тут же схватился за голову и застонал.

Позже, на поминках, он много и молча пил. За столом хозяйничала Капа. Никто не плакал.

На другой день он проснулся и не сразу понял, что с ним. Солнце бочком, робко освещало стенку, скользя по зеленым обоям, по их квадратам и ромбам. Там, где прежде стояла кровать, квадраты и ромбы были ярче, а кругом выцвели...

Однажды ночью Вадиму приснился сон. Ему приснились сразу все его вины перед матерью. Их было много, так много, что он изнемог и плакал. Он проснулся, и подушка его была мокра.

С этой проплаканной горько-соленой подушки началась для него новая жизнь.

41

По ночам по-прежнему идет снег или дождь и фонарь качается. А вдовый пароход плывет дальше...

ЧАРЛЬЗ СНОУ

★

ЛАКИРОВКА

Роман

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Как-то в июле вечером, примерно в половине девятого, Хамфри Ли шел по тротуару вдоль площади. Вечер для Лондона был очень жаркий, да и не только для Лондона. Жара стояла уже не первую неделю. Пылало лето 1976 года, и весь день температура держалась на двадцати девяти градусах. Не стало прохладнее и теперь. На той стороне площади за деревьями сквера белели озаренные солнцем дома — до заката было еще около часа. Их светлые оштукатуренные фасады сливались в единое целое, нерушимое, как этот зной.

Хамфри Ли шел медленно. Обычно его походка была легкой, но неровной. Он сохранял прежнюю энергию и подвижность, хотя год назад вышел в отставку. В его внешности не было ничего примечательного. Рост выше среднего, но не настолько, чтобы выделяться в толпе. Лицо слегка обрюзглое, две складки тянулись от крыльев носа к углам рта, лоб пересекала глубокая морщина, но они придавали ему не мрачный, а скорее пронизательный или добродушно-насмешливый вид. При первом знакомстве мало кто догадался бы, сколько ему на самом деле лет.

Молодой человек и молодая женщина, шедшие навстречу, окликнули его — они найдут к нему попозже вечером. Хамфри шел медленно не из-за жары. Он надел легкий костюм, и это было достаточной уступкой. Он шел медленно потому, что ему не хотелось идти туда, куда он шел, — из чувства долга навестить очень старую женщину в тяжелый для нее час. Это было бы достаточно скверно, даже если бы он мог сказать хоть что-нибудь утешительное. Но сказать было нечего. Она недавно позвонила ему и сообщила, что чуть ли не весь день провела в больнице. Они сделали все анализы, и приговор, как она выразилась, будет ей известен через неделю или две — точно пока неизвестно.

Она держалась стойчески, но попросила заглянуть к ней на несколько минут, попросила почти умоляющим тоном, которого он у нее никогда прежде не слышал. Она была горда, как только может быть гордой женщина, во всяком случае другой такой гордой женщины он не встречал. И не то чтобы он принадлежал к ее близким друзьям. Пожалуй, он даже не питал к ней симпатии. Она была на двадцать с лишним лет старше его, и, судя по тому, что ему доводилось слышать, любить ее было легче, чем испытывать к ней симпатию. Правда, их связывало родство, хотя и дальнее, и он помнил ее еще с детства. А если знаешь кого-нибудь так долго, то уже относишься к нему с теплотой независимо от того, нравится тебе этот человек или нет.

Сейчас, на пути к ее дому, он так не рассуждал, хотя и мог бы, будь его настроение повеселее. Он просто думал, что тут никакие утешения невозможны. Был вторник, 6 июля 1976 года. Для последующих событий эта дата никакого значения не имела, но вот площадь и окружающие улицы приобрели из-за них определенное, хотя и не вполне понятное для посторонних значение. Площадь, по которой шел Хамфри Ли, называлась Эйластоунской. Она находилась по соседству с Честерской и

Итонской площадями. А вместе они образовывали часть Белгрейвии. В настоящее время ни в одной другой столице не найдется, пожалуй, столь гомогенного жилого района, как Белгрейвия, и ее спокойное достоинство приятно ласкает взгляд, тем более что речь идет о центре гигантской столицы. Белгрейвия никогда не была пригородом, о чем свидетельствуют ее границы — Найтсбридж на севере, Эбери-стрит милях в двух к югу от него. Букингемский дворец расположен у самого восточного ее края, а Слоунская площадь и Челси — в полутора милях западнее. До Вестминстера и Уайтхолла оттуда рукой подать. В пределах этих границ находится около трех тысяч особняков и многоквартирных домов, а обитает в них двенадцать с небольшим тысяч человек.

Застройка района велась в основном между 1820 и 1850 годами и была плодом смелой, но очень расчетливой спекуляции. Землей в этой части Лондона владело семейство Гросвенор, и они подыскали замечательного инженера-строителя по имени Томас Кьюбитт, которого позже весьма одобрял принц-консорт, прекрасно умевший распознавать и ценить таланты. Та Белгрейвия, которую знал Хамфри Ли, во многом была созданием Кьюбитта. Когда Кьюбитт приступил к делу, участок выглядел не слишком обещающим — сырые, топкие луга и столь же сырые огороды («Я не желаю жить на болоте!» — заявила леди Холленд на старости лет, когда ей предложили купить один из новых особняков на Белгрейвской площади). Некоторое представление о том, с чем приходилось работать Кьюбитту, могут дать унылые пустыри вдоль дороги к аэропорту Хитроу. Но, как это было и с Венецией, строительство на болоте дало прекрасные с эстетической точки зрения результаты.

Кьюбитту и его компаньонам улыбнулась удача. Разумеется, их целью была нажива. Строили они главным образом, хотя и не только, для богатых людей. На Белгрейвской площади они возводили особняки для аристократов, на Итонской площади, где земли не хватало, особняки строились вплотную друг к другу, так что у каждого были общие стены с соседними. Князь Меттерних, укрываясь после 1848 года в Англии, жил в таком доме, но уже из тех, которые предназначались для богатой буржуазии и были известны как «дома второго ранга» — по-видимому, презрительно переименованный морской термин XIX века. Несколько улиц состояли из небольших сблокированных домов, которые строились для клерков и состоятельных ремесленников, хотя в 70-х годах XX века их занимают люди гораздо более привилегированные, чем первоначальные обитатели. Старые улицы застраивались магазинами, и Кьюбитт тактично их переименовывал. Элизабет-стрит, сто лет спустя ставшая главным торговым центром половины Белгрейвии, начала свое существование как трущобная Элизабет-стрит, где уличные девки зарабатывали медяки, подцепляя матросов с речных судов. Позади особняков вырастали конюшни и домики для кучеров и грумов. Не стоит думать, что Белгрейвия 70-х годов прошлого века была тише и спокойнее, чем нынешняя. Весь день и добрую часть ночи там гремели колеса экипажей и стучали лошадиные копыта, а над улицами висела тяжелая вонь.

Нет никаких оснований полагать, будто Кьюбитт и ему подобные специально заботились об архитектурном единстве. Белгрейвская площадь выглядела образцом урбанистического изящества, и казалось — как и сто лет спустя, — что она родилась такой в воображении одного архитектора. Ничего подобного. В ее застройке участвовали по меньшей мере четыре архитектора. Но в глазах потомков она осталась особой удачей Кьюбитта. Он и другие строители просто следовали принципу благопристойного уюта без крикливости и претензий. А получилось хорошо и на века. Тысячи домов почти без украшений, почти все сияющие белизной до третьего этажа — и никакого унылого однообразия.

На Эйлстоунской площади, как и во всем районе, различия достигались простейшими средствами. Стиль зданий был задан с самого начала, как и высота (четыре этажа плюс полуподвальный этаж для самых высоких), как и фасад, за исключением угловых домов, как и цвета, определявшиеся неприхотливым выбором — штукатурка по кирпичу или по камню. Более чем просто, но люди могли извлечь из этого неприхотливого выбора все что было в их силах. Они могли сыграть на гармонии повторений. И сыграли.

Направляясь к дому номер семьдесят два, очень похожему на его собственный, расположенный на той же стороне площади, Хамфри Ли не замечал этих крохотных различий от фасада к фасаду. И вполне естественно. Так же не замечал их любой другой житель площади. Все это разумелось само собой. Если бы его не занимали

другие мысли, он мог бы подумать, что площадь — это отгороженный от остального Лондона мирок, уютный, тихий и, конечно, привилегированный. И, пожалуй, признал бы, что рад возможности по-прежнему жить здесь.

Но если архитектурные детали не привлекли его внимания, он, стараясь оттянуть неизбежное, рассеянно заметил кое-что другое. В полуподвалы двух домов по наружным ступенькам спускались похуже на студентов юноши и девушки. Можно было бы без всякого риска побиться об заклад, что полуподвалы сданы отдельно от домов. Когда-то в них были кухни и комнаты слуг. Но теперь в Лондоне трудно найти домашнюю прислугу. Некоторые из обитателей площади были настолько богаты, что могли купить все что хотели. Обычно они приобретали в качестве постоянной прислуги супружескую пару — филиппинцев или испанцев. Сам Хамфри Ли принадлежал к особым счастливым, каких было немного. У него была экономка, когда-то служившая у его матери и нуждавшаяся в крове над головой. А многие вынуждены были довольствоваться приходящей прислугой или вообще не могли никого найти. Даже у леди Эшбрук, старой дамы, к которой шел сейчас Хамфри, была только португальская уборщица, приходившая по утрам пять раз в неделю.

Несмотря на узкий фасад, типичный для домов Белгрейвии, особняк леди Эшбрук был больше, чем могло показаться на первый взгляд; обычные в этом районе десять комнат, не считая полуподвала. Леди Эшбрук было за восемьдесят. Некоторые спрашивали себя, как она умудряется жить там одна. Конечно, говорили сплетники, она могла бы тратить на себя деньги не считая. Сплетники перемывали косточки леди Эшбрук с незапамятных времен. Она принадлежала к немногим избранным (и с возрастом это становилось еще очевиднее), кто только выигрывает от сплетен, приобретая особый ореол. Большинство склонялось к мысли, что она живет так просто, чтобы щедро одарять родственников и благотворительные учреждения.

Но раз прислугу нанять невозможно, не удивительно, что обитатели этих домов сдают полуподвалы, чтобы честно пополнить свой бюджет. Впрочем, не так уж честно. В прямое нарушение контракта. Хамфри Ли был знаком далеко не со всеми своими соседями, но об условиях, на каких они арендовали свои дома, и о том, сколько стоит их собственность, он имел достаточно верное представление. Все они владели этими домами на основе долгосрочной аренды. Сам он, хотя и вырос в соблазнительной близости к деньгам, никогда богат не был. После войны он женился во второй раз, но его жена умерла за два года до событий, развернувшихся в июле 1976 года. Жили они только на его жалованье. Однако если человек вырос в близости к деньгам, как первый сказал бы сам Хамфри, ему что-нибудь да должно перепасть. И что-то ему перепало — в виде наследства. На это наследство и под закладную они купили аренду дома на Эйлстоунской площади сроком на сорок лет. Обошлась она им в 15 тысяч фунтов. Позже Хамфри Ли как-то подумал, что это была единственная удачная финансовая операция в его жизни. Через двадцать лет покупка обошлась бы в пять раз дороже.

Подходя к дому номер семьдесят два, Хамфри ускорил шаг, словно вдруг заторопился поскорее покончить с этим визитом. Он нажал на звонок, где-то в глубине дома раздалось мелодичное позвякивание, и наступило ожидание, показавшееся ему очень долгим. Затем медленные шаги — шаги женщины по каменным плитам. Дверь отворилась. В передней было темно, и он ничего не увидел, но услышал знакомый голос.

— А, Хамфри! — сказала леди Эшбрук. — Очень мило, что вы пришли.

Голос, почти не изменившийся с годами. Одновременно и грудной и полупридушенный. В прошлом так же говорили и другие женщины, принадлежавшие к высшему свету, но теперь подобная манера вышла из моды и ни у кого из молодых он не слышал такого голоса.

Его собственный голос показался ему излишне грубоватым и бодрым, потому что он чувствовал себя неловко.

— Так, значит, Мария (португальская прислуга) уже ушла? Знаете, вам лучше бы не жить одной.

— Но почему? — сказала она.

Хамфри чуть было не повторил то же самое еще раз, но она его перебила:

— Пойдемте вверх.

В этих домах почти все жила так же, как их предшественники, — столовая на первом этаже, гостиная на втором. Хамфри начал подниматься по лестнице следом

за леди Эшбрук, миновал дверь в ванную на промежуточной площадке, поднялся еще на шесть ступенек и прошел по коридору. Леди Эшбрук поднималась медленно и один раз остановилась передохнуть, но ее спина оставалась прямой, как у лейб-гвардейца. Гостиная занимала весь этаж: с одной стороны ее окна выходили на площадку, с другой — на узкую полоску сада. У каждого дома на площадке и почти у всех домов в этом районе имелся садик символический садик. Англия!

Первоначально гостиная разделялась пополам раздвижными дверями. Теперь же она была длиной почти в пятьдесят футов и все-таки казалась тесной. Сейчас мысли Хамфри были заняты другим, но прежде, бывая здесь, он не раз думал, что тут скопились обломки целой жизни. Столики, этажерки, шкафчики, бюро — и старинные, и словно подаренные год назад, и даже скамеечка, чтобы преклонять колени во время молитвы, хотя леди Эшбрук посещала самую евангелическую из всех ближайших англиканских церквей. В бывшем камине, показывая, что она сама занимается мелкими починками, стоял ящик с инструментами, из которых высовывался молоток.

Ее художественный вкус, если он у нее и был, ни в чем не проявлялся. Две бесспорно прекрасные картины, Буден и Вламинк, были повешены неудачно, в слишком близком соседстве со скверными пейзажами. И еще — академический портрет Эшбрука, ее второго мужа, великой любви всей ее жизни, как утверждала сентиментальная молва: после его смерти (он умер внезапно в своем уайтхоллском кабинете — самая подобающая кончина для министра, говорили люди более сардонического склада) она так и не оправилась. Ни одного портрета ее первого мужа, который был маркизом и гораздо большим аристократом. И ее собственный портрет, написанный Сарджентом, когда ей было лет двадцать, то есть в годы ее первого замужества, — романтическое, льстящее оригиналу изображение молодой женщины, волевой, элегантно-красивой, уверенной в своем счастье.

Шестьдесят лет спустя, в этот вечер, когда Хамфри сидел у нее в гостиной, потребовалось бы немалое воображение, и воображение романтическое, чтобы поверить, что ее лицо и в самом деле когда-то было таким нежным и так светло улыбалось, как на портрете. Ее руки художник написал тонкими, но округлыми. Теперь остались только кости. Впрочем, круглая, как череп, хамитическая голова на портрете предвещала нынешнюю, жестко вылепленную под прямым пробором. Глубоко посаженные горящие карие глаза не изменились и только обрели выпуклость, потому что лицо сошло. Леди Эшбрук не раз читала нотации хорошеньким женщинам, грустившим, что время берет над ними верх, — хорошеньким женщинам на полвека моложе ее. Красавица всегда остается красавицей — таково было ее кредо. Из чего следовало, как указывали наиболее критичные ее слушательницы, что она опирается на собственный опыт. А была ли она когда-нибудь красавицей? По меркам 70-х годов XX века — нет, считали они, а некоторые утверждали, что и вообще не была. Но она обладала апломбом красавицы, а это девять десятых красоты.

— Налейте себе сами, — сказала она Хамфри после того, как села. — Чего хотите.

Хамфри последовал ее приглашению и не стал разбавлять виски содовой. Он не слишком верил мифам, окружавшим жизнь леди Эшбрук, и меньше всего тем, которые объясняли, почему она живет так скромно. Хамфри, наблюдавший ее на протяжении долгих лет, был убежден, что она экономна, чтобы не сказать больше. И не думал, что в этот вечер ему предложат виски еще раз.

Она сидела, по-прежнему держа спину прямо, в кресле на ковре перед бывшим камином. Хамфри сел в кресло напротив и начал говорить то, что твердо решил сказать:

— Вам не следует жить одной. Вы сами это знаете, Мэдж. Найдите кого-нибудь.

Трудно было придумать для нее более неподходящее имя, чем Мэдж, но в глазах мифотворцев она сообщила ему особый блеск.

— Но зачем?

— Вам не следует оставаться одной.

— Какая разница? — Это было сказано все с той же непреклонностью.

— Так было бы разумнее.

Он знал, что настаивать и убеждать бесполезно, как на опыте пришлось убедиться многим, кто имел с ней дело, а потому отступился, перестал уговаривать и просто спросил, не может ли он чем-нибудь помочь.

— Ничем.

Очень мило, что он зашел, повторила она, но отрывисто, словно считала, что позвала его из слабости.

— Как вы себя чувствуете?

— Все эти анализы отнимают страшно много сил.— И, внезапно переменяв тему, она спросила: — А как вы себя чувствуете, мой дорогой?

— Я? Очень хорошо.— Он не дал ей сбить себя и продолжал: — Конечно, результатов еще нет.

— Конечно. Я же вам говорила,—отрезала она сердито.— Сказали, что на той неделе. Вероятно, сообщат моему врачу. У них так принято. Вы ведь знаете Ральфа Перримена. Сообщат ему. Он неплохой человек.

Доктор Перримен лечил тут не одну леди Эшбрук, и Хамфри был с ним знаком. Определение «человек» в нормальном смысле слова к нему ни с какой стороны не подходило, но у леди Эшбрук была манера называть так всех, чьи услуги она оплачивала.

Не зная, что сказать, Хамфри спросил что-то про больницу, но она саркастически улыбнулась.

— Послушайте, дорогой мой, все это очень скучно. И для вас. И для меня не меньше. Сказать тут нечего. А когда сказать нечего, то лучше вообще ничего не говорить. Давайте сменим тему.

Хамфри не доверял многим мифам, возникавшим вокруг Мэдж Эшбрук, но иногда удивлялся неожиданным пробелам в них. Он не помнил, чтобы кто-нибудь из ее поклонников упомянул про ее несгибаемое мужество, а вот этот миф был бы истиной. Беспощадное абсолютное мужество, которое она демонстрировала и сейчас. Все его разновидности, включая чисто физическую храбрость. Во время войны она, уже пожилая женщина, водила машину во время бомбежки с ледяным спокойствием, и военные, которых она возила, чувствовали себя рядом с ней пристыженными. Но, к несчастью, это было такое беспощадное мужество, что у тех, кто вроде Хамфри понимал, каково ей сейчас, не становилось легче на душе.

Они сменили тему. Даже в самых благоприятных обстоятельствах Хамфри не слишком много удавалось почерпнуть из разговоров с ней, а в этот вечер почерпнуть и вовсе можно было только лишнее доказательство ее железной выдержки. Как обычно, ее занимали лишь две темы. И по обеим ее мнения были четкими, едкими и беспассионажными. Во-первых, лейбористское правительство и состояние страны. Тут только одно вызывало у нее недоумение. Страну губят, это бесспорно. Но вот люди, которые ее губят, кто они — коммунисты, мошенники или дураки? Она была склонна усматривать марксистский заговор при пособничестве мошенников. Второй темой были общие знакомые, и в частности молодые женщины. Она уже довольно давно не вела прежней светской жизни, но продолжала саркастически обзирать своих соседей, и особенно женщин помоложе. Садясь на этого своего излюбленного конька, она, как знал Хамфри, бывала морозно остроумной, но сейчас она заходила несколько далеко даже для себя. Она не любила женщин и считала, что их переоценивают.

— А, Кейт Лефрой! — сказала она уничтожающе и непреклонно.— Пытается делать добро. В этой своей больничке. Наверное, пытается делать добро и своему нелепому мужу. Делать добро!

Мэдж Эшбрук интересовала дела других людей, но не их чувства. К Кейт Лефрой, жившей в доме по ту сторону площади, Хамфри питал теплую симпатию, которая в его воображении порой переходила в нечто большее. Леди Эшбрук осуждала не мораль этих молодых женщин, как она их называла (не такие уж они были молодые). Это выглядело бы уже ханжеством — особенно в разговоре с Хамфри, который знал кое-что о ее собственном прошлом. Нет, ее возмущало в них отсутствие стиля.

— Стиль! Его больше нет,— сказала она.— И никогда не будет.

Одно исключение леди Эшбрук все-таки сделала. Вот у той некоторый стиль все-таки есть. И молодой человек, по-видимому, несколько увлечен.

— Он по-настоящему блестящ,— сказала старуха.— И надо надеяться, что из этого ничего не выйдет. Он только себя погубит.

Из оценок, которые леди Эшбрук давала человеческим взаимоотношениям,

нередко следовало, что практически любая женщина, даже с некоторым намерением на стиль, вредна практически для любого мужчины.

Тут ее голос стал еще более непреклонным, потому что она перешла к конкретному и особо тяжелому случаю. Лоузби, ее внук, умудрился связаться с девушкой — с девицей, сказала она, как говорили когда-то, — которая живет на Итонской площади. Со злым пренебрежением она добавила, что девица эта ни в каком отношении ему не подходит. Лоузби — очень милый мальчик, сказала она Хамфри.

Лоузби — это была не фамилия и не имя, а одна из частей родового титула, принадлежавшего теперь ее сыну, маркизу. Она называла внука в обществе только так, вернувшись к еще одной старомодной манере, словно по-прежнему длились 90-е годы прошлого века, когда она родилась.

— Ни в каком отношении. Кому-нибудь известно, кто она такая?

На самом деле леди Эшбрук прекрасно это знала. Отец девушки жил в роскоши на Итонской площади. Он был богат. Это еще можно было извинить, но он к тому же был членом парламента от лейбористской партии, а вот этого извинить уже было нельзя. По слухам, ему собирались предложить пост в правительстве, что было еще хуже. Бульварные газетки, кроме того, намекали на какие-то темные финансовые операции, что было уж совсем плохо.

— Грошовый мошенник и ничего больше, — объявила леди Эшбрук без каких-либо доказательств и упуская из виду, что если он и мошенник, то уж никак не грошовый. — Девица довольно смазливая, — сказала она. — Годится, чтобы ее потискать, но и только.

После этого уничижительного суждения Мэдж Эшбрук посмотрела прямо на Хамфри и почти без паузы спросила:

— Вы знаете... — Она запнулась (не потому, что ей не хватило дыхания) и продолжала: — Вы знаете, я всегда боялась этого.

Она сохранила всю свою властную выдержку, но Хамфри понял: за ее словами крылась та просьба об участии, на какую она вообще была способна. Выдержку она сохранила, но прежняя уверенность в себе исчезла. Она говорила не о делах своего внука. Спектакль кончился. Она говорила о себе. Это означало рак. При всей своей храбрости выговорить это слово она не могла.

— Я понимаю, — сказал Хамфри и неловко добавил: — Но, может быть, все в порядке.

— Может быть. Как вы считаете?

Он покачал головой.

— Какой смысл в пустых утешениях? Что я могу сказать? Как ни трудно, вам остается только ждать. Вы же говорили, что результаты будут на следующей неделе?

— Довольно!

Она овладела собой и раздраженно воскликнула:

— Это скучно! Я ведь сказала вам, что это скучно.

И с сердитым презрением она вернулась к достоинствам подружки Лоузби — или к их отсутствию.

Вскоре Хамфри решил, что свой долг он исполнил и может с чистой совестью попрощаться. Слова ободрения, просто пожелание, чтобы все обошлось, вряд ли могли быть ей приятны, но он сказал, что на днях снова ее навестит.

От вечерней площади все еще тянуло жаром, но дышалось уже легко. Хамфри ощутил пристыженное, трусливое облегчение, что он здесь, что ему легко дышится, а страх и железное мужество остались там, в доме позади.

По дороге домой Хамфри вдыхал аромат цветов в ящиках на окнах — табак, душистый горошек, левкой, — такой освежающий в другие летние вечера, да и в этот тоже.

Он только что расположился у себя в гостиной, когда зазвенел звонок, и, как леди Эшбрук за час до этого, он должен был спуститься вниз и пройти по коридору. На крыльце стояла пара, с которой он поздоровался на площади. Он провел их через заднюю комнату и по шатким ступенькам в свой садик.

Это была та самая пара, о которой леди Эшбрук против обыкновения отозвалась одобрительно. Ему было под тридцать, ей года на два больше. Оба высокие, а он

к тому же поджарый, как бегун на длинные дистанции. Ее лицо скрывала полутьма сада, у него лицо было вытянутое, умное, скуластое, с улыбочатым ртом. Его звали Поль Мейсон, ее — Селия Хотори. Они держались очень вежливо, но непринужденно и называли Хамфри по имени, словно он был их ровесником. Поль объявил, что на кухню за подносом с бутылками сходит он.

— Вам обоим лучше держаться от этой лестницы подальше. Но шаткие ступени могут при случае оказаться очень полезными, а, Хамфри?

Хамфри засмеялся. Манера Поля разговаривать теперь его больше не удивляла, и, как ему казалось, он улавливал то, что она скрывала. Селию он почти не знал и теперь, когда Поль оставил их вдвоем, посмотрел на нее внимательно. Насколько он мог разглядеть в этом сумраке, она была хорошенькой, но неяркой — нежная кожа, ясные глаза. Когда он задал ей вопрос, она ответила не сразу, однако вполне свободно. Голос у нее был высокий, прозрачный и порой словно бы растворявшийся в воздухе. Но после какого-то его вопроса, совершенно невинного, она рассмеялась неожиданно и обескураживающе звучным смехом.

На ней было простое белое летнее платье, и Хамфри все больше и больше недоумевал, почему леди Эшбрук столь безапелляционно признала, что у нее есть стиль. Нередко приговоры леди Эшбрук решала сословная принадлежность, но на этот раз подобное объяснение не годилось. Под эту мерку Селия не подходила. Поль как-то упомянул, припомнил Хамфри, что она дочь каноника. Скромная средняя ступенька социальной лестницы, даже ниже Поля, чей отец был сверхъестественно преуспевающим и сверхъестественно красноречивым адвокатом.

Поль вернулся, поставил поднос на железный столик, вокруг которого они сидели, налил джину Селии, потом виски Хамфри и себе. Садик окутывала тишина, последние отблески долгого летнего дня наконец-то угасли. На востоке над крышами взошла луна, четкая и серебряная в чистом небе. Розы призрачно белели в дальнем конце садика — довольно близко от них, потому что садик был очень маленький: пятнадцать ярдов на пять. Поскольку при застройке под дома отводились одинаковые участки, он был точно такой же величины, как и те садики, которые можно было увидеть из задних окон леди Эшбрук. Все они тут очень ценили свои садики и чувствовали себя отгороженными от шума и суеты, когда укрывались в них. Хамфри, ничего не понимавший в садоводстве, имел обыкновение хвалить розы за то, что они способны расти где угодно и цветут по несколько раз в год.

Однако в этот вечер, выпив виски и попросив Поля налить ему еще, он перестал принимать участие в разговоре. Его гости оживленно болтали, но Поль посматривал на молчащего Хамфри, а потом спросил нетромя:

— Что-нибудь случилось?

— Когда мы встретились на площади, я шел к леди Эшбрук.

— И как она? Что-нибудь неприятное?

— Наверное, она это так и определила бы.

В обществе Поля Хамфри невольно тоже принимал его обычный тон — тон скрытой насмешки, но молодой человек был по-настоящему чуток и не принял бы отговорок, а сказать правду было даже облегчением.

— Господи! — Лицо Поля помрачнело. — Мы не могли бы как-нибудь помочь?

— А как?

— Может быть, имеет смысл к ней зайти?

— Что это даст? — Тем не менее Хамфри добавил: — Впрочем, попробуйте.

— Но, конечно, ей ведь за восемьдесят, — сказала Селия своим прозрачным, словно тающим голосом. — Возраст порядочный.

— Родилась в тысяча восемьсот девяносто четвертом году. — Память у Поля была электронная.

— Она, должно быть, танцевала на балах еще до первой мировой войны, — задумчиво продолжала Селия.

— Вы думаете, это может сейчас послужить ей утешением?

Хамфри задело такое безразличие, и тон его стал более жестким.

Но Селия говорила словно сама с собой:

— Очень неприятная смерть.

Слова заговорил Поль, найдя нейтральную почву:

— В какой-то мере это антикварная фигура.

— Для вас — пожалуй. — Хамфри чуть-чуть улыбнулся.

— Ну почему же для меня? Вы, наверное, слышали про нее с тех пор, как себя помните.

И вновь Хамфри впал в его тон:

— Не стану спорить. Иногда ее имя упоминалось.

— Много мужчин? — Отвлеченность Селии теперь исчезла.

— А что вы слышали?

— Ну, ведь она в какой-то мере принадлежит истории, правда?

— История, как вам известно, способна и ошибаться.

— Но ведь кто-то был, и не один?

— Да, конечно.

— Вы же сейчас не при исполнении служебных обязанностей, — сказал Поль, дружески глядя на него. — И вообще это все у вас позади, разве вы забыли? А с нами и подавно можно.

— Ну пожалуйста! — сказала Селия так же дружески.

— Только я ни за что не ручаюсь... — предупредил Хамфри. — Я знаю не так уж много и далеко не наверное. Твердо мне известно, что она бросила своего первого мужа — сбежала от него, как она это называла, — года через два после свадьбы. У них был один сын. Она была еще совсем девочкой. Но понять, что выходить за Макса не стоило, она все-таки могла бы — это она мне сама говорила. Она его ненавидела. Макс был последний поддон, сказала она. Мэдж иногда предпочитает простоту и выразительность речи.

Селия уже рассмеялась своим безудержным чувственным смехом.

— Ну а сын? — спросил Поль.

— Его она тоже ненавидела. И продолжает ненавидеть. Своего единственного ребенка.

— Прямо страсти королевских династий. Чересчур свирепо для обыкновенных людей вроде нас! — Поль наклонился к Селии, но тут же извинился, что перебил Хамфри.

— Это все, что мне приходилось слышать от самой Мэдж. Известно, что она снова вышла замуж, едва Макс с ней развелся. За Эшбрука. Все всегда говорили, что это была идиллия. Один из чудо-браков двадцатых годов. Созданы друг для друга, говорили все. Когда он внезапно умер, все говорили, что горе совсем ее подкосило. Возможно, я излишне подозрителен, но у меня есть кое-какие сомнения. А одно я совершенно случайно узнал наверное: пока публика умилялась идеальному браку, она была в связи, и в долгой связи, с Хэлом Хилмортоном. Отлично замаскированной, как и все похождения старого лиса. Вы его, наверное, не знали. Правда, он умер не так уж давно. Но вам было бы с ним интересно. А вы ему понравились бы, — сказал он Селии. Это был комплимент, но, подумал Хамфри, возможно, не такой уж далекий от истины.

Им было уютно сидеть в темноте и обсуждать леди Эшбрук поры ее расцвета. Ужас смертельной болезни отступил на задний план, рассеялся. Эмоциональный шок не мог длиться долго, хотя Хамфри и Поль были более устойчивы в своих чувствах, чем многие другие.

А как жила Мэдж после смерти второго мужа? А! Были и другие любовники — до самой старости. Во всяком случае, ему доводилось слышать легенды не о случайных связях, а о двух-трех романах, каждый из которых те или иные авторитеты с непоколебимым убеждением и в полном противоречии друг с другом объявляли великой любовью всей ее жизни. Это выражение, заметил Хамфри, на протяжении многих лет сопровождало Мэдж Эшбрук, хотя теперь оно давно уже вышло из употребления.

Темнота и их подтолкнула на признания... нет, не на признания, но на первые шаги откровенности. Поль никогда не был женат, но Селия была замужем и юридически все еще состояла в браке.

— Он от меня ушел. Года два назад, — сказала она.

— По взаимному согласию? — спросил Хамфри.

— Нет, он меня просто бросил, — ответила она без колебаний. — Я не сбежала, как леди Эшбрук. Возможно, для моего самолюбия это было бы лучше. — Потом она добавила: — Кстати, поддонком он не был. Или я и сама поддон.

Хамфри сказал ей, что его первый брак был катастрофически неудачным. Дети?

Двое от второй жены. Сын — врач в Миссионерской больнице, дочь занимается социальной работой.

А у нее есть дети? — спросил он Селию. Один сын, ответила она. Собственно говоря, ей уже пора домой. Ему шесть лет, но у нее есть кому присмотреть за ним.

Хамфри стоял в дверях парадного и глядел, как они рука об руку идут к дому Поля — так же, как они шли, когда он встретил их в начале вечера. После долгого привычного поцелуя под фонарем она села в машину и уехала. До того, как он узнал про ее сына, Хамфри полагал, что она останется ночевать у Поля. Но, во всяком случае, у них было все до того, как они пришли к нему, решил он с полной уверенностью. Они словно отсвечивали сытостью недавнего удовлетворения. Он подумал уже не с такой уверенностью, что, пожалуй, они в первый раз переспали без долгого предварительного знакомства, не говоря уж о старомодном ухаживании, и только теперь узнавали и открывали для себя друг друга в человеческом плане. И, по видимому, между ними начинались какие-то трения.

Хамфри был бы рад, если бы Поль вернулся. Он с удовольствием поговорил бы еще. Но и один он снова пошел в сад. В сущности — эта мысль была не слишком приятна, но перед собой он не притворялся, — он немножко завидовал Полю. Не из-за Селии. Вовсе нет. Не завидовал он — ну разве чуть-чуть — и молодости Поля. Приятно, что эти двое старались держаться так, чтобы он не почувствовал себя старым. Но если бы они и не были настолько тактичны, у него все равно не возникло бы такого ощущения.

Существовая в каждую данную минуту, шестидесятилетние ощущают себя точно такими же, как эти двое, хотя хронологически они и моложе на тридцать лет. Умозрительно Хамфри сознавал, что хронологически ему остается прожить от силы лет двадцать. Но это представлялось странно нереальным. Как и всем его сверстникам (насколько он мог судить), если они были здоровы. Все люди, включая и самых молодых, живут, имея в перспективе неминуемую смерть, и никто этому не верит.

На мгновение Хамфри вспомнил леди Эшбрук. Наверное, и она ощущала себя так же всего месяц назад. А может быть, и сейчас — от минуты к минуте?

Без особой связи и довольно отвлеченно Хамфри задумался о себе. Если бы его спросили, почему он завидует Полю, он затруднился бы ответить. Не его уму. Леди Эшбрук объявила, что он блестящ, вновь употребив одно из своих антикварных словечек, — Хамфри вспомнил, как много лет назад на званных обедах слышал это определение от дам, обожавших открывать новые таланты. Сам Поль не принял бы ее похвалы. О да, его академическая карьера была безупречна. Он был, как теперь выражались, на взлете. При наличии приличного интеллектуального аппарата и работоспособности это не так уж трудно. Да, он прекрасный экономист, знает о международных делах больше многих и многих, вполне стоит денег, которые ему платит коммерческий банк, где он служит.

Странность заключается в том, подумал Хамфри, что Поль искренно скромен. Гораздо более скромен, чем практически все преуспевающие люди, которых ему доводилось знать, и это может оказаться большой помехой в его карьере. Он ни разу не видел, чтобы Поль пускал кому-нибудь пыль в глаза, и в будущем это тоже может стать для него помехой. Тем не менее Хамфри подозревал, что в глубине души Поль убежден в своем превосходстве над другими. И Хамфри готов был согласиться с ним, хотя, возможно, они не сошлись бы во мнениях о том, в чем, собственно, заключается это превосходство.

Хамфри считал его страстной натурой. Точный, уравновешенный интеллект, иронический юмор, доброта, когда дело прямо его не касалось, — за всем этим крылось что-то властное и неукротимое. Он будет братья за трудные задачи. Он будет играть среди крупных ставок, возможно, очень достойных, не воплощенных в деньгах или других заурядных приманках. И он может потерпеть неудачу — в его нынешнем мире это более чем вероятно. Но страстность природы принудит его действовать. Страстность, встречающаяся очень редко, насколько Хамфри мог судить по опыту.

Вот почему Хамфри интересовался им и невольно ему завидовал. Потому что сам он был лишен этой страстности, как и большинство людей. Сейчас, в саду, когда в его сознании мелькали обрывки прошлого, какие-то надежды на будущее, какие-то расчеты (потайным планировщик, трудящийся невидимо и неслышно, но постоянно, не умирает ни в возрасте Хамфри, ни в любом другом), он не воссоздавал свою биографию. Это никому не под силу. При подобных попытках, как не раз наблюдал

Хамфри, человек выбирает и отбрасывает, чтобы доказать свою правоту или извинить себя, а порой — чтобы взвалить на себя бремя более тяжелой вины, и никогда не ограничивается только холодной и беспристрастной истиной.

Собственно говоря, как свидетельствовали его отношения с леди Эшбрук, Хамфри родился в близком соседстве с ее миром. Он приходился ей троюродным братом. Его семья принадлежала к обедневшей аристократии, а он был младшим сыном. Ему дали традиционное образование, и он, особенно не выделяясь, учился неплохо. Его никто не называл бы блестящим, как назвала леди Эшбрук Поля, но он считался очень неглупым. На его беду, как он думал позже, у него были небольшие собственные средства, и когда в двадцать один год он окончил Кембридж, его доход составлял 250 фунтов. В 30-е годы на это можно было путешествовать, и Хамфри объехал всю Европу и выучил несколько языков, к чему был способен от природы. Он долго терзался любовью к женщине, которая его не любила, но потом все-таки уступила его сумасшедшей настойчивости и вышла за него.

Безвестное существование, любил он говорить, объясняя, какой обычной и заурядной была его жизнь, со скромностью более абсолютной, чем скромность Поля, но все-таки недостаточной, чтобы удержать его от соблазна преувеличивать все тусклые аспекты ее тусклости. Во время войны он разошелся с женой — при полном взаимном согласии. Он служил в привилегированном полку, куда, как он, разумеется, не забывал упомянуть, его не зачислили бы, если бы не его родственные связи. Он не был хорошим офицером — то есть так говорил он сам, — но не был и особенно плохим. Затем его откомандировали в военную разведку, и то, что он знал языки, пришлось там очень кстати. Кроме того, какое-то подспудное тщеславие внушало ему мысль, что, хотя все люди, убежденные, будто они много знают о других людях, обязательно дураки, он все же чуть меньший дурак, чем некоторые.

Эта работа оказалась прологом к другой. Война кончилась, и он собирался жениться во второй раз. Своего небольшого дохода он лишился и должен был искать приличный заработок. Его пригласили с водевильной таинственностью и спросили, не хочет ли он работать в службе безопасности. Опять-таки, как он любил указывать, это объяснялось только его родственными связями. Ни денег, ни положения, но безусловно респектабелен и происходит из аристократической семьи. Ни в чем предосудительном не замечен. Никаких явных сексуальных отклонений (хотя позднее Хамфри не упускал случая рассказать самодовольным ханжам, что безусловно самый талантливый руководитель во всей британской разведке и столь же надежный, как сам Уинстон Черчилль, питал трагическое пристрастие к маленьким мальчикам). Короче говоря, Хамфри по всем статьям подходил под определение человека, который умеет хранить тайну и не предаст родную страну. И самое странное, как тоже любил указывать Хамфри, в целом все получилось не так уж плохо.

Мало кому известна история службы безопасности — мало кому она может быть известна. Хамфри в силу своих обязанностей имел доступ к личным делам ее сотрудников. Предательства в ней случались заметно реже, чем в любой другой родственной службе, о которой он располагал соответствующими сведениями, и было гораздо меньше внутренней коррупции.

Во всяком случае, он дал согласие без долгих колебаний. Никаких этических проблем для него не возникало. В той очень небольшой мере, в какой его интересовала политика, он придерживался неопределенно либеральных взглядов. Но это не мешало ему считать, что общество имеет право оберегать себя. Любое жизнеспособное общество поступало так, иначе оно недолго оставалось жизнеспособным. Имело значение и то, что он и его будущая жена как раз обдумывали, какую ему искать работу. И вот ему предложили работу.

В результате он занимался ею почти тридцать лет. Это означало, что он стал еще более незаметным, чем прежде. Люди нередко недоумевали, как он зарабатывает на жизнь. Некоторые догадывались. Другие, у кого, как у леди Эшбрук, были друзья в правительстве, знали правду. Но никаких прямых вопросов леди Эшбрук ему никогда не задавала. Она без малейшего стеснения совала нос в чужие сердечные дела, постельные дела и денежные дела, но к его роду занятий питала отчасти патристическое, а отчасти суеверное почтение. Военная разведка и иже с ней были священны и неприкосновенны. Даже теперь, как-то услышав от него, что он на досуге взялся за перо, она не стала ни о чем расспрашивать, полагая, что тут замешана какая-то государственная тайна. На самом же деле он всего лишь занимался биогра-

фией одного из своих предшественников эпохи до четырнадцатого года: подобно самому Хамфри, он тоже не добрался до вершины, но тем не менее оставил определенный след. Хамфри не слишком рассчитывал, что секретариат кабинета министров даст разрешение на опубликование его книги, поскольку дела тайных служб даже столетней давности все еще старательно скрывались от посторонних так, будто речь шла о сверхнепристойных анекдотах, от которых широкую публику следовало ограждать, словно маленьких детей. А потому его книге, по всей вероятности, предстояло существовать только в форме рукописи, и это, говорил он близким друзьям, будет вполне уместно: безвестное завершение безвестной карьеры.

Обладал он натурой Поля, он, конечно, не мог бы посвятить этой безвестной карьере значительную часть жизни более или менее с удовлетворением или, во всяком случае, с безмятежностью. Теперь все было позади, и словно из духа противоречия он иногда тосковал по этим годам, как тоскуют по тюрьме или по мучительной безответной любви. Теперь ему незачем было ждать завтрашнего дня — даже для исполнения служебных обязанностей. И сейчас в темном садике ему взгрустнулось из-за этой пустоты впереди. Однако, хотя он, возможно, скрывал их и от самого себя, надежды и мечты не давали ему смириться. Если бы у него был друг, достаточно близкий, чтобы задать такой вопрос, он волей-неволей сознался бы, что еще не поставил на себе крест.

3

Уже много лет леди Эшбрук днем гуляла в сквере на площади. Ей не хотелось нарушать этот обычай, и в среду, на другой день после ее разговора с Хамфри, прохожие могли бы увидеть, как она, выпрямившись, медленно идет по дорожке между деревьями. Над головой она держала солнечный зонтик, но вскоре, устав от лишних усилий, опустила его. Небо было безоблачным, солнце палило нещадно, над городом неподвижно висел зной.

Больше в сквере никого не было — впрочем, как и обычно: сквер был частной собственностью и ключи от калитки имелись только у домовладельцев. Площадь тонула в тишине, словно покинутая деревня. Перед некоторыми домами стояли автомобили, но стоящие автомобили ведут себя много тише и спокойнее, чем лошади и дети, в прежние времена составлявшие неотъемлемую часть картины. Дети теперь тут не бывали. Дома их не воспитывали, и многие из женщин, живших в домах вокруг площади, работали. Это означало, что между завтраком и вечером никто к леди Эшбрук не зайдет, хотя Поль и Селня уже побывали у нее утром, как и Кейт Лефрой, которой Хамфри все рассказал.

Хамфри, один из немногих жителей Эйлстоунской площади, кто был свободен днем, некоторое время следил из окна гостиной, как леди Эшбрук прогуливается по скверу, а потом с неохотой решил, что должен составить ей компанию. Она задержала его недолго и с величественной вежливостью говорила только о погоде и цветах на клумбах вокруг. Ей не хотелось его видеть, потому что она почти против воли поверила ему свой секрет. Она держалась с ним холодно, потому что ненадолго выдала себя.

Беспощадное мужество, думал Хамфри, выходя из сквера. У храбрости есть разные лики. Он знал солдат не менее храбрых, чем она, которые навязывали смущенным слушателям прямо противоположные признания, каюсь в самой подлой трусости.

Пока они разговаривали, леди Эшбрук сидела на скамейке. Дневной ритуал был исполнен, и вскоре она ушла домой. Примерно через час Хамфри увидел, что по площади от дома леди Эшбрук идет ее врач. Он спустился вниз и перехватил его.

Это был тот самый Ральф Перримен, которого леди Эшбрук назвала человеком. Как и накануне, Хамфри подумал, что это уменьшительное подходило ему разве только с точки зрения леди Эшбрук. Он был заметно выше и крупнее самого Хамфри. Красивый мужчина — во всяком случае, видный, с очень светлыми и прозрачными голубыми глазами, какие часто бывают у шведов и норвежцев. Глубоко посаженные, они не выглядели от этого темнее и казались беззащитными. Хамфри слышал, что его хвалят как врача, и у него была тут порядочная частная практика. Встречался с ним Хамфри редко, но иногда испытывал желание узнать его покороче.

— У вас не найдется свободной минуты? — спросил Хамфри.

Перримен, казалось, был одновременно и сама любезность и сама сдержанность. Да, сейчас он свободен. Да, но впереди у него очень занятой вечер. Да, он сейчас от старой дамы — он назвал так леди Эшбрук, словно это было прозвище.

— Не могли бы вы мне сказать все, на что имеете право?

— Видите ли, полковник, сказать, собственно, нечего.

Хамфри не был профессиональным военным, но тем не менее носил чин полковника. Однако сам себя он так не называл и не любил, чтобы его так называли другие, это было не в его стиле. О чем он тут же и сказал, но мягко, потому что не хотел восстанавливать Перримена против себя. Он предложил посидеть в сквере, и они пошли туда.

— Как она, по-вашему? — спросил Хамфри и, не договорив, уже понял, что был слишком прямолинеен. Подобно многим людям, вынужденным постоянно что-то скрывать, он, когда мог, предпочитал откровенность. И порой мог показаться бесцеремонным и грубым, что совершенно не соответствовало действительности.

Перримену такая прямота явно не понравилась и отпустила его.

— Я ведь лечу ее уже давно, как вы, возможно, знаете.

— Да, я знаю. Она часто говорила про вас, — умиротворяюще сказал Хамфри. — Ведь я ее дальний родственник, хотя не думаю, чтобы она про меня упоминала.

Доктор снисходительно улыбнулся.

— Мне пришлось спросить, к кому я должен буду обратиться. В случае необходимости. Я всегда так делаю, когда речь идет о пожилых пациентах. Чисто профессиональная предосторожность, разумеется.

— Да, конечно. Послушайте, доктор, я меньше всего хочу, чтобы вы нарушили профессиональную этику. Если вам нельзя ответить на мой вопрос, не отвечайте. Но мне стало бы спокойнее на душе. Не могли бы вы сказать, каковы ее шансы?

Прозрачные глаза смотрели куда-то мимо Хамфри.

— Трудно ответить. Этого не знает никто. И прийти к какому-нибудь выводу можно, только посмотрев анализы и снимки...

— Это правда настолько непредсказуемо?

— Иногда полагаешься на интуицию. Как и вы можете на нее положиться.

— Но вряд ли тут моя интуиция равносильна вашей.

Такое словесное фехтование явно не приносило результатов.

— А это уж все зависит от того, хотим ли мы себя обнадеживать, не так ли? Я не знаю, оптимист вы или нет.

Хамфри сказал, нащупывая другой подход:

— Ей в свое время пришлось немало перенести. Не может ли это иметь какое-то значение?

— Совершенно с вами согласен, мистер Ли. У нее чрезвычайно сильная воля, это бесспорно. — Доктор Перримен заговорил с некоторым воодушевлением, воспользовавшись возможностью уклониться от обсуждения леди Эшбрук. — Беда в том, что мы очень мало знаем о том, как дух воздействует на тело. Постыдно мало. У меня часто возникало желание заняться этой проблемой всерьез. Но она чрезвычайно трудна. В сущности, мы даже не знаем точно, где провести границу между духом и телом, то есть если такая граница вообще существует.

И Перримен принялся красноречиво, с увлечением рассуждать о взаимосвязи духа и тела. Он был умен, начитан и умел думать. В другое время Хамфри слушал бы его с интересом, но сейчас он не хотел отвлекаться. Он начал разговор не ради этого. И когда доктор кончил, Хамфри сказал:

— Ну, если окажется самое худшее...

— Да?

Хамфри обнаружил, что почти повторяет вчерашние слова Селии:

— Если это так, то смерть будет очень тяжелой.

— Есть много вариантов тяжелой смерти, мистер Ли, — сказал доктор Перримен.

— Некоторые мне приходилось видеть, но хотелось бы верить, что сам я кончу не так. Должен признаться, я надеюсь, что мой врач облегчит мне умирание.

— Неужели? — Перримен посмотрел прямо на него и продолжал после паузы: — Знаете, вы не первый больной, который сказал это.

— А вы, насколько я понимаю, не первый врач, который это услышал.

Перримен не ответил. Разговор получился странный, и, вернувшись к себе в

гостиную, Хамфри подумал, что вел его плохо. Перримен очень насторожен, чтобы не сказать обидчив, и было бы проще гладить его по шерсти. Вероятно, у него есть свой прогноз... или ему уже сообщили что-нибудь из больницы?

Хамфри не сиделось на месте. Позвонила приятельница леди Эшбрук, а потом Кейт Лефрой. Знакомые леди Эшбрук, узнавшие, что произошло, нетерпеливо ждали новых известий. Несмотря на гордость, она, по-видимому, налево и направо рассказывала о своих анализах и о пригворе, которого ожидала.

Некоторые искренне тревожились. Однако тревога мешалась с возбужденным интересом. Чужие несчастья поднимают эмоциональную температуру, хотя люди, в том числе добрые и честные, вроде Кейт Лефрой и Поля, не находили в себе сил откровенно признать этот факт. В эти пылающие летние дни в кругу леди Эшбрук откровенности явно не хватало, но возбужденного интереса хватало в избытке. Хамфри всегда был способен на беспристрастный взгляд со стороны и вполне мог бы сказать, что самые страшные несчастья других людей, если только речь идет не о тех, с кем ты связан узамь плоти, не о любимой жене или детях, переносятся с удивительной легкостью, но и наедине с собой думать так ему было неприятно.

Кейт Лефрой спросила Хамфри, не заглянет ли он к ней. Приглашение его обрадовало. Он был очень привязан к Кейт. Вот об этом он мог думать с полной откровенностью. Будь она свободна, она стала бы для него необходима, но, поскольку обстоятельства сложились иначе, он надеялся, что, запасшись терпением, сумеет добиться, чтобы она стала свободной.

Когда, перейдя площадь, он поднялся в первую из ее гостиных (в этом доме сохранялась первоначальная планировка и второй этаж состоял из двух гостиных, разделенных раздвижными дверями), он столкнулся с еще одной бедой, вызывавшей среди их знакомых возбужденный интерес, в котором она также себе не признавалась. Для Кейт это бедой не было — она не казалась расстроенной, хотя как будто обрадовалась возможной помощи. До его прихода она, несомненно, старалась утешить девушку, которая, по презрительному отзыву леди Эшбрук, во всех отношениях не подходила для ее внука, хотя, возможно, годилась для того, чтобы немножко ее потискать. Но сейчас она вряд ли могла вызвать у кого-нибудь и такое желание. Леди Эшбрук признала за ней некоторую смазливость, но от слез лицо у нее так опухло и потемнело, что Хамфри, если бы он не видел ее мельком раньше, счел бы ее совершенно некрасивой. Она была дочерью Тома Теркилла, члена парламента и предпринимателя. Насколько сумел понять Хамфри, причиной слез отчасти было и это. На этой неделе «Осведомленный», очередной популярный листок, предпринял еще одну из своих полумаскированных атак. Она была продолжена солидной газетой, упомянувшей, что, по слухам, члены оппозиции требуют расследования одного из начинаний Тома Теркилла. В этот момент других новостей, если не считать падения биржевых курсов и стоимости фунта, не нашлось, а потому дела Тома Теркилла наряду с рекордной жарой оказались в центре внимания некоторых журналистов.

Девушка, которую звали Сьюзен, всячески защищала отца. Все еще в слезах (веки у нее опухли так, словно в них что-то впрыснули), она клялась, что ее отец — честный человек.

— Конечно, он делец, — объясняла она им. — И тем, кто ничего не понимает, дела, которыми он занимается, могут иногда показаться не вполне законными. Но поверьте, он всегда соблюдает все правила. Всегда! Он слишком умен, чтобы от них отступать. И не забудьте, что деньги, конечно, его интересуют, но его политическая карьера для него куда важнее. Он ни за что не подверг бы ее хоть малейшему риску.

Кейт однажды сказала Хамфри, что эта девушка далеко не глупа. И он подумал, что она выбрала самую верную линию. Разумеется, у него не было и не могло быть ни малейшей идеи о том, права она или ошибается. У Кейт же, к несчастью, такая идея была, причем менее всего лестная для Теркилла. А Кейт всегда готова прийти на помощь человеку в беде. Сьюзен ей нравится и работает под ее началом в библиотеке, и Кейт считает себя ответственной за нее. Хотя ни малейшей практической необходимости работать у нее нет. Отец не жалеет для нее денег: машины, лошади — все, что она просит и чего не просит. Тем не менее по современным требованиям она должна была работать, но, как рассказывала Кейт, из духа противоречия отдавала своей работе довольно мало энергии. Как бы то ни было, Кейт чувствовала себя обязанной опекать ее и опекала — не демонстративно, но с суховатой теплотой.

Хамфри прекрасно видел, что Кейт придерживается весьма низкого мнения об отце девушки и верит всему, что утверждают его враги. Излияния Сьюзен она встречала с нетерпеливой досадой; это было словно пощечина, которую дают, чтобы заставить человека драться, и в то же время помогало скрыть ее истинные мысли. Что же, подумал Хамфри, она чутка и проницательна, она бывала в доме у Теркилла, она его знает. Вполне возможно, что она права. С другой стороны, напомнил себе Хамфри, Кейт, всегда готовая прийти на помощь тому, кто в этой помощи нуждался (за что леди Эшбрук ее и презирала), отнюдь не была беспристрастна, когда речь шла о политических деятелях. Кейт бывала веселой, вспыльчивой, добросердечной, но в смысле политических взглядов леди Эшбрук по сравнению с ней выглядела воплощением терпимости, равнодушной зрительницей со стороны.

Кейт даже не пыталась быть терпимой. Для нее само собой разумелось, что Том Теркилл нечист на руку. Такой негибачаемый абсолютный консерватизм можно встретить только у женщин ее класса, думал Хамфри. Кейт происходила из офицерской семьи, члены которой из поколения в поколение служили в ничем не примечательном полку. Она унаследовала многие их положительные качества, но порой сквозь преграду ее здравого смысла прорывались и их верования. Она не понимала, как Хамфри может оставаться скептическим наблюдателем. А ему она даже больше нравилась оттого, что доброта и терпимость в чем-то ей все-таки изменяют. Он ей тоже нравился, но она оставалась при своем мнении.

Оказалось, что у Сьюзен есть еще одна причина для слез. Вернее, причина была та же, но в другом проявлении. Внук леди Эшбрук должен был приехать в короткий отпуск. Он узнает про новые угрожающие нападки на ее отца. Вдруг это им все испортит?

— Не должно бы,— сказала Кейт.

— Он не станет ко мне хуже относиться?

— Нет, если он чего-нибудь стоит,— жестко ответила Кейт.

— Не знаю, что он подумает! — всхлипнула Сьюзен.

— По-моему, он отнесется к этому совершенно спокойно.— Хамфри боялся перегнуть палку, но Кейт нужно было помочь.— Он знает, что такое пресса. Этот мир ему достаточно хорошо известен.

— Но не папин мир! — Сьюзен явно умела глядеть на вещи трезво.

Ей хотелось говорить о своем приятеле, и она оживилась. Утешительная сила влюбленности, когда достаточно лишь заговорить о том, кого любишь, и в кратком мираже уже веришь, будто от этого все стало хорошо. Ведь Кейт никогда по-настоящему с Мистером не разговаривала? Мистер гораздо незауряднее, чем кажется. У него натура художника, только он ее прячет. Он не знает, стоит ли ему оставаться в армии. Может быть, он там только понапрасну растрчивает себя. Больше всего она боится, чтобы ему не стало скучно. Ему все так легко надоедает. Это его недостаток, и ей приходится все время быть начеку.

Было странно слышать, что она произносит «Мистер» таким ревниво-собственным тоном. Так его называли все родные, кроме бабушки, которая категорично называла его Лоузби. Практически никто не понимал, откуда могло взяться такое прозвище, за исключением горстки тех, кто был приобщен к некоторым внутриродовым обычаям. Но этим посвященным оно, во-первых, говорило, что у него был старший брат, который давно умер, а во-вторых, указывало, в какой школе Мистер учился. Из всех обитателей площади уловить эти два факта был способен только Хамфри, выросший среди подобных тонкостей, и еще, как ни странно, его близкий друг, живший по соседству американский психолог, видный ученый, иронически пошмеивающийся над своим увлечением аристократическими пережитками.

Сьюзен настолько приободрилась, что раза два даже улыбнулась чему-то своему, и Кейт тут же велела ей умыться, подкраситься и отправляться домой. Есть у нее что-нибудь, чтобы заснуть? Сьюзен поцеловала Кейт, поблагодарила ее и, прощаясь, улыбнулась уже с некоторым вызовом.

— Бедная девочка,— сказала Кейт, когда внизу хлопнула дверь.

— Действительно бедная.

— Что вы думаете о ее приятеле?

— Он очень мил. И довольно легковесен.

— Слишком много на него изливали любви. И она тоже.

— Что так, то так. Она ведет себя совершенно неправильно.

Они говорили на своем особом языке, словно были гораздо ближе между собой, чем в действительности.

— Но вы поняли, что она спит с ним уже года два?

— Догадаться нетрудно,— сказал Хамфри.

— А вы поняли, что она спала далеко не с одним мужчиной и каждый раз все кончалось крахом?

— Вот об этом я бы не догадался,— сказал он.— Скорее я предположил бы обратное и решил бы, что она тоскует потому, что лишена этого.

Кейт ухмыльнулась и сказала:

— Я была немного удивлена. Но если она чего-то и лишена, то, во всяком случае, не этого.

Комната, в которой они сидели, была такой же, как сама Кейт,— элегантно, аккуратно, на одном столике розы, на другом душистый горошек. Кейт сама держала в порядке свой сад, сама вела домашнее хозяйство и занимала второе, после директора, место в администрации большой больницы. Невысокая, нисколько не тяжеловесная, но с крепкими плечами и бедрами, с упругими мышцами — фигура, надежно сбитая, фигура, созданная для труда. А кроме того, фигура, которая для Хамфри имела особую притягательность. Он принадлежал к мужчинам, находящим прелесть в определенных физических несоответствиях. Ему нравился — более чем нравился — контраст между ее сильным телом и ее лицом. Оно словно принадлежало другой женщине — тонкое и одухотворенное. Это была не хрупкая миловидность Селии. Широкий лоб, изогнутые брови, удивительные серые глаза, орлиный нос, узкий и длинный, — лицо, способное выглядеть пылким и молодым не по годам (ей недавно исполнилось сорок), но тем, кто умел читать лица, оно, кроме того, говорило, что Кейт трезво смотрит и на себя и на свою жизнь.

— Полагаю, вы ничего нового узнать о леди Эшбрук не могли? — спросил он.

— И вы, наверное, тоже?

Он рассказал, что у него был разговор с доктором — неприятный и бесплодный.

— Он мне скорее нравится. А вам нет?

— Я не так категоричен, как вы,— сказал Хамфри.— И в положительных оценках и в отрицательных.

Она улыбнулась и сказала, что вечером позвонит леди Эшбрук.

— Разговаривать с ней, собственно, не такое уж удовольствие,— добавила она.— Ей хочется только одного: чтобы я побыстрее повесила трубку.

— Ну так не звоните,— сказал он.— Вы и так много делаете из чувства долга. Слишком много.

— Но нельзя же бросить ее в одиночестве. Нетрудно представить, каково ей сейчас! — Она огорченно и виновато поморщилась.— Конечно, я ей ни к чему.

Хамфри знал, что Кейт была готова признать правоту тех, кому она не нравилась. И даже как будто ничего другого не ожидала, разве что получала прямые доказательства обратного. Он сказал, что леди Эшбрук вообще не способна на теплые чувства, но это не успокоило Кейт, а потому он переменял тему и спросил:

— Как сегодня Монти?

Монти был ее муж.

— Он отдыхает,— ответила она без всякого выражения.

Монти был на пятнадцать лет ее старше, и она вышла за него примерно столько же лет назад. Хамфри, не приторкаясь перед собой, будто у него нет никакой задней мысли, попытался выяснить подоплеку этого брака. Кейт проявляла по отношению к мужу ту же лояльность, что Сюзен по отношению к отцу, однако Хамфри узнал кое-что из других источников, хотя и не все. История вырисовывалась любопытная. В то время, когда Кейт познакомилась со своим будущим мужем, он, по-видимому, добился определенной известности как философ, а вернее, как исследователь в области математической логики. То, чем он занимался — или пытался заниматься, — для Хамфри было совершенно непостижимо, как, несомненно, и для Кейт. Насколько Хамфри сумел понять из объяснений знакомых профессоров, Монти задался честолюбивой целью обнажить основы математики изнутри, доказав, что вся эта система создана человеком. Чистейшая мания величия, сказал один профессор. С самого начала было ясно, что за этим ничего нет. Он только напрасно тратит время. Но Кейт была готова обожать гения. Монти ходил в ореоле гениальности и был готов принимать обожание.

Хамфри недоумевал, почему пронизательность и здравый смысл Кейт не спасли ее. Он не понимал (или не желал понять), что в ней, кроме того, жила потребность преклоняться — во всяком случае, в молодости, а возможно, даже и сейчас. Зато Хамфри понимал, что на нее могло воздействовать и какое-то чисто физическое обаяние. Голоса, словно высеченная из мрамора, величавость движений — Монти до сих пор сохранял импозантную внешность.

Итак, Кейт вышла замуж за своего гения и стала его лелеять. Он ушел из университета, чтобы посвятить все свое время размышлениям. Этот дом они, возможно (тут Хамфри точной информацией не располагал), купили совместно. Но жили они с тех пор только на деньги, которые зарабатывала она. На ее жалованье. Энергии у нее хватало не только на больницу: она, кроме того, вела курс административного управления в техническом колледже неподалеку. Тем не менее по нормам Эйлстоунской площади доход их был очень невелик, и ей приходилось экономить. К счастью, Монти верил, что продлит свою жизнь, если будет во всем себя ограничивать. Он заботился о своем здоровье. Кейт сказала, что он отдыхает, — это был наиболее обычный ответ, когда ее спрашивали про Монти. Насколько помнили университетские знакомые Хамфри, в течение многих лет Монти не опубликовал ни одной статьи.

— Может быть, вам самой следовало бы отдохнуть? — спросил Хамфри, но осторожно, без нажима.

— Безнадежно!

— Но ведь вы устали?

— Не настолько, чтобы не предложить вам выпить.

В отличие от леди Эшбрук Кейт любила угощать, хотя Хамфри каждый раз удивлялся, как она может позволить себе такой расход. Кейт налила ему большую рюмку виски, а потом себе. Они забыли о других людях за стенами этой комнаты, и воздух вибрировал счастьем. И еще в нем было напряжение, скорее даже приятное, но всепроникающее. Они ни разу не сказали друг другу слов любви. Или страсти. Даже на выражения дружеской теплоты они были скупы. Но достаточно было бы ей или ему выдать свое желание — и все произошло бы. Хамфри знал это твердо — и не сомневался, что она тоже знает.

Он сидел неподвижно и старался говорить ровным голосом. Он хотел большего. А она? Тут он не решался довериться своим надеждам. Он не определил для себя, насколько она связана с мужем. Она, несомненно, относится к своему долгу серьезно, но, быть может, не все для нее исчерпывается долгом. Тогда ему лучше перебороть себя. Мимолетная интрижка принесла бы временное облегчение, но им обоим нужно было другое.

И все же они были счастливы. Пока еще не начал формироваться кристалл осознания, достаточно было просто сидеть тут, в этой комнате, где в окна било солнце и широкий четкий жаркий луч ложился на ее колени. Это она должна была держать ответ перед собой — перед совестью, если раздвоение в ней вызывала совесть, или же перед чем-то более глубоким. Ему бороться было не с чем. А потому первое движение осталась за ней. Но в этот пылающий вечер она его не сделала, и через некоторое время Хамфри ушел.

4

— Полностью войти в чье-то критическое положение невозможно, — сказал Алек Лурия и посмотрел на Хамфри. — Разве что оно непосредственно затрагивает вас. Или вы совсем недавно испытали нечто подобное.

Была пятница той же недели, вторая половина дня, и они прогуливались по скверу, все так же залитому солнцем. На дальнюю скамейку села леди Эшбрук, по-прежнему соблюдавшая свое расписание. Они уже разговаривали о ней, но эти слова Лурия произнес, потому что ее увидел. Хамфри помахал ей, Лурия снял панаму в неторопливом поклоне. Леди Эшбрук ограничилась тем, что чуть-чуть наклонила зонтик в их сторону.

Даже если бы ей было сейчас приятно общество Хамфри, в чем он вовсе не был уверен, с Лурией он к ней не подошел бы. Лурия, как и многие другие, сразу вызвал у нее злую неприязнь. И хотя Хамфри объяснил ей, что в это лето Лурия здесь самый известный человек, никакого впечатления его рекомендация не произвела. Хамфри познакомил их, и она пустила в ход ту вежливость, в которой ничего веж-

ливого не было, а потом сказала Хамфри, что не хочет заводить новых знакомых. На чем все и кончилось.

— Войти в чье-то критическое положение невозможно,— задумчиво продолжал Лурия.— У всех нас способность чувствовать недостаточна. Не исключено, что она постепенно вообще утрачивается. Иногда это меня пугает. Уж лучше бы мы испытывали дурные чувства, чем вовсе никаких. Уж лучше жестокость с какими-то чувствами, чем жестокость вовсе без чувств. Как свидетельствуют факты, самое страшное творится именно в последнем случае.

У Лурии был дар превращать обрывки обычного разговора в пророческие вещания. Впоследствии Хамфри не раз вспоминал эту его мысль. Возможно, все объяснялось тем, что держался он очень серьезно, что голос его звучал на октаву ниже обычных английских голосов, а лицо было лицом патриарха со скорбными еврейскими глазами. В действительности он был не более скорбным, торжественным и зловещим, чем Поль, хотя патриарха, вероятно, напоминал еще в юности. Ему и сейчас было еще далеко до пятидесяти, но по виду все давали ему много больше. Хамфри познакомился с ним несколько лет назад, когда ездил в Америку по служебным делам, и они сблизились гораздо теснее, чем это обычно для людей зрелого возраста. Хамфри питал к Лурии искреннее уважение — чувство, которое тот вызывал не так уж редко. Лурия, к удивлению Хамфри, отвечал ему тем же — большая редкость для Алека Лурии, если заглянуть за маску его неизменной изысканной вежливости.

Жизненный путь Лурии словно следовал избитому шаблону. Отец и мать родились в Галиции, Алек, старший сын, родился в Бруклине; крайняя нищета: отец — холодный сапожник, а по вечерам талмудист-начетчик; сын — умница, для него приносятся все жертвы, воля и дарования ведут его вперед без особых усилий; блистательная академическая карьера. Он стал психиатром, но затем та внутренняя сила, которая в глазах пациентов сделала его символической фигурой отца, вынудила его изменить специальность. Докматы психиатрии представлялись ему неверными; необходимо было вывести психологию на путь, приемлемый для честного ума, такого, как у него. В результате он из психиатра превратился в психолога, причем с сугубо оригинальной системой взглядов. Репутация у него была достаточно весомой, чтобы он очень рано стал профессором ведущего университета. Кроме того, очень рано он был уже бонзой — но очень одиноким из-за чистоты и беспристрастной логичности своего ума. Однако при всей чистоте своего ума он (к большому удовольствию Хамфри как зрителя) не был лишен вкуса к суетным радостям. Он был дважды женат — обе жены христианского вероисповедания, обе богаты. Он с удовольствием зарабатывал деньги. Он любил дорогой комфорт. Немногие профессора, какими бы бонзами они ни были, сочли бы разумным снять на летний отпуск двухэтажную квартиру на Итонской площади. К чарам высшего света он был гораздо чувствительнее, чем Хамфри.

Живая любознательность сочеталась в нем с внутренним пессимизмом. На человеческую натуру он взирал с большой мрачностью. Ему внушала глубокое беспокойство судьба его страны и судьба Англии, к которой он питал сентиментальную привязанность. Он делал множество прогнозов, по большей части неутешительных. Частота попаданий была у него довольно высока, но водились за ним и промахи. Они словно бы доставляли ему не меньше удовольствия, чем верные предсказания, и он раздражался резким голючим смехом.

Несмотря на этот угрюмый реализм — а может быть, и благодаря ему,— Хамфри был рад его обществу в это знойное лето и всегда с нетерпением ждал еженедельной встречи с ним по субботним вечерам. Ему было жаль, что леди Эшбрук невзлюбила Лурию.— тот извлек бы немало прустовской радости из подобной встречи с былым. И несмотря на то, что он держался как патриарх, говорил как патриарх, а нередко и чувствовал себя патриархом, Лурия был достаточно раним. Его не могло не задеть то, что выглядело как оскорбительное пренебрежение — да и было оскорбительным пренебрежением.

На следующий день, в субботу, 10 июля, когда Хамфри, проходя за оградой сквера, помахал рукой и улыбнулся леди Эшбрук, она приняла его приветствие совсем по-другому. Рядом со скамьей стоял ее внук. Хамфри уже знал от Кейт, что он приехал и что Сьюзен с ним виделась. Увидев Хамфри, он мягкой, пружинистой походкой спортсмена пошел через газон к ограде.

— Идите сюда! — сказал он, весь светясь радостью, словно день был удивительно удачным.— Вас настоятельно приглашают.

Он был красив той красотой, которую иностранцы считают типично английской, хотя в Англии она встречается очень редко. Пушистые светлые волосы, впрочем, того рода, которые к двадцати девяти годам (он был ровесником Поля Мейсона) начинают редеть. Прекрасные, очень большие глаза, не водянисто-голубые, а почти синие. Матово-бледная свежая кожа. О нем нередко говорили, что ему дано все. Как сказала Кейт, на него изливали слишком много любви. За ним, бесспорно, буквально гонялись — не только женщины, но и мужчины. Он все это принимал благодушно и, предположительно, не без удовольствия. Он любил оказывать услуги и был внимателен в мелочах. Возвращаясь с Хамфри к своей бабушке, он заговорил о ней.

— Она держится поразительно хорошо,— сказал он.

— Но ее душевное состояние, как оно, по-вашему?

— А по-вашему? — Лоузби быстро улавливал то, что оставалось несказанным.

— Мало кто из нас способен так держать себя в руках. Не во что это ей обходится?

— У немцев есть старая военная поговорка.— Лоузби говорил вполголоса.— Важно не что ты чувствуешь, важно, как ты себя ведешь.

Лоузби был военным, капитаном стрелкового полка, в котором служили многие поколения его предков. Служил он в Западной Германии, где, наверное, и подхватил эту безжалостную формулу.

— Полагаю, вы приехали из-за этого? — спросил Хамфри тоже вполголоса, потому что они уже подходили к скамье.

— Конечно, я должен был с ней увидеться.

Он повернулся к леди Эшбрук. Лицо его вновь сияло безоблачной радостью, и он бодро объявил:

— Успел его схватить. Вот он!

— А, Хамфри! Очень мило, что вы пришли,— сказала леди Эшбрук совсем как тогда, в четверг.

— Ну, если здесь Лоузби, так ли уж нужен я?

— Я рада любому более или менее приличному обществу.— Она саркастически улыбнулась, но тон у нее был ласковый. И тут же, чтобы не давать волю нежности, она спросила: — Скажите, я ошибаюсь или сейчас правда очень жарко?

— Бабуленька! Это еще мягко сказано. Лучше я уведу вас домой...

— Ты хочешь сказать: лучше для тебя, милый? Нет, я думаю, мы можем еще немного потерпеть. Я не так часто пользуюсь солнцем.

Обычные слова. Но, возможно, они подразумевали, что ей недолго осталось пользоваться солнцем. И ответ Лоузби был тоже обычным:

— Бабуленька, пожалейте меня. Я опасаюсь не за вас, а только за себя. Я ведь не так вынослив.

Действительно, бледная северная кожа на его лбу и щеках совсем побагровела. Он был в одной рубашке и в летних брюках, и вечером какой-то девушке — Сьюзен, а может быть, и не Сьюзен — придется намазать его чем-нибудь от солнечных ожогов.

— Потерпи. Мы скоро уйдем, милый.

Леди Эшбрук не собиралась уступать. Она вела себя, как пресыщенная всеобщим вниманием капризная красавица. Между ними — привыкшей к ухаживаниям старухой и избалованным молодым человеком — разыгрывалось, как заметил Хамфри, что-то очень похожее на флирт. Лоузби умел справляться с ней как никто другой. В разговоре выяснилось, что он явился к ней с цветами и с ящиком шампанского. А завтра под вечер он устраивает для нее бридж. И приглашает Хамфри. Вот тут шампанское и пригодится. А сегодня она обязательно должна выпить полбутылки за сон грядущий.

Лоузби источал дружелюбие, точно счастливый ребенок. Хамфри не сомневался, что он не приговорится. Ну а бабушку он может быть, кроме того, и любить? Конечно, не исключено, что в этой любви есть и корыстный элемент. Он единственный из ее родственников, к которому она привязана. Кому же еще должны достаться ее деньги? Возможно, он старается закрепить их за собой. Так называемые легкие люди нередко умеют позаботиться о себе гораздо лучше расчетливых. Тем не менее вот так разыгрывать любовь было бы очень трудно.

Но одно он отказывался сделать. Она хотела, чтобы он пробыл у нее весь вечер, пока она не ляжет спать.

— Я останусь до семи. Но потом мне необходимо будет уйти.

— Так рано?

— Мне очень жаль, бабуленька. Я бы не поехал, если бы мог.

— Ну так не езд. Ты ведь прекрасно умеешь находить веские причины. И всегда умел.

Лоузби улыбнулся сияющей бесстыжей улыбкой.

— Боюсь, на этот раз ничего не получится. Я обещал. Еще несколько недель назад.

— Полагаю, у тебя свидание,— сказала она.

— Полагать никому ничего не возбраняется, правда? — ответил он.— А в ваши грешные дни вы так и говорили: у меня свидание?

— Мы вообще говорили гораздо меньше, чем твои приятели,— сказала леди Эшбрук.— С нашей точки зрения, это делало бы все пресным.

— Ну, мы говорим о том, что спим вместе. Громко. Во всеуслышание. Но если кто-нибудь думает жениться, тут уж приходится шептать. Это вот действительно стыдно. А потому держится в глубочайшем секрете.

— Ты думаешь жениться? — В ее тоне был упрек, страх, а может быть, и ревность.

— Бабуленька! Если мне это когда-нибудь взбредет в голову, я вам тут же скажу.

Они продолжали фехтовать. При всей его готовности делать приятное он был упрям не менее ее, и как она ни поддразнивала, ни уговаривала, ни требовала, ни улеживала, ей не удалось добиться, чтобы он остался у нее на весь вечер. Только к одной уловке она не прибегла, хотя именно эта уловка, подумал Хамфри, и могла бы оказаться действенной. К шантажу жалостью. Им она не воспользовалась. Даже не намекнула, что в ее состоянии ей хотелось бы, чтобы рядом был кто-то любящий.

Позже Хамфри отправился на обычную субботнюю встречу с Алексом Лурией. Встречались они в старой пивной, которую обитатели прилегающей части Белгрейвии именовали своим заведением. Эта ничем не примечательная пивная находилась на улице, ведущей от Итонской площади в сторону Букингемского дворца. Лурия питал к ней слабость и любил потолковать о том, как удобно умеют устраиваться англичане — ни в одной другой стране, где ему доводилось жить, ничего равного этой пивной не было. Обширный тихий зал с тремя уютными нишами, обитые кожей стулья и скамьи, атмосфера непритязательности и непринужденности. В этот вечер около шести часов в зале там и сям сидели человек двадцать посетителей, по большей части местные жители, заглянувшие сюда выпить перед обедом.

Самое мирное время. Хамфри с Лурией устроились в дальнем углу, блаженно вытянув ноги под столиком, на котором стояли пинтовые кружки с пивом. Лурия, любивший английские пивные, английское пиво тем не менее не любил, однако оно было неотъемлемой частью ритуала, и он терпел.

Они разговаривали вполне свободно, но оживленно. Хамфри требовались точные сведения о Томе Теркилле. Это было связующее звено между ним и Кейт, принимавшей к сердцу судьбу дочери Теркилла,— таким образом они могли общаться, обходя молчанием собственные чувства. И Хамфри прибег к помощи Лурии, у которого в Лондоне знакомых было больше, чем у среднего лондонца, и который, кроме того, в финансовых вопросах не был таким наивным простаком, как Хамфри. Лурия добросовестно навел справки, нисколько не скрывая, что извлекает из этого массу удовольствия. Теперь он объяснял — а объяснять он умел великолепно. Он считал, что любая покупка или продажа компаний или игра на бирже неизбежно сопряжена с какими-то ловкими или темными махинациями. Теркилл безусловно не делал ничего противозаконного, да и непорядочного, возможно, тоже. Не исключено, что он был несколько неосторожен, если принять во внимание ханжеское недоверие, с каким англичане относятся ко всем, кто наживает деньги,— за исключением, разумеется, тех случаев, когда лишнее получают они сами с помощью тотализатора, пари или забастовок, сказал Лурия, глядя печально и сардонически. Теркилл, несомненно, нажил много политических врагов как среди тори, что вполне естественно, так и среди левого крыла собственной партии, что опять-таки вполне естественно. Кроме того, он, по-видимому, сумел нажать на редкость много личных врагов.

— Ну да, ведь вы с ним знакомы?

— Очень мало,— ответил Хамфри.

— Тем не менее кое-что вы, по-видимому, заметили.— Лурия, казалось, рассматривал эту проблему с каким-то усталым удовлетворением.

Те, кто хорошо разбирается в людях, действительно склонны отнестись к нему с подозрением, заметил Хамфри. Кейт он называть не стал. Лурия был его другом, которому он доверял, но пока перспектива оставалась неясной, он вообще не хотел об этом говорить — из суеверия.

Теркилл был интересной и безопасной темой для дружеской беседы. Оба отдыхали душой. Лурия вежливо отказался от второй кружки, но Хамфри заказал себе еще пинту портера. И тут их покой был нарушен.

За входной дверью в противоположном конце зала вдруг послышались крики, шум, пение, и в пивную ввалилась толпа. Вопли и пение были настолько оглушительными, что Хамфри опешил. Зал заполнила орущая людская мешанина. В общем сумбуре было трудно рассмотреть отдельные лица. Не меньше сорока человек, а в дверях все еще толчея. Совсем зеленые юнцы, насколько он мог различить. Двоим-троим за двадцать, но остальные — мальчишки лет по шестнадцать—семнадцать. Бороды, косматые длинные лохмы, несколько девочек, цепляющихся за их плечи. Вопли, ничем не напоминающие человеческую речь. Хамфри не мог разобрать ни слова.

Вдруг он вспомнил, на что это похоже: бездумный ритмичный рев толпы на стадионе во время футбольного матча. Ведь сейчас разгар лета. Они, вероятно, явились сюда со станции метро «Виктория» в полумиле отсюда. На некоторых были свитера с надписью «Мы — чемпионы». Зрители какого-нибудь мелкого крикетного первенства, которое разыгрывается за один день. Многие находились в стадии злобного опьянения. Со стойки полетели кружки и рюмки. Двое-трое ринулись за стойку, обругали бармена, ударили его по лицу, схватили бутылки с виски и принялись обгивать горлышки. Другие хватали кружки и рюмки со столиков, сыпали грязной руганью, выпивали их одним духом. Какой-то старик воспротивился. Раздались хриплые крики: «А пошел ты!», «Заткнись!», «Кончай его!» Шляпа старика лежала на скамье рядом с ним. Кто-то из двадцатилетних схватил ее и, кривляясь, нахлобучил на голову. Старик встал, его опрокинули на скамью и вылили ему на голову кружку пива.

Другие посетители сидели съезжившись, молча и неподвижно. Они словно не замечали того, что происходило вокруг.

Наконец Хамфри опомнился и окликнул бармена:

— Джеральд-роуд! Быстрее!

На Джеральд-роуд был ближайший полицейский участок. Распоясавшиеся хулиганы этого знать не могли, но их взбесило, что кто-то попробовал вмешаться или просто подать признаки жизни. Бармен, весь в крови, выскользнул из зала. Перед столиком Хамфри столпились разъяренные юнцы. Их было не меньше полдесятка. И он и Алек были здоровыми, крепкими мужчинами, но вступать в драку при таком соотношении сил было бессмысленно. В свое время он справлялся с солдатами, но это было совсем другое дело. Он попытался воспроизвести свой тогдашний тон:

— Разойдитесь! Это для вас плохо кончится. Сядьте!

В ответ раздались крики, полные ненависти:

— Кончай его! Вот мы тебя прикончим!

Лурия, как и Хамфри, вскочил на ноги.

— Вы напрашиваетесь на неприятности,— произнес он могучим басом.— Советую вам успокоиться.

— Жид пархатый! — Это крикнул явный уроженец Лондона. Большинство было с севера, но шайка пополнялась местными силами.

Хамфри позвал на помощь, но никто из сидевших за столиками не пошевелился. Внезапно у дверей поднялась суматоха.

— Полиция, мать их!..

Вошли двое полицейских без мундиров, только в форменных фуражках. Их вызвал не бармен. Как выяснилось потом, какой-то прохожий увидел, как по улице с воплями валила толпа, и остановил патрульную машину.

Кто-то из юнцов кинулся наутек, но в остальных бушевала ненависть. Они повернулись к полицейским. Широкоплечий верзила двинулся к одному из них, угрожая разбитой бутылкой. Подъехали другие патрульные машины. Толпа начала стремительно таять. Опрокидывая столики, колотя кружки, разбивая ногами стеклянные панели, они вываливались на чинную улицу. Патрульные машины ринулись вдогонку. Не так-то

часто, заметил Хамфри, когда они вернулись в свой тихий уголок, полицейским машинам приходится устраивать погоню в окрестностях Итонской площади.

— Я был совершенно потрясен,— сказал Алек Лурия.

— Очень неожиданно для этой части Лондона.— Хамфри махнул бармену, чтобы он привел их столик в порядок. Его кружка была разбита, и он заказал еще пива.

— А не уйти ли нам?

— Нет. Не надо торопиться,— сказал Хамфри, словно сейчас важнее всего было сохранить спокойствие.— И тем более неожиданно после крикета. Наверное, ничего подобного тут еще не случалось.

— Меня это испугало.

В отличие от обычных их разговоров Лурия был сейчас более прямолинеен, чем его друг.

— И меня тоже.— Хамфри воочию убедился, что Лурия не трус, и решил принять его тон.

— Не стоит обманывать себя,— задумчиво и мрачно сказал Лурия.

— Странно, что это подействовало так парализующе,— заметил Хамфри.— Во всяком случае, на меня. Трудно было заставить себя сопротивляться. В армии хотя бы знаешь, что от тебя требуется.

— Страшно, в частности, то,— по-прежнему мрачно и задумчиво продолжал Лурия,— что никто даже не пошевелился — ни один из этих мужчин за столиками. Вот что страшно. В Нью-Йорке на Риверсайд-драйв, в очень приличном районе, шайка полосовала бритвами девушку на тротуаре, а добропорядочные обыватели смотрели на это из окон. И не вмешивались. Совсем так же, как было здесь. Сколько раз я вам повторял, что люди полностью разучились чувствовать.

— Они не хотят впутываться. Они боятся,— сказал Хамфри.

— Когда люди боятся, они перестают чувствовать, ведь так? Например, на войне?

Лурия, несмотря на свою почтенную внешность, в годы войны против Гитлера был мальчишкой и не мог пойти в армию. Он считал, что как психолог очень много из-за этого потерял. Впрочем, всякий род человеческой деятельности, к которому он оставался непричастным, порождал у него такие же сожаления. Хамфри привык повторять ему, что практически любая деятельность вызывает у тех, кто ею занимается, гораздо меньше эмоций, чем может показаться со стороны.

— То, что происходило тут, очень скверно,— сказал Лурия с глубокой убежденностью. Иногда он любил провозглашать непререкаемые истины, но сейчас говорил просто и серьезно.— Вы, конечно, часто думали об этом... несомненно, думали... как и я... что нас от этого необузданного хаоса почти ничто не отделяет.— Он обвел зал таким взглядом, словно еще видел перед собой хулиганов.— Мы продолжаем обманывать себя — вот что я имел в виду несколько минут назад. Особенно если живем в уютном, обложенном ватой мире. Цивилизация — вещь до ужаса хрупкая. Вы это знаете. Что, собственно, отделяет нас от жути, таящейся внизу? Тонкий слой лакировки. Вы согласны?

Хамфри молча кивнул.

— То же самое относится и к нам самим — ко мне, к вам. И ко всем людям. Что, собственно, отделяет нас от нашей животной природы? Человек — не слишком милое создание, не так ли?

Хамфри снова кивнул. То, с чем они столкнулись, было по меркам современности самым заурядным происшествием, но каким-то образом фразу Лурии подхватили их знакомые, она стала присловьем одной из тех шуток, за которыми они прятались, чтобы не показаться серьезными.

Выждав достаточно времени, чтобы восстановилось ощущение нормальности, они вышли из пивной и направились к Итонской площади, где жил Лурия. И чтобы окончательно восстановить ощущение нормальности, Лурия сообщил Хамфри дополнительные сведения о тонкостях финансовых операций Тома Теркилла.

5

Намерения у Лоузби были самые лучшие, он обладал немалым тактом, но, несомненно, сделал ошибку, пригласив к бабушке гостей на вечер в воскресенье. Они собрались в садике за ее домом, где был приготовлен стол для бриджа. Вокруг него сидели Поль Мейсон, Хамфри, Лоузби и сама леди Эшбрук. Рядом на столике

стояло шампанское. Хамфри услышал, как Поль назвал Лоузби Ланселотом. Это прозвучало как еще одно вычурное прозвище, хотя они вместе учились в школе и одно из имен Лоузби действительно было Ланселот.

Мужчины как могли старались поддерживать разговор, словно это был просто бридж в приятный летний вечер, но леди Эшбрук, несмотря на всю ее самодисциплину, казалось, вот-вот утратит светскую выдержку. А быть любезной она даже не пыталась, словно у нее не хватало для этого ни желания, ни сил. Утром она была в церкви — как бывала там по воскресеньям всю свою жизнь. Хамфри не раз задумывался над тем, верит ли она на самом деле, и теперь у нее в саду вновь задал себе тот же вопрос. Возможно, ведя жизнь, вызывавшую столько толков, она считала нужным соблюдать хотя бы одно из требований общественной морали. С ним она никогда на подобные темы не говорила. А ему хотелось бы узнать молилась ли она утром о том, чтобы на следующей неделе все кончилось хорошо, чтобы нависшая угроза исчезла,— как молятся дети, ожидая результата уже сданного экзамена. Но и неверующие иногда возносят такие молитвы. Хамфри пристыженно вспомнил, что это случилось и с ним.

Тревога, как и надежда, знает свои приливы и отливы. Возможно, весь день леди Эшбрук упорно преследовали мысли о следующей неделе. И может быть, сердясь из-за бриджа, она находила желанное отвлечение от них. Играла она прекрасно. Ее партнером был Лоузби, который играл очень плохо. Поль был сносным игроком, но от такого талантливого человека она ожидала бы большего. Хамфри никуда не годился. Не так давно, когда ее еще не угнетала надвигающаяся опасность, она заметила кому-то, что между Лоузби и Хамфри есть одна разница: Лоузби битый час думает, прежде чем пойти не с той карты, а Хамфри ходит с нее сразу.

В этот долгий жаркий вечер Лоузби постоянно ходил не с той карты.

— Право же, мой милый! — повторяла она все чаще.

Она проигрывала. Пустяки, поскольку играли они по маленькой, но тем не менее она проигрывала. После второго роббера она еще раз сказала:

— Право же, мой милый!

Больше она ничего не добавила, но это был сигнал гостям уходить.

Лоузби умел быть душой общества, но ему не удавалось смягчить ощущение слепого страха, тяготевшее над садом. Он попробовал пустить в ход слегка скабрёзное открытие, которое только что сделал. Когда Поль начал прощаться, Лоузби напомнил им о том, что они и так знают: в этом саду, как и в соседнем, есть маленькая калитка, которая ведет в соседний проходной двор, откуда два шага до Эклстон-стрит.

— Очень удобно для грешных целей. Чему в здешних местах имелись отличные примеры.

Сияя бесстыжим восторгом по поводу и чужих и своих собственных слабостей, он спросил, слышал ли кто-нибудь из них про дом номер пятьдесят пять по Итон-Террас, менее чем в полумиле отсюда. Там тоже есть сад и потайная калитка, ведущая в проходной двор точно так же, как тут. Оттуда можно было выйти на Честер-роуд и незаметно вернуться домой. В 90-х годах и позже в доме номер пятьдесят пять помещался самый аристократический лондонский бордель, созданный доверенными друзьями принца Уэльского и финансировавшийся из высочайшего кошелька. Именные гости, по-видимому, возвращались домой пешком или садились в собственные экипажи, дожидавшиеся где-нибудь на почтительном расстоянии.

— Вы про это слышали, бабушка?

На мгновение леди Эшбрук оттаяла до насмешливой улыбки.

— Несколько рановато для меня. Или ты правда думаешь, что мне уже за сто?

Бридж кончился, и Хамфри нечем было занять время до восьми часов. Поддерживая тайную кампанию, которую вела Кейт ради своей подопечной, он пригласил Тома Теркилла пообедать с ним. Хотя они несколько раз встречались и Теркилл держался с ним очень сердечно, это была сердечность профессионального политика. Приглашение Хамфри было принято только через три дня после того, как он его послал. Хамфри все прекрасно понимал. Люди, подвизающиеся на общественной арене, могут обходиться дружески с безвестными соседями, но держат их на расстоянии. Человек вроде Теркилла принимает подобные приглашения, только если из них можно извлечь какую-то пользу. Конечно, Теркилл навел о нем справки — вещь несложная, если у вас есть доступ к министрам,— а затем извесил, может ли Хамфри

ему на что-нибудь пригодиться или же, наоборот, не окажется ли он опасным, если его приглашение отклонить.

Найти, где пообедать в Лондоне в воскресенье вечером, было непросто. Сам Хамфри ценил хорошие вина, но к еде был равнодушен. Старуха экономка кормила его тем же, что вполне удовлетворяло его в дни холостой юности, и в этот вечер, останься он дома, его ждали бы котлета и сыр. Но для того, чтобы развязать язык Тому Теркилла, этого было явно недостаточно, и он заказал столик в «Беркли». Ему вдруг пришло в голову, что принимать богатых людей — дорогое удовольствие, и чем они богаче, тем дороже: устраиваешь все так, словно это они тебя принимают.

Машина Теркилла остановилась у подъезда ровно в восемь. Теркилл вышел на тротуар — подвижный, энергичный. Казалось, он настолько упивается своим здоровьем, что ему все неприятности нипочем. В нем была актерская импозантность, довольно частая у политиков. Сильное рубленое лицо, чуть выдвинутый вперед подбородок.

— Добрый вечер, добрый вечер! — сказал он звучным голосом. — Куда мы едем?

Хамфри ответил и получил указание не затрудняться и свою машину не выводить — это Теркилл берет на себя.

— Должен сказать, что это очень с вашей стороны любезно, — заметил Теркилл, когда они уже ехали по тихим, пустым улицам.

— Мне всегда хотелось как-нибудь поговорить с вами в спокойной обстановке, — ответил Хамфри.

— И мне тоже, и мне тоже!

Они много раз обменивались этими фразами, но с другими людьми.

После жаркой уличной духоты зал «Беркли» встретил их прохладой. Обедающих было немного, голоса звучали приглушенно. Когда они сели за столик (Теркилл отказался от коктейля и выпил только томатного сока), Хамфри сказал:

— Совсем не то, что вчера вечером.

— О чем вы?

— Я был в той пивной. Вы не читали в газетах?

Были даже большие шапки: «Вандалы в Белгрейвии». Несправедливо по отношению к вандалам, заметил Хамфри, но Теркилла не интересовали исторические параллели с V веком.

— А, это! — сказал он.

— Довольно-таки мерзко.

— Мне кажется, мы должны смириться с тем, — Теркилл умел внезапно влагать в свои слова какую-то особую силу, — что люди, становясь обеспеченней, ведут себя хуже. То есть по нашим нормам.

— Я бы сказал: по любым нормам.

— Возможно. С уважением покончено. Но вы должны смириться с тем, что оно не возродится, когда люди станут еще обеспеченней. Нам это может не нравиться, но факт остается фактом. Думаю, вы согласитесь, это не причина, чтобы мешать людям становиться обеспеченней.

Обед он заказывал недолго. Хамфри ошибся в своей предпосылке. Теркилл был еще более равнодушен к еде, чем он сам, и вполне мог бы обойтись чашкой бульона и котлетой. И он почти не пил. Ну, рюмку вина, пожалуй. Кончать бутылку Хамфри явно предстояло в одиночестве.

Однако на разговор воздержанность Теркилла не распространялась. У него был талант сообщать о себе банальнейшие вещи так, словно он открывал самые глубины своей души. Родился он ровно пятьдесят лет назад, сказал он. В Бирмингеме. Экономическая депрессия ощущалась там чуть меньше, чем в других местах, но все равно жизнь была тяжелой.

— Такого, как вчера, вы бы там не увидели. Уважения было больше, чем теперь. И все вели себя куда лучше, если у людей нашего возраста есть право судить. Но вот что, Хамфри, — он уже называл его по имени, — я бы не согласился обменять наш теперешний мир на тот.

Он был молодым бухгалтером в Бирмингеме без гроша за душой в конце 40-х годов. И тут появились первые признаки надвигающихся перемен. Вот тогда он начал наживать деньги и понял, что в конечном счете его долг — заняться политикой. Долг! Теркилл произнес это слово с особым ударением.

Хамфри смотрел на густые брови, на подвижный рот по ту сторону столика. Слово бы обычное самовосхваление преуспевающего политика. Ни малейшего своеобразия

во взглядах, но Хамфри не ожидал такой бомбардировки, не ожидал встретить такой своеобразный темперамент. Пусть Теркилл не внушал симпатии, пусть не вызывал желания иметь с ним дело, но считать его ничтожеством было трудно.

Он продолжал бомбардировку, но речь уже шла о будущем.

— Что нас ожидает? — напористо спросил он Хамфри.

— Что вы имеете в виду?

— Я имею в виду нашу страну теперь же, в этом году.

— Не стану притворяться, будто меня переполняет особый оптимизм.

Ни в этом году, ни в прошлом, ни в позапрошлом и уже давно никто из друзей Хамфри в частных разговорах не выражал особого оптимизма, когда речь заходила о состоянии страны и ее экономики, да и вообще о состоянии всего западного мира.

— Тут я позволю себе с вами не согласиться. Мы, — он подразумевал правительство и лейбористскую партию, членом которой был, — способны привести финансы в порядок. И приведем. Немножко удачи, разумное распределение ресурсов, соответствующие люди на соответствующих местах — и мы выправим положение.

Опять-таки то же самое мог бы сказать любой политик, особенно честолюбивый политик, ясно усматривающий необходимость возвысить вот этого соответствующего человека до вот этого соответствующего места. Политики по необходимости должны быть оптимистами, иначе они не были бы политиками. В парламентаристском обществе вроде английского будущее простиралось не дальше их собственных надежд, а мировые проблемы маячили где-то в неизмеримой дали. Они были вынуждены жить в настоящем. Заглядывать на десять лет вперед, даже на пять — это для зрителей, а не для них.

Здесь, в ресторане, Теркилл увлекся открывающейся перед ним перспективой, и хотя он говорил, как любой другой профессиональный политик, Хамфри редко приходилось сталкиваться с подобным темпераментом.

— Да, — сказал он, — мы это сумеем. В будущем году финансовое положение намного улучшится. Мы способны этого добиться, а они — нет. Предвыборная кампания покажет. Они, собственно, никому не нужны. Ни тем, кто разбирается в финансах. Ни промышленности. Ни Сити. Даю вам слово.

Тут Теркилла одолели другие мысли:

— Вам я скажу, Хамфри: мой округ по надежности — десятый в стране. У меня отец был помощником депутата. Он никогда больше трехсот фунтов в год не зарабатывал, но научил меня почти всему, что я знаю о политике. Когда я был мальчишкой, он мне вдалбливал, что вся политика сводится к вопросу о хлебе с маслом. А потому я долго выжидал, чтобы подобрать себе округ вроде моего. Кое-кто из левых ребят в партии предпочел бы, чтобы я остался без него — вовсе остался бы за бортом. Они бы рады до меня добраться. Но пусть попробуют.

Внезапно, без малейшего перехода в этом уверенном, доверительном, безапелляционном голосе появилась новая нота — настолько новая, что могло показаться, будто с Хамфри говорит совсем другой человек.

— Наверно, вы слышали, какую про меня распускают клевету? Какие клеветнические измышления про меня печатают?

— Да, я что-то такое слышал.

— Их работа, кое-кого из этих ребят в партии, — сказал Теркилл. — Доказательств у меня нет, но я знаю. Они подрабатывают, продавая сплетни на Флит-стрит. А некоторые и не подрабатывают, а просто заискивают перед журналистами. Вас, наверное, это не слишком удивляет.

— Да, пожалуй.

— И, наверно, если бы вам назвали, кто эти левые ребята, вы бы тоже не слишком удивились.

Хамфри давно привык к таким попыткам выведать у него что-нибудь, связанное с его прежней профессией. И ответил только:

— Ну, конечно, сами вы знаете, кто они.

Теркилл отступил — его переполняли жалобы и планы.

— До них я добраться не могу, — сказал он тем же странным наждачным голосом, который минуту назад так удивил Хамфри. — А рад был бы, черт подери! Но до их газетных шавок я добраться могу. И до их грязных листков, и до всех, кто с ними связан. Я выжидал. Надо было выждать, чтобы они зарвались. Вам я скажу: не так уж просто ждать, когда понимаешь, что думают люди. И что терпит твоя семья. Но оно того стои-

ло. Никто не оценивал ситуацию правильно — только я и мои адвокаты. И в пятницу вечером было предъявлено несколько исков. Им придется дорого заплатить. Я не мститель, Хамфри, я говорю это без всякой мстительности. Но их компания пыталась меня прикончить, и мне все равно, пусть они даже на улице с голоду подохнут.

— И какие шансы у вас выиграть? Как считают ваши адвокаты?

— За кого вы меня принимаете?

Разговор как будто принял тот оборот, который был нужен Хамфри, но он понял, что не узнал практически ничего нового. Конечно, судебные иски... но через несколько часов эта новость все равно станет достоянием газет. Теркилл говорил с дружеской доверительностью. Казалось, он исповедуется, но на деле все сводилось к туманным намекам. Это продолжалось и дальше, когда Теркилл, пустив в ход всю свою немалую силу эмоционального воздействия, буквально потребовал сочувствия и помощи. Он искал сочувствия и помощи, потому что на его финансовые операции смотрят с предубеждением. Честному человеку, сказал он, очень тяжело, когда его списывают со счета люди, которые ровно ничего не понимают в финансах. А ему такое понимание далось легко. Еще в юности. Это просто природный дар, сказал он, — понимать деньги. Игра на бирже — тот же покер. Надо отгадать, как играют другие люди, и главным образом люди, не слишком сообразительные в прочих играх. Излишняя дальновидность тут даже опасна: денег так не наживают.

Все это нисколько не опровергало заключений Лурин о том, как Теркилл ведет свои операции. Однако у Хамфри не хватало ни знаний, ни интуиции, чтобы составить собственное мнение. Он мог только еще раз спросить, абсолютно ли Теркилл уверен в беспорности своих исков. Теркилл ответил:

— Они даже не попытаются их оспаривать. И не станут доводить дело до суда.

Конечно, грязь всегда липнет, перебил он себя, вновь требуя сочувствия. Но в глазах людей ответственных его имя останется по-прежнему незапятнанным.

К этому времени Хамфри хотя и не узнал твердо ничего конкретного (весь вечер ему вспоминалась шуточка члена палаты общин, тоже дейбориста: если Том Теркилл скажет вам, который час, обязательно проверьте по своим часам), тем не менее сделал для себя несколько заключений.

Уверенность Теркилла в себе была неглубокой. И скорее опиралась на своего рода животный, бездумный оптимизм. Хамфри не мог решить, убежден ли он в своей правоте или только в том, что сумеет выйти сухим из воды. Однако Хамфри не сомневался, что Теркилл вообще никогда — независимо от последних неприятностей — не обладал той внутренней уверенностью, которая свойственна менее агрессивным натурам вроде Лурин или Поля Мейсона. К ним Хамфри мог бы причислить и себя, хотя ему самому это в голову не пришло. С другой стороны, Теркилл имел свои резервы и компенсирующие свойства характера, которых были лишены они, — колоссальную атакующую энергию, яростную волю. Возможно, силой воли он и не превосходил других людей — это еще нуждалось в доказательстве, — но его воля постоянно находилась в действии, и, разговаривая с ним, невозможно было не ощущать непрерывного давления.

Но главным оставалось впечатление, что Том Теркилл чуть-чуть параноик, а может быть, и не только чуть-чуть. Из-за этого в его голосе и появлялся наждак. Он чувствовал, что со всех сторон окружен врагами. Он взывал о помощи. И как у многих из тех, кто считает себя жертвой преследований, у него вполне могли быть для этого основания. Это не такая уж редкая смесь: наивные требования помощи и защиты — и свирепая, беспощадная, атакующая злоба. Смесь, как иногда размышлял Хамфри, очень притягательная для порядочных, добрых людей, особенно молодых. Когда становишься старше, она утрачивает привлекательность: убеждаешься, что подобные натуры только берут и никогда ничего не дают. Но Хамфри мог понять, почему у Теркилле есть сторонники и среди умеренных членов его партии, разумных, осмотрительных людей, которые готовы защищать его, поддавшись чему-то более сильному, чем простое обаяние. В глазах таких людей он был героем. Они были источником его влияния в политике, как мог бы и раньше объяснить Хамфри любой знакомый член парламента.

Обед кончился, а Теркилл так и не уступил ему инициативу. Когда они встали, Теркилл словно невзначай бросил вопрос:

— Вы ведь друг миссис Лефрой, мне верно сказали?

Хамфри без всякого выражения ответил утвердительно.

Когда они сели в машину, Теркилл упрямо повторил:

— Вы ведь близкий друг Кейт Лефрой? Вы знаете, моя дочь работает у нее.

Хамфри снова ответил утвердительно: да, он это знает.

В конце Слоун-стрит Теркилл продолжал:

— Моя дочь сегодня обедает с этим лордом Лоузби. Что о нем думает Кейт?

Хамфри попробовал уклониться от этого вопроса:

— Вы полагаете, она с ним близко знакома? Сомневаюсь.

— Кейт женщина умная, верно?

Хамфри ничего не ответил, и Теркилл сказал:

— Заедем ко мне. Думаю, вы не откажетесь еще выпить?

Было не так уж поздно, и теперь, когда Хамфри понял ситуацию, ему хотелось узнать, куда клонит Теркилл. Да, он с удовольствием выпьет на сон грядущий.

Допрос возобновился, только когда они расположились в гостиной Теркилла. Это была обширная и красивая комната с высоким потолком, типичная для домов на Итонской площади, — в XIX веке такие комнаты служили для светских приемов. Обставлена она была прекрасно. Либо у Тома Теркилла, либо у его жены, которая, как слышал Хамфри, жила в их загородном доме, был вкус — вкус не робкий и не стеснительный. На стенах висели Мэтью Смит, Сэмюэл Палмер, Сиккерт, прекрасное полотно в стиле Веронезе и (что особенно удивило Хамфри) де Коонинг.

Теркилл, не предложив Хамфри выпить, сразу же вышел и отсутствовал несколько минут. Вернувшись, он сказал:

— Девочка еще не вернулась.

Затем он подошел к бару, замаскированному среди панелей, и пригласил Хамфри что-нибудь себе налить. Теркилл сам не пил, но его знакомые пили, и для них было предусмотрено все необходимое.

Они сели в мягкие кресла, и Теркилл, требовательно наклонившись вперед, заявил:

— Вы мне еще не сказали, что Кейт Лефрой думает об этом молодом человеке.

— Вы имеете в виду Лоузби?

— А кого же еще?

— Видите ли, я не совсем понимаю, как она могла бы составить о нем мнение. Мне она, во всяком случае, почти ничего не говорила. Впрочем, я вижу с ней не так уж часто.

— Неужели? — Это был атакующий, многозначительный выпад.

— Она очень занятой человек. Вы ведь это знаете? Ваша дочь, вероятно, вам говорила.

У Теркилла хватало энергии и на то, чтобы подозревать особые отношения между Кейт и Хамфри. Возможно, такие подозрения питала и Сьюзен Хамфри был готов стдельваться уклончивыми ответами, пока Теркиллу не надоест задавать вопросы. Но Теркиллом двигало слишком могучее побуждение.

— Мне нужно узнать про этого молодого человека, про Лоузби. Он на что нибудь годеи?

— Он очень обаятелен.

— Подходит он для моей дочери?

— Можно ли судить об этом со стороны?

— Прожигатель жизни? — В голосе снова появился наждак.

— Об этом надо спросить его друзей. Держится он чрезвычайно приятно. Но если вы спрашиваете моего мнения, то пожалуй.

— Сьюзен и прежде делала ошибки. Ей двадцать три года, но она успела наде- лать ошибок. И еще одной я не допущу. Если этот молодчик что-нибудь себе позволит, он будет иметь дело со мной. Я хочу, чтобы она вышла замуж. Тогда она оступенится. Она хорошая девочка. Кейт говорила, что она хорошая девочка?

— Конечно. Кейт к ней очень привязана.

Теркилл не отступал.

— Семейка Лоузби ни на что не годна. Ни на что. У них есть только поместье, которое им не по карману содержать. Денег ни гроша. Бабка была великосветской шлюхой. Отец — пустое место. Безнадежный алкоголик. Прячется в Марокко от нало- гов. Зачем ему понадобилось прятаться от налогов, одному богу известно. У них и на- логом-то обложить нечего. А парень валяет дурака в армии. Без толку, конечно. Ну, дослужится в лучшем случае до полковника. Если ему повезет. — И он снова потре- бовал сочувствия: — Мне, собственно говоря, это безразлично. Моя дочь может о день-

гах не думать. Я хочу быть уверен только в одном: что ей с ним будет хорошо.— И, помолчав, добавил: — Хотя мне это ничего хорошего не обещает.

— В каком смысле?

— А вам не приходило в голову, что скажет кое-кто из моих дражайших коллег, если моя дочь породнится с этой компанией?

Хамфри позволил себе внести некоторые практические поправки. Если Том Теркилл, живя в роскоши на Игонской площади, считает, будто он может заручиться доверием воинствующих левых, значит, он временно впал в политическое умопомешательство. А кроме того, он, Хамфри, пока еще не знает ни одного случая — даже в Англии 70-х годов нынешнего века, — когда родственные связи с аристократией, пусть совсем обливнявшей, не приносили бы политическому деятелю заметно больше пользы, чем вреда.

В первый раз Теркилл снизошел до того, чтобы засмеяться. Это был скрипучий смех, но все-таки смех. Он редко бывает так безыскусственно прост, думал Хамфри. Встревоженный отец, и больше ничего. Он хочет, чтобы его дочь вышла замуж и остепенилась. В глубине души он, возможно, хочет видеть ее женой будущего маркиза, но главное для него — увидеть ее устроенной и успокоившейся. С каждой минутой он все более напряженно надеется, что она вот сейчас вернется домой сияющая и скажет ему, что они помолвлены. А минуты тянутся и тянутся. Теркилл явно не находил себе места и при первой попытке Хамфри подняться начал настаивать, чтобы он посидел еще. Хамфри не смог отказаться и налил себе вторую рюмку. Они все еще сидели так, иногда обменивались несколькими словами, дело шло к полуночи, и Теркилл уже полтора часа как утратил атакующую силу, когда хлопнула наружная дверь. На лице Теркилла напряжение сменилось ожиданием, тревогой, надеждой... Прошло еще несколько минут. Хлопнула другая дверь. Теркилл молчал. Наконец он сказал:

— Наверно, легла спать.

6

На следующий день, в понедельник, Хамфри сидел вечером в сквере, поджидая Кейт, которая еще не вернулась домой из своей больницы. Когда она вышла из машины и он ее окликнул, лицо у нее уже было хмурым. Он рассказал ей о своей вчерашней встрече, и она нахмурилась еще больше — черточка, пересекавшая высокий лоб, превратилась в глубокую складку.

— Сьюзен за весь день ни слова не сказала, — объяснила она.

— Я этого и опасался.

— Ну и дерьмо же он! — Кейт была расстроена и зла. Ничего похожего на ее обычную веселую бодрость. Она сердилась на себя за то, что не осталась нечувствительной к чарам Лоузби. Она сердилась на Сьюзен, потому что была к ней привязана и не могла ей помочь. Она сердилась на Хамфри за то, что он принес, а вернее облек в слова, скверные новости.

— Спасибо, что вы хоть попытались! — сказала она, но Хамфри, обидевшись, решил при случае напомнить ей, что такое «спасибо» — всего лишь вежливая формальность, а не искреннее выражение благодарности.

Про Теркиллов она больше ничего слушать не желала.

— Я ужасно спешу, — сказала она и изобразила улыбку более светскую, но куда менее привлекательную, чем ее обычная веселая, задорная, уродливая гримаска.

Жара не спадала. Люди, привыкшие жаловаться на изменчивость погоды, теперь жаловались потому, что она не менялась. Был понедельник, 12 июля. В одиннадцать часов вечера Хамфри вышел пройтись вокруг площади. Уже стемнело, но воздух оказался таким жарким, что словно царапал щеки. Вокруг светились окна. В некоторых видны были торшеры и картины на стенах. Хамфри не был знаком с хозяевами и отсюда, с тротуара, не мог определить художников. Две-три картины были как будто интересные, хотя и не шли ни в какое сравнение с картинами в гостиной Тома Теркилла.

Про вечер накануне и про Сьюзен Хамфри вспоминал лишь изредка. В конце концов он практически с ней незнаком. Его задела (больше, чем он готов был себе признать) и обидела резкость и холодность, с какой отнеслась к нему Кейт. Если он кому-то и сочувствовал, то лишь Тому Теркиллу. Несколько неожиданно для самого себя. Не Тому Теркиллу — дельцу (за свою жизнь Хамфри навиделся дельцов более чем достаточно, и они ему надоели), но Тому Теркиллу — отцу, тревожащемуся за свою дочь.

Хамфри в свое время тоже тревожился за своих детей (как тревожился и сейчас) и испытал горькое разочарование. Но не очень обычной причине. Оба они выбрали жизнь, отданную самопожертвованию.

Его сын не женился, а дочь не вышла замуж. Дочь, которой сейчас было двадцать пять лет, сотрудница службы социального обеспечения, очень много работала и очень мало получала, обосновавшись в трущобах Ливерпуля и полностью порвав с кругом, к которому Хамфри принадлежал по рождению. Она усвоила произношение рабочих окраин — вернее, не слишком удачно ему подражала, так как была совершенно лишена слуха. Хамфри она писала теплые письма, но с его знакомыми встречаться не желала. Возможно, у нее были любовники, Хамфри ничего точно не знал. Тут он вполне симпатизировал Теркилли. А его сын получил (с большим трудом) диплом врача, после чего устроился в католическую больницу в Южной Африке, где-то в глуши Транскея, — для этого ему пришлось выдать себя за католика. Возможно, весьма благородный выбор, но с точки зрения Хамфри чистой воды сумасшествие и донкихотство. Не слишком умный и не слишком интересный молодой человек, однако Хамфри его любил. Отцовство, как говорили в старину японцы, — это ночь сердца.

Повернув на углу площади, Хамфри увидел освещенное окно в доме леди Эшбрук — над гостиной, на третьем этаже. Это сразу отвлекло его от мыслей о сыне и дочери. Окно ее спальни. Значит, она не спит? Результаты анализов надо теперь ждать со дня на день. Как она выдерживает ночи?

Но обо всем этом он думал и раньше. Ничего нового ему в голову не пришло, и скоро эти мысли сменились другими.

А леди Эшбрук в эту минуту действительно полулежала в постели, пытаясь читать детектив. Она никогда не любила читать, и теперь ей не к чему было обратиться, кроме детективных романов. Но они ее не увлекали, а сейчас, когда ее грызла мысль, что очень скоро — может быть, всего через несколько часов — станут известны результаты анализов, она не смогла бы даже вспомнить, о чем говорилось на предыдущей странице. Она приняла две таблетки секонала, но сон не шел. Почему человек так ищет сна? Казалось бы, логичнее цепляться за лишние минуты полного сознания, и тем не менее, даже зная, что завтра его ждет смерть, человек, наверное, все равно хотел бы уснуть. Наедине с собой она не сохраняла железную выдержку, за которой укрывалась от посторонних глаз. Ей мучительно хотелось, чтобы время замерло на месте. Словно утром должно было прийти письмо с известием, которое она уже знала, и потому жаждала, чтобы это утро не настало никогда. Пока время не двигалось, ей ничего не угрожало.

Если бы в комнату кто-нибудь вошел, она себя не выдала бы. Перед сном она привела себя в порядок, подчиняясь привычке всей жизни, и если бы к ней пришли, она приняла бы посетителя во всеоружии своей саркастической манеры.

Она, безусловно, не дала бы ответа на вопрос, над которым Хамфри размышляла в воскресенье утром. Молилась ли она о себе в церкви? Не только ответа, она и вопроса такого не допустила бы даже мысленно. И все же — да, она молилась. Она молилась, когда, выпрямив спину, опустилась на колени перед началом службы. Она молилась и сегодня вечером, хотя и не опускалась на колени у кровати. Молитвы были очень простые, хотя и с тревожными уточнениями, словно бог мог понять ее неправильно или передернуть. «Пусть на этой неделе мне сообщат хорошие результаты. То есть пусть мне сообщат, что я здорова, что ничего злокачественного нет, то есть никаких признаков злокачественной опухоли».

В эту ночь и еще одна женщина лежала в постели без сна — Сьюзен, о которой Хамфри почти не думал во время своей поздней прогулки. И он, да и большинство ее знакомых удивились бы, если бы могли узнать, в каком состоянии она сейчас находилась. Она всегда казалась такой кроткой, безобидной мышкой — умной, как утверждала Кейт, но ленивой. Во многом это было так, но сейчас она изнывала от мучительной тоски и еще больше от горького разочарования и ярости. Как догадались Хамфри и Кейт, в воскресенье Лоузби очень мило, очень нежно от нее увернулся. Он ничего обещать не может — кроме, конечно, одного: они скоро увидятся. Отпуск, который ему дали из-за болезни бабушки, кончился, и завтра он должен лететь обратно.

Сьюзен томилась по нему, по его телу. Она существовала для того, чтобы выйти за него замуж. А он ускользал от нее. Хоть бы он умер! Она металась, не находя облегчения. Начала было звонить в штаб его полка в Западной Германии, но бросила трубку на рычаг. Ей хотелось выскочить на улицу и предложить себя первому встречному. Кто угодно, лишь бы он был добр с ней — этот милый американский профессор,

Поль Мейсон, ну кто угодно. Она никому не верит. Она не верит Лоузби, да и кто ему верит! Она не верит отцу. Перед другими она его отстаивает. И будет отстаивать, но она ему не верит. После Лоузби она никому не верит. А Лоузби она никогда и не верила. И отцу тоже, наверное, никогда не верила. Наверное, в глубине души она всегда считала, что ее отец — мошенник. Сейчас, обуреваемая злобой, она в этом не сомневалась. Хоть бы все они умерли! И сама она с радостью умерла бы. Она ни минуты не могла пролежать спокойно — ворочалась, ерзала, вертелась с боку на бок. И не могла найти ни облегчения, ни отвлечения. Она задышалась в благоухающем воздухе своей спальни и выла в голос. Она придумывала несчастные случаи, воздушные катастрофы, взрывы бомб. Все эти разговоры о ядерной войне. Она представляла себе, что вот война разразится, уничтожит их всех, а главное — уничтожит ее вместе с ее стыдом, горем, страстью, унижением, тоской. Она хотела одного — чтобы все это кончилось.

7

Около десяти часов утра в четверг, 15 июля, в гостиной Хамфри зазвонил телефон. Он сидел с газетой у окна, и ему пришлось пройти через всю длинную комнату. Напряженный, отрывистый голос, который он не узнал, произнес его фамилию. Затем последовало:

— Говорит доктор Перримен.

— Я слушаю.

— Леди Эшбрук разрешила мне сообщить вам...— Напряжение в голосе не исчезло.

Хамфри приготовился к худшему.

— Да?

— Все в порядке. У нее ничего не нашли. Никаких признаков.

— Господи боже ты мой! — Секунду Хамфри не ощущал ничего, кроме изумления.— Замечательно! — сказал он, испытывая чисто физическое облегчение.— Должен признаться, я не ждал. А вы?

— В таких случаях заранее ничего сказать нельзя,— произнес доктор невыразительно и бесстрастно. Казалось, он старательно подавляет всякий намек на возбуждение, но Хамфри пожалел, что не видит его лица.

Хамфри принес ему свои поздравления. Перримен сказал, что никакой его заслуги тут нет. Хамфри спросил, как она сейчас. Насколько ему известно, сказал Перримен, она сейчас одна и, разумеется, Хамфри может к ней зайти.

Но Хамфри вышел из дома не сразу. Сначала он позвонил Кейт в больницу. Нет, она еще ничего не слышала, но ее реакция была гораздо более непосредственной, чем его собственная.

— Господи, я так рада! Как хорошо!

Когда Кейт бывает счастлива, подумал Хамфри, она бывает счастлива от подошв до макушки. И когда несчастна — возможно, тоже. Она сказала, что сейчас же пошлет цветы, и велела, чтобы он тоже обязательно принес цветы. Когда она счастлива, продолжил он свою первую мысль, то начинает всем руководить. Но он послушно заглянул на Элизабет-стрит, купил внушительный букет из пионов и люпинов и отправился с ним к леди Эшбрук.

Дверь на этот раз открыла Мария, приходящая прислуга,— маленькая, крепкая, ясноглазая, улыбчивая. Она пыталась говорить по-английски, но запас слов у нее был невелик. Ее лицо светилось радостью. Хамфри медленно заговорил с ней по-португальски. Этим языком он владел плохо, но все-таки лучше, чем она английским. Да, леди чувствует себя хорошо. Ничего плохого. Ее ничего не беспокоит. Все тревоги кончились, забыты. День прекрасный, словно солнце в небе. Хамфри подумал, что Мария охотно дала бы волю красноречию, если бы не разделявший их языковой барьер. Казалось бы, леди Эшбрук не могла быть приятной хозяйкой, но Марии она как будто нравилась.

В гостиной леди Эшбрук сидела в своем обычном кресле, как всегда, выпрямив спину.

— А, Хамфри! — сказала она.— Ну стоило ли брать на себя труд и приходить?

Он подошел к ней и поцеловал ее в щеку.

— Неужели вы думаете, что я мог бы не прийти? Подобные вещи не каждый день случаются, правда?

— Да, пожалуй,— сказала она, полностью владея собой и не проявляя ни малейшей радости. Она оглядывала букет.— Спасибо, мой милый. Но скажите Марии, чтобы она ими занялась. Мне уже прислали довольно много цветов.

Она говорила так, словно цветы в этом случае были совершенно неуместны, так, словно была к ним равнодушна.

— Садитесь же, Хамфри. Извините, что я не встала. Но, честно говоря, меня все это... немножко утомило.

— Других на вашем месте это не просто утомило бы.

— Неужели? — сказала она с легким намеком на холодный интерес.— Насколько я понимаю, так рано вы не пьете?

Хамфри решил, что этот вопрос требует утвердительного ответа.

С той же холодностью она попросила его об одолжении. Она очень не любит звонить на континент. Не затруднит ли его сообщить Лоузби? «Я думаю, это может его немного обрадовать». Виделся ли Хамфри последнее время с Полем и Селией? Несомненно, им кто-то сообщил.

— Если вы спросите Марию, она вам скажет, что часть цветов прислали они.— Слова эти были словно подчеркнуты двумя чертами.— Должна признать, очень мило с их стороны, очень предупредительно.

Наступило молчание. Она как будто задумалась. Потом улыбнулась — жестко, саркастически, но доверительно.

— Хамфри,— сказала она,— пожалуй, дело приняло не самый плохой оборот.

Он никак не ожидал от нее таких слов — в подобных обстоятельствах, впрочем, они показались бы ему странными, кто бы их ни произнес. Но для нее это было почти проявлением чувства. Почему-то они казались эмоционально насыщенными, передавали ощущение крайней усталости, почти равнодушного облегчения и в то же время такой невероятной радости, что она делала вид, будто ничего подобного не испытывает, лишь бы не искушать судьбу. Спыхватившись, она приказала:

— Передайте всем, что я не хочу, чтобы вокруг этого что-то устраивалось. Во всем, что касается меня, они могут вернуться к обычной жизни.

Для нее вернуться к обычной жизни значило с одобрением заговорить о недавнем приезде Лоузби.

— Он хороший мальчик,— сказала она.— И вовсе не такой мягкий, как может показаться.— Она посмотрела на Хамфри холодным вопросительным взглядом.— Вы ведь согласны, что он хороший мальчик?

— Очень милый и остроумный,— сказал Хамфри.

— Не только. У него есть голова на плечах.

— Пожалуй, это так.

— Конечно, так. Он кое-что знает. Например, когда пора кончить эпизод.

Это было словечко ее юности, уже вышедшее из употребления, когда Хамфри был мальчиком.

— У него есть опыт,— продолжала она.— Он дал мне понять, очень тактично, что развязался с этой маленькой Теркилл.

Тут леди Эшбрук вспомнила, что просила Хамфри позвонить внуку.

— Вас не затруднит сделать это теперь же? Зачем мальчику напрасно тревожиться? То есть, конечно, если он тревожится.

— Он очень к вам привязан,— сказал Хамфри.

— Это противоречило бы всем традициям моей семьи,— ответила она с резким смехом, который по-своему был скорее приятным. Тут ей в голову пришла новая мысль. Очень ли затруднит Хамфри позвонить не только Лоузби? Ей хотелось бы повидать своего поверенного. Пожалуй, сейчас самый подходящий момент составить новое завещание.— Узнай члены моей семьи, что я решила сделать, это могло бы их заинтересовать,— заметила она.— Хотя, если говорить о деньгах, всех очень удивит, какой малостью могу я расстраиваться.— Она снова засмеялась.

— Вы не шутите?

— А как вы думаете, мой милый?

Эту загадочную фразу она произнесла с каким-то непонятным торжеством.

Некоторые ее знакомые «вернулись к обычной жизни» без малейших усилий. Просто небольшое волнение сошло на нет. От напрасных переживаний остался некоторый осадок, эмоциональная температура упала, и они погрузились в собственные заботы — на много ли еще понизятся биржевые курсы и фунт, как приятно вновь почувст-

говать интерес к мужчине, на сколько новых дел можно рассчитывать в следующую судебную сессию. Однако некоторые из них не собирались обращать внимание на запрет леди Эшбрук «что-то устраивать вокруг этого». Они решили все равно кое-что устроить, не доверяя запретам такого рода, в чем были совершенно правы.

Они обсудили свои планы в тот же вечер у Поля Мейсона. Тем временем леди Эшбрук продолжала точно следовать своему распорядку, от которого ни на йоту не отступала всю тревожную неделю. Во второй половине дня она вышла в сквер и, когда Хамфри по обыкновению отправился за газетой, помахала ему солнечным зонтиком, как махала и другим знакомым. Прогуливалась по аллее она немного дольше, чем в предыдущие дни, сидела на скамье немного меньше, а зонтик над головой держала более твердой рукой. Но в остальном все было как всегда — только в начале вечера к ней явился ее поверенный, которому Хамфри по ее просьбе позвонил.

В половине седьмого, когда Кейт вернулась из больницы, Поль со службы, а Селия — от маленького сына, они все собрались в гостиной Поля. Гостиная, как и у Кейт, была по-старинному отделена перегородкой от второй комнаты, где Поль устроил кабинет. Обставлена она была по-мужски аскетично и скудно, а вернее мужиной, лишенным вкуса к уюту и потребности в нем. Дорогой на вид письменный стол он скорее всего купил по настоянию какой-нибудь женщины. Хамфри, войдя вслед за остальными тремя, заинтересовался картинами, написанными в манере, близкой к неоекспрессионизму. Художник был, по-видимому, дилегантом, но талантливым. Он спросил у Поля, кто их написал. Селия Хамфри несколько секунд смотрел на Селию, а потом выразил надежду, что она будет и дальше заниматься живописью.

— Почему бы и нет? — сказала она с полным спокойствием и тем же невозмутимым тоном спросила: — А вы понимаете в картинах?

— На своем веку я их повидал не так уж мало, — скромно ответил Хамфри.

Кейт взглянула на него с дружеской насмешкой. Как-то она сказала ему, что он кутается в безвестность, как в теплое пальто. Хамфри ничего не имел против. Он не собирался менять свой стиль, а как только все они заговорили о леди Эшбрук, его заразило и согрело чувство, царившее в комнате. Все они были здоровыми и, если не считать его самого, молодыми деятельными людьми в самом расцвете сил. А здоровые люди испытывают чисто физическую радость оттого, что кому-то становится лучше. Им нередко приходится смиряться со зрелищем болезней, но когда кто-нибудь выздоравливает, они ощущают себя частью общечеловеческого союза. Если кто-то вырвется из хватки смерти, это уже победа. Хамфри не притворялся перед собой, будто людей, как здоровых, так и нет, особенно удручает известие о чьей-то смерти, но порой они ощущают тихую товарищескую радость при известии о том, что кто-то поправляется. Однако в гостиной Поля в этот вечер царило более сложное чувство. Их радость не была просто тихой и товарищеской: им словно бы казалось, что леди Эшбрук им очень близка — как родственница, которую они любили в детстве.

Странно, размышлял Хамфри: они питают к старухе больше симпатии и уважения, чем он сам. А может быть, и не так уж это странно. Именно холодные, никому ничего не дающие люди часто внушают наибольшую преданность. Определенный вид ледяной сдержанности, свойственный, в частности, леди Эшбрук, почему-то вызывает почтение, трепет и совершенно нелогичное желание возводить носителей этого качества на пьедестал. Если говорить о нравственных достоинствах, то Кейт, с точки зрения Хамфри, стояла в сотни раз больше леди Эшбрук, но он не сомневался, что, оказавшись в том же положении Кейт, ей не досталось бы и сотой доли того преданного внимания, каким была сейчас окружена себялюбивая старуха. Провидение распорядилось тут совсем уж нелепо, что, впрочем, провидению весьма свойственно. А Кейт вкладывала в обсуждение их планов куда больше энтузиазма, чем все остальные, да и искренности тоже.

Что можно устроить? Для шумных празднований леди Эшбрук слишком стара. Вряд ли у нее достанет сил поехать в ресторан. Да и в любом случае Хамфри не был уверен, что она на это согласится. Устроить в честь нее небольшой прием?

— Но только чтобы не вышло, как с бриджем в воскресенье! — сказала Кейт. — Я слышала, это было ужасно. — Она улыбнулась Хамфри, единственному, кто мог ей об этом сообщить.

— Это было не слишком своевременно, — уточнил Поль. — Ланселот Лоузби, по-видимому, считает, что все люди лишены нервов.

— У него имелись свои причины.— Селия сказала это с обычной своей рассудочностью, словно была совершенно невосприимчива к чарам Лоузби.

Однако теперь нервы успокоились. И уже незачем ходить на цыпочках, решили все. Возможно, она будет даже рада убедиться, что все за нее рады. Но где это устроить? У нее? Нет, ничего не выйдет. Она не захочет.

— Можно у меня,— с некоторым колебанием сказала Кейт.— Или это для нее далеко?

Нет — ведь она почти каждый день проходит по аллее в сквере почти до самого дома Кейт. Или кто-нибудь ее подвезет.

— Но, правда,— добавила Кейт уже без колебаний, хотя и выдавая их причину,— она ко мне не слишком благоволит.

— Не думаю, чтобы это ее обеспокоило.— Хамфри счел, что они слишком уж оберегают щепетильность леди Эшбрук.— Она никогда не страдала особой деликатностью. Деликатностью сердца, имею я в виду. Возможно, вы это замечали.

— Меня она как будто терпит.— Селия сказала это без всякого тщеславия, а только с легким удивлением.— Я никогда не могла понять почему.

— Для вас это лишние хлопоты. А вам и без того их хватает,— сказал Хамфри, повернувшись к Кейт.

— Ерунда. Это я могу устроить левой рукой, с завязанными глазами.

Они заспорили, но и у Поля и у Хамфри хозяйство велось по-холостяцки, а Селия жила слишком далеко.

— Это потребует денег. Из своих вы ни пенса тратить не должны! — Хамфри редко говорил с Кейт таким категоричным тоном.

— У меня вполне хватит.

Но они запротестовали. Поль сказал, что оплатит все он. Они знали, что свободных денег у него больше, чем у них,— и солидное жалование в банке и собственное состояние.

А какой день выбрать? После воскресенья? В начале следующей недели? Или даже прямо в понедельник? Кого пригласить? Кейт была тверда, решительна, весела. Все колебания кончились. Не следует слишком ошеломлять старушку — они четверо и те знакомые, которые ей, по-видимому, более или менее приятны. И ее доктор. Но никого из живущих поблизости именитых реликвий 20-х годов, хотя леди Эшбрук, подумал Хамфри, возможно, была бы не прочь позлорадствовать на их счет, не сомневаясь, что они почувствуют разочарование, увидев ее еще живой. Затем Кейт объявила:

— Я приглашу Сьюзен Теркилл. И ее мерзкого отца.

— Сьюзен? — растерянно переспросил Хамфри.— Но я бы не сказал...

Он не мог сослаться на то, что услышал утром, однако и Поль и Селия прекрасно догадались, как вел себя Лоузби. Все трое чувствовали, что Кейт перегибает палку. Тем не менее она стояла на своем.

— Ей это может пойти на пользу,— сказала она.

— Жизнь все-таки не площадка для моральной гимнастики.— Хамфри рассердился на нее.

— Пусть посмотрит правде в глаза. И вообще заранее ничего знать нельзя.

Кейт словно утратила обычную практичность, не то затаив слабую надежду, не то что-то замыслив. Потом она сказала, что пригласит Алека Лурию.

— Леди Эшбрук его не выносит,— возразил Поль.

— И пусть. Это ей может пойти на пользу! — Она взглянула на Хамфри с вызывающей улыбкой.— Ему это будет приятно, и он придаст вечеру тон. Кроме того, он мне нравится и я хочу его позвать. Совсе не обязательно делать все по обычаю леди Эшбрук. Ей придется привыкнуть и к нашим обычаям.

На этом энергичном возгласе Кейт разговор закончился. Собственно говоря, на душе у них было и радостно и спокойно. Речь шла о мелочах, о самых простых прозаических приготовлениях, но их сплачивало общее настроение, согревало ощущение товарищества, словно они объединяли усилия ради какой-то более значительной цели.

В понедельник вечером у Лефроев леди Эшбрук была сама любезность. Ее сопровождал Поль, и она пожелала отправиться туда пешком: медленно, но держа спину совершенно прямо, она перешла площадь, а затем прошла почти до конца противопо-

ложной стороны. Хотя там не было никакой тени, она не раскрыла зонтик, а держала его в затянутой белой перчаткой руке, как на званом чаепитии в саду, игнорируя и солнце и прочие неудобства. Почти без едкости в голосе она предупредила Поля (такого тона он у нее еще никогда не слышал), что они должны прийти точно в шесть часов двадцать пять минут.

— Когда в вашу честь устраивают прием, следует приходить на пять минут раньше назначенного времени.— Затем она продолжала: — Надо признать, это очень предупредительно с их стороны. Полагаю, мне отведена роль почетного гостя. Хотя это несколько смешно. По-видимому, только потому, что я осталась в живых. Но, согласитесь, в мире, кроме меня, в живых осталось еще много людей.

Встретила их не Кейт, а Монти Лефрой, который уже ждал в дверях. Он торжественно ее приветствовал.

— Очень рад видеть вас у себя, леди Эшбрук,— сказал он, приподнимая и разводя руки напыщенным жестом. Держался он столь же величаво, как и Алек Лурия, хотя мало кто признал бы за ним право на это. Он стоял с таким видом, словно не сомневался, что его должен узнать всякий.

— Так любезно с вашей стороны пригласить меня, мистер Лефрой!

«Какая вежливость!» — подумал Поль, которому доводилось выслушивать ее мнение о Монти.

Они шли рядом с ней по лестнице, потому что она не пожелала, чтобы ее поддерживали. Кейт раздвинула складные двери, и ее гостиная стала такой же длинной, как у леди Эшбрук.

— Как поживаете, миссис Лефрой? — Леди Эшбрук наклонила голову.— Я как раз говорила вашему мужу, что вы очень любезны.

Кейт неуверенно улыбнулась и сказала, что хотела бы, пока не пришли остальные гости, усадить леди Эшбрук в кресло в дальнем конце комнаты. Там за окном виднелся ясень, росший в садике Лефроев.

— Селия, дорогая моя! — позвала старуха звучным голосом и подставила ей щеку.

Алек Лурия был встречен не столь ласково.

— Профессор Лурия, если не ошибаюсь?

Сьюзен Теркилл, расстроенная, замкнувшаяся в себе, держалась в стороне от леди Эшбрук. Но Хамфри с удивлением подумал, что выглядит она далеко не такой измученной, как в прошлый раз, когда он видел ее тут. Она разговаривала, хотя и не улыбалась, с одним из молодых людей, и Хамфри впервые заметил, что она действительно очень хорошенькая. Она вошла с отцом, и сторонние наблюдатели получили возможность любоваться, как Том Теркилл и Монти Лефрой соперничают, стараясь монополизировать леди Эшбрук. Однако ни тому, ни другому это не удавалось. Она взглядом подозвала к себе Хамфри и Поля.

Том Теркилл вскоре сам стал притягательным центром. Несмотря на то, что о нем писалось, а может быть, как раз благодаря этому молодежь собралась вокруг него. Он, казалось, ничем не был озабочен и блистал куда больше, чем в разговоре с глазу на глаз. Хамфри признал про себя, что Теркилл безусловно обладает качествами, которые присущи кинозвездам.

Поль заказал много спиртных напитков, но пили для лондонского званого вечера мало. По чистой случайности большинство присутствующих предпочитало от них воздерживаться: Монти — оберегая свое драгоценное здоровье, Лурия — по давней привычке, молодежь — потому что у нее были другие обычаи, так что Хамфри на этом фоне выглядел чуть ли не горьким пьяницей. Тем не менее вечер удался, а из-за дальнейшего надолго сохранился в памяти многих из бывших там.

Настроение леди Эшбрук несколько не было омрачено присутствием тех, кого она не одобряла или презирала,— Теркиллоу и этого еврейского субъекта, которого так почтительно слушают. Всю свою жизнь она умела не замечать им подобных. Раздражала ее общество сверстников и сверстниц — особенно дам, которые пользовались успехом в дни ее собственной юности. Они были напоминанием о неизбежности смерти. Но тут никто не вызывал у нее подобных мыслей. Динозавров не приглашать! Так решили Поль и Кейт, и их не пригласили. Как заметил Поль после конца их совещания, одного динозавра более чем достаточно.

Итак, Том Теркилл был центром кружка восхищающихся или любопытствующих (одно, впрочем, не исключало другого), Лурия вел глубокомысленный разговор с Мон-

ти Лефроем, леди Эшбрук весело беседовала со своими приятелями, и все были довольны. И — совсем уже редкость, как мог засвидетельствовать Хамфри, — леди Эшбрук даже предалась воспоминаниям, что не было у нее в привычках, поскольку прошлое, по ее мнению, принадлежало прошлому. Она заговорила о том, как в 900-х годах проводили время гости, приглашенные на несколько дней в чей-нибудь загородный дом.

— Я замечаю, — сказала она Полю, — что вы и ваши друзья всегда называете всех по имени.

— Чаще всего, — ответил Поль.

— С места в карьер.

— И даже раньше.

— В дни моей молодости этого еще не было, — сказала она. — Да и в ваше время тоже, Хамфри.

— Только-только начинало входить в моду.

— Трудно придумать что-нибудь более жуткое, чем эти поездки за город в конце недели. Они были невообразимо нудными. Сойти к завтраку в столовую значило обязательно наткнуться на поразительно нудных молодых людей — может быть, это моя фантазия, но, по-моему, воротнички у них всегда упирались в подбородки и они говорили друг другу: «Думаете пройтись, Постлуэйт?» — «Неплохая мысль, Катбертсон». И до конца своих дней они иначе друг друга не называли.

Леди Эшбрук с блеском передразнила манеру речи, когда-то принятую в кругах английской аристократии. Сама она вопреки мнению своих молодых знакомых сохранила от этой манеры только кое-какие интонации. Но Поль думал о другом. Раз она так склонна замечать современные обычаи, ей не следовало бы называть Кейт, с которой она хорошо знакома, «миссис Лефрой». Однако леди Эшбрук, хотя она строго соблюдала все правила вежливости и позаботилась о том, чтобы явиться точно в назначенное время, никогда не обладала ни малейшей деликатностью сердца, как назвал это Хамфри.

Леди Эшбрук была в прекрасном настроении. И большинство присутствующих тоже. В полную противоположность тому злосчастному воскресенью. Подописка этого была проста. Все здесь, кроме двоих-троих, у кого были собственные тревоги, глядели на величественную старуху в кресле без тягостного чувства, потому что ничто не тяготило ее.

Несмотря на жару, гости, словно пчелы, роились в дальней части комнаты, в нескольких шагах от кресел Тома Теркилла и леди Эшбрук. Температура повысилась, а с ней усилилось жужжание голосов. В общем шуме Селия смогла тихо поговорить с Хамфри так, что ему не пришлось покидать своего поста возле старухи.

— Получилось очень неплохо, — сказала она.

— Я рад, что мы это устроили, — ответил Хамфри.

Монти Лефрой, циркулировавший теперь по гостиной со снисходительным достоинством человека, уверенного во всеобщем почтении, их услышал. Своим красивым, звучным, хорошо поставленным голосом он сообщил им:

— Вы абсолютно правы. Я очень-очень рад, что мы это устроили. Я очень рад, что мы устроили это.

— Все сделала одна Кейт, — сказала Селия самым отчужденным своим тоном. Самолюбование действовало на нее не более, чем расчетливое обаяние.

— Она удивительная женщина! — Монти сказал это невозмутимо, как бы давая Кейт свое благословение. — Она всегда служила мне поддержкой. Большой поддержкой — Неужели? — Отчуждение в голосе Селии стало ледяным.

— Вы проведете давно обращенному, дорогой моя. — Монти вновь благословил Кейт. — Просто не знаю, что бы я делал без нее. — Он обратился к Хамфри и к другой теме: — Я беседовал с вашим другом Лурией. Очень умный человек. Я объяснил ему, что для решения любой трудной задачи необходимо иметь возможность не думать ни о чем другом, буквально ни о чем другом, по сорок минут в день. Казалось бы, немного, сказал я, но за всю интеллектуальную историю человечества наберется очень-очень мало людей, которым это удавалось. Крайне утомительно. И я замечаю, что с возрастом это становится все более утомительным. ~~И~~ ~~вер~~ ~~гает~~ в сон. Я сплю днем и ночью. Да, днем и ночью.

— А вы решили свою задачу? — Селия задала свой вопрос без всякого выражения, но отнюдь не невинно.

— Увидим. Увидим. Я думаю вскоре приступить к работе над моей книгой.

— И сколько времени она потребует? — Еще один вопрос без всякого выражения.

— Несколько лет. Тут спешка может только повредить. Книга будет очень короткой. Страниц двести. А если удастся, то и меньше. Чем короче, тем лучше. Я хочу изложить все, что мной продумано.

И, словно благословив их, он пошел дальше. Хамфри не принимал участия в этом разговоре. Он заметил, что Селия смотрит на него как будто с жалостью. То, что она затем сказала, словно ни с чем не было связано, словно случайно, вот сейчас пришло ей в голову. Она просто осведомилась:

— Вы хотите, чтобы что-то случилось? Так что именно? — Она смотрела на него ясными глазами, спокойно и дружески.

— В каком смысле — случилось?

— В том смысле, что вам недостаточно только сидеть и ждать, ведь правда?

Она была немногим старше его дочери, и подобный вопрос мог показаться наглым. Но он его так не принял. Ему показалось, что она знает ответ. Однако она вряд ли ждала от него ответа сейчас. Впрочем, даже разговаривая она наедине, скрытность и подозрительность помешали бы ему быть честным до конца. А потому он сказал:

— Я далеко вперед не заглядываю. Старый рецепт Сиднея Смита, как сохранить хорошее расположение духа: за завтраком не заглядывайте дальше обеда. Очень облегчает жизнь.

— Но всегда же это вас удовлетворять не будет, ведь правда? Меня бы это не удовлетворило...

Он сразу же воспользовался возможностью уклониться от разговора о себе.

— Значит, вы хотите, чтобы что-то случилось? Что же именно?

— Если бы я знала! — Она смотрела на него с полной искренностью, открыто, ничего не требуя. — Нет, я не чувствую себя несчастной. Я не склонна к депрессиям. Поль — пожалуй, но не я. Возможно, это придало бы энергии. Вот мне кажется, я хотела бы написать несколько по-настоящему хороших картин... но нет, мне не хватает увлеченности.

— Но вы ведь снова выйдете замуж?

— Знаете, я не уверена. Мне даже и тут не хватает увлеченности. — Она сказала это со странной детской улыбкой. Она цитировала себя и смеялась над собой. — Прошное мое замужество не слишком мне удалось, верно? И со мной не так просто ужиться.

— Ну, послушайте! Поль женится на вас хоть завтра.

— Конечно. Если решит, что я этого хочу или что мне это нужно. Поль — человек долга. Только я боюсь, что это будет плохо для него.

— Но вы же его любите? — Хамфри заметил, что говорит так свободно, словно они с Селией были когда-то мужем и женой.

— О да, я его очень люблю. Гораздо больше, чем он меня. Но я не убеждена, что мне подойдет образ жизни, который придется вести его жене. Что бы он ни говорил, а он создан для большой игры. Он может искренне верить, будто сумеет уклониться от нее, но я твердо знаю, что другого пути у него нет. А эту его будущую жизнь мне делить не под силу. Я вся сожмусь. Наши отношения — это одно, но ему скоро понадобится хозяйка дома. А на это я не гожусь. Это не для меня.

— Вы к себе несправедливы.

— Не думаю.

— Я бы сказал, что решать это должен он.

Она не искала утешения, и он не стал ее больше разубеждать. По-видимому, со своими трудностями она вполне справлялась сама.

Шум вокруг стал громче. Леди Эшбрук улыбалась самой надменной своей улыбкой — возможно, после особенно злокозненного сарказма, — и все вокруг ей аплодировали. Селия посмотрела Хамфри прямо в лицо и повторила просто, без малейшей иронии:

— Все получилось очень неплохо.

Примерно час спустя Хамфри шел через площадь к своему дому рядом с Алеком Лурией. Разговаривая с Селией, Хамфри высказал стоический совет не заглядывать далеко вперед, но сам он был не слишком склонен ему следовать. Лурия заметил, что не раз слышал, как Монти Лефроя называли затворником, но в обществе, которое они

сейчас покинули, он затворником отнюдь не выглядел. Было любопытно наблюдать, как он рассказывает по своей гостинной, распуская хвост.

Не заглядывать далеко вперед, возможно, и хорошо, но у Хамфри ничего не выходило. На Монти он смотрел отнюдь не столь отвлеченным взглядом и, наблюдая за ним, начинал мечтать о будущем и даже строил планы.

— ...распуская хвост. Явная мания величия. Например, как он откидывает голову — вы, наверно, замечали такое движение у тех, кто ею страдает?

— Может быть, — пробормотал Хамфри.

— С другой стороны, — задумчиво продолжал Лурия, — он ведь не вовсе пустое место. Что-то в нем прежде было. Вероятно, его считали многообещающим. А это не так уж приятно, если люди говорят вам, что вы способны на чудеса, а потом требуют их от вас. Среди моих школьных товарищей это было своего рода профессиональным заболеванием. Еще один рок, преследующий евреев. Он-то, конечно, не еврей — во всяком случае, не похоже, — но я мог бы показать вам немало таких, как он, в Гринвич-Виллидже, когда они еще там жили.

— Может быть.

— Женщины влюблялись в них без памяти. Собственно говоря, нет ничего удивительного в том, что Кейт в него влюбилась.

— Может быть... — Хамфри внезапно очнулся и сказал резко: — Она могла бы найти кого-нибудь получше. Все-таки было бы легче.

Лурия уже несколько раз закидывал удочку и теперь хотел поговорить со своим другом без обиняков. Однако, взглянув искоса на его хмурое, замкнутое лицо, он понял, что выбрал неподходящий момент.

Но один человек, Том Теркилл, умел не заглядывать далеко вперед — и не заглядывал. В политической жизни такая способность очень полезна, а часто и необходима. Иски были предъявлены, и сплетни поутихли. У «Осведомленного» хватило наглости повторить свою атаку. Это повлекло предъявление еще одного иска. Адвокаты Теркилла сказали, что в результате сумма компенсации удвоится. Пусть Теркиллу не хватало абсолютной уверенности в себе, пусть он чувствовал, что подвергается преследованию, но это чувство гнало в кровь адреналин, и он стал энергичнее обычного. «Господь, — сказал он своим коллегам, — предал их в руки...» Наблюдать, как враги шагают прямо в расставленную им ловушку, было очень приятно.

В четверг, еще до вечера у Кейт, — в день, когда леди Эшбрук получила помилование, — он произнес речь в палате общин на тему о валютном рынке, а тут он был настоящим знатоком. Речь вызвала в парламенте еще больше восхищения, чем обычно, — но только не у левого крыла его собственной партии. Это напоминало триумф актера. Для него не существовало ничего, кроме речи, аплодисментов, откликов в прессе на следующий день. Том Теркилл не заглядывал далеко вперед без всякого труда: это было заложено в самом его характере.

Ежедневник, в котором он отмечал дни и часы деловых встреч и приглашений, был испещрен записями, и это тоже гнало адреналин в кровь. И чтобы разделаться с одним светским обязательством, ему пришлось заглянуть на три недели вперед. У него была своя навязчивая идея — приняв чье-то гостеприимство, непременно отплатить тем же. Он был в долгу у Хамфри Ли за обед — Хамфри был ему совершенно не нужен, но долг следовало вернуть. Точно так же нужно было расквитаться с Кейт.

Теркилл спросил мнения своего главного политического советника и единственно-го наперсника. А вернее, советницы и наперсницы. Это была миссис Армстронг, Стелла Армстронг. Ее имя начинало приобретать известность во внутренних сферах Вестминстера. Она была ровесницей Кейт. И единственным человеком на земле, не вызывавшим у Теркилла наждачного осадка подозрений. С ней он становился почти простодушным и наивным. С некоторого времени в палате общин шли пересуды о том, каковы на самом деле их отношения.

Да, сказала Стелла Армстронг, раз он не успокоится, пока не расквитается с Хамфри и Кейт, то лучше так и сделать. Но не извлечь ли из этого обеда и некоторую пользу? Леди Эшбрук... теперь он с ней знаком — примет ли она его приглашение? Почти все его коллеги — редкостные снобы, они будут счастливы познакомиться с одной из последних великосветских дам. Кроме того, еще не ясно, как все обернется со Сьюзен. Она говорила так, словно Сьюзен была ее дочерью. Старуха могла поставить его на место, могла присоединиться к тем, кто подвергает его преследованиям, но Стел-

ла полагала, что он вытерпит гораздо больше, лишь бы добиться для Съезден того, чего она хочет.

Теркилл нахмурился, в его голосе появился наждак.

— Насчет старухи я не уверен,— сказал он, но тут же включил свою решительную боевую улыбку. А почему бы и не произвести впечатление на полезных людей? Тут любая мелочь может сыграть роль. Заранее ведь не угадаешь: возможно, скоро начнется распределение постов.

Значит, званый завтрак, постановила Стелла. Она слышала, что на обедах старуха никогда не бывает. Завтрак на Итонской площади физически ей вполне по силам, если она вообще согласится. Первый свободный день у него — пятница, 30 июля: заседания парламента можно не ожидать.

И вот приглашения были разосланы, и они с некоторым напряжением ждали ответа леди Эшбрук. Во всяком случае, Стелла Армстронг полагала, что Теркилл ждет его с напряжением, но к этому она привыкла.

9

Когда Хамфри проснулся утром в понедельник, через неделю после вечера у Кейт, между занавесками сияла узкая полоска солнечного света и в комнате веяло свежестью. Была половина восьмого, и на площади снаружи, как всегда, царил тишина. Он мог не торопиться с пробуждением и медлил минуту за минутой, привычно не заметив, как где-то далеко завели автомобиль. Затем послышался другой звук, довольно неожиданный в центре огромного города, — четкий, размеренный стук копыт идущей шагом лошади.

И этот перестук был привычен для Хамфри. Он успокаивал, пробуждал смутные воспоминания детства. В действительности же он говорил только об одном: пару полицейских лошадей приучают к лондонским улицам, а для этого выбирают самые спокойные районы вроде Белгрейвиш. Больше на третьем этаже ничего слышать было нельзя — разве что замирающие отголоски быстрых шагов мальчишки-почтальона с утренними газетами.

Хамфри никак не мог проснуться окончательно. Прохладный ветерок принес легкий аромат герани. Суббота и воскресенье прошли без происшествий: в субботу вечером ритуальное пиво с Алемом Лурией в уголке зала, такого же тихого и мирного, как всегда, в воскресенье обед со старыми друзьями в Ричмонде. И все. Светская жизнь и прежде его не слишком влекла, а теперь он совсем утратил вкус к ней. И этот понедельник у него ничем занят не был.

Он очнулся от дремоты, потому что в дверь постучали — один раз и тут же нетерпеливо еще и еще. Дверь открылась.

— Мистер Хамфри! Мистер Хамфри!

Рядом с его кроватью стояла миссис Бербридж, его экономка. Ей было за семьдесят, но она отличалась завидным здоровьем и невозмутимым спокойствием. Однако сейчас ее никак нельзя было назвать спокойной.

— Извините, мистер Хамфри. Но пришла эта иностранка, прислуга леди Эшбрук... Я ничего толком не могу у нее понять. Она спрашивает вас. Боюсь, с ее милостью что-то случилось.

— Что с ней случилось? — Хамфри сразу проснулся.

— Боюсь, она скончалась.

Больше миссис Бербридж ничего не знала. Она сумела только разобрать, что Мария спрашивает Хамфри и как будто хочет, чтобы он пошел с ней в дом леди Эшбрук. Хамфри сказал, что сейчас будет готов, и вскоре спустился вниз. Мария стояла в прихожей. Миссис Бербридж обнимала ее за плечи. Мария была крепкой молодой женщиной, довольно флегматичной. Она не плакала, но поглядела на него с явным облегчением и стремительно заговорила на своем родном языке. Насколько он уловил, она назвала что-то ужасным, а дальше он совсем перестал ее понимать. Пришлось попросить, чтобы она говорила медленнее: он ведь по-настоящему португальского не знает.

— Ее убили, — сказала Мария и перекрестилась.

Оба слова были ясными и иному толкованию не поддавались, но Хамфри не поверил. Инсульт, любая другая внезапная, но естественная смерть. Только не это.

Он начал с сомнением расспрашивать Марию. Почему она думает, что старую даму убили? Уверена ли она?

— Вы сами увидите,— ответила Мария ровным голосом.— Это ужасно. Ее голова! Ее голова!

Хамфри уже не мог сомневаться. И внезапно случившееся, как бывает в подобных случаях, обрело достоверность, стало чем-то само собой разумеющимся, словно абсолютно правдивое известие, которое он получил уже давно.

Когда Мария это обнаружила? Хамфри посмотрел на свои часы — почти восемь. Мария вошла в гостиную для утренней уборки. А она была там.

— Вы сами увидите,— повторила Мария.

Она попробовала позвонить в полицию. Она дозвонилась в участок, но не знает, поняли они ее или нет. По-английски она ведь говорит плохо, добавила она виновато. Поэтому она и пришла сюда. Она снова извинилась, что побеспокоила его, но надо же ей было кому-то сказать.

На редкость крепкие нервы, подумал Хамфри. Они прошли через площадь и минутой спустя уже были в гостиной леди Эшбрук. На крыльце Мария потянула его за рукав и предупредила, чтобы он был готов: очень нехороший вид.

В комнате над всем господствовал запах, который невозможно забыть. Он же был сильным — сладковатый, легкий. Если бы это был любой другой запах, а вернее запах, исходящий от чего-либо другого, он не показался бы таким всепроникающим и, может быть, остался бы почти незамеченным. Если бы он исходил от чего-либо другого, он, возможно, даже не показался бы тошнотворным. Есть немало приятных запахов, таких же сладковатых, таких же гнилостных.

Потрясенный этим запахом, Хамфри в первое мгновение увидел комнату словно сквозь туман. Занавеска на одном окне была отдернута, комнату озаряло солнце, но на миг его глаза отказались видеть. Перевернутые стулья, выдвинутые ящики, лампы и подносы на полу. Его оглушило, точно опоздавшего гостя, который входит в комнату, когда веселье уже в полном разгаре. Боковым зрением он уловил, что некоторые картины сорваны со стен. Но не Буден и не Вламинк. Затем, а может быть и сразу, он увидел леди Эшбрук. Смятение чувств улеглось. Он смотрел, и запах становился все сильнее. Она лежала перед своим креслом, которое было опрокинуто набок. Ее юбка задралась, открыв колени — костлявые шишки на худых ногах. Голова ее была приподнята над плечами, поддерживаемая снизу чем-то скрытым от Хамфри. На ковре запеклась кровь. Небольшое пятно, точно опрокинулись рюмки с вином. Брызги крови — их он осознал не тогда, а позже — испещряли мебель вокруг и стену позади. Грушевидные капли. И комочки чего-то белого. Но ничего этого он не осознал, потому что смотрел только на ее голову. И не мог отвести глаз. Ее лицо было повернуто к нему и к двери. Глаза вытаращены, рот широко открыт. Но ошеломило его не это. В ране на ее виске что-то шевелилось. Может быть, уже личинки. Но и не это приковало его взгляд. Над волосами от макушки до лба, выдаваясь на несколько дюймов вперед, висел деревянный брусок. Не точно над серединой лба, а правее и немного наклонно. Словно какой-то новоизобретенный головной убор... Нет, словно новая часть человеческой головы — это и гипнотизировало.

Мария рядом с ним опять перекрестилась. И только гораздо позже, когда уже приехали врачи, Хамфри понял, что смотрел на рукоятку молотка, который вместе с другими инструментами для мелких починок всегда лежал в ящике рядом с креслом леди Эшбрук. Молоток, пробив череп, ушел в мозг, и над головой загибались только рожки гвоздодера.

Хамфри все еще не мог пошевелиться. Наконец он заговорил.

— Ну... — сказал он Марии, употребив самое расплывчатое из всех многозначных междометий.— Ну, помочь мы ничем не можем. Я сейчас позвоню.

Перевели с английского И. ГУРОВА и О. КРУГЕРСКАЯ.

(Продолжение следует)

ПУБЛИЦИСТИКА

ЮРИЙ АЗАРОВ,
доктор педагогических наук



ТРУДНЫЙ СЛУЧАЙ

На XXVI съезде КПСС наравне с экономическими вопросами широко обсуждались и проблемы всестороннего развития советских людей, в особенности молодежи, школьников. В материалах съезда как бы дан идеал советского человека, в котором гармонически сочетаются социальная и трудовая активность, физическое и нравственное совершенство. И как важно сейчас умело и углубленно решать те задачи, которые вывинуты перед народом, школой, семьей, обществом. Как необходимо правильно сочетать коллективные и индивидуальные методы воздействия на сложный мир современного молодого человека. Как важно избежать ошибок, бережно относиться к становлению человеческого характера, учитывать возможную ранимость детской души.

«Трудный случай» — публицистическое исследование известного педагога Юрия Азарова. Оно построено на исключительном факте. Но именно это обращение к реалю для нашей школьной практики ситуации помогает автору выявить те просчеты в нравственном воспитании, которые отнюдь не всегда лежат на поверхности, мимо которых мы, случается, проходим не замечая.



Сашке Пушкине рассказывали так.

Шутник, весельчак, всегда что-нибудь переиначит: себя Пушкиным первый назвал, потому что отчество у него было Сергеевич! Даже учителя некоторые к доске вызывали: «А ну-ка, Александр Сергеевич». И Сашка никогда не обижался. Выскакивал решить задачку (обязательно при этом что-то падало, гремело). Щелкал мелом по доске (когда что-нибудь заковыристое было) так, что у всех мозги набекрень лезли. Сашка никогда в главном не ошибался — в одной руке тряпка: тут же стирал и писал заново. И математик Владимир Павлович (ехидна, по мнению класса, каких свет не видывал) расцветал, но обязательно прибавлял:

— Такая умная голова — и такому... — Учитель всматривался в лица своих питомцев и ждал. И когда кто-нибудь шепотом договаривал, математик пожимал плечами. — Ну зачем же так?! У Александра Сергеевича действительно голова! Так соображать и так бездельничать, как Пушкин, — это надо уметь... Помню, был у меня приятель... — И следовал рассказ о загубленных способностях: либо спивался этот приятель, либо в черное дело утождал. Одним словом, все эти истории так и били рикошетом по Сашке. А придраться было нельзя.

И Сашка садился за парту. В упор глядел на математика, и тот не выдерживал: — Опусты глаза! Кому говорю, опусты глаза!

А Сашка не опускал. Точно цепенел от своего собственного взгляда. И губы едва шевелились (никто не знал, что он произносил про себя), и плечи чуть-чуть вздрагивали. И тогда математик срывался:

— Вои! Вои из класса!

И Сашка позволял себе некоторую роскошь — спокойно, совсем спокойно, размеренным шагом, подчеркивая свое достоинство, покидал класс.

Такое случалось не часто: математик, в общем то, хорошо относился к Сашке и постоянно говорил об этом. Но об одном случае есть смысл рассказать. Владимир Пав-

лович считал себя ярким поклонником Макаренко, ругал Сухомлинского за «слонтяйство» и ни единого шага не предпринимал без соответствующей инструментовки своих действий. Даже на свои микродвижения он нанизывал теоретические построения. Одно из таких движений его «педагогической души» стало причиной острого конфликта. Дело было так.

Владимир Павлович на уроке сделал Оле Прутиковой замечание:

— Не подсматривай.

— Я не подсматриваю,— ответила Прутикова.

— Оленька, ты не лезь в бутылочку,— ласково успокоил ее учитель.— Ты ведь в горлышко не пролезешь... (Оля, самая полная девочка в классе, стыдилась своей полноты.)

Девочка покраснела, а Владимир Павлович, наслаждаясь, продолжал:

— Тебе не бутылочка нужна. Как, ребята, называли древние греки сосуд такой большой?

Вот в этом подключении ребят к нравственной экзекуции и заключалась суть его методики. Класс дружно кричал:

— Амфора!

— Совершенно верно. Тебе амфора нужна, Оленька. Вот найдем амфору, посадим тебя в нее и закупорим, так, ребята?

— Так! — кричали, смеясь, дети, все, кроме Сашки.

Смеялась и Оля: редко так ласково обращался к ней, слабенькой по математике, учитель. Одним словом, всем было хорошо. А Сашка вдруг как с цепи набросился на Ольгу:

— Ты-то чего рукавичку разинула? Над ней издеваются, а она...

И на этот раз Владимир Павлович выяснять ничего не стал: выгнал Сашку с урока. И началось разбирательство. Долгое. С вызовом к директору. С приглашением матери. С обсуждением на комитете. И ребята и Оля были на стороне Владимира Павловича. Оля доказывала, что ее оскорбил Сашка, а не Владимир Павлович. Даже друг Сашкин Женя Соляров после обсуждения заметил товарищу:

— Ты что, хочешь лучше других быть?

Сказать, что класс не любил Сашку, нельзя. Сашка простаивал часами у касс, чтобы достать билеты на всех в театр или кино. Сашка мог отдать часть своей макулатуры ребятам, тащить лишний рюкзак в походе. Ему, правда, не доверяли проводить всякие там КВН, но он всегда лез, суетился, помогал: чего-то рисовал, придумывал. Одним словом, был какой-то особой пружиной класса. Все в нем было противоречиво: все работало вроде бы и на него и одновременно против. Шутки нравились не всем; так как они были иной раз слишком злые, то кто-то затаивал обиду. Не могли некоторые простить ему и той легкости, с какой он шел по всем предметам: вечно он все знал, вечно чего-то выкапывал — и даже это оборачивалось против него. Отвечает, скажем, кто-нибудь по истории. Стоит у доски, с горем пополам вяжет свое учебное лыко так, что спать всем хочется от скукоты. А учитель возьми и подыми Сашку. И Сашка такие вещи открывал, что учитель заслушивался, а тот у доски стоял как пень — ужасно невыгодная для него позиция... А учитель еще и подбавит: «Вот так надо знать предмет!» — и влепит пару тому, кто у доски. И тот сверкнет ненавидящим взглядом в сторону Сашки... А класс в это время еще и зашумит:

— Екатерина Ивановна! Вы бы Пушкину пятерочку поставили бы!

— Ну что вы, ребята, у него же нет систематических знаний. Ему и четверки достаточно. Так ведь, Пушкин?

— Мне все равно,— ответит Сашка. А в душе ему так обидно. Так нужна ему эта пятерка по любимому предмету!

Мишенью Сашкиных насмешек стало в последнее время повальное увлечение класса вещами: джинсами, кофтами, поясами, дисками. Когда Сашка начитался Лема, Брэдли, Стругацких, он облек свои остроты в некий философский набор отрицаний. А когда на Сашку находило, он забывался. Импровизируя, он вытаскивал из памяти то, что было схвачено и подсознанием услышано как бы невзначай. Входя в раж, он рассекречивал интимное, высвечивал низкое, обличал наотмашь.

— Нет, милые,— обращался он к девочкам, — ни за одну из вас я замуж не пойду, потому что променяли вы духовные ценности на шмотье. Обмещанились, должны вам сказать. Загорюстанлись. Вот пришла новенькая, а ей экзамен — хватать за штаны: «Это кримплен?» «Кримплен», — отвечает новенькая. «А это батник?» — «Батник». — «На-

стоящий?» — «Настоящий». — «Внизу застегивается?» — «Застегивается...» — «Ну тогда садись с нами».

— Ладно, хватит тебе выступать, — говорили ребята. — Ты что-нибудь новенькое про Наполеона вякни.

Было ли увлечение Сашки такими личностями, как Наполеон, Суворов, Цезарь, чисто историческим или имело еще и какую-то честолюбивую нравственную подоплеку, сейчас трудно сказать. Но сам факт его необычного интереса был связан, возможно, с какой-то его собственной тайной. В тринадцать лет провести сравнительный анализ двух книг Тарле и Манфреда, постоянно думать о личностных причинах успеха внешне ничем не выдававшегося бедного корсиканца (Сашка был самым маленьким в классе), вникать в тонкости отношений императора с кликой верноподданных — что бы это все значило? Может быть, таким образом Сашка утверждался в среде ребят, вызывая к себе своими рассказами... В Сашке жил антиквар, исследователь, фантазер. Он сам научился высекать счастливые искры из запыленных книг. В нем клокотала потребность не только воспроизводить в своем уме, но и воссоздавать для других целые миры прошлого. В нем жил удивительный рассказчик, увлеченный, тонкий, неприязнительный. Сашка нуждался в общении. Эта болезненная потребность поделиться с другими и на этой основе найти духовного сообщника определяла многое в его характере: щедрость, взаимовыручку, готовность рисковать для других. И хоть он к восьмому классу и был у всех притчей во языцех (чуть что: «А, это Пушкин! Да кто, кроме Пушкина»), все же о нем говорили с оттенком уважения. Были у него свои заслуги перед школьным обществом. Имел он какие-то права на свой независимый нрав. Это иногда раздражало. Каждый считал долгом его воспитывать, переиначивать.

Однажды сама директор пришла в класс и сказала при всех:

— Нет, мы из тебя сделаем человека! Сделаем, дорогой! — И обратилась к ученикам: — Вот при всех обязываю тебя, Пушкин, докладывать два раза в месяц на педсовете о своем поведении...

— А с какой стати? — рассмеялся Сашка.

— Ну, кто ему объяснит? Кто хуже всех ведет себя на уроках?

— Я, что ли? — разозлился Сашка.

И так как Сашка не умел злиться, то это движение вышло у него крайне неловким, и класс рассмеялся. А директор тут же нашлась:

— Не будем с тобой, Пушкин, в посмешищах ходить... Мы еще им покажем. Покажем ведь? — обратилась она к Сашке. Но Сашка сник, точно дух из него весь вышел. — И мать не станем больше вызывать. Незачем старую и больную женщину беспокоить, — продолжала директор. — Пожалеем ее.

Именно при этих словах Сашка будто бы растерялся, смешно как-то повернулся, его худенькие плечики задергались, а из глаз покатались слезы... При виде такой картины дети вновь было рассмеялись. Но поняв, что с Сашкой творится что-то неладное, притихли. Директор же продолжала:

— Ну вот хоть ты мать свою жалеешь, а кто-то говорил, что у тебя вообще сердца нет, будто ты извергом растешь.

Трудно сказать, чем бы кончилась эта неприятная сцена, если бы неожиданно дверь не распахнулась и пожилая нянечка не позвала директора срочно к телефону.

Как Сашка был благодарен в тот день Люде Гуровой, которая догнала его за школьным двором: вместе прошлись по улице, поговорили. В тот день он сказал Люде: «Какая у тебя мама красивая. Я сначала думал, что сестра».

У Сашки была старенькая, заботливая, несколько странноватая мама. И кто-то Сашке брякнул однажды на улице: «Не мать она тебе». И запомнил Сашка. И почему-то стыдился матери. Может быть, потому, что мать его одевалась попроще других матерей. Как-то запала ему в душу картина. Мать шла в школу. Поскользнулась, чуть было не упала. Уборщица успела подбежать, а ребята из класса расхохотались. И Сашка почувствовал, что ему надо бы помочь матери первым, да не смог почему-то, стыдом все тело сковало. А мать всю душу в Сашку вкладывала, все ему отдавала.

Каждый приход Сашкиной матери в школу, даже на родительское собрание, был для него пыткой.

Знал ли Сашка, как чувствовала себя его мать в школе? На последнем родительском собрании сидела худенькая Сашкина мама, и все почему-то считали долгом требовать, поучать эту старенькую, по всей вероятности добрую женщину. И все наступило

пали на нее, обвиняли в безответственности, говорили, в общем-то, правильные слова, намекали на то, что Сашка мешает их детям осваивать материал. И эта маленькая женщина сидела в уголке, и непонятно было, то ли она беззвучно плакала или тихо улыбалась. И никто из присутствующих не оборвал этот поток правдоучений, хотя в лицах отдельных родителей и мелькали некоторые добрые искры сочувствия. Но в этой школе почему-то сложилось мнение у родителей: будто стоит выступить против какой-нибудь несправедливости — и вся эта критика так сразу и отразится на ребенке. Потому помалкивали, хотя такого правила не было вовсе, ибо и директор и учителя каждый раз призывали к самой острой критике и самокритике, конечно, безо всякой там демагогии и критиканства.

И Сашкина мама была невероятно, как благодарна, когда в темном коридоре, на самом выходе ее остановила одна родительница и полупшепотом сказала:

— Если бы вы знали, как я завидую, что у вас такой прекрасный сын. Да-да. Ведь он же у вас талантливый, необыкновенно талантливый мальчик. Понимаете, он необычный. А необычному в школе трудно. Везде трудно.

И заплакала Сашкина мама, может быть, оттого, что ей горько стало слушать здесь, в коридоре, эти слова сочувствия, а может быть, в знак благодарности к этой возвышенно-прекрасной женщине... А мимо бегут и бегут другие родители. Бегут, точно ничего и не было: подумаешь, невидаль какая — собрание.

И дома Сашкина мать не стала отчитывать сына. А, напротив, обняла его лохматую голову, как тогда, когда умер отец и оставил их сиротами. И Сашка душой ощутил тревожность материнского одиночества и спросил, высвобождаясь из объятий:

— Ну чего там еще?

Мать тяжело вздохнула и ничего не ответила.

...А через три дня, перед самым Новым годом, Сашка покончил с собой...

Что-нибудь произошло в эти три дня?

С точки зрения многих взрослых — ничего особенного. С точки зрения учащихся — они и сейчас не могут понять, как это случилось. С точки зрения Сашки? Но тут мы бессильны: он молчит и смотрит на нас, улыбаясь хитрыми подмигивающими глазами с множества фотографий.

Конечно, было и расследование. Сразу после участкового к старенькой Сашкиной матери пришли директор с учителями, и Сашкина мать смотрела на педагогов, точно виновата была перед ними, и, ни слова не сказав, дала им подписку, что не имеет никаких претензий к школе, и еще просила, чтобы ребята не приходили на похороны (пусть запомнят они своего товарища живым и веселым, каким он был в жизни), — и снова Сашкина мать точно улыбнулась, и только когда ушли педагоги, упала на диван и заголосила.

А в классе шли уроки, шла елочная предновогодняя суета: было необыкновенно весело, хотя осадок, конечно, оставался у учителей где-то подспудно. Говорят, и некоторые ученики из класса не пришли на праздник, потому что болела голова, а у двух девочек даже поднялась температура.

Эффект суженного сознания — таким термином медики обозначили психологическое состояние здорового человека, которому все вдруг опостылело и который пришел к выводу: жить невозможно.

Такого рода неаргументированные решения приходят иногда в старшем подростковом и юношеском возрасте.

Почему суженное? Что это — неумение и неспособность охватить всю полноту причинно-следственных связей? Мир клином сошелся на трех-четырех неудачах, которые, как правило, имеют привычку этак дружно выстраиваться в один ряд, да еще в одно и то же время?

Я спросил у психиатра:

— А что, дети, которые делают такую страшную попытку, здоровы ли они?

— Здоровы, — ответил профессор. — Как правило, здоровы. Хотите поговорить с ними?

И я встретился с теми, кого удалось спасти. О, конечно, им теперь кажется все несусветной глупостью.

Одна девочка даже причину не могла привести: «Ну повздорила с парнем...» Другая: «Да нет причин, если не считать, что родители выругали...»

Эффект, конечно, очень суженный. И вместе с тем все это не так просто. То,

что для нас кажется мелочью, в глазах ребенка предстает масштабно, глобально непоправимо. По силе эмоций, по тревожности и глубине впечатлений, писал о подростках А. С. Макаренко, по чистоте и красоте волевых напряжений детская жизнь несравненно богаче жизни взрослых. Но ее колебания поэтому не только великолепны, но и опасны.

В чем опасность? Только в одном. И прежде всего в этом самом эффекте суженного сознания, когда великолепие эмоций оборачивается губительным действием.

Может быть, и причина Сашкиной трагедии таилась в позитивных характеристиках: повышенное чувство собственного достоинства, абсолютная нетерпимость к различного рода принижениям, удивительно прекрасное и беспомощное донкихотство. Ведь тогда в истории с Олей Прутиковой он возненавидел девочку больше, чем Владимира Павловича. И за то, что она стремилась сама унизиться перед учителем, была прямо-таки счастлива, как казалось Сашке, что ее оскорбляют. Это ей он написал записку со словами Некрасова: «Люди холопского звания — сущие псы иногда: чем тяжелей наказания, тем им милей господя».

А что же говорили о причинах педагога?

— Нет-нет. Саше было хорошо в коллективе. Перед этим случаем, — говорила директор, — он участвовал в нескольких мероприятиях: ездили на экскурсию, помогали малышам готовить утренник, проводили конкурс.

— А не допускаете ли вы мысли, — спрашиваю я у директора, — что ребенок может жить в коллективе и испытывать постоянное острое одиночество?

— Я, простите, не поняла вас.

И она действительно этого не понимает. Не понимает того, что коллективизм не есть просто быть вместе. Коллективизм прежде всего духовное единство.

— Конечно, — говорят девочки, — если бы в школе ему было хорошо, этого не случилось бы. Мы заметили некоторую его взволнованность, но мало ли что... Кто бы мог подумать?

Спрашиваю:

— А часто, если вы видите товарища взволнованным, спрашиваете: «Что с тобой? Может быть, тебе помочь?»

Пожимают плечами:

— Да нет, как-то не принято.

А ведь коллективизм именно в этом, и прежде всего в этом, должен проявляться. Социальной нормой является более широкое действие: подойти к любому человеку, на лице которого отразилось страдание, взволнованность...

Каких-то особых конфликтов у Сашки, по мнению взрослых и детей, не было. Разве что двойку ему вклеили, можно сказать, ни за что (забыл учебник по географии и задание выполнил на бумаге не того формата) — так это с кем не бывает...

За четверть века работы с детьми я сталкивался с такого рода трагическими случаями — и чаще всего это были дети впечатлительные, яркие, болезненно восприимчивые к любому самому незначительному оскорблению, а точнее принижению их человеческого достоинства. В трагических ситуациях чаще всего оказываются хорошие ученики. Главная причина: незащищенность ребенка (я исключаю случаи неудачной любви, болезни), принижение его достоинства, духовное одиночество, разобщенность в той среде, в которой живет ребенок. Действие этих причин может быть растянуто во времени, а сигналом, когда сознание суживается до безвыходности, может оказаться самое незначительное замечание. Например, реплика, ставшая для одной десятиклассницы роковой, была такая: «Жанна, ты, по-моему, распустилась...» Именно эти (в другой ситуации безобидные) слова были той каплей, которая привела к трагедии.

Беседую со школьным врачом.

— На редкость здоровый мальчик. Я постоянно ему об этом говорила.

— А вы не могли ошибиться?

— Ну что вы, с такой фамилией, почти Пушкин.

— А может быть, у мальчика переутомление? Или психическое расстройство?

— Ну а кто из детей этого возраста не перегружен? Школа хорошая. Требования высокие — сами понимаете!

Замечу, статистика почти не подтверждает трагических случаев в летнее каникулярное время.

Итак, обозначились причины: перенапряжение, принижение достоинства, разобщенность — вот предпосылки этого проклятого эффекта суженного сознания.

То ли глаз выхватывает именно то, что необходимо сердцу, то ли чистая случайность подстерегла меня именно в том месте, где я оказался. Застигла меня эта чистая случайность врасплох, напомнила, повела за собой, ткнула мою физиономию в ту единственную необходимость, которая именно сейчас нужна была мне, чтобы не заглохло во мне то, что так беспокоило в последние дни.

А беспокоило сильно, как-то нелепо заявляя о себе, делая меня виноватым в чем-то. Виноватым и перед моей совестью и перед теми усталыми учителями Волгоградского района Москвы, которым я читал лекцию о гармоническом развитии детей и вдруг стал рассказывать о Сашке, о его трагической судьбе.

И вот после лекции в грустном состоянии я вышел из здания школы с двумя учителями.

Напротив школы на территории детского садика на улице Скрябина я увидел странное сооружение. Это была совершенно необычная скульптура, напоминающая огромный ствол дерева, украшенная лепкой и увенчанная фигурой веселого мальчика. Я присмотрелся. На огромном постаменте были фигурки, лица и опромные буквы — весь алфавит.

Была метель, мне неловко было задерживать учителей, и все же я приостановился и спросил:

— Что это?

— Понимаете, произошел трагический случай: утонул мальчик. И отец в память о сыне построил этот фонтан.

— Отец? Он скульптор? — Я всматривался в памятник: в нем не было безвкусицы. В это незатейливое сооружение было вложено человеческое чувство. И страдания не было, скорее великодушие застыло в одном прекрасном мгновении: весело скакали буквы, точно кричали «запомните нас», детские головки шаловливо играли щечками (очевидно, струи воды разбрасывали перед собой), и крепкий малыш на самом верху был полон спокойной радости. Одним словом, ничего не напоминало о трагическом. И только зная о самом факте, можно было задуматься о случившемся.

— Отец его — завхоз этого садика, — пояснил учитель.

— И этот ребенок был воспитанником садика? — спросил я.

— Да.

Мне очень хотелось оставить провожатых и зайти к родителям, поговорить с ними. И в этом желании я ощутил нечто мелкое, праздну-любопытное. Я каким-то десятым чувством понимал, что все, что есть вокруг: и эта метель, и этот памятник, и ровный, совершенно спокойный голос учителя (точно он рассказывал о самом обычном, ну, скажем, о вновь отстроенном клубе или о разбитом сквере) — все это было делом естественным, стало нормой для этих людей — жителей микрорайона. А вот мое намерение зайти в детский садик, поговорить с матерью и отцом погибшего мальчика показалось мне какой-то нелепой бестактностью, нарушением этой ровной и внутренне напряженной естественности. Я знал, что потом непременно вернусь к этим людям, непременно увижу играющих детей у этого прекрасного фонтана летом.

Я рассказал об увиденном опытному дошкольному методисту, человеку тонкому, образованному.

— Я понимаю вас, — мило улыбнулась Инна Ивановна. — Вас поразила эмоциональная сторона этого факта. Но программой дошкольного воспитания в достаточной мере предусмотрены мероприятия, которые должны обеспечивать (так и сказала: обеспечивать. — Ю. А.) эмоциональную сторону формирования личности. И перенасыщенность просто ни к чему. Да и вообще нельзя, чтобы жизнь наших детишек проходила под эгидой трагизма.

Я попытался было возразить, хотел сказать, что дети, возможно, и не знают, что здесь произошел трагический случай, что в память о мальчике сооружен этот фонтан.

— Нет-нет, — уверенно сказала Инна Ивановна. — Это же живой укор всем. Как можно вынести такое? Это все равно что водить детей на кладбище. Нельзя смерть делать фактором воспитания. Надо ограждать детей от смерти.

— Простите, а разве детям мы не читаем о смерти Гавроша, о смерти Мальчиша-Кибальчиша?

— Книжная смерть — это совсем другое. Это необходимо. Да и разница здесь огромная. Там героическая смерть за большое дело, а здесь? Несчастный случай. Дети должны проходить школу чувств на другом материале.

— Но жизнь ведь не согласовывает с нами свой материал,— попытался я возра-
зить.

— А на что мы — воспитатели, методисты? Наша задача отобрать материал, кото-
рый непременно будет воспитывать ребенка в нужном нам направлении.

Все вроде бы правильно. И в этой правильности (отструганной и обтесанной: она
как береза с обрубленными ветками — до жалости ущербна) своя беда, свой трагизм
неполюбовности, своя убогость мышления. Дело в том, что Инна Ивановна была дей-
ствительно добрым и мудрым человеком. Прекрасный педагог, широкий кругозор, зна-
ние искусства, человеческой культуры. Нет, ортодоксальности в ней и в помине не бы-
ло. Просто она была обладателем именно такого способа мышления, который вызывал
у меня протест.

Как-то я разговорился с другим человеком.

— А в чем вы сомневаетесь? — спросил у меня Андрей Петрович, учитель лите-
ратуры. — Вас же это тронуло, что-то оставило в вашем сердце. И меня поразил сам
факт отношения к детской жизни.

— Да, но необычно,— робко сказал я.

— Ну а почему, собственно, все должно быть запрограммировано, формализовано?
Если, как вы говорите, этот памятник не безвкусица, то для меня он больше значит,
чем Бахчисарай. Бахчисарай мы воспринимаем как памятник культуры, а этот как память
о живом ребенке. Наша духовная бедность иной раз сказывается и в том, что мы
боимся печали. Мы бедны в своей скорби. Наши возможности порой настолько малы,
что мы оказываемся несостоятельными должниками перед ушедшими от нас. Может
быть, поэтому нас и устраивают трафареты.

Меня затронула его позиция, и я спросил:

— Ну а какво самим родителям, воспитателям?

— Мне кажется, что родители этим своим отношением сумели приподняться в
своей человечности. Здесь, конечно, сказала прекрасная духовная сила людей. Какое-
то приобщение к возвышенному. Чтобы выполнить такую работу, надо немало сил —
душевных, физических. Редкий человек на такое способен. Нет, здесь область истинно
духовного.

Итак, два способа мышления, два отношения к трагическому. Кстати, замечу, что
об Инне Ивановне говорят: «Очень образованна и, знаете, без этих самых интеллигент-
ских загибов». А об Андрее Петровиче можно услышать и противоположное: «Прек-
расный словесник, но, знаете, несколько эстет. «Евгения Онегина» ребятам подавал через
блики лунного света, через белый снег... Нет, что-то в нем сдвинуто...»

Итак, два талантливых человека: один с очень здоровым нутром, а другой якобы
с трещинкой, с вывертом.

Я не берусь присоединяться ни к первому, ни ко второму. Больше того, мне в чем-
то близка Инна Ивановна. Близка в одной своей ориентации на оптимизм. Я тоже
склонен думать, что минорные интонации по своему удельному весу должны занимать
меньшее место в сравнении с мажорными.

Но позиция педагога-словесника мне ближе: она точнее и глубже во всей своей
очевидности.

А теперь вернемся в Сашкину школу.

Пытаясь понять причины трагического случая, я невольно столкнулся с детским
увлечением Сашки. Предметом его внимания была Люда Гурова. Нет-нет, не она была
причиной гибели мальчика. Напротив, она, может быть, была единственным человеком,
которая постоянно смягчала удары, наносимые Сашке судьбой.

Она была и оставалась его хорошим товарищем. И в этом отношении Сашке по-
везло. Конечно, и в их отношениях были какие-то трещины, но это ведь дело обычное!
Во всяком случае, Сашка всегда знал, что Люда на его стороне, что она не осуждала
его, когда он, хлопнув дверью, вышел из класса, не осуждала, когда он нагрубил дирек-
тору, потому что поступила директор не совсем справедливо.

Когда я ее впервые увидел, она была вся в голубом. Длинные стройные голубые
ноги (колготки, разумеется), коротенькая голубенькая плиссированная юбочка,
легкость фигуры. Узкая салатно-голубая кофточка, ладно пригнанная, подчерки-
вала изысканность рук, плеч (чуть-чуть корпус откинут назад, немного удивления в фигу-
ре, едва заметная демонстрация своего изящества). И длинная белая шея, и поворот
головы, пристально-настороженный взгляд, когда говорит со взрослым (вся на чеку, пла-

тельно продумывает и подбирает слова), и раскованность, когда со сверстниками (хочет, но не хохотунья, резка бывает до грубости, но никого не обидит), и выдают ее всю с головою глаза и брови (такие брови называют в книжках нервными, чуть вздернутыми, а в глазах глубоко-глубоко спрятаны смятение, боль). А может быть, мне все это придумалось, потому что я смотрел на девочку сквозь призму происшедших событий. И я не мог избавиться от своей собственной какой-то виноватости — эта виноватость преследовала меня, и я чувствовал, что Люда это понимает. И так понимает, что будто даже и одобряет. Конечно, я все это придумал, но именно под таким знаком состоялась наша первая встреча с ней.

О Люде сложилось в школе противоречивое мнение. Одни говорили, что она несносна, груба, дерзка, другие — что она заботлива и нежна. Ей многое прощалось, так как она прекрасно училась и завоевала себе редкое ученическое право говорить так, как велит сердце, и заставлять при этом других (и взрослых и детей) прислушиваться к своим суждениям. Даже когда взрослым не очень приходилась по душе иная резкость отличницы, никто не решался ее срезать, как можно было срезать, скажем, Сашку или какого-нибудь другого ученика. Нет, ей просто замечали: «Ты уж слишком, Люда!»

Люда никогда не устраивала шума из-за мелочи.

В ней как-то странно сочеталась мягкость с какой-то вольной, незлобной мятежностью. Она часами могла играть с малышами, точно испытывая острую потребность реализовать свою, очевидно, рано пробудившуюся материнскую энергию, свою, в самом хорошем смысле этого слова, человеческую сентиментальность. Был такой случай. В пионерскую комнату кто-то из девочек швырнул малыша, швырнул и, изогнувшись, выткнув губы, раскрасневшись, закричал: «Ах ты гаденыш, ты еще кусаться!» Малыш глотал воздух точно в последний раз. Он слова от испуга и обиды не мог вымолвить. Только и слышалось: «А че... А че... А че...» — что означало на его языке: а чего она лезет... Люда мгновенно отстранила старшеклассницу, обняла малыша. И что любопытно, этот малыш не отстранился, как должно было произойти (не терпит мелюзга, когда их девочки тискают!), а, наоборот, прилип к ее рукам и разразился очистительными слезами и плакал, пока совсем не успокоился.

Мне говорила классная руководительница о сложности характера Люды: с одной стороны, знает жизнь, а с другой — настолько наивна, что поражаешься, как уживается эта наивность с такой кажущейся зрелостью. Она верит в то, что всех людей можно очень быстро переделать: достаточно рассказать им, что им невыгодно жить нечестно. (Употребление слова «невыгодно» в таком контексте меня прямо-таки поразило: и в этом сказался ее противоречивый характер, эта склонность объединять совершенное, идеальное с практически приземленным.)

— Как же это сделать? — спрашивал я.

— Очень просто. Надо рассказывать всем. Надо, чтобы все в один день объяснили всем, что поступать бесчестно — невыгодно и бессмысленно.

Была в ней какая-то удивительная настырная сила правдоискательства. Каким образом появилась в ней эта энергия, каким образом она возникла в ней, мне и до сих пор остается неясно.

Это она, Люда Гурова, попала в совершенно трагическую ситуацию. Это ее спас Сашка со своей матерью, когда она в одной рубашке убежала в зимний день от своего расsvирепевшего отца.

Это ей, Люде Гуровой, стало невозможно жить, когда неожиданно пробудилась в отце дикая подозрительность, заитрала в его глазах какая-то ошалелая пьяная сила, и он стал чуть ли не каждый день пытаться дочь: да с кем была, да когда была, да где была? И все — с оттенком сверяюще-уточенной оскорбительности. Поначалу мать защищала дочь, а потом мало-помалу перешла на сторону отца. И когда родители объединились, Люда не выдержала, сорвалась и выпалила:

— А я уже беременная. И рожу. И уйду от вас.

И тогда отец ударил. И ударила мать. И вдвоем набросились на дочь...

Это она скажет потом родителям о своей ненависти к ним. Это она напишет заявление прокурору города, но не отправит в самую последнюю минуту, потому что жалко станет родных, бросится она со слезами на глазах к Сашкиной матери, выплечется и уйдет к себе домой: пообещали отец с матерью больше никогда ее не трогать. «Тронете — больше не увидите», — сказала им дочь...

Сашкину классную руководительницу звали Екатерина Ивановна. Ее он одновременно и жалел и недолюбливал.

Жалел за то, что она больна была какой-то серьезной болезнью (ходили слухи, что неизлечимой), за то, что у нее ничего, кроме класса, не было: раньше всех приходила в школу и позже всех уходила. И еще жалел за что-то такое, чего сам понять не мог. Потому и крутился возле нее: то сумку домой отнесет, то в очереди простоят, то класс уберет по доброй воле своей.

Зная Сашкин строптивый характер, никому и в голову не приходило обвинить его в подхалимаже.

А недолюбливал Сашка свою наставницу за ее изысканную бестактность. Эта бестактность ему подавалась под видом такого пошнотворного благороделья, что Сашка места себе не находил.

Екатерина Ивановна вела любимый Сашкин предмет — историю. Уж бывало, когда Сашка по полчаса дополнял так, что все рты раскрывали и потом шумели: «Ну поставьте ему пятерочку», Екатерина Ивановна стояла на своем.

— Дружба дружбой, а служба службой, — говорила она, подчеркивая свою справедливость, — не могу поставить пять. Конечно, Саша знает материал, но знания у него отрывочные.

Все вроде было бы правильно, если бы не другие факты. Ибо кое-кому Екатерина Ивановна все же ставила пятерки и за слабые ответы, ставила просто так, для поддержки духа. Всем, кроме Сашки.

И еще он не любил в учительнице то, что она словно бы выжимала из ребят любовь к себе. То анкету придумает, то сочинение проведет на тему «Мой любимый предмет», или «Мой идеал учителя», или «Чем мне дороги учителя родной школы?».

Эти сочинения для Сашки были пыткой. Он знал, что Екатерина Ивановна ждет благодарности: жаждет, чтобы все написали, что она самый лучший педагог, что ее главные черты — щедрость души, высокая идейность, доброта, требовательность.

Щуплый Сашка на этих сочинениях сам не свой. Иногда дурачком прикидывался: «А чего писать?», «А у меня ручки нет». А иногда заводился так, что Екатерина Ивановна вынуждена была потом беседовать с ним наедине. «Я тебе все отдаю. А ты такой неблагодарный. Ну как ты мог?..»

Екатерина Ивановна была прямым антиподом Владимиру Павловичу. Если педагогическая позиция Владимира Павловича основывалась на искривленном представлении о Макаренко (потому и привлечение коллектива к воздействиям оборачивалось грубой авторитарностью, а так называемый мажор выливался в едкую насмешку, а требование, оторванное от доверия, неизбежно переходило в педантичное принижение достоинства детей), то воспитательное кредо Екатерины Ивановны зиждилось, как она говорила сама об этом, на гуманистической концепции Сухомлинского. «Я сердце отдаю детям, — говорила она, повторяя слова великого павышского учителя, — а вы пришли в школу без цветов. Я вас люблю так, как, может быть, никто вас никогда любить не будет, а вы забыли своего учителя...»

В учительской, на родительских собраниях она твердила о необходимости чуткого и доброго отношения к детям с такими приторными интонациями, что слушающих слегка поташнивало: они не знали, куда прятать глаза, не знали, как остановить этот бестактно-вымогательский поток человеческих излияний.

Класс Екатерины Ивановны считался правофланговым: здесь всего было больше — и макулатуры, и мероприятий, и пятерок. Здесь было больше всего маршрутов, походов, соревнований, конкурсов. По всем классным мероприятиям здесь была тщательно составленная картотека, и в любое время можно было получить обстоятельную справку. На всю эту работу уходила бездна времени. До седьмого класса Сашка безропотно участвовал в ней, а в седьмом сказал:

— Зачем это все?

Тогда Екатерина Ивановна отчитала Сашку, а теперь что-то в душе у нее дрогнуло, что-то забилося, точно новая вина перед Сашкой открылась. Действительно, зачем вся эта показуха? За оголтелой суетой, за громкими словами, за шумихой и соревновательным ажиотажем терялось главное: человек, отношение к ребенку.

И дело здесь не в обилии мероприятий, а в таком укладе школы, когда ложный пафос начинает доминировать в воспитательной практике и становится способом вытеснения подлинных духовных ценностей.

Что-то меняется местами, что-то теряется, где-то образуются провалы — и в ко-

нечном итоге серьезное превращается в фарс, в скуку, приглушаются чувства, способность сострадать. Не случайно Сухомлинский настаивал на том, чтобы воспитание осуществлялось не только на одном мажоре. Мир полон человеческого страдания, и с этим страданием так или иначе столкнутся наши дети. Доброта, нравственные ценности проявляются не столько при столкновении с мажором, сколько с человеческим горем. И с уходом человека из жизни.

Смерть человеческая, когда она рядом, не может пройти бесследно для окружающих. У смерти своя жестокая бескомпромиссность. Она становится для окружающих тайным пластом их собственного самочувствия. И никакое стремление избавиться от этого пласта каким-то увлекательным способом не спасает человека. Сама природа мстит за неуважение к смерти. Смерть всегда рождает комплекс вины, от которого невозможно избавиться. И, наверное, поэтому человечество создало обряды и обычаи для поминок ушедших, чтобы эти поминки, возможно, становились и собственным очищением ныне живущих, поминающих.

Если человек не ощущает этой вины перед погибшим — нарушается нравственный закон ответственности за все живое на этой земле. Наверное, научить детей понимать все это должно стать альфой и омегой человеческого воспитания, воспитания уважения к человеческой жизни. Вот почему, каким бы трагическим ни был случай, с которым столкнулись дети в коллективе, задача сделать максимум и для памяти погибшего и для его родных и близких становится наиглавнейшей.

Когда Екатерина Ивановна через полтора месяца предложила ребятам пойти на кладбище, кто-то сказал:

— А зачем?

Она сбивчиво стала говорить о том, что надо отдать последний долг товарищу, о том, что человек должен помнить близких. Подростки слушали, молчали. И это молчание было непонятным, точно они протестовали против всего, что говорила учительница. Так оно и случилось.

На кладбище пришли четыре девчонки, у всех остальных ребят были уважительные причины: уроки музыки, секции, кружки.

Была и такая отвратительная сцена.

Комсорг класса Вера Синичкина пришла на стадион, где собралась мужская половина класса играть в футбол.

— Ребята, — обратилась Синичкина, — Екатерина Ивановна зовет всех: надо на кладбище ехать.

— А белые простыни приготовили? — кто-то бросил из ребят.

— Нам рано еще на кладбище, — сказал другой.

— Скажи, что мы позже подъедем, — сказал третий. — Вообще что-нибудь скажи ей. Знаешь, так хочется поиграть.

...Четыре девочки, учительница и Сашкина мать стояли молча на кладбище в смятении, в тишине. И Екатерина Ивановна крепко сжимала руку Сашкиной матери и все время твердила: «Держитесь же, держитесь...» И Сашкина мать держалась как могла.

И здесь Екатерина Ивановна, это она потом поняла, вела себя не так, как надо. Она загоняла боль внутрь. Она не дала ни себе, ни детям выплакаться очистительными слезами, открыто и свободно излить свое горе на Сашкиной могиле, а может быть, сказать какие-то добрые слова о нем.

Потом, много дней спустя, Екатерина Ивановна признается с отчаянием и возмущением:

— И мне, старой дуре, осталось жить-то сколько... Так какого же рожна я должна лгать себе, другим?! Почему я не могу признаться и сказать всем: да, мы тоже виноваты в его смерти?

Скажет это у себя дома, а на следующий день, уже в школе, будто забудет о сказанном: захлестнет ее волна новых дел, забот, неувязок.

А после того памятного дня на кладбище пришла она в свой класс и пристально заглядывала ребятам в глаза (виноватость искала!) и молчала, а вот заговорить о самом случае нравственного ЧП не смогла.

На Сашкиной могиле еще нет ни памятника, ни ограда. Глиняный холмик чуть-чуть взялся подсохшей коркой. У торца холмика табличка с портретом. На ней свежей краской написано: «Саша Пушкин. 1964—1978 гг.». Сашка смеется с фотографии, будто

нет и не должно быть печали на этой весенней земле. А рядом, сливаясь с небесной синевой, ажурная зыбь оживших берез, кружевные наряды рябины, сирени. Крохотные листочки вибрируют, поблескивая нежной клейкостью.

Здесь, видя все это, я ощущаю тревогу за тех ребят, одноклассников Сашки, так быстро забывших его: смогут ли они вырасти полноценными людьми? Впрочем, не совсем так. Все, видимо, намного сложнее. Их «забывчивость», будто запыленный хлам, прикрывала вдруг чистый родничок детской нравственности. И только духовно-нравственным прикосновением другой человеческой души можно снять вдруг выросшее холодное безразличие, нравственную инертность.

Если этого не сделать, то всякое наслоение на эту «забывчивость» будет неизбежно формировать эмоциональную глухоту, а может, и цинизм.

Я вспоминаю историю, когда один из школьников утонул. Ничего не бывает страшнее смерти ребенка. Вина, ответственность, страдание взрослых — невыносимо тяжело. Дело даже не в юридическом наказании, которого в данном случае не последовало. Педагог, столкнувшийся с таким случаем, оказывается травмированным на всю жизнь. Чувство вины неотступно преследует его. Но даже в такой трагической ситуации педагоги этой школы сделали все возможное. Учителя вместе с детьми трудились два дня, чтобы заработать на памятник, вместе провожали в последний путь своего друга, вместе плакали, вместе горевали: не было в школе в течение нескольких дней ни музыки, ни песен, ни веселых игр.

Все это нормы, предусмотренные нашей моралью. Преступить их — значит безжалостно убить нравственное начало.

Конечно, в той сложной трагической ситуации, когда все дышит несчастьем, горем, потрясением и когда рядом ни в чем не повинные дети, беззаботные, счастливые, так склонные к «забывчивости», которых так трудно сдерживать и которых надо сдерживать не просто словом-приказанием, а буквально прикосновением к детским душам обнаженной болью сердца, — в этой ситуации все необыкновенно трудно.

Требуется такая отдача человеческого участия, подлинности волнения, самого высокого движения, поступка, какие нельзя запрограммировать заранее. Как искреннее большое чувство рождает непременно хорошее доброе слово, так и высокое движение души, если оно на самом деле высокое, найдет способ выразить себя в подлинно гуманистическом поступке. Как прекрасный педагог-словесник доводит до сердца смысл героической смерти литературного героя, так и подлинный воспитатель оказывается способным проявить свою настоящую человеческую духовность в тот момент, когда в детский коллектив или семью школьника пришло горе.

Здесь многое, очень многое зависит от ориентации учителя. Когда у Сухомлинского в рабочем плане школы я прочел о том, что кладбище может стать воспитателем ребенка, что несоблюдение траура является величайшим кощунством, для меня эти вечные, известные нравственные аксиомы были своеобразным открытием. Ибо я до этого всем своим педагогическим развитием был ориентирован на воспитание мажором: больше радости, больше игр, больше веселья, оптимизма.

Макаренковская установка «нечего с детьми всякую грусть разводить» прочно сидела в моем педагогическом сознании, и новую ориентацию я сначала не мог принять. Идея «здоровой психологии» человека, идея ликующего коллектива, шествующего под фанфарные марши к ближней, средней и дальней перспективам, диктовала определенные правила теоретической и практической педагогике.

В этой системе «всеобщего ликования» почти не оставалось места для уважения к человеческому горю, страданию, одиночеству, а тем более — к смерти. Смерть была делом дозволенным только для отдельных, исключительных лиц. Герой должен был умирать непременно за большую социальную идею — умирать красиво, мужественно, чтобы такая смерть была в чем-то и привлекательной, чтобы она тянула в своей образцовости на положительный пример, чтобы она вдохновляла на подвиг, на новую смерть, на величественные свершения. Такая смерть, ориентированная на мажор, была делом дозволенным, и такую смерть приветствовала педагогика.

Всякая иная смерть на почве личных страданий была делом «не нашим», пожалуй, актом индивидуалистическим.

...Мой знакомый педагог, узнав от меня о трагическом случае, встретился с товарищами Сашки, заговорил о нем.

— Дурак, — сказал один.

— С точки зрения теории вероятности здесь все по закону,— начал разглагольствовать другой.— На десять тысяч человек один наверняка не выдерживает.

Психология этих ребят педагогу не показалась очень уж здоровой: от их оптимизма несло ущербностью. Ему хотелось сказать им, что так могут рассуждать только подонки. Но он сдержался. Они почувствовали его тревожность, засуетились. Стали о чем-то спрашивать. Он молчал!

Он видел, как «переигрывались» их установки под его укоряющей пристальностью, как сползал с их лиц дряблыми хлопьями их примитивный оптимизм.

— Конечно, жалко Сашку,— сказал первый.

— А вы знаете,— сказал второй,— у нас одна девчонка сделала такой вывод: «Мы все виноваты в его смерти». Вы считаете, что она права?

— Без чувства вины не может быть ответственности,— ответил педагог,— как не может быть коллектива без сострадания.

Мой знакомый хотел было им рассказать еще о сострадании, хотел объяснить, почему сострадание выступает как антипод зла, почему оно является величайшим законом человеческого бытия, развития человеческой гармонии, но они перевели разговор вскоре на легкую музыку и на любимую тему о джинсах, о спорте, о технике...

Сашка стыдился многого: и своей матери, и своей одежды, и своей внешности. Стыд ведь никогда не заклинивается на чем-то одном, в особенности ложный.

Кто знает, может быть, этот ложный стыд и сузил Сашкино сознание. Во всяком случае, в этом я убежден, ложный стыд в чем-то сделал мальчику жизнь невыносимой.

У него были явно завышенные притязания. Его питательной средой были великие люди: Наполеон, Суворов, Амундсен, Пржевальский. Его любимые книги — о безграничных возможностях человека. Художественное воображение и богатая фантазия создавали образы самые привлекательные. Все это вступало в противоречие с теми возможностями, которыми располагал Сашка. Он хотел быть либо первым, либо никаким. «Если я знаю, что я займу на олимпиаде второе, а не первое место, я туда не пойду»,— говорил он.

Сашка ходил в старых, залатанных брюках. Мать пыталась купить ему новые, но Сашка не разрешал. А однажды сказал:

— Мне нужно сто восемьдесят рэ.

— Для чего? — спросила мать.

— Купить джинсы. Американские. «Вранглер».

— Ну где же взять такие деньги?

И все же мать достала деньги для Сашки, но было уже поздно. Те джинсы, которые должен был приобрести Сашка, были куплены другим.

А однажды мать застала сына за тем, что он штопал старый пуловер.

— Купил у товарища,— пояснил Сашка,— всего за пять рублей. У них собака Джини разодрала этот пуловер...

Мать обняла сына.

— Отнеси ты ему эту вещь. Отдай, не позорь себя, сыночек...

И Сашка отдал, а мать достала вскоре такой, почти такой же свитер.

Сашка ходил в одной рубашке: синей в клеточку. Однажды девчонки ему сказали:

— Что, у тебя больше рубашек нет?

Сашка поначалу смутился, но, верный себе, нашелся и перевел разговор в шутку:

— А представьте себе, их сто штук, и все одного цвета. Точно так же у меня сто штанов, сто трусов и сто маек.

Вспомнил я Ушинского, который обрушился на благородных девиц, надушивших его шляпу. Обрушился, возмущенный их бестактностью. «Ведь вы же здесь специально изучаете нравственность, а не знаете того, что портить чужую вещь духами или другою дрянью неуместно!.. Не каждый выносит эти пошлости! Наконец, почему вы знаете... может быть, я настолько беден, что не имею возможности купить другую шляпу... Да куда вам думать о бедности! Не правда ли... ведь это... совсем унижительно!»

Мне понятны нравы благородных девиц, развращенных в стенах пансиона. Но откуда у наших девочек 14—15 лет такое представление, когда девчонка не в

шутку, а всерьез заявляет: «Я полюбила его за то, что у него несколько фирменных джинсов». Или: «Он понравился мне, потому что таких дисков больше ни у кого нет». И этот вещевой ажиотаж нередко поощряется семьей.

Сашка ненавидел вещи, потому что они разобщали, разъединяли, сеяли вражду, обижали: все это он не сформулировал, но как-то по-своему почувствовал. Потому и не любил школьные вечера, куда можно было приходиться не в форме. Потому и забирался в эти вечера на самую верхотуру, в кинобудку, и оттуда следил за всем происходящим: за девчонками в длинных, фантастически прекрасных платьях, в ярких брюках, за соперниками в кожаных куртках, в истертых до самого современного лоска джинсах...

Ах, не понять всего этого учителям!.. Как быстро люди забывают свое детство, теряют остроту ощущений, горькую взволнованность совершенно несбыточных притязаний! Ложный стыд? А может быть, не ложный? Может быть, вообще — не стыд? А нельзя ли сыграть в такую игру: отсутствие материального — это и есть духовное... А так ли это? Нет, конечно, не так. Ребенок создан для красивых вещей. Они ему нужны, чтобы приобщиться к другим. Ну что же делать, если вещи обладают способностью приобщать.

Разве невольно не располагаешься к человеку, если его одежда соответствует вашим вкусам, всего лишь вашим представлениям о стандарте, норме? Как хотите это назовите. Одежда — визитная карточка человека. Потом может быть другое. Но мало ли что потом... Да и то у взрослых, а у подростков... Нет, здесь все четко.

— А я не могу с ним рядом стоять,— говорит девчонка. (И все из-за одежды: ей стыдно.)

Нечто подобное Саша Пушкин слышал постоянно. Разве такое легко перенести, если нет жизненного опыта? Если нет того свойства, которое противостоит стыду,— гордости! Обыкновенной человеческой гордости.

И здесь дело не только в одежде. Еще и манеры, соответствующие одежде. Еще и акценты. Вкусы. Разговоры. И все это подростками схватывается мгновенно. За два-три часа, по моим наблюдениям, 50—60 только что приехавших из разных городов подростков рассортировались по «малым группам», которые, как правило, отражали общность образовательного, демографического и прочих уровней. Потом, конечно, кое-что переигрывалось. Но то потом. А первоначально расклады обозначались жестко избирательно. И неизвестно как с лидерами, но с отвергнутыми зачастую решалось изначально.

Меня как педагога эти явления всегда волновали с точки зрения позиции «как быть?». Для себя я определил одно неизбывное правило: непременно говорить с детьми о том, что их волнует. Снимать тяжесть. Повышать человеческий статус. Укреплять чувство человеческого достоинства. И запретов на разговоры быть не должно. Я размышлял с детьми и о нужде, и о том горе, какое может выпасть или уже выпало на семью человека. Иногда я говорил робко, иногда с иносказанием, иногда читал стихи на нужную тему.

Мне приходилось занимать и такую позицию.

Скажем, читая Бернса, именно такие строчки, как «кто честной бедности своей стыдится и все прочее, тот самый жалкий из людей, трусливый раб и прочее», я рассказывал о том, что духовная сила — ничем не заменимая ценность. Ах, как приятно мне было раздонкихотствоваться в среде детей! Как приятно было возгордиться и своей бедностью, и своей шальной уверенностью в свою собственную звезду, и забыть наедине с ними о всех своих неудачах, о горьких тайных слезах, обо всем, что могло бы как-то снизить уровень моего педагогического донкихотства... И как я, конечно, бичевал при этом пороки, как ненавидел жирную сытость, с какой сатирической ненавистью я воспроизводил перед детьми картины с откормленными, лоснящимися, в складках затылками — и всякую отвратительную всячину... И как это моим милым подросткам нравилось. И тот, кто был недостаточно обеспечен (а у меня было много таких детей: работал в интернатах), как-то приподымался в своих глазах. И потом старался быть чище, лучше, точно найдя свои богатства, дрожал над ними, приумножал их. Детям нужен духовный со товарищ, духовный сообщник, духовный соучастник их жизни, их переживаний, их тревог!

Размышляя над короткой оборвавшейся Сашкиной жизнью, над опасными треволениями Людэ Гуровой и над десятками судеб разных подростков, чья жизнь

была на волоске от катастрофы, я неожиданно пришел к поразившим меня выводам.

Во-первых, по крайней мере во время своего этого исследования я избавился начисто от комплекса вины перед теми детьми, о которых я так или иначе писал. Мне казалось, что на этой теме должен лежать запрет, да, обыкновенный человеческий запрет. Запрет из самых этических соображений: нельзя живым напоминать о смерти. Нельзя человеческую смерть, тем более смерть ребенка, эксплуатировать как средство раскрытия каких-то специальных проблем. Нельзя близким погибших напоминать о трагическом случае. Нельзя никого травмировать и прочее. Этих «нельзя» было предостаточно. Но потом, после беседы с профессором, я установил, что неизбежность детской смерти действительно сопутствует жизни детских коллективов.

Один из врачей, специалистов в области соматической психологии, заметил:

— Это закон. Медицина часто бессильна. Вот сейчас три часа дня. И среди живых и здоровых подростков несколько ребят размышляют о смысле жизни... Все дело случая...

Другой подтвердил, третий стал развивать патологическую идею эффекта суженного сознания, который, по его мнению, был своеобразной ячейкой, через которую проходит большинство.

— Иногда ячейка зауживается настолько,— пояснил мой собеседник,— что становится для ребят роковой петлей...

Все эти объяснения меня как педагога не устраивали, потому что они не объясняли и, следовательно, не помогали устранить причины...

Нет, не устраивала меня медицинская гипотеза смерти подростка. Я видел в этом явлении этико-педагогическую сторону.

Забегая сразу вперед, хочу сказать о выводе, к которому я неизбежно должен был прийти, а именно: взросление неразрывно связано с раздумьями о двух полярных явлениях — смерти и возможностью реализовать себя. Познание смысла жизни невозможно без проникновения в смысл смерти.

Для ребенка возможность смерти — открытие. Как логический вывод оно созревает в подростковом или в юношеском возрасте. Как эмоциональное решение закрадывается в сердце ребенка в раннем детстве — в семь-восемь лет. Мы, взрослые, тщательно, конечно, не задумываясь, чуть ли не изо дня в день готовим ребенка к познанию смысла смерти. Готовим, когда рассказываем сказки с убийством зверей, злодеев. Когда рассказываем героические истории. Когда показываем трагические картины. Когда включаем экран трагических сюжетов. Когда показываем мир гибели природы. Когда выхватываем из жизни смерть живых существ. Когда на глазах детей умерщвляем животных, птиц, рыб. Когда уничтожаем вредных насекомых. Мы легкомысленно безответственны в своем приобщении детей к трагическим явлениям жизни. Мы радуемся эмоциональной реакции ребенка, когда после нашего рассказа («А он как даст, так сразу и умер!») губы его начинают вздрагивать, а из глаз выкатываются крупные слезы. И не подозреваем, что в этот момент закладываем в подсознание детей своего рода программу, которая будет давать о себе знать до самых последних дней жизни человека.

В этот период ребенок осознает и самоценность своей жизни. Он начинает понимать, что он для родителей — самое дорогое существо, и чисто эмоционально готовит (множественно) самые тяжкие наказания для своих родителей: свою собственную смерть, которую он преподнесет им за незаслуженные обиды. Ах, как иногда дети любят рисовать в своем воображении картины собственных похорон! И это только воображение, потому что практика не знает случаев, когда бы малыши отваживались на такой страшный акт возмездия.

Второй период осознания себя через право на смерть проходит в подростковом возрасте. Здесь эмоциональное сливается с логическим, тем опаснее становится этот момент жизни человека.

Большинство людей взрослых, занимающихся умственным трудом, с которыми я говорил, подтвердили предположения о том, что мысль об окончании жизни приходила им в подростковом или юношеском возрасте. И почти все отметили, что этот период острых исканий самого себя даже через трагическое заканчивался к восемнадцати — двадцати годам.

Нет, не правы профессор медицины и его коллеги. Предотвратима любая катастрофа! Как бы ни хотелось произносить те нужные сокровенные слова в банальном

оформлении — необходимо говорить с подростками о ценности человеческой жизни, о смысле человеческой смерти, гибели, трагическом исходе, подвиге, кончине. Ибо удержать отчаявшегося подростка может только человеческий голос, идущий от человеческого сердца.

Как много надо сказать подросткам о том, что жизнь дарована именно ему Великим Волшебником Природой, что великий грех (не надо бояться этого слова) втаптывать в землю этот прекрасный природный дар.

Как важно поведать детям о том, что уходящая жизнь — всегда трагедия для других, главным образом для самых близких (а не для врагов — враги, возможно, и обрадуются!).

Как важно добиться, чтобы дети пришли к пониманию, что высшее счастье — это просто быть, чувствовать, видеть, мыслить, дерзать, терять и находить!

Как важно своевременно увидеть назревание катастрофы в глазах подростка, в его движениях, в его словах, как важно научить товарищей прислушиваться к биению пульса своих друзей, чтобы прийти на помощь, чтобы не оставить в беде.

Это чистая педагогика, способная снять возможность появления эффекта суженного сознания.

Говорить с детьми о нравственности, не затрагивая коренных проблем этики, — лучше вообще не говорить. Назначение человека, смысл жизни, действие и самосовершенствование до последнего вздоха и, наконец, бессмертие — вот те пределы, в рамках которых должны быть объяснены подросткам их повседневные тревоги. Не касаться этих проблем значит оставить детей в том состоянии нравственной неразубуженности, в которой многие из них пребывают, уже став взрослыми людьми.

Разговор с Сашкиными одноклассниками я начал с каких-то оговорок и извинений.

— Я не сомневаюсь, что вы меня поймете, — сказал я, — хотя, возможно, кое-что может показаться вам оскорбляющим память вашего товарища. То, что я скажу, не принадлежит мне. Я просто объясню вам то, что сформулировало для себя человечество. Я хотел бы рассмотреть сам факт случившегося как бы в двух плоскостях. Первая — чисто теоретическая. — И тут, взяв томик Канта, я стал фактически комментировать его такие высказывания: «Лишение себя жизни есть преступление... Уничтожить в своем лице субъект нравственности — это то же, что искоренять в этом мире нравственность в самом ее существовании, потому что она в человеке, а ведь лицо есть цель сама по себе; стало быть, распорядиться собой просто как средством для любой цели — значит унижать достоинство человечества в своем лице... которому ведь и был вверен человек... для сохранения».

Я говорил о том, что человек является самоцелью, что его назначение — жить, действовать и сохранять себя (Спиноза), что назначение человека, его смысл жизни, счастье — в борьбе (Маркс), что величайший закон человеческого бытия — благоговение перед всем живым (Швейцер). И наконец подвел снова ребят к первоначальной мысли: «Лишение себя жизни есть преступление».

— Но совсем по-иному, — продолжал я, — все это развивается в самой жизни.

И тут я стал говорить и о тех противоречиях, которые вдруг человеку кажутся безвыходными, и об эффекте суженного сознания, и о необратимости явления.

— Понимаете, когда я узнал о случившемся, первым делом обвинил себя... Я через некоторых ребят вашего класса знал о складывающихся не совсем нормальных отношениях в коллективе и не набрался смелости, чтобы вмешаться в ваши дела. Конечно, никто из нас не знал и не предполагал такого исхода, и все же этот факт что-то приоткрыл: не так мы живем, не так относимся друг к другу... Ради бога, не думайте, что я хочу вас подвести к некоему признанию собственной вины. Нет, вы ни в чем не повинны, как не повинны и те взрослые, с кем общался Саша. Хотя мы, взрослые, не сможем снять с себя вины. Мы долго говорили с Екатериной Ивановной (она тут же сидела со слезами на глазах), которая остро переживает свою вину, ей необыкновенно тяжело, и ей просто необходимо помочь.

Девочки на последней парте стали о чем-то переговариваться, и я, не удержавшись, спросил:

— Вы что-то хотите спросить?

И тогда одна из них приподнялась и сказала:

— Мы долго говорили и раньше об этом, и мы не снимаем с себя вины. Мы виноваты в Сашиной смерти. Мы видели, как он метался в последние дни.

— А потом, он был самым справедливым и самым честным среди всех нас. А мы еще пытались его переделывать.

Ах, этот удивительный подростковый нравственный максимализм! Стоит ему чуть-чуть прорваться, едва обозначиться, как он становится тут же неумным и может мгновенно сыграть двойную роль: всколыхнуть добрые чувства, разбудить нравственное начало и может обуглить то доброе и светлое, что есть в детях.

Как важно избежать последнего! Как важно своевременно избавить детей от того, чтобы они не пошли по линии ненависти, самоуничтожения, озлобленности. То, что дети заговорили горячо и правдиво, задело самые лучшие мои и Екатерины Ивановны человеческие струны, оттого и пошло все дальше хорошо и ладно.

— Самое главное, ребята, что вы понимаете свою вину. И как мы выйдем из этого трагического случая — благородными и честными или мелко-ничтожно-трусливыми — в этом сейчас главный вопрос. Забыть товарища, вычеркнуть его из жизни своей — это такая же подлость, как предать живого. Поэтому если мы сделаем все, чтобы сохранить память о Саше, это и будет наш человеческий долг. И пусть этот долг совершит каждый, кто чувствует потребность в его совершении. — Тут я рассказал о школьниках, которые на заработанные деньги поставили товарищу памятник, украсили могилу цветами, не забывали родителей погибшего мальчика.

— Однако,— продолжал я,— нельзя из этого факта делать очередное мероприятие по подписке. Кто сможет, тот будет участвовать в этом, а кто по каким-либо причинам не сможет, не надо его заставлять... Я тут говорил с одним вашим родителем, он засомневался: «Откликнутся ли сами ребята на такое дело?»

Снова поднялись девочки и сказали, что напрасно сомневается этот родитель, что такая мысль уже была у класса.

— Хочу коснуться еще одной темы,— сказал я.— Эта тема может показаться вам несколько необычной. Но я верю в то, что она не покажется вам странной. Я хочу несколько слов сказать о ценности человеческой жизни, о бессмертии человека. Самое ценное на земле — человеческая жизнь, это понятно. И ценность ее, мне кажется, именно в бессмертии. Народы, семьи, отдельные люди неизбежно гибнут, агонизировали нравственно, если забывали свое прошлое. Бессмертие наших предков и в том, что они нам дали жизнь, что они сделали возможным сохранить наше существование. А наше бессмертие будет в том, что мы дадим другим это человеческое право, в том, что мы сохраним себя и в добрых поступках и в добрых сердцах. И Саша бессмертен, потому что мы непременно сохраним его в нашем сердце и память о нем передадим нашим детям и внукам. Мы запоем его улыбку, все то хорошее, что было в этом удивительном мальчике. И снова я должен извиниться перед вами, что говорю как бы не своими словами. Перед тем как идти к вам, я прочел заключительную сцену из романа Достоевского «Братья Карамазовы», где дети вместе с Алешей встретились у могилы своего товарища. Что меня поразило в этом трагическом кусочке романа? Вся эта сцена написана Федором Михайловичем удивительно светло и, я бы сказал, жизнеутверждающе. Я вчитывался в слова Алеши, всматривался в реакцию ребят и как-то жестко понимал, что сам бы ни за что не был способен на такую «лучистость» духа. Хотите, я прочту вам эти слова?

— Прочтите! — закричали ребята так дружно, что я сразу ощутил: сложный рубеж скорби, вины, сострадания оказался позади. У детей, у меня, у Екатерины Ивановны как будто наступило то радостное ощущение, без которого не может быть нравственного обновления.

— «Согласимся же здесь,— начал читать я спокойным голосом,— у Илюшина камушка, что не будем никогда забывать — во-первых, Илюшечку, а во-вторых, друг об друге. И что бы там ни случилось с нами потом в жизни, хотя бы мы и двадцать лет потом не встречались,— все-таки будем помнить... его... всю нашу жизнь. И хотя бы мы были заняты самыми важными делами, достигли почестей или впали бы в какое великое несчастье,— все равно не забывайте никогда, как нам было раз здесь хорошо, всем сообща, соединенным таким хорошим и добрым чувством...» А вот теперь,— прервал я чтение,— Достоевский сформулирует главную мысль своей педагогической философии. Послушайте эти слова: «Знайте же, что ничего нет выше, и сильнее, и здоровее, и полезнее впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание, и особенно вынесенное еще из детства, из родительского дома. Вам мно-

го говорят про воспитание ваше, а вот какое-нибудь этакое прекрасное, святое воспоминание, сохраненное с детства, может быть, самое лучшее воспитание и есть... И даже если и одно только хорошее воспоминание при нас останется в нашем сердце, то и то может послужить когда-нибудь нам во спасение...»

Была тишина в классе.

Лица были сосредоточенные. И — красивые. Будто ветер коснулся их, обжег одним, общим для всех переживанием.

Что бы я ни делал в последние месяцы: писал или читал лекции, общался с педагогами ли, с детьми, разбирался в новых историях или читал книги, — меня неотступно преследовала мысль о Сашке, его учителях, сверстниках, матери. Трагический случай был для меня своего рода стетоскопом, с помощью которого я прислушивался к себе и к другим, к своим собственным отрицаниям и утверждениям. Мысль неотступно вертелась вокруг двух, казалось бы, полярных явлений: близкого и далекого в воспитании. макро и микро, масштабно отдаленного и крохотного близлежащего.

Революция, войны, литературные герои, братские могилы, семьи павших, чьи адреса я вижу в пионерских комнатах, — все это область масштабно-глобального, того далекого, которое воспитание делает, должно сделать близким, тревожно-приближенным для каждой человеческой души. Здесь школе на помощь приходят кино, литература, телевидение, встречи с очевидцами и участниками исторических событий, общество.

Трагизм близких людей — мам и пап, бабушек и дедушек, учителей и знакомых, товарищей — все это область близкого, отношение к которому формирует личность, помогает понять далекое.

У близкого и далекого одна основа — нравственный идеал: гражданственность и человечность. Как между близким и далеким не должно быть пропасти, так и между гражданственностью и человечностью невозможно воздвигнуть стену. Любая попытка разъединить эти две области непременно оборачивается нравственной ущербностью.



НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

ЭДУАРД РОЗЕНТАЛЬ

★

УБИТЬ КНИГУ...

Предмет искусства — то же самое происходит со всяким другим продуктом — создает публику, понимающую искусство и способную наслаждаться красотой. Производство создает поэтому не только предмет для субъекта, но также и субъект для предмета.

...капиталистическое производство враждебно известным отраслям духовного производства, например искусству и поэзии.

К. Маркс.

Книжные магазины Запада являют собой сегодня зрелище весьма примечательное: не то чтобы книг стало меньше, наоборот, их заметно прибавляется, да и полиграфически они стали побогаче, поярче. А вот мыслей в них явно убывает. Книги, которые заставляют думать, вытесняются книгами, где скудные идеи подаются в разжеванном виде. Это все больше полицейские детективы, альбомы рисованной мультипликации. Происходит парадоксальное явление: книга убивает книгу. Но «убить книгу, — говорил в свое время Джон Милтон, — почти то же, что убить человека». Потому что «тот, кто уничтожает книгу, убивает самый разум». Эти слова актуальны и сейчас. Может быть, даже больше, чем прежде.

ПИТЬЕВАЯ СОДА ЛИТЕРАТУРЫ

«Моему успеху служит прежде всего то, что я очень удобный автор. Я облегчаю процесс чтения, разжевываю мысли. Читателю остается только проглотить их. Его ленивый мозг может при этом нежиться в шезлонге; следуя за моим повествованием, он затрачивает минимум серого вещества». Это слова парижского комиссара Сан-Антонио, героя обширной серии полицейских романов, созданных безусловно талантливым и очень популярным писателем Фредериком Даром. И очень плодовитым. Фредерик Дар творит непрерывно. В спальне у него стоит письменный стол, а в кабинете — кровать. На случай, если ночью придет очередная порция творческого озарения или если днем сморит усталость во время творческого процесса. Говорят, что даже на пляж он берет с собой бумагу и перо. Его книги переведены почти на все европейские языки и издаются миллионными тиражами. Думаю, что в какой-то мере его можно даже назвать классиком жанра. Во всяком случае, полное собрание сочинений Фредерика Дара, около 20 объемистых томов в ледеринном переплете с золотым тиснением, давно уже занимает почетное место на стеллажах книжных магазинов рядом с произведениями Бальзака, Гюго, Стендаля. Не скрою, обнаружив это впервые, я был изрядно удивлен, если не сказать больше: литература, которая воспринималась мной до сих пор как несерьезная, да что там — вообще как что-то окололитературное, вдруг приравнивалась к классике. Хочу, чтобы все было ясно, я вовсе не против жанра, с удовольствием читаю полицейские романы западных авторов. После тяжелого дня, когда физически ощущаешь, что голова не способна больше переварить ни одной мысли, берешь книгу Агаты Кристи, Чейза или того же Фредерика Дара, уходишь целиком в перипетии замысловатого сюжета и с удивлением обнаруживаешь, что мозг не сопротивляется, а легко абсорбирует строчки. Потому что автор не заставляет думать, мыслить, анализировать, а ведет от загадки к разгадке, как ведут быка за кольцо, продетое в ноздрю. Как-то, читая очередной такой роман, я даже поймал себя на мысли, что не читаю, а отдыхаю от чтения. И почувствовал признательность автору... Все это так, и все же когда этот жанр становится главной духовной пищей — дело дрянь.

В приведенной выше цитате комиссара Сан-Антонио с абсолютной точностью выраже-

но кредо подобной развлекательной литературы. А вот еще отрывок из Сан-Антонио, где полицейский комиссар дает философское обоснование этого кредо. Он довольно длинный, но заслуживает того, чтобы быть приведенным почти без сокращений: «Я питьевая сода литературы: я не заставляю читателя думать, а вызываю у него отрывку. И таким образом приношу ему облегчение. Я описываю обрывдую действительность в розовых и голубых тонах. Вы имеете что-нибудь против? Все мы живем в зале ожидания. Вот почему и писать надо для вокзальных киосков. Да здравствует вокзальная литература! Одна! Истинная! Уникальная! Та, что помогает, хоть на мгновение, отвлечься от лихорадочного танца телеграфных столбов, бегущих вдоль пути. Та, что в любой момент можно выбросить без сожаления в корзину. Теперь-то до вас дошло, глупцы, что свой короткий путь вы должны пройти не с Прустом, а с моими каламбурами. И тогда ваша жалкая жизнь, угасающая, подобно головешке, едва успевшей разгореться, озарится по крайней мере улыбкой. Так что бросьте принимать жизнь всерьез и примите ее от меня в виде кремового торта. Верьте мне: коль вам стало тяжело, Сан-Антонио всегда придет на помощь. Даже если вы считаете мое творчество дерьмом, оно все равно принесет вам счастье. Или, на худой конец, облегчение. Ну, ладно, я сказал, что думал. А там как знаете».

Что ж, философия облегченной отрывки — тоже философия. И, как всякая философия, она служит определенным целям.

«Многие обвиняют мою философию в примитивности, — говорит Сан-Антонио, — я это знаю, но если она примитивна, значит, хороша. Самые примитивные идеи — всегда наиболее стоящие. Моя эмпирическая философия приходит на помощь народному мышлению. Она — сэндвич мыслей, успокаивающих духовный голод. Выходя из моей кухни, можно зайти, конечно, в другую, где готовятся блюда более интеллектуальные. Только стоит ли труда? Жизнь, уж раз она нам дана, нужно прожить, не усложняя ее».

И читатель глотает сэндвичи, приготовленные Фредериком Даром, не особенно задумываясь над смыслом жизни, главное — прожить ее с улыбкой. И чем больше он поддается этой философии, тем больше нуждается в очередных сэндвичах, которые постепенно становятся главной, а потом и единственной пищей для ума. Надо отдать должное Фредерику Дару: приготовлены его сэндвичи мастерски, он умеет вкусно подать приключения комиссара Сан-Антонио и его друзей, их служебные и альковные подвиги. А заодно по ходу дела зло посмеяться над бюрократами и дельцами от политики. Фредерик Дар идет в ногу со скоротечным веком. Мода на порнографию? Можно и порнографию. Там, где прежние авторы ставили в своих книгах стыдливые отточия, нынешние изгиляются вовсю. Фредерик Дар рассказывает о половом акте на трех-четырёх полных страницах. При этом описание скабрёзных сцен облечено в форму блестящей иронии, и не поймешь порой, то ли это смакование эротики, то ли пародия на нее. И вроде бы порнография у Дара становится и не порнографией. Что не дано большинству других авторов подобных произведений. Однако более или менее ловкое описание того, что действительно заслуживает отточий, не меняет, по существу, ничего в самом корне вещей. Но вот то, что околелитература виртуоза Фредерика Дара становится классикой, безусловно укрепляет авторитет всего жанра независимо от его исполнителей.

С обложек книг Фредерика Дара на читателя смотрит портрет автора. Лысый, бакенбарды, округлое лицо с мясистым носом и хитрыми глазами, оттопыренные уши.

Я шел на свидание с Фредериком Даром — мы обедали в ресторане с общими друзьями — и мысленно представлял себе эдакого мясника от литературы, циничного и ловкого. К тому же извращенного до мозга костей. Познакомились и оказалось, что Фредерик Дар очень мягкий, даже застенчивый человек, верный, любящий супруг, заботливый отец, который, помимо своих детей, воспитывал еще усыновленного тунисского мальчика, страдающего тем же недугом, что испытал в молодости он сам. И в глазах, больших, серых, никакой хитрец, скорее меланхолия, романтика. А главное, это высококультурный, начитанный человек, боготворящий Жан Жака Руссо и Виктора Гюго; последнего он считает своим литературным учителем. Любит философские песни Брассенса и Лео Ферра. И жизнь он прожил трудовую, нелегкую. Писал статьи для газет, пробовал свои силы в драматургии. Не всё брали, не все шло, бывали моменты, когда опасался остаться без работы вообще.

— Моя карьера — чистое недоразумение. Мечтал о серьезной литературной деятельности. Увы, пристроить серьезные вещи не удавалось. А жить как-то надо. Выручил Сан-Антонио.

— Но теперь-то вы богаты и свободны писать то, что вам по душе?

— Конечно, но, странное дело, Сан-Антонио меня увлек, и я работаю с удовольствием. Благодаря ему у меня появилось много друзей, мне много пишут. Значит, у людей есть потребность в нем. И вообще я все больше убеждаюсь в том, что на смену герою романов

девятнадцатого — начала двадцатого века, идеалисту-мыслителю, пришел диснеевский Микки Маус. Да, да, гора Бальзак уступил место мышонку. Это печально, но это факт. Вы спрашиваете, есть ли в моем герое частичка меня самого? Абсолютно нет. Сан-Антонио — мой антипод. Это герой рисованных мультипликационных лент, которого можно обнаружить во всех авантюрах подобного жанра.

Как говорится в таких случаях: это ж надо! Чтобы писатель в своем творчестве постоянно выступал антиподом самому себе! Причем если сначала он делал это в виде суровой необходимости, то потом по привычке и даже вошел во вкус. Что же до писательской совести, то она чиста: он удовлетворяет спрос читателя. Читатель требует — он ему дает. И подобное не единичный случай, а весьма распространенное явление.

КОЛЬ ЧИТАТЕЛЬ ТРЕБУЕТ...

...С Джеймсом Хедли Чейзом, еще одним признанным классиком жанра полицейского детектива, мы встретились у него дома в городке Асконе, который он облюбовал в качестве постоянного местожительства. Очень красивое местечко на берегу Лаго-Маджоре — Большого озера.

Чейз согласился меня принять по просьбе моего коллеги из лозаннской газеты, который предупредил, что писатель не очень-то жалуется журналистов своим вниманием. Я этого не нашел. Чейз встретил меня приветливо. Высокого роста, несколько сутуловатый, с густыми с проседью волосами, зачесанными назад, большим лбом, прорезанным глубокими морщинами, крупным, с горбинкой носом, усами very british, он выглядел на все свои шестьдесят с лишним лет. А глаза были значительно моложе.

— То, что меня, англичанина, знают в Англии так же, как королеву, а в Соединенных Штатах, как президента, это мне было известно. Но то, что моя известность докатилась до Москвы, это для меня новость. Приятная.

Я признался, что не могу похвастаться знакомством со всеми его 80 романами («Семьдесят семь», — поправил Чейз), переведенными более чем на 30 языков («Тридцать три», — уточнил Чейз) и изданных миллионными тиражами (кивок), но то, что читал, безусловно производит впечатление лучших эталонов полицейского детектива. Я сказал, что хотел бы узнать из уст самого мэтра, в чем, по его мнению, причина его колоссального успеха у публики. Чейз шумно втянул ноздрями воздух.

— Нюх! Я, как ищайка, беру след и чую, чего хочет читатель. И что он купит.

— Чего же он хочет?

— Действия и ритма. Мои книги особенно популярны в Штатах. Там все спешат, всем некогда. Люди делают деньги. Они не хотят тратить время на изучение психологических переживаний автора, описания природы и вообще всего, что уводит от сюжета, от действия. Они хотят прочитать книгу, не отрываясь и не задумываясь над тем, почему герой поступает так, а не иначе. Кстати, действие моих первых книг происходит в Соединенных Штатах. Я их писал до того, как побывал там, жизнь тамошнюю описывал по сведениям, почерпнутым из туристических справочников и из справочников, рассказов очевидцев. Вы думаете, это кто-нибудь заметил? Никто. Первая книга «Нет орхидей для мисс Блэндиш» понравилась американцам, они ее раскупили, последующие — тоже. Потому что сюжет держал их в напряжении, они и не обращали внимания на детали, которые, может быть, и не отличались точностью. Я не стилист, а коммерческий автор. Я держу читателя в напряжении, в благодарность он покупает мои книги. У других авторов полицейского жанра свои достоинства.

— Жорж Сименон? Агата Кристи?

— Для меня они чересчур статичны, а потому скучны.

— Ян Флемминг?

— Неинтересен мне. Я знаю наперед, что сделает его Джеймс Бонд и что я найду молодца в бодром здравии в очередной книге. Это убивает элемент неожиданности.

— Но ведь и Сименон, и Кристи, и Флемминг, несмотря на иную, чем ваша, манеру письма, тоже покупаются. Очевидно, здесь дело не столько в стиле творчества, сколько в самом жанре?

— Пожалуй. Детектив в моде. Он соответствует массовому вкусу.

— Откуда же, по-вашему, возник этот массовый вкус к легкой, скажем так, литературе?

— Думаю, от неприкаянной жизни. Люди сегодня живут в постоянных стрессовых ситуациях, им необходима релаксация, они хотят спастись от реальности. Полицейский жанр — отличное лекарство для этого.

— Не приходилось ли вам писать в ином жанре? Не коммерческом?

— Вы хотите сказать: в серьезном? Было. Под псевдонимом я написал один приключенческий роман, и литературный директор лондонского издательства, которое его опубликовало, отозвался о нем похвально. Это был Грэм Грин.

— И что же?

— Я доказал сам себе, что могу писать вещи серьезные. Этого мне было вполне достаточно, и я больше не возвращался к подобным опытам.

— Почему?

— Мне казалось, что я тем самым предал бы своего основного, массового читателя. Ну и, конечно, не надо сбрасывать со счетов коммерческих соображений, повторяю, я прежде всего коммерческий писатель. Как я пишу? Довольно быстро. На книгу у меня уходит от двух до трех месяцев. Потом я уезжаю путешествовать. Куда? Сам не знаю. Только что закончил очередную книжку. И через два дня уеду. Но до сих пор еще не знаю куда. В путешествиях у меня постепенно вызревает идея очередного романа, я не насилую себя, жду, когда идея превратится в законченный сюжет. Тогда я возвращаюсь сюда, в Аскону, к Лаго-Маджоре. И сажусь за пишущую машинку. Вот так.

...Жорж Сименон давно уже не путешествует. Когда-то он трижды объехал мир, жил в Соединенных Штатах, в Африке, потом осел окончательно в Швейцарии. Он вынашивает свои творения в тиши кабинета. Я неоднократно бывал у него на вилле «Агобе», в деревушке Эпалэнж под Лозанной. Эта просторная вилла очень смахивала на музей Сименона. Многочисленная коллекция грубок, хобби хозяина, в течение дня он никогда не выкуривает дважды одну и ту же, а постоянно меняет их, это ритуал. Стеллажи, заставленные произведениями... Жоржа Сименона. В различных изданиях, на разных языках.

Когда беседуешь с ним, создается впечатление, что он не дает, а берет. Однажды я его спросил, откуда он черпает материал для своих романов. Он лукаво посмотрел на меня:

— А вот вы сами, кстати. Чем не материал? Мы беседуем с вами, и не исключено, что вы станете прообразом одного из моих очередных персонажей. И так все мои посетители, а их немало. Остальное — дело воображения. И памяти. — Он сощурился. — Кстати, о памяти — не исключено, что я лично видел вашего Ленина, лицо его знакомо мне с детства. В свое время в Лионе мать сдавала комнату русскому социал-демократу. И мне запомнилось лицо одного из его гостей, почти уверен, что это был Ленин, таким я его видел потом на портретах. Хотя, конечно, абсолютно категорически утверждать этого не берусь.

Беседа, Жорж Сименон не торопится, и в самом деле создается впечатление, что он внимательно изучает собеседника, запоминает его. Но и сам говорит охотно, на вопросы отвечает обстоятельно.

— Как я отношусь к Агате Кристи, Флеммингу, Чейзу? Вероятно, вас это удивит, но я никогда их не читал. Но знаю, что все они писатели острого сюжета. Меня же сюжет сам не очень волнует, я не делаю загадки из того, кто преступник, для меня важно почему он совершил преступление, если хотите, психологическая канва, мотивация событий их логика. Мне нравится ваш Борис Тенин, он создал весьма точный психологический образ Мегрэ, я с удовольствием смотрел запись по телевидению. Моя творческая кухня? Каждую новую книгу обдумываю очень долго, месяцы, пишу очень быстро — семь-восемь дней.

Но вот в чем Сименон не отличается от Чейза, так это в мотивации самого творчества, он тоже считает, что идет навстречу желанию массового читателя и удовлетворяет его спрос.

— В наш технологический век лично я за технический прогресс — люди остро нуждаются в эмоциональных встряшках, детектив для этого подходит прекрасно. Именно здесь следует искать причины его популярности. И чем он безыскуснее, тем лучше. Кстати, мой Мегрэ далеко не интеллект, он просто человек; читатель его любит, потому что это тип, с которым приятно завести дружбу, он абсолютно лишен комплексов, свойственных, например, героям Бальзака. Хотя я сам люблю Бальзака. И Гоголя вашего обожаю — гигант!.. Вы спрашиваете, есть ли у Мегрэ черты характера Сименона? Да, не скрою, я передал ему некоторые свои черты: я ведь тоже не интеллект, скорее интуитивист. И пишу по наитию, начинаю очередной роман и никогда заранее не знаю, чем он кончится. В самом процессе творчества участвует мое подсознание на манер Фрейда, а не интеллект. И сам я не очень-то ценю интеллектуальную литературу, так сказать, Литературу с заглавного «Л». Думаю, что большинство нынешних читателей тоже ее не жалуют. Когда-то я с удивлением узнал, что словарный лексикон подавляющего числа французов не превышает шестисот слов. Теперь я убедился, что этого запаса с лихвой хватает и для романа. Я пишу очень

экономно, никаких украшательств или внутренних драм. Не знаю, заметили ли вы, но в своих книгах я ничего не навязываю читателю, просто описываю жизнь... Как я сам оцениваю свою литературу? Если честно, то, несмотря на огромную аудиторию — говорят, что моего Мегрэ читает не менее полумиллиарда человек, — я о ней невысокого мнения, поверьте, это не рисовка. Вообще-то писателя или художника по-настоящему оценивают лет через двадцать после их смерти. Так вот я совершенно искренне убежден, что у моих книг нет большого будущего, я писатель, которого читают сегодня, и мне этого вполне достаточно. Люди читают Сименона — очевидно, это им по вкусу.

Подобное следование «массовым вкусам» — кавычки насчет вкусов я раскрою позднее — характерно не только для литературы, но и для искусства и прочих сфер культурной деятельности. Беседовал я как-то с известным французским писателем, лауреатом Гонкуровской премии Арманом Лану о современной кинематографии. Так он мне прямо и сказал: «Лично я предпочитаю ваш фильм «Летят журавли» эротической «Эммануэли». Но, к сожалению, волю и вкусы у нас диктуют зрители». И начал объяснять, что кинематографисты Запада, как и писатели, вынуждены ориентироваться на вкусы зрителя, который требует развлекательности и эротики.

Ну а коль скоро читатель или зритель требует, надо его удовлетворять.

БРУ-У-УМІ ПАФ-ПАФ!

Передо мной отливающий глянец и красками альбом «Сан-Антонио в Тур де Франс», где рассказывается об очередных приключениях бравого комиссара полиции во время популярных велосипедных гонок вокруг Франции. Точнее, не рассказывается, а показывается. В картинках, сопровождаемых короткими подписями, а также прямой речью героев, вылетающей в виде баллонов из их рта, мыслями героев, выплывающими пузырьками из их головы, и прочими графически стереотипными обозначениями душевного состояния и настроения героев. Предпочтение отдается выразительному междометию. Взрыв сопровождается удлиненным «бру-у-ум», столкновение автомашин — «клинг-гланг», выстрел — «паф-паф», удар по челюсти — «дзинг» и так далее. Все это в нарочито шаржированном, гротескном изображении. Челюсть самого Сан-Антонио, квадратная и выдающаяся, может служить эталоном волевой челюсти. Подруги комиссара обладают столь же выдающимися бюстами — свидетельство их сексуальной мощи.

Короче говоря, это Сан-Антонио в мультипликационном варианте. Оттуда начисто изъят сатирический талант Фредерика Дара. Что же тогда остается? Тривиальный и пошлый сюжет в «имажах», образах, для расшифровки которых вполне достаточно умения читать по слогам. В книжных магазинах, буквально заваленных изданиями подобной рисованной литературы (в дальнейшем для краткости я буду называть ее РЛ), можно найти мультипликационные варианты Библии, произведения Флобера, Дюма, Толстого, Дарвина. Не столь давно из классиков мастерили дайджесты — сокращенные и облегченные варианты книг, из которых рассуждения авторов и их философия изымались, оставались избранные (редакцией) места вроде «любовных походов» Анны Карениной и Вронского. Философия дайджеста ясна: читателю некогда размышлять над внутренними переживаниями героев. Ныне процесс опрошения литературы значительно продвинулся: читателю уже некогда даже читать, проще и экономнее смотреть картинки с междометиями.

И читатель смотрит. С увлечением. Покупает РЛ в сотнях миллионов экземпляров. Посещает огромные выставки-продажи РЛ. Во Франции ежегодно проводятся международные салоны РЛ. В январе 1980 года с большим успехом прошел седьмой такой салон. По популярности эти салоны не уступают Международному кинофестивалю в Каннах или биеннале изобразительного искусства в Венеции. До 60-х годов РЛ была в основном уделом детей, которые не столько читали, сколько смотрели картинки. Вроде наших «Веселых картинок». Но затем этот жанр стал все чаще появляться в литературе для взрослых, его начали периодически публиковать крупные газеты, такие, как французские «Фигаро», «Франс диманш», «Матэн» и даже солидная «Монд». По средам в послеобеденные часы постоянная рубрика РЛ идет по парижскому телевидению. Серия РЛ под названием «Блонди», созданная в Соединенных Штатах, перепечатывалась изо дня в день в 1600 газетах по всему миру. Парижская «Франс-суар» дала в РЛ полное изложение Евангелия.

В своем исследовании социальной динамики французской культуры психолог А. Моль опубликовал анализ анкеты, проведенной среди читателей ежедневной прессы. Читатели в возрасте от 10 до 30 лет ставили РЛ по популярности на первое место; читатели от 30 до 40 лет отводили ей второе место, после текущих новостей; читатели от 40 до 50 лет поставили РЛ на третье место, после новостей и фоторепортажей; читатели от 50 до 70 лет —

на пятое место. Из приведенной динамики напрашивается вывод, что по мере взросления люди умнеют и отказываются от разжеванного примитива. Но ведь 30 и 40 лет — это тоже возраст. Бытует даже поговорка: если в тридцать лет ума нет, то это надолго. К тому же именно в этом возрасте люди больше всего читают.

В чем же тогда причина такой популярности РЛ? В ответе на этот вопрос социальные психологи весьма единодушно: разгадка состоит в силе психологического воздействия РЛ, которая превратилась с помощью высокой техники исполнения в самое эмоциональное средство массовой коммуникации. Следует иметь в виду и то немаловажное обстоятельство, что в 60—70 годах зерна РЛ упали на подготовленную почву. Кино и телевидение приучили людей к восприятию идей через образы, колоссальная по объему информация выработала у них привычку к поспешному и поверхностному чтению. «Сжатая литературная продукция для спешащего читателя» — так определил жанр РЛ французский социолог Ги Готье. Филипп Мюре, журналист из французского еженедельника «Нуфель литтерер», считает даже, что с утверждением этого жанра сбылась мечта авангардистов: заставить говорить живопись и петь литературу. РЛ, по его определению, явилась именно таким полифоническим жанром, вобравшим в себя литературу, изобразительное искусство, музыку и кино. Ему же, Филиппу Мюре, принадлежит пророчество о том, что жанр РЛ открывает новый цикл в истории литературы, значение которого сейчас еще трудно себе представить.

Несколько слов об истории самого жанра, которая началась более полувека назад. Правда, злые языки уверяют, что РЛ появилась значительно раньше, а именно с наскальной живописью, и при этом добавляют, что сейчас она (и тут они в корне расходятся с мнением Филиппа Мюре) возвращается к тому же циклу. Но на то они и злые языки. А специалисты указывают точную дату рождения РЛ — 1928 год. А еще точнее 18 ноября 1928 года — день рождения диснеевского Микки Мауса. Именно тогда был показан первый фильм с участием маленького мышонка с круглой мордашкой и ушами-лопухами, изображение которого можно сегодня встретить на этикетках более 3 тысяч всевозможных предметов обихода: мыла, повидла, зубных щеток, лампочек, обуви, часов... Открывая в 1944 году второй фронт в Нормандии, союзники избрали пароль: «Микки Маус». Сам Уолт Дисней был награжден за создание образа Микки Мауса высшей наградой кино — премией Оскара.

Знатки мультипликационного кино говорят о Микки Маусе как о продукте творческого гения. Но, как известно, гении появляются тогда, когда этого требуют обстоятельства. Не раньше и не позже. Рождение Микки Мауса безусловно отвечало насущной потребности американской реальности начала XX века. Иммигранты, прибывшие в Соединенные Штаты со всех концов света, говорившие на самых разных языках и имевшие самые разнообразные традиции и привычки, должны были сплотиться в единую нацию. Кроме того, первые десятилетия XX века были отмечены в США появлением поточного конвейерного производства стандартизованных товаров массового потребления, что породило проблему нивелирования вкусов потребителя, выработки единых потребительских стандартов. А все сказанное вместе требовало создания общего эталона среднего американца, причем эталон этот должен был стать максимально понятным и приемлемым для всех, а следовательно, простым и даже примитивным. Этим эталоном стал Микки Маус. Микки — оптимист, он никогда не унывает, всегда пребывает в хорошем настроении, общителен и изобретателен. Даже в самых сложных ситуациях уверен в неизбежном хеппи-энд, счастливом конце. Сам Дисней характеризовал его так: «Это бравый парень, который никому не желает зла. Он постоянно попадает в непредвиденные ситуации, из которых выходит с честью. И с неизменной улыбкой. Всю свою жизнь Микки остается верен одной подружке — Минни. Микки настолько доступен всем, что просто невозможно, чтобы он не превратился в верного друга и общего любимца».

Уолт Дисней будто в воду глядел — Микки Маус стал символом Америки, понятным и доступным всем, даже тем, кто еще не знал или знал плохо английский язык. Однако, помогая сплочению американской нации, Микки одновременно исполнял роль разрушителя культурных ценностей, привнесенных иммигрантами из Англии, Польши, Франции, Италии. Примитивный эталон содействовал появлению примитивной американизированной культуры.

«Микки Маус, этот идиот-оптимист,— писал в те годы журнал «Нью-Йорк таймс мэгэзин», — оказал самое пагубное влияние на культуру Америки». А сегодня можно с уверенностью сказать, что американизированная «массовая культура», разрушающая национальные культуры Франции, Англии, Италии у их собственного очага, обязана многим маленькому мышонку с ушами-лопухами, этому «идиоту-оптимисту», который «никому не желал зла».

Объясняя силу воздействия РЛ на молодежь, уже упомянутый выше Ги Готье говорит, что с помощью отшлифованной техники РЛ достигла «максимума эффективности благодаря максимуму упрощенности». Это верно. РЛ сильна своей стереотипизированной простотой, ко-

торая не затрагивает глубину психологического сознания читателя-зрителя. Так, скажем, для многих стереотип мексиканца — это прежде всего сомбреро и гитара. Прimitивно, элементарно и вместе с тем настолько прочно укореняется в памяти, что всякий раз упоминание о Мексике вызывает именно этот примитив. Для воспроизведения его в сознании вовсе не надо мыслить, оно осуществляется спонтанно и рефлекторно. Через восприятие определенных линий, фигур, красок. Здесь не место вдаваться в технические детали РЛ. Для иллюстрации приведу только шкалу стереотипных красок, к которой Дисней приучил своего зрителя-читателя. Так, во всех его фильмах и РЛ красный цвет обозначает злобу, ярость, коричневый — жадность, светло-серый — страх, темно-серый — отчаяние и депрессию, серо-зеленый — обман, мошенничество, розовый — аффектацию, оранжевый — гордыню, голубой — тайну и т. д.

Читатель, собственно, перестает быть читателем: уходя целиком в штриховые образы и цветовые гаммы, он возвращается к чувственному восприятию действительности на уровне условных рефлексов, свойственных больше высшим животным, чем человеку. И если жанр РЛ по форме вполне оправдан и даже полезен для периода раннего детства, когда ребенок познает реалии окружающего его мира прежде всего чувственным образом, то у юношей увлечение этим жанром бесспорно тормозит развитие способностей к абстрактному мышлению, а следовательно, и сам процесс взросления. Что же касается взрослых людей, то уход их в РЛ ведет к настоящей духовной деградации. Как бы то ни было, факт остается фактом: форма может до крайности примитивизировать содержание и активно способствовать его упрощенному и бездумному восприятию.

К слову, о самом содержании. Французский социолог Бернар Пурприкс провел в 70-х годах интересное исследование. Он проанализировал сто номеров «Газеты Микки», периодического издания РЛ для молодежи Франции, и пришел к заключению, что мир Уолта Диснея служит «символом политического, экономического и социального консерватизма». В 78 процентах всех сюжетов Диснея красной нитью проходит тема незыблемости и священности частной собственности.

Мои сверстники хорошо помнят, какое огромное впечатление в середине 30-х годов на нас, тогдашних детей, произвели диснеевские «Три поросенка». Но мало кто у нас знает, что эта сказка про веселых поросят и злого волка несла в себе огромную идеологическую нагрузку. В условиях экономического кризиса и последовавшей за ним депрессии это была образная интерпретация обращения президента Рузвельта к американскому народу с призывом не отчаиваться, не терять надежды на лучшие времена и сохранять твердость духа. Сам Уолт Дисней писал: «„Три поросенка“, представленные в критический момент депрессии, прямо ассоциировались с экономической ситуацией». Многие видели в этом фильме рецепт против кризиса: надо строить непробиваемый дом (собственность), который защитит от злого серого волка (банкротств, безработицы). Музыкальная тема «Нам не страшен серый волк» стала конкурировать в популярности с национальным гимном. Можно привести и другие примеры, показывающие силу воздействия рисованных образов. Так, во время второй мировой войны Терри, герой серии РЛ «Терри и пираты», был мобилизован в американскую армию, действовавшую в районе Тихого океана. По воле автора отряд, в котором служил Терри, был выбит японцами с занимаемого им острова. Это вызвало недовольство президента Рузвельта, который самолично попросил автора, чтобы Терри поскорее отвоевал у японцев остров обратно, и объяснил это тем, что Терри слишком близок массовому читателю, который изо дня в день следит за его приключениями, привык к нему и верит ему, как себе. Вот почему, заключал Рузвельт, те или иные действия героя могут поднять или уронить мораль миллионов американцев, в чем автор должен отдавать себе отчет. Терри принадлежал уже не только ему, но и всей американской нации.

Уолт Дисней умер в 1966 году, но фирма «Уолт Дисней продакшн» процветает, как и прежде. А если быть точным, то гораздо больше, чем прежде. В 1931 году деловой оборот фирмы составил 180 тысяч долларов. В 1970 году он достиг 22 миллионов, а в 1979 году превысил 650 миллионов долларов. При этом главные доходы фирме дает РЛ. Сегодня жанр РЛ явно на подъеме. Я говорил до сих пор о Микки-Маусе, но уже в конце 20-х — начале 30-х годов у него появилось множество аналогов как в самой Америке, так и в других странах Запада. Супермен — в США, Астерикс — во Франции, Тэнтэн — в Бельгии, герои потребительской литературы для детей и взрослых, которые и сегодня, подобно мышонку Микки, с успехом выполняют свою идеологическую функцию. Каждый из них имеет свои особенности в технике изображения и характере персонажа. Но все они служат одному несправедливому делу — защите системы эксплуатации и насилия. Служат не только пассивно, способствуя примитивизации мышления и сознания, но иногда и активно. Как, например, в случае с «Тэнтэном в Стране Советов». Тэнтэн, маленький человечек в гольфах, изображенный

несколькими штрихами, действительно имеет сходство с наскальными рисунками. Вместе со своей говорящей собакой Милу (кстати, она говорит чаще, чем сам герой, который ограничивается в основном все теми же междометиями) Тэнтэн путешествует по Советскому Союзу 20-х годов, попадает в различные невероятные ситуации: мерзнет, голодает, его грабят и истязают в застенках ГПУ. Под конец он еле-еле уносит свои ноги в гольфах на благословенный Запад. Одним словом, пещерный антикоммунизм.

Но не всегда антисоветизм подается столь прямолинейно, он бывает завуалирован, отчего не становится менее злым. Девиз французского журнала РЛ «Пилот» гласит: «Журнал, который, развлекая, заставляет думать». Я пролистал несколько номеров. Чего тут только нет: войны с инопланетянами, похождения суперменов с лазерами, картинки из доисторической эпохи с птеродактилями и питекантропами, масса эротики и... немного политики. Ну, например, картинки о визите президента Франции в Москву. Невзрачно, прямо надо сказать, выглядят на них и Советский Союз и советские люди. Подобное развлекательство действительно заставляет задуматься о многом. В том числе и о том, что дух «Тэнтэна в Стране Советов» по-прежнему жив.

ТЭНТЭН — ЭТО Я

Но вернемся к самому жанру. Любопытный факт: знаменитый автор Тэнтэна Реми Жорж (он взял себе псевдоним Эрже — по инициалам имени и фамилии), ставший ныне одним из признанных классиков РЛ, сам признался однажды, что до сих пор не может понять причин своего головокружительного успеха: «Я никогда не мог уразуметь, чем Тэнтэн привлек публику. И всегда считал свой успех результатом недоразумения. Для меня самого все это было не больше чем баловством».

Действительно, первоначально Реми Жорж пробовал свои силы в большой живописи, но не преуспел в этом и переключился на Тэнтэна так, для души. А потом полюбил своего героя, которого идентифицировал с самим собой: «Флобер говорил, что мадам Бовари — это он. Я могу с таким же основанием сказать, что Тэнтэн — это я».

Но кто же он такой, автор Тэнтэна? Слово самому автору:

— Мое детство? Оно прошло в атмосфере посредственности, среди посредственных событий и посредственных мыслей... Сплошная серость. Детство, юность, бойскаутство, военная служба — все было серым. Детство — не веселое, не грустное, скорее тусклое. Я не был несчастлив, напротив, мои родители были очень добры ко мне и окружили меня заботой. Но — никаких проблесков: ни книг, ни обмена идеями, ничего... В юности я был бойскаутом и, мне кажется, остался им на всю жизнь... Я не думаю, что мне можно привесить этикетку правого или левого. Что верно, так это то, что я всегда был и остаюсь приверженцем существующего порядка... Я очень люблю детективы про шпионов, Джеймса Бонда... Я обожаю абстрактное искусство... Я люблю музыку, особенно поп-музыку...

Вот вам и ответ на причины успеха Эрже и его Тэнтэна. Оба они представляют усредненный эталон мечтанства. Именно такой эталон имел в виду французский социолог Дени де Ружемон, когда говорил, что «мир все больше погрязает в посредственности, мелкие людишки все мельче любят и все мельче ненавидят. Этому способствует система образования, которая нивелирует человека, останавливает его развитие на низшем интеллектуальном уровне. А масс-медиа — газеты, радио, телевидение, кино, рисованная литература, со своей стороны, с успехом закрепляют этот уровень». Именно к такому эталону мечтают светила человечества идеологи монополий: ведь бойскауты революций не делают. Потому-то перед Эрже и открылась зеленая улица успеха. Чего тут не понять?

Впрочем, это только часть ответа, есть и другое объяснение успеха Тэнтэна и всего жанра РЛ. Его дал все тот же Фредерик Дар, который, между прочим, назвал своего Сан-Антонио «старшим братом Тэнтэна с той только разницей, что вместо собаки Милу его во всех авантюрах сопровождает другой верный друг — секс». Так вот Фредерик Дар сказал: «Я думаю, что всякий человек, способный выдумать что-то выходящее за рамки обыденного, достоин (в той или иной степени) называться гением». И хотя он сам не скрывает, что в Тэнтэне его привлекла «поэзия глупости», тем не менее воздаст Эрже за то, что тот «сумел вырвать нас из монотонной повседневности».

Очень интересное заявление. И типичное для нашего времени. Выдумать что-нибудь, выходящее за рамки обыденного, вырваться из монотонной повседневности! Нынче охотников выдумывать развелось множество. И все ссылаются на «творческое воображение», которое-де не чета «ползучему эмпиризму». Кое-кто даже пытается представить его неким девственным наитием, нездешним (трансцендентным) озарением, способностью мозга оторваться от реальной действительности, возвыситься над ее противоречиями и разрешить их свысока. Понять

моду можно: теория относительности, сверхзвуковые скорости, лазеры, голография необычайно подняли цену на творческое воображение. И столь вознесли его, что зачастую лишили земного притяжения. Атом продолжает делиться, и материя вновь испытывает тенденцию к «исчезновению». А творческое воображение — к обожествлению и превращению в непреходящую универсальную ценность, в самоценность.

Нет спору, сама жизнь во всех своих разветвлениях немалыми без творческого начала. И творческое воображения, которое представляет сложный синтез знаний, таланта, воли, целеустремленности, вдохновения, интуиции. Маркс и Эйнштейн (можно назвать десятки других имен) дали миру образцы такого творческого воображения. Оно служило им не самоцелью и не проявлением их «свободной воли», а инструментом, конкретным средством революционного изменения действительности.

Выводя за рамки обыденности, творческое воображение раскрывает новые, доселе неизвестные грани жизни и тем самым обогащает и изменяет ее. И для этого нужен гений. Ложное, надуманное воображение тоже выводит за рамки обыденности, но уводит в пустоту. И тут гений не требуется. Такое воображение не изменяет жизнь, а отвлекает от нее и примиряет с ней.

Попадая вместе с Тэнтэном в Страну Советов, в Африку, на Луну или в мир телепатии, читатель вырывается из серой повседневности. Но не перестает от этого оставаться мещанином. Один из таких читателей-мещан прислал Эрже письмо, где заявил без обиняков, что его творчество мог бы позавидовать сам Ван Гог. Еще бы, за всю свою трудовую жизнь Ван Гог сумел продать считанные полотна, а тиражи проданных альбомов Эрже превысили 50 миллионов экземпляров. Над картинами Ван Гога надо думать — Эрже доступен младенцу, Ван Гог показывал жизнь — Эрже уводит от нее подальше, в мир иллюзий.

Иллюзии в «массовой культуре» отводится почетное место. Она призвана компенсировать недовольство людей своим жизненным положением, тяжелой, неинтересной работой, однообразным, бесцельным досугом, удовлетворить их не всегда осознанное стремление к более душевным человеческим отношениям, вообще к счастью. Мечта продается на рынке массовых эмоций миллионами тиражей развлекательной, бульварной прессы, подается в виде красивой рекламы с экранов телевизоров, выступает в роли шансонье — идола на эстраде. Она успокаивает читателей, зрителей и слушателей, создает у них впечатление осмысленности их жизни. «Как все звезды эстрады, — говорит известный французский певец Антуан, — я усыпляю людей. Неистово аплодируя идола, слушатели разряжают свою энергию, которая могла бы служить им для протеста против унижительного существования». Но они аплодируют, покупают фотопортреты любимых актеров, внимательно следят за всеми перипетиями их карьеры, переживают их любовные истории, короче — живут их жизнью. То есть мечтой. И молятся на мечту, получая от этого физическое и моральное удовлетворение.

Как тут не провести параллель между «массовой культурой» и религией — и в том и в другом случае воля и сознание людей направляются в мир иллюзий. И социальная цель та же — утешить массы ложной мечтой, отвлечь их от борьбы за свои коренные интересы. «Чем больше вкладывает человек в бога, тем меньше остается в нем самом», — говорил К. Маркс. Замените в этой формуле бога на модного автора детектива, поп-музыки или на звезду Голливуда — и вы получите новый опиум, который в отличие от обычных наркотиков проходит через международные таможни без всяких препятствий. Героин и гашиш продаются в миниатюрных пакетиках из-под полы, поп-мечта — в образах Джонни Холидея или Мика Джекгера. Идентифицируя себя с образами этих и других звезд, имитируя в воображении их поступки и мысли, человек как бы живет в двух измерениях — своей собственной реальной жизнью и чужой воображаемой. Происходит настоящее раздвоение личности, отчуждение от себя самого. Он и он — и не он. Рассечен надвое, как на гильотине. Тело, мускулы — на заводе, голова, мозг — бог знает где: то ли в мыслях о предстоящем замужестве певицы Шейлы, то ли в ожидании очередной авантюры Сан-Антонио. При этом сам-то он своей настоящей жизнью считает не ту реальную, но тяжелую, нервную, тусклую, скучную, что проходит в цехе завода или в бюро, а ту беззаботную, веселую, интересную, пусть воображаемую, что он проводит в уютном кресле перед экраном телевизора или в затемненном зале кино. Именно эту он активно переживает сам. А ту, реальную, отдает на откуп хозяину или администрации предприятия, пусть ее устраивают сами. Так с помощью иллюзорной мечты, подсовываемой «массовой культурой», осуществляется реальная мечта монополий о том, чтобы рабочий, приходя на завод, оставлял свой мозг на вешалке.

Раздвоение сознания трудящихся — давнишняя и сокровенная мечта идеологов капитализма. Еще в конце XIX века, наблюдая подъем революционного движения в мире, французский социолог и психолог Гюстав Лебон усиленно призывал своих коллег изучать психо-

логию толпы, с тем чтобы научиться управлять ее поведением. Умение манипулировать сознанием «массового человека» он называл последним средством защиты буржуазной системы. Поскольку, говорил Г. Лебон, толпа не рассуждает, а покоряется страстям, необходимо воздействовать на ее сознание путем внедрения в него образных, чувственных ассоциаций, используя при этом такие эмоциональные состояния, как страх, ненависть, стремление к удовольствию. Следуя этим советам, нынешние буржуазные психологи тщательно изучают силу воздействия средств массовой коммуникации на сознание масс. Активно применяют механизмы внушения. С помощью слов, картин, образов они стремятся снизить индивидуальные умственные способности людей, унифицировать их интересы, подsunуть чуждые им потребности.

«Спасибо тебе, Эрже!» — сказал Фредерик Дар. И вместе с ним Эрже благодарят все те, кому дорог социальный статус-кво.

И, конечно, не случайно подавляющее большинство изданий РЛ (и по названиям и по тиражам) публикуется на Западе группами прессы, отражающими интересы господствующего класса. Во Франции такая пресса дает ежегодно более 300 миллионов экземпляров альбомов и специальных приложений РЛ. Важная деталь: согласно опросу, проведенному Французским институтом общественного мнения (СОФРЕС), основной потребитель этого жанра, как и детективной литературы, — дети рабочих (в среднем 46 процентов опрошенных читателей) и служащих (19 процентов). Дети высших кадров и коммерсантов составляют всего 7 процентов. Статистика отражает реальное положение вещей: дети рабочих и служащих, обладающие более низким уровнем образования и культуры, легче воспринимают именно такую литературу. К тому же детективы и РЛ относительно недороги.

ВИНОВАТ... ЖАН ЖАК РУССО

Стоит задуматься над приведенными фактами, и вопрос о читательских вкусах уже далеко не кажется таким простым, как его пытаются представить некоторые писатели: публика-де требует, а мы идем ей навстречу.

Внешне вроде бы все именно так и обстоит. Фредерик Дар штампует своих Сан-Антонио, потому что этого от него требует читатель. И если бы вдруг он переключился на серьезную литературу, то скорее всего читатель счел бы себя преданным, а его самого предателем. Правда, по той же логике предателем можно назвать и того, кто прекратил бы снабжать наркотиками приученную к ним клиентуру. Как бы там ни было, но Фредерик Дар не хочет быть предателем и продолжает печь своих Сан-Антонио. Может быть, время от времени сокрушается: гора Балзак уступил место мышонку — Микки Маусу.

Напрашивается вопрос: а почему читатель рвется к мышонку? Этот вопрос задают себе мыслящие люди на Западе. Журналист-социолог Габриель Мацнеф, например, констатирует, что во Франции утвердился культ абстрактной болтовни, а интеллигентская схоластика буквально покрыла оспинами лицо национальной культуры. И напоминает писательское кредо Гёте: писатель должен описывать только то, что он сам испытал, прочувствовал и продумал. Теперь же, удивляется Мацнеф, успех имеют те писатели, что занимаются в своих произведениях выдумыванием всякой всячины. И они в почете. Но как только автор начинает излагать свои собственные раздумья о реальных проблемах, это тут же настораживает. Казалось бы, говорит Мацнеф, публика должна легко отличать реальное от надуманного, естественное от сфабрикованного и выбирать первое. На деле же получается все иначе: публика не только не отворачивается от легкого чтiva, завалившего книжные магазины, но, наоборот, требует его. «Выходит так, что люди не хотят подняться над своей серостью, а хотят быть оглушенными».

Так что же все-таки? Писатель не хочет думать или читатель хочет быть оглушенным? Вырывая того и другого из социального контекста жизни, ответить на такой вопрос невозможно. Напротив, ответ очень прост, если исходить прежде всего из этого классового контекста. Совершенно очевидно, что ту или иную культуру массам называет господствующий класс, сообразуясь со своими интересами, а также, разумеется, со способностью людей расшифровывать культуры, иными словами — с уровнем их общего и эстетического образования. Известно, что книга как массовая печатная продукция утвердилась при прямом участии поднимающейся к власти буржуазии, которая была заинтересована в распространении своих революционных идей в массах. И идеи эти вырабатывались, по словам Ф. Энгельса, «титанами по силе мысли, страсти и характеру, по многосторонности и учености», которые «жили в самой гуще интересов своего времени, принимали живое участие в практической борьбе, становились на сторону той или иной партии и боролись кто словом и пером, кто

мечом, а кто и тем и другим вместе». К XIX веку серьезная литература, в первую очередь роман, стала достоянием обширной публики, умеющей читать.

Однако превращение буржуазии из революционной в контрреволюционную породило у этого класса тенденцию к загушеванию и извращению истины, которая работает сегодня против него. Нынче ни разум, ни прогресс у буржуазии не в почете, и времена титанов мысли давно уже для нее прошли. Ей нужны сегодня не титаны, а услужливые ловкачи, умеющие запутать сознание людей, увлечь массы в руло мелких страстишек и удовольствий. В этих условиях пагубного влияния среды далеко не всегда может избежать даже самый выдающийся талант.

Тут проявляется социальный феномен, о котором говорил Маркс. Отношения между литературными представителями буржуазии и самой буржуазией таковы, что теоретически первые приходят к тем же самым решениям, к которым буржуа практически приводят его материальный интерес и общественное положение. Поэтому закономерно, что за редким исключением западные писатели создают произведения, отвечающие духу господствующей в обществе философии. А эта философия, защищая отживший свой век капитализм, все активнее выступает против идей прогресса. Неспособность капитализма поставить прогресс на службу человеку выдается за несостоятельность самого прогресса, за его несовместимость с интересами человека. Колоссальную рекламу на Западе получило сегодня течение «новых философов», суть философии которого состоит именно в отрицании научного прогресса и всего, что с ним связано. Один из «новых философов», Б.-А. Леви, обвиняет во всех пороках человечества французских просветителей XVIII века. Во всем-де виноват Жан Жак Руссо. «Если техника стала машиной духовного опустошения, разрушительные последствия которого мы испытываем повседневно, то это вовсе не результат отказа от мечты энциклопедистов о прогрессе труда, но, напротив, результат наиболее полного ее продолжения». Поддерживая «новую философию», французский социолог и публицист Морис Клавель объяснял: сила ее в том, что она «отбрасывает с дороги отравленный рационализмом разум и возвращается к «чистому трансцендентному мышлению, мышлению без концепций». И, следовательно, «новая философия — это настоящая культурная революция!».

Точнее будет сказать — культурная контрреволюция, и в ней, к сожалению, принимают участие многие деятели культуры. Одни по убеждению, другие по нужде. Издательская деятельность на Западе все больше концентрируется в руках отдельных боссов-миллиардеров, которых активно поддерживает государство. Финансовые и экономические трудности последних лет послужили катализатором указанного процесса. Относительно независимые средние и мелкие издательства, ориентирующиеся на создание высококачественной литературы и поддерживающие мыслящих писателей, разоряются и исчезают или же поглощаются монополистическими трестами. А крупные книжные фирмы, подобно другим монополиям, руководствуются в своей деятельности прежде всего законами чистогана, и издательское дело все больше превращается в такой же бизнес, как, скажем, производство одежды или обуви. Естественно, что в этих условиях издание глубоких и оригинальных книг, требующих работы мысли, сплошь и рядом подменяется изданием бестселлеров, рассчитанных на развлекательность, — такие книжки имеют более высокий коммерческий оборот. Именно им прокладывает зеленую улицу реклама. Что касается по-настоящему талантливых писателей и журналистов, которым есть что сказать читателю, то они нередко вынуждены зарабатывать хлеб насущный в качестве анонимных соавторов-«негров», занимающихся литературной обработкой мемуаров графинь и воров, профессиональных убийц и сутенеров. Ну как тут не вспомнить строки Беранже: «Живу для того лишь, чтоб песни слагать, но если, о сударь, лишен буду места, то песни я буду слагать, чтобы жить». И слагают. За это платят, и платят хорошо.

В публикации «Факты и цифры, 1978 год», напечатанной в еженедельнике «Нуэль обсерватёр», говорится, что за два часа ежедневных бредней «приличный» писатель или журналист («приличный» — это тот, кто имеет хорошие контакты с читателем) зарабатывает до 30 тысяч франков в месяц, то есть столько же, сколько генеральный директор крупного промышленного предприятия. Если же он еще участвует в рекламных передачах радио и телевидения, то его доходы удваиваются и утраиваются. Что же касается крупных звезд жанра, таких, как Филипп Бувар, Мишель Дрюкер, Жан Марген, Бернар Пиво, то их доходы даже трудно определить. Бывает, что они зарабатывают по 30 тысяч франков за один только уик-энд. Столько же, сколько рабочих, но только в год. Или африканский крестьянин за шестьдесят лет. Зарботки, которые не снились самым плодовитым авторам прошлого, таким, как Дюма-отец или Эжен Сю!

Кто же они, те благодетели, которые так щедро оплачивают распространение «массо-

вой культуры»? На этот вопрос ответила Надин Тусэн в своей работе «Экономика информации»: «Это те, кто продает «массовую культуру»...» То есть те же самые. К тому же выводу пришла и группа социологов Гренобльского университета, анализировавших эту проблему в коллективном труде «Капитализм и культурная индустрия». Идет ли речь о производстве стиральных машин или книг, свидетельствуют авторы, процедура здесь идентична. Продукция культуры превращается в такой же точно товар, что и средство от пота. «Коммерциализация культуры, — заключают они, — имеет следствием все большую ее примитивизацию, нивелирование, что вполне устраивает господствующую идеологию и отвечает ее целям».

Под предлогом удовлетворения вкусов широкой публики ей преподносится культурный примитив, который постепенно и в самом деле способствует примитивизации самих культурных потребностей и вкусов. Своей культурной политикой монополии демонстрируют стремление побыстрее превратить людей в дебилов, не способных ни критически мыслить, ни тем более действовать. И вполне понятно, почему модные авторы оплачиваются по ставкам директоров промышленных предприятий: и те и другие связаны круговой порукой, служат одному делу. Одни стремятся максимально увеличить эксплуатацию рабочих, другие — максимально отвлечь от этого их мысли. Отвлечь их от политики вообще. И тем самым продлить насколько можно дольше жизнь капитализма, а вместе с ним и свои лакейские привилегии.

С КЕМ ВЫ, МАСТЕРА КУЛЬТУРЫ?

Конечно, остановить развитие сознания не дано никому. Разум, говорил М. Горький, начало активное, имеющее тенденцию к бесконечному росту. Кто бы и как бы ни сдерживал его, он в конечном счете разрушит препятствия, воздвигаемые на его пути.

Духовная инквизиция монополий столь же неспособна остановить развитие разума и прогресса, как не смогла этого сделать физическая инквизиция средневековья. Само современное производство, все более совершенная техника требуют от трудящихся ума и смекалки. Это объективно необходимый процесс. Но ум невозможно втиснуть в прокрустово ложе голый технологии, мыслящий человек неизбежно задумывается не только над процессами производства, но и над своим положением и местом в производстве — положением наемного труженика, работающего на чужом предприятии, чужими орудиями труда, с чуждыми ему целями. Начав же думать, он неизбежно начинает подниматься до мировоззренческих проблем, размышлять о смысле жизни, искать выход из своего положения. И обращается при этом к высоким культурным ценностям, которые становятся для него все более значимыми.

В одну из апрельских пятниц 1978 года французское телевидение вынуждено было отменить по техническим причинам популярную передачу по первой программе «Театр в этот вечер». И заменило ее концертом — Девятой симфонией Бетховена. Студия ждала упреков от телезрителей, привыкших к своему легкому театральному спектаклю, однако их не последовало. Совсем напротив, многие одобрили замену. Телезрители с энтузиазмом приняли затем и Пятую и Седьмую симфонии Бетховена, и «Травиату», и «Севильского цирюльника». Подобное явление привело в серьезное замешательство социологов, убежденных в том, что «массовая культура» давно уже загнала хороший вкус в тупик. Начали изучать подобный социальный феномен и обнаружили очень любопытные вещи. Обратили внимание на алармистские сигналы, исходящие от массовой бульварной прессы, которая делает свой бизнес на адюльтерных историях, смаковании убийств и насилий, светской хронике. Крупнейшая из таких газет парижская «Франс-суар» за последние годы потеряла более половины читателей, ее ежедневный тираж снизился с миллиона 200 тысяч до 500 тысяч экземпляров. Этого еще, правда, недостаточно, чтобы газета закрылась, но вполне достаточно, чтобы она начала испытывать серьезные затруднения. То же самое относится и к таким колоссам желтой прессы, как «Паризьен либере», «Ну де», и другим.

Конкуренция со стороны телевидения? Этот вопрос возник сразу, но оказалось, что телевидение само испытывает определенную депрессию, пока еще не очень значительную, но тем не менее весьма показательную. В конце 70-х годов, по данным сенатора Анри Кайяве, выручка от продажи телевизоров упала на 120 миллионов франков, а индекс просмотра телевизионных передач — на 4 процента. Еще большее удивление вызвали результаты изучения содержания телепрограмм. В 1979 году социологи провели ряд сравнительных анализов телевизионных передач, которым отдавали предпочтение зрители. Так, в один день по трем каналам французского телевидения были показаны одновременно футбольный матч, художественный фильм и научная передача. Результат опроверг все ожидания: футбол предпочли 46 процентов телезрителей, фильм — 6 процентов, а научную передачу — 48 процентов!

Институт общественного мнения Луи-Ариса задался целью выяснить, как читают во Франции. Было опрошено две тысячи французов, представляющих самые различные социальные группы и профессии. Этот опрос (1978) показал, что за последние годы число читающих французов возросло на 15 процентов. Впрочем, рост интереса к книге можно наблюдать даже невооруженным глазом. По самым оптимистичным прогнозам специалистов ожидается, что библиотека парижского Дома культуры Бобур будет принимать до 4 тысяч читателей в день. На самом деле ежедневная посещаемость составляет от 8 до 15 тысяч, в основном это молодежь. Подобный рост интереса к книге выходит далеко за пределы Парижа, многие провинциальные коммуны требуют открытия местных библиотечных залов. Такие же требования раздаются и на крупных промышленных предприятиях: рабочие хотят читать.

На вопрос: «Читали ли вы за последние три месяца хоть одну книгу?» — 57 процентов ответили положительно, 43 процента — отрицательно. А ранее — в 1960 году — этот же вопрос дал соответственно 42 и 58 процентов. Рост читателей происходит согласно анкетному анализу не за счет тех, кто всегда много читал (22 процента), и тех, кто вообще не читал и раньше (33 процента), а за счет тех, кто мало читал, то есть за счет средних слоев, обладающих средним уровнем культуры. Иначе говоря, тех, кто, по традиционному убеждению социологов, наиболее подвержен пагубному воздействию со стороны «массовой культуры». Это-то главным образом и было причиной удивления авторов анкеты. Конечно, у советского читателя названные цифры могут вызвать улыбку — что они в сравнении с десятками миллионов наших библиофилов, — однако для Франции они представляют серьезный прогресс. Но еще более интересными оказались результаты анализа читаемой литературы. По жанрам первое место прочно занял роман, второе — историческая и мемуарная литература. И только третье — полицейские и шпионские серии. Что касается конкретных авторов, то среди прочих 69 процентов опрошенных отдали предпочтение Бальзаку против 47 процентов, предпочитающих Сан-Антонио. И тем самым заявление Фредерика Дара насчет века мультипликационных героев и литературы вокзальных киосков было посрамлено.

Подытоживая эти тенденции, журналист-социолог Морис Маскино писал: «Значит, издательства, пресса, телевидение, радио, могут быть уже сегодня поставлены на службу интеллекту и таланту? Да, это возможно, публика к этому готова. Но этого не хотят ни наши власти, которые боятся сознательных граждан, ни хозяева экономики и банков, которые стремятся сохранить социальное и политическое статус-кво, обеспечивающее им колоссальные прибыли».

В этом все дело! Буржуазная культура вовсе не спешит удовлетворить вкусы широких масс. Речь, напротив, идет о сознательной политике опрощения и удешевления культуры. И тут возникает серьезный вопрос о классовой позиции писателей, художников, артистов, которые способны сыграть выдающуюся роль в жизни общества, ускорить или замедлить процесс высвобождения сознания людей из-под власти «массовой культуры». Ведь литература и искусство, насыщая идеи, по словам М. Горького, плотью и кровью, служат самым действенным и доступным способом пропаганды классовых идей. Старый вопрос «с кем вы, мастера культуры?» приобретает сегодня особый смысл. И он, этот вопрос, отнюдь не риторический. Силой самого объективного развития капитализма социальное положение подавляющего большинства деятелей культуры все больше сближается с положением наемных работников. Этот процесс начался давно, его отмечал еще Маркс в «Теориях прибавочной стоимости»: «...Мильтон, написавший «Потерянный рай» и получивший за него 5 ф. ст., был *непроизводительным работником*. Напротив, писатель, работающий для своего книготорговца на фабричный манер, является *производительным работником*. Мильтон создавал «Потерянный рай» с той же необходимостью, с какой шелковичный червь производит шелк. Это было действительное проявление его натуры... А лейпцигский литератор-пролетарий, фабрикующий по указке своего издателя те или иные книги... является *производительным работником*, так как его производство с самого начала подчинено капиталу и совершается только для увеличения стоимости этого капитала». Сегодня указанный процесс пролетаризации интеллекта зашел очень далеко и все более значительное число писателей и художников начинает осознавать несовместимость творческого начала с корыстными интересами капитала. Многие деятели культуры (я не говорю о тех высокооплачиваемых, которые сознательно связали свою судьбу с судьбой капитализма) начинают понимать, что борьба за свободу слова, печати, самого интеллекта неотделима от борьбы против всех видов эксплуатации.

Именно в этом параллельном развитии борьбы за интеллект и за свободу от эксплуатации происходит осознание общности интересов всех трудящихся как физического, так и умственного труда, а также становление их политического союза.

ДНЕВНИКИ ВОСПОМИНАНИЯ

Н. А. АНТИПЕНКО,
доктор исторических наук,
генерал-лейтенант



ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Встречи с маршалом Г. К. Жуковым

В начале августа 1944 года войска 1-го Белорусского фронта вышли на Вислу, овладев двумя плацдармами — Магнушевским и Пулавским. Размеры этих плацдармов позволяли разместить на них по нескольку армий.

В течение августа — ноября 1944 года войска фронта под командованием Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского отражали контратаки противника и энергично укрепляли занятые рубежи. Одновременно возводились мосты через Вислу, часть которых могла выдержать нагрузку в 60 тонн.

По предварительным данным, Ставка намечала нанести главный удар на варшавско-берлинском направлении, в связи с чем Верховное Главнокомандование предприняло ряд крупных организационных мероприятий.

В середине ноября 1944 года командующим войсками 1-го Белорусского фронта назначается Маршал Советского Союза Г. К. Жуков с одновременным оставлением его в должности заместителя Верховного Главнокомандующего. Маршалу К. К. Рокоссовскому было предложено вступить в командование войсками 2-го Белорусского фронта.

За два с половиной года войны и совместной работы с К. К. Рокоссовским у многих из нас, воевавших рядом с ним, сложилось не только взаимопонимание с полуслова, но и глубокая фронтовая дружба, а она, как известно, крепче многих лет дружбы мирного времени. Все знавшие К. К. Рокоссовского согласятся со мной, что это был человек редкой душевной теплоты и личного обаяния.

Нетрудно понять, что стоило Рокоссовскому сдать свой ставший для него родным 1-й Белорусский фронт. Сталин понимал, как это огорчит его, и потому решил лично объяснить ему необходимость такой меры. Хорошо понимали мудрость этой меры и мы: военный авторитет маршала Жукова был велик не только в нашей стране, но и во всем мире. Сталин решил поставить на берлинское направление именно его как своего заместителя.

19 ноября 1944 года в Советском Союзе впервые отмечался День артиллерии. По указанию Военного совета фронта мы праздновали его в польском городе Бяла-Подляска, что в ста километрах восточнее Варшавы. Этот вечер совпал с проводами Рокоссовского.

Нельзя забыть прощальный диалог двух маршалов на этом вечере. Вели они его на импровизированной трибуне, вспоминая молодые годы, когда оба служили в царской армии, затем воевали на фронтах гражданской войны; говорили о совместной учебе на курсах, о встречах на учениях, на конных соревнованиях (ведь оба лихие кавалеристы!). С каким огромным вниманием и волнением слушали мы историю рождения и становления Советской Армии из уст самих участников великого процесса!

Закончилось торжество, отстремели залпы салюта в честь Дня артиллерии, и Рокоссовский отбыл на 2-й Белорусский фронт.

Маршалу Жукову не потребовалось много времени, чтобы войти в курс дела. Еще до приезда на фронт он детально изучил обстановку в Генеральном штабе, группировку войск — наших и немецких. Он знал не только по фамилиям, по работе, но и в лицо

многих работников управления фронта. Еще ближе знал каждого командарма. В течение двух-трех дней он внимательно заслушивал доклады своих заместителей.

Известен ему был и срок готовности фронта к наступлению — ориентировочно в конце января 1945 года.

Новый командующий решил провести на картах оперативную игру, отражавшую, по существу, весь замысел предстоящей операции. Помимо штаба фронта в ней участвовали все командармы, начальники родов войск и заместитель командующего фронтом по тылу. Игра проходила очень остро, интересно и весьма поучительно. С неослабевающим вниманием наблюдал каждый из играющих жуковское искусство ведения игры на картах. Обостряя до предела обстановку «на фронте», он требовал от командармов и начальников родов войск мгновенного реагирования. Помню, как смело, я бы сказал, дерзко сформулировал свое решение командарм 8-й гвардейской В. И. Чуйков и с каким глубоким удовлетворением слушал его командующий. Он сам не любил шаблона, всегда искал и находил новые способы и приемы ведения боевых действий, требуя того же от подчиненных. Вопросы неожиданно переносились от одного стола к другому, накал «боя» требовал от людей мобилизации всех сил, умения. Игра переставала быть игрой — каждый держал экзамен на боевую зрелость, на право быть достойным доверенного ему места в предстоящей операции.

Чтобы не привлечь чьего-либо внимания, Жуков никому из руководства фронта не разрешал появляться на плацдармах. Лишь за пятнадцать суток до начала наступления всем заместителям надлежало выехать в войска и лично осмотреть подведомственные учреждения, части и подразделения.

Памятным событием в ходе подготовки данной операции осталась для меня наша совместная поездка с Г. К. Жуковым в Москву, куда он ехал для доклада Ставке плана предстоящих действий. Ехали специальным поездом. Большую часть времени в пути проводили в вагоне командующего — здесь велись деловые разговоры, тут же и ели. Г. К. Жуков потчевал нас вином хвanchкара, которое ему прислал на фронт Сталин. В вагоне по дороге в Москву он нередко обращался с вопросом то к одному, то к другому из спутников, досконально интересовался состоянием тыла фронта, неуставно подчеркивая большой объем предстоящих дел.

По приезде в Москву Жуков установил модус в работе.

— Будем встречаться два раза в сутки — утром и вечером, — сказал он мне. — Сегодня я в Генеральном штабе, вечером приходите туда и вы. Перед тем побывайте у заместителя наркома по тылу Хрулёва и у начальника Главного артиллерийского управления Яковлева.

При первой встрече в Генштабе (здесь у маршала был свой постоянный кабинет) Жуков выслушал мой доклад о мероприятиях центра касательно нашего фронта и остался доволен ими. Затем он сообщил, что Генштаб одобрил наш план, но в связи с предстоящим усилением войск внес существенные поправки.

— Пока что, — сообщил Жуков, — нам дают новую армию, которую мы используем на Магнушевском плацдарме. Вам надлежит так организовать прием этой армии в полосу фронта, чтобы противник не разгадал нашего замысла: дайте ей район выгрузки поближе к Варшаве — пусть немцы думают, что главный удар наносится нами именно в этом направлении.

Более или менее общепризнанно, что для перевозки одной общевойсковой армии требовалось тогда до 150 железнодорожных эшелонов. В данном случае армия прибывала темпом от 15 до 20 эшелонов в сутки. Выйдя из кабинета Жукова, я тут же по телефону ВЧ ориентировал начальника ВОСО (военных сообщений) фронта генерала Чернякова о прибывающих частях, указав ориентировочно район и порядок их выгрузки.

На другой день вечером, встретясь с Жуковым, я узнал, что Ставка выделяет нашему фронту еще две армии, из которых одна уйдет на Магнушевский плацдарм, а другая будет находиться во втором эшелоне фронта. Порядок приема обеих армий сохранялся прежний. Теперь нам предстояло встречать ежедневно по 50—60 оперативных эшелонов, не считая большого количества снабженческих поездов. Меньше чем за месяц — свыше 1500 поездов! Нетрудно понять всю сложность создавшегося положения в тылу фронта. Необходимо было выгружать войска на ложном направлении, с тем чтобы в ночное время они успевали переместиться в свои полосы наступления, находившиеся в 100—150 километрах от места выгрузки. Войска и техника без труда могут совершать подобные марши. Но как быть с десятками тысяч тонн боеприпасов, горючего, идущих на фронт для этих армий?

Решили открыть в истинных районах базирования как бы ничейные склады, подчиненные фронту,— разумеется, в строжайшей тайне. Командующий фронтом это одобрил.

Маршалу Жукову было свойственно стремление в деталях знать, как обеспечены продовольствием войска на фронте. По возвращении из Москвы он спросил меня:

— А как питаются наши воины на переднем крае и в госпиталях? — Получив удовлетворивший его ответ, добавил: — Хорошо бы организовать массовую проверку.

Я доложил, что такие проверки мы проводим регулярно два-три раза в году и в данный момент готовится выезд в войска более ста групп во главе с политработниками.

— Это хорошо. Но я хочу, чтобы к актам проверки были приложены списки всех опрошенных с указанием фамилий, номеров рот, полков, дивизий...

Эта рекомендация, разумеется, осложняла работу комиссий, но обеспечивала глубину проверки.

Комиссия опросила 9980 человек. После этого по указанию Военного совета фронта состоялась общештатная конференция по вопросам питания и быта воинов переднего края. Присутствовали более 500 старшин рот. Председательствовал на конференции первый член Военного совета фронта К. Ф. Телегин. Общее состояние питания наших войск было признано вполне удовлетворительным.

В те же дни (маршал Жуков знал об этом) железнодорожные войска фронта под руководством генерала Н. В. Борисова день и ночь строили новую железную дорогу вблизи переднего края протяженностью в 36 километров, чтобы иметь выход с левого крыла фронта на правый. Железнодорожная насыпь здесь осталась еще с довоенных времен, что позволило ускорить строительство. И вот теперь дорога построена. Я доложил о готовности командующему. Г. К. Жуков тут же приказал начальнику штаба фронта генералу Малинину и командующему БТМВ генералу Орлу как можно быстрее организовать перевозку макетов танков в светлое время суток по направлению от плацдармов в сторону Варшавы. Вскоре вдоль линии фронта стали передвигаться один за другим поезда с деревянными макетами танков. Здесь на виду у противника в светлое время суток недалеко от Праги (предместье Варшавы) их разгружали, а ночью опять грузили на платформы и по круговой дороге — через Седец, Мендзыжец, Люблин — снова подавали на вновь построенную дорогу, чтобы опять двигаться к Варшаве. Впоследствии выяснилось, что маневр этот имел успех: у противника не оставалось сомнения, что наиболее мощный удар готовится в районе Варшавы.

Намечались и другие приемы дезинформации, но до них дело не дошло: в это время развернулись события на западе, в Арденнах, и нашему фронту пришлось сократить срок подготовки. Гитлеровцы нанесли в Арденнах такой удар по англо-американским войскам, что над ними нависла реальная угроза быть сброшенными в море. Черчилль убедительно просил Сталина немедленно начать наступление со стороны Вислы, чтобы отвлечь возможно больше немецких сил с запада и тем самым спасти союзников от поражения. Сталин пошел навстречу этой просьбе и дал указание Жукову начать наступление не 20-го, а 14 января.

Еще за месяц до этого я представил на подпись Жукову проект приказа по тылу о мерах по обеспечению предстоящей операции. Как и полагалось, в этом приказе и приложенном к нему плане отражался оперативный замысел командования. В данном случае документы наглядно показывали группировку войск и тыла, темпы наступления по этапам операции и конечную цель. Командующий фронтом одобрил проект, в частности решительное приближение к действующим войскам основных баз снабжения и медицинского обеспечения, а также завоз на плацдармы 53 тысяч тонн боеприпасов. Он понимал, что в основе такой необычной концентрации и приближения сил и средств тыла к войскам лежала полная уверенность в успехе предстоящей деятельности.

Г. К. Жуков предложил мне руководствоваться составленным планом, но от подписания приказа воздержался.

— Хорошо грамотный немецкий разведчик,— заметил он,— только по одним этим документам раскроет весь план операции. Приказ я подпишу позже.

Подшло 14 января 1945 года. Находясь на докладе у Жукова, я попросил разрешения поехать с ним на его наблюдательный пункт, подготовленный на переднем крае 5-й ударной армии. Ответ был краток:

— Я командую войсками, а вы — тылом фронта; каждый из нас должен находиться на своем месте.

Разумсется, он был прав. «Но ведь случай неповторимый...» — подумал я. Позже я повторил просьбу, напомнив, что он до сего времени не подписал приказ по тылу.

В одиночку на наблюдательный пункт командующего фронтом я ехать не мог. Требовалось знать десятки паролей, в точности знать, где в ночное время переехать через Вислу, как проехать по сложным лабиринтам плацдарма. Поручил своему адъютанту Свиридову уточнить у адъютанта командующего час и минуту отъезда на НП. Около 3 часов утра 14 января мой «виллис» пристроился в нескольких метрах от такого же «виллиса», предназначенного для маршала Жукова. Через пять минут вышел Жуков и сел в машину и поехал. Мы — за ним. Трудно было ехать в темноте, но наконец прибыли на место.

Сперва я зашел к генералу Ф. Е. Бокову, члену Военного совета 5-й ударной армии.

За полчаса до открытия огня Г. К. Жуков занял свой блиндаж, а я поместился в блиндаже командарма Н. Э. Берзарина, в 70—80 метрах от блиндажа командующего фронтом. Между этими двумя точками был ход сообщения с выходом на вышку.

Сидя рядом с Берзариным, я наблюдал, как он управлял войсками в самый напряженный момент. Два раза Николай Эрстович созванивался с командирами корпусов и командирами некоторых дивизий, сверяя часы: принято считать, что самые точные часы у старшего начальника, все командармы установили свои часы по Жукову и так до командиров батальонов и рот.

Ровно в 8.00 должна начаться артиллерийская подготовка... Чуть брезжит рассвет. Мы с Берзариным перешли на наблюдательную вышку маршала. Площадка на этой вышке равнялась примерно 6—8 квадратным метрам. По силуэтам я различил Жукова, командующего артиллерией фронта генерала В. И. Казакова. Г. К. Жуков пристально вглядывался в сторону противника. Минута, две... и грянут залпы из тысячи орудий!..

Началось! Тяжелые снаряды летели через наши головы. Заработали «катюши» — их было около тысячи. Огневые позиции «катюш» находились справа и слева от НП Жукова. На вышке стало светло, как в яркий солнечный день.

— И вы здесь? — обратился ко мне Г. К. Жуков.

— Привез на подпись приказ по тылу. Ведь операция уже началась, а приказ не подписан.

— Ну хорошо. Закончится огонь, спустимся в блиндаж, там подпишу, — улыбнулся маршал.

Стоя рядом с ним, я видел, как он то и дело посматривал на свои часы. Море огня полыхало на передовых позициях и в глубине обороны немцев. Вдруг на двадцать пятой минуте Жуков приказал прекратить артподготовку и двинуть вперед штурмовые батальоны. Он верно определил, что значительная часть гитлеровцев была уничтожена в первые же минуты мощным артиллерийским огнем, а остатки спешно отошли на промежуточные рубежи, где их добивала наша авиация.

Через несколько минут после того, как пришли в движение наши войска, Г. К. Жуков пригласил меня в свой блиндаж, предложил чаю и велел дать ему приказ. Он подписал его не читая: мол, знаю наизусть.

Благодаря отличной артиллерийской разведке — наземной и с воздуха, — а также хорошо продуманному плану огневого нападения, благодаря меткой стрельбе нашей артиллерии система немецкой обороны оказалась нарушенной и даже разрушенной менее чем за полчаса. Своевременная и безошибочная оценка этого факта Жуковым позволила нам сэкономить 60—70 поездов боеприпасов, что имело очень большое значение для последующих событий.

Для Висло-Одерской операции характерны высокие темпы наступления. 25 километров в сутки — средний темп за период с 14 января по 3 февраля 1945 года, но в отдельные дни даже пехота перемещалась значительно быстрее, пользуясь любыми средствами передвижения. Такова была сила первоначального удара.

Требование Жукова: только вперед, обходить отдельные узлы сопротивления и безостановочно идти к конечному рубежу! — выполнялось неукоснительно. Даже крупный гарнизон гитлеровцев в Познани, оказавшийся в окружении, был оставлен командующим 8-й гвардейской армией генералом Чуйковым в тылу, а основная часть сил этой армии продолжала движение на запад. Ликвидировали этот гарнизон только через месяц, 23 февраля 1945 года. Так поступали и с некоторыми другими окруженными группировками.

Висло-Одерская операция показала образцы умелого взаимодействия всех родов войск в достижении поставленной цели. Сосредоточение усилий на важном направлении, ни малейшего распыления сил ударной группировки — это то новое, что родилось в ходе войны.

Главной нашей задачей в Висло-Одерской операции, по Жукову, было оседлать стратегические коммуникации, изолировать войска противника от его глубокого тыла. По существу, это произошло уже на седьмой — десятый день операции. Однако воспользоваться захваченными коммуникациями с ходу мы не смогли, так как противник успел вырезать всю проводную связь. Пришлось прибегнуть к необычным способам управления железнодорожным движением — на важнейших железнодорожных узлах мы развернули несколько радиостанций; эти средства связи плюс автомобиль хорошо помогли. Перед тем как пустить поезд к ближайшей станции, офицер ВОСО успевал на автомобиле прибыть туда, чтобы предупредить об идущем поезде. Это делалось в течение нескольких дней — на протяжении почти тысячи километров! А общий учет движения и местонахождения поездов производился с помощью самолета «У-2», на котором другой офицер ВОСО пролетал вдоль железной дороги и фиксировал на планшете, где находится данный поезд в данный час. Если учесть эти трудности, а также острую нехватку паровозного топлива, нетрудно понять, как мучительно медленно двигались поезда на запад.

Между тем обстановка на фронте усложнялась с каждым днем. Войска 2-го Белорусского фронта распоряжением Ставки повернули к северу, а 1-й Белорусский фронт продолжал наступать на запад высоким темпом. В результате правый фланг 1-го Белорусского фронта оказался открытым. Верховный Главнокомандующий ежедневно, а то и несколько раз в день предупреждал Жукова, что померанская группировка противника, состоящая главным образом из войск СС, имеет целью нанести сильный удар по нашему совершенно открытому правому флангу, чтобы отрезать войска 1-го Белорусского фронта от его баз и прижать с двух сторон к Одеру.

В предвидении такой угрозы Г. К. Жуков повернул одну за другой четыре армии в сторону Померании. Образовался как бы новый фронт лицом на север. В связи с этим предстояло быстро перестроить весь тыл фронта, а главное — как можно больше подать боеприпасов на новое направление.

Трудно передать всю остроту создавшегося положения. Боеприпасы, боеприпасы! И еще раз — боеприпасы!

Противник уже начал выдвигаться из Померании навстречу нашему вновь образованному фронту. И в этот критический момент стали подходить на армейские базы один за другим поезда с боеприпасами... Десятки поездов!

Надо было видеть, как преобразилось суровое лицо маршала Жукова, когда ему доложил об этом начальник тыла фронта. Изменился тон разговора с окружающими. Не будет преувеличением сказать, что судьба правого крыла фронта перестала висеть на волоске...

На отражение и разгром померанской группировки противника было израсходовано свыше 20 тысяч тонн боеприпасов, тех самых боеприпасов, которые сохранялись от экономии артподготовки на Висле. Надо прямо сказать, что только благодаря этой экономии фронт успешно справился с трудной задачей, так как боеприпасы из центра в те дни на фронт не поступали.

Приведенный факт служит еще одним доказательством того, как глубоко понимал маршал Жуков всю значимость экономии материальных средств в годы войны: несмотря на то, что операция вдвое переросла первоначально намеченную глубину, войска обеспечивались боеприпасами в полной мере.

Для меня Висло-Одерская операция памятна еще и тем, что в приказах Верховного Главнокомандующего за январь и февраль 1945 года среди войск генералов Белова, Перхоровича, Богданова и других, овладевших городами Гнезно, Бромберг, участвовали и войска генерала Антипенко. Читал и удивлялся: почти четыре года войны такого не было! Впервые признаны и объявлены в печати заслуги военного тыла, его участие в победе. Радость не только моя, но и всех моих подчиненных не имела границ. Не всем известно, что в минувшей войне войска тыла фронта составляли свыше 25 процентов общей численности фронта.

После того как ликвидировали померанскую группировку и наши войска закрепились на одерских плацдармах, стало возможным вести непосредственную подготовку к Берлинской операции.

Некоторые «стратеги» за рубежом и поныне пишут, что-де можно было взять Берлин с ходу еще в феврале. Но командующий фронтом маршал Жуков придерживался другого мнения. В своей книге «Воспоминания и размышления» он дает исчерпывающие разъяснения по этому вопросу. Повторяю, нам едва хватило боеприпасов на ликвидацию померанской группировки — тут не до Берлина.

Несомненно, здесь Г. К. Жуков проявил величайшую предусмотрительность: ведь и сам он и все его помощники горели желанием немедленно идти на Берлин. Но трезвый анализ сложившейся оперативной и тыловой обстановки призывал к благоразумию. Лишь после ликвидации восточнопомеранской группировки противника и после всесторонней и тщательной подготовки фронта в целом можно было приступить к новой операции. Времени на это оставалось две недели. Наши западные союзники, получившие серьезный удар от немцев в Арденнах, начали вдруг проявлять необычайную для них активность. «Прежняя медлительность в действиях американо-английского командования сменялась крайней поспешностью», — говорит об этом Г. К. Жуков.

Теперь все в мире знают о коварстве Черчилля. Оно яснее ясно видно из следующего документа. 1 апреля 1945 года У. Черчилль писал Ф. Рузвельту: «Русские армии, несомненно, захватят всю Австрию и войдут в Вену. Если они захватят также Берлин, то не создается ли у них слишком преувеличенное представление о том, будто они внесли подавляющий вклад в нашу общую победу, и не может ли это привести их к такому умонастроению, которое вызовет серьезные и весьма значительные трудности в будущем? Поэтому я считаю, что с политической точки зрения нам следует продвигаться в Германии как можно дальше на восток, и в том случае, если Берлин окажется в пределах нашей досягаемости, мы, несомненно, должны его взять»¹.

Г. К. Жуков от Сталина знал об этих замыслах Черчилля и поэтому проявлял величайшую бдительность. Среди пленных немцев, захваченных нашими войсками, все чаще попадались солдаты и офицеры, переброшенные с Западного фронта. Это подтверждало, что и гитлеровцы ориентировались на предательские планы Черчилля, усиливая свой Восточный фронт за счет ослабления Западного.

Командующий Г. К. Жуков приказал начальнику тыла фронта в оставшиеся две недели до начала Берлинской наступательной операции доставить в район Кюстриянского плацдарма не менее 40—50 тысяч тонн боеприпасов. Эта задача стояла в центре внимания всего командования. Начальник штаба фронта Михаил Сергеевич Малинин не раз приглашал меня к своей оперативной карте, чтобы наглядно показать: войска вполне готовы к безотлагательному переходу в наступление, а материальных средств не хватает.

На берлинском направлении противник сосредоточил довольно значительные силы: не менее миллиона человек, почти 10,5 тысячи орудий и минометов, 1500 танков и штурмовых орудий, 3300 боевых самолетов; к тому же гарнизон самого Берлина насчитывал более 200 тысяч человек².

Было над чем поразмыслить маршалу Жукову. Любой просчет мог иметь далеко идущие последствия. Союзники пока выжидали, присматривались, хотели действовать только наверняка. Жукова ни на час не покидала мысль об огромной ответственности, возложенной на него самой историей. Он стремился вникнуть во всевозможные варианты предстоящей битвы, ничего не упустить, избежать ошибок, быть готовым ко всем хитростям противника, к неожиданным поворотам в поведении наших союзников.

Предстояло форсировать немало водных преград, преодолеть зоны заграждения, вести бои за каждую улицу, каждый дом.

Развернулась большая политическая работа в войсках. Издавались листовки, рассказывающие о боевом опыте, памятки пехотинцам для ведения боя в крупном городе, памятки пулеметчикам, экипажам самоходных установок.

Оперативная игра, проведенная за десять суток до начала наступления, дала возможность Жукову и всему высшему командному составу фронта глубже уяснить смысл складывающейся военной и политической обстановки. Все понимали, что медлить с началом Берлинской операции значит действовать на руку нашим недругам. Но и наступление без достаточного материального обеспечения рискованно. От всего командования требовалась большая предусмотрительность, предельное напряжение сил.

¹ Г. К. Жуков. Воспоминания и размышления. М. Издательство АПН. 1971, стр. 590.

² См. «Великая Отечественная война Советского Союза 1941—1945. Краткая история». Издание второе. М. Воениздат. 1970, стр. 491.

Жуков не сомневался в высоком уровне стратегического и оперативного искусства, достигнутом нашими командующими и штабами. Наступательный дух советских войск находился к тому времени на самом высоком уровне. Все верили в близость победы. Но маршал Жуков ни на минуту не терял из виду всегда присущую ему заботу о достижении победы ценой наименьшей крови. А для этого предстояло организовать взаимодействие всех родов войск и служб так четко, как того требовало надежное огневое, воздушное и техническое прикрытие.

В той обстановке величайшая ответственность лежала на всей системе тыла. «К началу Берлинской операции еще не были созданы необходимые запасы. Нужны были действительно героические усилия работников тыла фронта и армий. И они оказались на высоте положения», — пишет об этом маршал Жуков.

Наступление на Берлин началось 6 апреля 1945 года. Участвовавшие в нем три фронта (2-й и 1-й Белорусские и 1-й Украинский) насчитывали: 2500 тысяч человек, около 42 тысяч орудий и минометов, 6250 танков и самоходно-артиллерийских установок, 7500 боевых самолетов. Общее превосходство над противником составляло: в людях 2,5:1, в артиллерии — 4,2:1, в авиации 2,3:1.

Командующий войсками 1-го Белорусского фронта решил начать артиллерийскую подготовку за два часа до рассвета, то есть в 5.00. Плотность артиллерии на участке главного удара достигала 280—300 орудий на километр фронта.

На этот раз маршал Жуков сам предложил мне присутствовать на его наблюдательном пункте, находившемся в непосредственной близости от переднего края, на участке 8-й гвардейской армии.

Неслыханной силы удар обрушился на противника. По инициативе Жукова были включены 143 зенитных прожектора большой мощности, осветившие позиции противника и ослепившие гитлеровцев. Более ста миллионов свечей освещали поле боя! «Это была картина огромной впечатляющей силы, и, пожалуй, за всю свою жизнь я не помню подобного ощущения...» — вспоминает Г. К. Жуков. Казалось, что бушующий огненный смерч уничтожит все живое. Трудно было поверить, чтобы после такого огня что-либо уцелело на ближайших позициях противника. И как на Висле, так и здесь командующий фронтом на двадцать пятую или тридцатую минуту решил прекратить артподготовку, бросить вперед штурмовые батальоны. И опять такое решение оказалось оправданным: продолжать огонь было бы нецелесообразно, а сэкономленные боеприпасы очень понадобились в последующие дни штурма. Противник продолжал вести дальний артиллерийский огонь со стороны Зеловских высот. Один снаряд угодил прямо в блиндаж узла связи, расположенный в 10 метрах от НП Жукова. Почти все связисты (точнее — связистки) погибли. Взрывная волна докатилась до нашего НП, зашевелились головные уборы. Командующий фронтом, не отрываясь от наблюдения за ходом сражения, только спросил, оказана ли помощь пострадавшим.

День за днем шло «прогрызание» обороны противника. Ведь не менее 5 хорошо подготовленных оборонительных рубежей построили гитлеровцы на подступах к Берлину, и каждый из них приходилось брать с интенсивной, хотя и непродолжительной огневой подготовкой.

2 мая пал Берлин.

Каждый из нас с волнением читал приказ Верховного Главнокомандующего:

«Войска 1-го Белорусского фронта... при содействии войск 1-го Украинского фронта... после упорных уличных боев завершили разгром берлинской группы немецких войск и сегодня, 2 мая, полностью овладели столицей Германии городом Берлин — центром немецкого империализма и очагом немецкой агрессии».

Торжествовал советский народ. Ликовали воины-победители. В тот день взамен победного салюта в Берлине стреляли в воздух все: артиллеристы из пушек, солдаты из ружей и автоматов, многие из пистолетов и ракетниц, благо боеприпасов было вдоволь.

Иди знай, откуда и куда залетит шальная пуля! Свист осколков и пуль слышался всюду. Пришлось самому Жукову вмешаться и попридержать эти стихийные салюты.

Нет, то была не пиррова победа. Начинали Берлинскую операцию с 2—2,5 боекомплекта основных калибров боеприпасов, а к 25 апреля 1945 года на станцию Берлин — Лихтенберг подошел первый поезд с боеприпасами по советской колее. К концу операции боеприпасов и горючего было вполне достаточно для проведения новой наступательной операции.

Закончилась война. Наступил день, когда солдат мог спокойно раздеться, разуться, помыться, лечь в чистую постель и помечтать о завтрашнем дне, о встрече с семьей, представить себя на своем производстве, на бескрайних земельных просторах.

Об этом завтрашнем дне и следовало подумать всем командирам, политработникам и, конечно, органам тыла в первую очередь.

Наряду с решением неотложных задач, непосредственно связанных с окончанием войны, Главнокомандующий Советскими оккупационными войсками (ГСОВ) в Германии маршал Г. К. Жуков и прибывший из Москвы первый заместитель наркома иностранных дел СССР А. Я. Вышинский вели активную подготовку к предстоящему подписанию Акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Этот вопрос в те дни занимал внимание всех стран-победительниц.

Командование фашистских войск надеялось, что западным державам удастся поставить во главе общегерманского государства новое правительство, угодное империалистическим кругам.

Незадолго до своего самоуничтожения Гитлер заявил: «Если немецкий народ не готов бороться за свое самосохранение, то пускай он погибнет». Гросс-адмирал Дениц — ставленник Гитлера — мыслил иначе. «Мы должны радоваться каждой возможности оккупации нашей территории американскими, а не русскими войсками», — заявил он³.

Западные державы ожидали политических преимуществ от принятия «капитуляции по частям», рассчитывая на то, что сами гитлеровские войска будут услужливо идти навстречу западным союзникам. И «местная капитуляция» немецких группировок перед союзническим командованием действительно имела место. С 29 апреля по 7 мая 1945 года одновременно капитулировали перед англо-американцами гитлеровские группы армий «Ц», «Б», «Г» и другие, действовавшие в Италии, Хорватии, Австрии, на западе и севере Германии. Типсельскирх добился у командира 82-й воздушно-десантной дивизии англичан согласия на капитуляцию при одновременном продолжении арьергардных боев с советскими войсками. Того же добились и некоторые другие немецкие генералы. Все эти «частные капитуляции» таили в себе надежду на затягивание войны на Восточном фронте.

В совершенно секретной директиве штаба гитлеровского верховного командования говорилось: «Складывая оружие в Северо-Западной Германии, Дании и Голландии, мы исходим из того, что борьба против западных держав потеряла смысл. На востоке, однако, борьба продолжается...»⁴.

Правда, американский главнокомандующий генерал Эйзенхауэр не поддался этим двусмысленным прояскам: он предложил гитлеровскому командованию прекратить проволочку и быть готовым к безоговорочной капитуляции на всех фронтах.

Протокол о капитуляции германских вооруженных сил, подписанный германским и англо-американским командованием в Реймсе 7 мая 1945 года, рассматривался как предварительный, поскольку Советское правительство и командование Советской Армии считали все эти «местные капитуляции» неправомерными. И. В. Сталин потребовал, чтобы Акт о капитуляции носил безоговорочный характер, а процедура его подписания происходила в центре фашистского логова — Берлине. Больше того, возглавить эту процедуру должен советский представитель — Маршал Советского Союза Г. К. Жуков. При этом безоговорочная капитуляция должна стать обязательной для всех вооруженных сил Германии — на суше, на море и в воздухе.

Нетрудно понять, какие сложные лабиринты межсоюзнических отношений пришлось преодолеть Советскому правительству, и, в частности, маршалу Жукову, прежде чем достигнуто было в этом вопросе полное единство.

8 мая 1945 года в первой половине дня в Карлсхорст (предместье Берлина) прибыли: от Англии — главный маршал авиации Артур В. Теддер, от США — командующий стратегическими воздушными силами генерал К. Спаатс, от Франции — главнокомандующий французской армией Ж. Делатр де Тассиньи. Советское Верховное командование представлял Георгий Константинович Жуков.

Сюда же прибыли под охраной английских офицеров представители германского главного командования — фельдмаршал Кейтель, адмирал флота Фридебург, генерал-полковник авиации Штумпф, — имевшие полномочия подписать Акт о безоговорочной капитуляции.

³ ИМЛ. Документы и материалы отдела истории Великой Отечественной войны. Инв. № 6083, лл. 9—10.

⁴ «История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945» в шести томах. М. Воениздат. 1963, т. 5, стр. 348.

По указанию маршала Жукова начальнику тыла фронта предстояло соответствующим образом разместить делегации.

Немецкой делегации отвели небольшой домик в непосредственной близости к боковым воротам инженерного училища в Карлсхорсте. Несколько раз мне приходилось заходить в этот домик для проверки бытовых условий немецкой делегации. Почти весь день делегация находилась на попечении генерал-лейтенанта И. А. Серова. За спинами представителей гитлеровского вермахта безотлучно стояли английские офицеры.

Специально выделенные мною работники хозяйственного аппарата приводили в порядок двухэтажное здание столовой инженерного училища в Карлсхорсте, а также вели подготовку к предстоящему торжественному обеду, предусмотренному маршалом Жуковым после подписания Акта о капитуляции.

Исходя из предположения, что процедура подписания закончится около 13—14 часов 8 мая, Г. К. Жуков обязал обеспечить готовность обеда к 15.00 примерно на 250 человек. При этом он потребовал, чтобы в меню не было ни одного блюда с иностранным названием.

— Можно подать все, что изготавливается в республиках нашей страны,— улыбаясь, сказал он.

Первоклассный повар нашей фронтовой столовой Василий Михайлович Павлов заявил, что гарантирует разнообразие и высокое качество блюд к 15 часам — лишь бы гости своевременно сели за стол: крайне важно, чтобы пища не перестояла, подчеркнул он.

Разумеется, центральными блюдами на первое предусматривались щи русские и борщ украинский.

И вот наступило обеденное время, а команда на подачу обеда не поступает.

В течение всего дня 8 мая 1945 года шли оживленные переговоры между Москвой, Вашингтоном и Лондоном о процедуре подписания Акта. В конце концов все решилось так, как предполагало Советское правительство.

Около 24.00 по московскому времени (или 22.00 по берлинскому) в зале собрались представители союзного командования, советские генералы фронтового и армейского командования.

По приказанию маршала Жукова в зал ввели представителей вермахта. Кейтель театрально приветствовал собравшихся фельдмаршалским жезлом.

Актовый зал инженерного училища не мог вместить всех наехавших журналистов и кинооператоров. Каждый из них стремился подняться повыше, взбираясь на плечи другого, чтобы схватить в объектив наиболее интересные моменты.

Церемония подписания завершилась в 0 часов 43 минуты по московскому времени, то есть уже 9 мая 1945 года. Внешне маршал Жуков был спокоен, ровен и сосредоточен. Резко повелительным тоном отдал он команду:

— Выведите немецкую делегацию!

После подписания Акта вокруг Г. К. Жукова тесным кольцом собрались советские генералы и офицеры, поздравляя друг друга с завершением победы. Среди них было немало прошедших боевой путь от Москвы до Берлина.

Обращаясь к своим соратникам по оружию, маршал Жуков произнес речь, почти дословно сохранившуюся в моей памяти и поныне:

«Партия и правительство в час смертельной опасности, нависшей над Родиной, доверили нам оборону столицы нашей Родины Москвы в 1941 году, и это доверие наши доблестные войска оправдали, город не был сдан на поругание врагу. Отборные гитлеровские войска были разгромлены на подступах к столице. Теперь, в 1945 году, нам снова оказаны доверие и великая честь довести до конца разгром ненавистного врага в его собственном логове. И это доверие еще более блистательно оправдали наши славные воины, водрузив знамя победы над рейхстагом»⁵.

Вспоминая об историческом дне, Жуков пишет, что ему особенно приятно было видеть вокруг себя близких боевых друзей — Соколовского, Малинина, Телегина, Антипенко, Колпакчи, Кузнецова, Богданова, Берзарина, Божова, Белова, Горбатова и многих других. Вспоминались ему и те товарищи, которым не довелось дожить до этого дня, увидеть своими глазами плоды одержанной победы.

Этот банкет протекал в обстановке самой дружелюбной. Размещением гостей за столом ведал представитель МИДа Васильев. Рассаживались так, чтобы за столом друг

⁵ Н. А. Антипенко. На главном направлении. М. «Наука», 1967, стр. 271

против друга сидели представители всех четырех командований. Каждому собеседнику, очень пригодился даже минимальный запас иностранных слов — русских, английских, французских.

Не обошлось, конечно, без фронтовых песен, удалой русской пляски. Второй раз за годы войны мне довелось видеть, как лихо отплясывает Жуков. Первый раз это было 19 ноября 1944 года по случаю Дня артиллерии. Тогда вместе с Жуковым участвовали в огненной русской пляске маршал Рокоссовский и генерал Радзиевский. Теперь вышел в круг Делатр де Тассиньи — главнокомандующий французскими вооруженными силами, он очень старался превзойти Жукова сложными пируэтами.

В 6 часов утра закончился банкет, и мы расставались с союзниками тепло и дружелюбно. Всем хотелось верить, что такие добрые отношения сохранятся и впредь. Увы... Дружба, скрепленная кровью, вскоре омрачилась длительным периодом «холодной войны». Если бы ветераны всех стран, боровшиеся с фашизмом, а вместе с ними и все люди доброй воли не забывали тяжелых уроков минувшей войны, человечество, вероятно, могло бы спокойнее жить и трудиться, более уверенно смотреть в будущее.

Советские люди вправе гордиться тем, что историческую церемонию подписания Акта о безоговорочной капитуляции возглавил советский представитель — Георгий Константинович Жуков, крестьянский сын, солдат революции, верный сын Коммунистической партии, беззаветный патриот, полководец с мировой славой, тот самый Жуков, которому осенью 1941 года партия доверила защиту цитаделей революции — Ленинграда и Москвы. Произошло нечто символическое, еще небывалое в героическом прошлом многовековой истории великого русского народа.

Безоговорочная капитуляция — таков приговор истории над фашизмом перед лицом всего прогрессивного человечества.

Главнокомандующий Советскими оккупационными войсками в Германии маршал Г. К. Жуков был назначен также на пост Главноначальствующего Советской военной администрации (СВА). За год пребывания на этом посту он осуществил целый ряд крупных организационных мероприятий, исходящих из основ политики Советского государства в отношении Германии и немецкого народа.

Еще 14 апреля 1945 года в центральном органе Коммунистической партии Советского Союза «Правде» была опубликована статья, в которой говорилось: «Советский народ никогда не отождествлял население Германии и правящую в Германии преступную фашистскую клику».

Людям, перенесшим всю тяжесть четырехлетней войны с фашистами, нелегко было психологически перестроиться. Умозрительно каждый понимал правильность политики нашей партии, но ее практический смысл не сразу укладывался в сознании людей, так много потерявших в этой войне. Мало назвать цифры погибших в боях советских людей. Вряд ли остались семьи, которые не лишились своих отцов, матерей, братьев, сестер в этой кровавой бойне от рук фашистских карателей. А неслыханные издевательства фашистов над советскими людьми, пытки, умерщвление детей на глазах у родителей, массовое превращение советских людей в рабов, изуверское намерение Гитлера стереть с лица земли такие города, как Ленинград и Москву с их многомиллионным населением?! Те, кто пережил это, не так-то легко перестраивались на мирное отношение к населению побежденной страны. Но победили гуманистические идеи, воспитанные в людях самим советским строем. Призыв партии к советским воинам весной 1945 года быть великодушными к побежденным — беспрецедентное явление в истории войн. Бойцы, дважды или трижды раненные, искалеченные, потерявшие свои семьи, не страха ради предав лицом приказа, а благодаря тому интернациональному воспитанию, какое партия Ленина прививает своему народу, подавили в себе чувство мести, выполняя великую освободительную миссию. Великодушие и гуманизм заполнили души советских воинов.

«Комсомольская правда» от 6 мая 1970 года опубликовала диалог.

Вопрос Жукову. Для многих в мире осталось загадкой, как удалось сдерживать гнев и мщение, когда наши солдаты, изгнав врага со своей земли, вступили на его территорию?

Ответ Г. К. Жукова. Честно говоря, когда шла война, все мы, и я в том числе, были полны решимости воздать сполна фашистам за их бесчинства на нашей земле... Наши идеологические убеждения, интернациональные чувства не позволили отдаться слепой мести. Огромную роль сыграла тут воспитательная работа в армии, проведенная коммунистами, и великодушие, свойственное нашему народу.

И действительно, военным командованием и политорганами были приняты все меры, чтобы разъяснить нашим войнам, кто является истинным виновником войны и совершенных злодеяний.

Что касается массы немецкого населения, отравленной нацистской идеологией, то наша задача заключалась в том, чтобы помочь им осознать свои ошибки, быстрее выкорчевать остатки нацизма из быта и сознания. Ведь не мудрено, что за двенадцать лет господства гитлеризма в сознание трудового населения Германии проник дух расизма и милитаризма. Естественно, что и многие немцы боялись расплаты за тягчайшие преступления, активными или пассивными соучастниками которых они были.

Надо было помочь немецкому народу скорее преодолеть в себе чувство обреченности, гнетущей депрессии. Проявить к страданиям немецкого народа внимание, заглушить в себе ненависть к вчерашнему недругу — это тоже своего рода исторический подвиг советского человека.

Идеологической задаче сопутствовала другая — организационно-хозяйственная. Прежде всего надо было навести санитарный порядок в самом Берлине.

Представьте себе огромный город, в котором каждый район, квартал, отдельные дома, подвалы, чердаки — все приспособлено для вооруженной борьбы с советскими войсками; каждый берлинский житель под страхом расправы со стороны гестапо нес ту или иную службу, помогая оказывать сопротивление приближающимся советским войскам. Десятки тысяч таких невольных прямых или косвенных помощников вермахта превратились в трупы.

А что представляло собой берлинское метро с тысячами спасающихся там немцев и в одно мгновение по приказу Гитлера затопленное водой?

Главный эпидемиолог фронта профессор Знаменский, возможно, впервые за свою долголетнюю врачебную практику увидел столь потрясающую картину. Возмущенно, с большой тревогой он докладывал командованию о необходимости принятия больших государственных мер: ведь речь шла о спасении миллионов немцев, оставшихся в живых и в большинстве истощенных, деморализованных, много дней не видевших куса хлеба, стакана воды.

Последние дни апреля гитлеровская администрация перестала кормить население Берлина. Голодные, обессиленные люди лежали на улицах в соседстве с разлагающимися трупами. А погода стояла жаркая. Нависла реальная угроза вспышки эпидемии.

Маршал Жуков все это видел собственными глазами и категорически требовал от своего заместителя по тылу, от командармов, от временных немецких городских властей сделать все возможное, чтобы спасти население.

За несколько суток удалось привести город в удовлетворительное санитарное состояние. Затянулись лишь работы по расчистке и уборке обвалившихся и разрушенных зданий.

Перед советским командованием стояла безотлагательная задача: немедленно накормить население четырехмиллионного города и оказать людям медицинскую помощь.

В первые месяцы после войны Берлин не был еще поделен на оккупационные зоны, поэтому нам одним выпало заботиться о населении всего Большого Берлина. Сперва советское военное командование обеспечивало голодающее население из своих скромных ресурсов. Затем подвезли продовольствие из Советского Союза, и ровно в 8 часов утра 15 мая 1945 года по всему Берлину открылись продовольственные пункты. Будучи тесно связан с решением этой задачи, хочу засвидетельствовать, что на 15 мая мы выдали 4200 продовольственных карточек.

Тесные отношения установились у Жукова с прибывшей из Москвы в Берлин группой антифашистов во главе с видным деятелем компартии Германии Вальтером Ульбрихтом. Совместно решалось множество важных и неотложных организационно-хозяйственных вопросов. В те дни особенно острое положение создалось с весенним севом. Из общей посевной площади восточной части Германии — 7 миллионов гектаров — осенью 1944 года под посевы отошло только 2 миллиона гектаров, остальные 5 остались необработанными. Уже стояла середина мая, а земля пустовала. Немецкие товарищи обратились к советскому командованию с просьбой помочь засеять 5 миллионов гектаров земли. Военный совет фронта хорошо понимал значение этой проблемы и добился, казалось бы, невозможного — были изысканы посевной материал, трактора, горючее, различный инвентарь и в кратчайший срок засеяли все до единого гектара.

Из Польши завезли уголь для отопления электростанций (ежедневно прибывало 18 поездов), обеспечили немецких детей молоком (по 200 граммов в день). Не герпели

отлагательств открытие больниц, школ, театров, издание газет, предоставление возможностей для свободного проведения собраний и т. д.

«Где можно найти в истории такую оккупационную армию,— писал Отто Гротеволь,— которая пять недель спустя после окончания войны дала бы возможность населению оккупированного государства создавать партии, издавать газеты, предоставила бы свободу собраний и выступлений?»

Разгромив фашистскую Германию, Советские Вооруженные Силы освободили вместе с другими европейскими народами и немецкий народ.

Нет необходимости описывать многие дипломатические шаги, какие приходилось предпринимать маршалу Жукову по долгу новой работы в первый год после войны. Назовем лишь некоторые из них.

В начале июня 1945 года в Берлине состоялась встреча Г. К. Жукова с генералом Эйзенхауэром, фельдмаршалом Монтгомери и генералом Делатром де Тассиньи. Это была важная дипломатическая и политическая встреча. Подписанная ими Декларация о поражении Германии предусматривала:

переход власти над Германией в руки правительств — Советского Союза, США, Англии и Франции;

полное разоружение всех германских вооруженных сил, ликвидация СС и СА, гестапо и других подобных организаций;

арест всех главных фашистских лидеров и лиц, подозреваемых в военных преступлениях;

принятие союзниками всех необходимых мер по разоружению и демилитаризации Германии.

В состав Контрольного Совета, организованного тогда же, вошли Г. К. Жуков, Эйзенхауэр, Монтгомери, Делатр де Тассиньи.

Вполне доброжелательные вначале взаимоотношения, сложившиеся между союзниками в Контрольном Совете, постепенно становились менее дружелюбными, по мере того как западные правительства вступали на путь «холодной войны». По указанию Черчилля английские войска собирали германское оружие и боевую технику, чтобы раздать его разоруженным германским частям при первой необходимости.

17 июля 1945 года открылась Потсдамская конференция. На ней присутствовали главы союзнических государств, министры иностранных дел.

За много дней до открытия конференции Жуков пригласил к себе своего заместителя по тылу и, ознакомив с возможным составом делегаций, поручил организовать тщательную разведку окрестностей Берлина и выбрать место, где можно провести заседание и разместить глав государств на жительство. Начальник квартирно-эксплуатационного отдела фронта полковник А. Д. Косогляд после основательных поисков доложил, что самые подходящие, наименее разрушенные районы — Потсдам и рядом с ним Бабельсберг. Осмотрев эти пункты и найдя их пригодными, Жуков доложил Сталину и получил согласие.

Для заседания конференции отвели бывший дворец германского кронпринца в парке Сан-Суси. Даже скупой на похвалы маршал Жуков отдал должное усилиям работников тыла. В короткий срок во дворце отремонтировали 36 комнат, подготовили для жилья 10 вилл в Бабельсберге. Подготовили клумбы в парке и высадили там до 40 тысяч кустов и цветов.

Полковник Косогляд попросил указаний, как подготовить виллу для Сталина. Он получил, казалось бы, резонный ответ: не хуже, чем для Трумэна и Черчилля. Так и сделали. Однако, как потом выяснилось, товарищи перестарались: спальня, кабинет и приемная были слишком роскошно обставлены. Приехавший из Москвы генерал Власик потребовал все переделать — Сталин не любил роскоши. Пришлось многое заменить или просто убрать. В кабинете поставили простой дубовый стол, а в спальне вместо кровати широкий диван. Ковры заменили дорожками.

Заседала конференция в самом большом зале дворца. Посредине поставили круглый стол, его пришлось изготовить в Москве на фабрике «Люкс» — в Германии тогда подходящего не нашлось (и поныне он стоит на том же месте — тысячи экскурсантов бьют там и видят кресла, где сидели главы государств и другие официальные лица).

Главный вопрос, который обсуждался на конференции, — послевоенное устройство Европы, и прежде всего переустройство Германии на демократической основе. Решался также вопрос о предании главных военных преступников суду международного трибунала.

Ни Жуков, ни главнокомандующие других стран официально членами делегаций в Потсдаме не являлись. Но им приходилось присутствовать при рассмотрении важнейших вопросов.

Потсдамская конференция была событием большого исторического значения. После Тегерана и Ялты Потсдам стал завершающим этапом боевого содружества СССР, США, Великобритании в их совместной борьбе с фашизмом. Пребывание Жукова на посту Главноначальствующего Советской военной администрации в Германии нельзя сводить к чисто административной деятельности; наряду с нею продолжалась большая, порой очень острая военно-дипломатическая работа, требовавшая обширных военных знаний и умения применять опыт войны в новой обстановке. Одним из крупных для того времени дел был вопрос о распределении между союзниками германского военно-морского и рыболовецкого флота. По мнению морских специалистов СССР, лишь благодаря личному участию и настойчивости Жукова наша страна получила 656 кораблей и различных транспортных судов в возмещение своих военных потерь.

Быстро промчался первый послевоенный год в Германии. Время большой творческой работы Жукова в интересах Советской страны и освобожденного от фашизма немецкого народа. Уже тогда закладывались основы для образования первого в истории немецкого рабоче-крестьянского государства.

Представители Коммунистической партии Советского Союза, в том числе советское военное командование и политорганы, являлись верными проводниками линии по созданию и укреплению Германской Демократической Республики.

«Даже в черную годину второй мировой войны советские люди, — подчеркивал Л. И. Брежнев в речи на VIII съезде СЕПГ, — не отождествляли трудящихся Германии с преступной гитлеровской кликой. Мы верили, что дух сопротивления фашизму жив и на немецкой земле, что в подпольных группах и тюремных казематах бьется сердце будущей Германии... немецкие коммунисты, продолжатели дела отважных революционеров — Карла Либкнехта, Розы Люксембург и Эрнста Тельмана, — верили в передовые силы немецкого народа. Верные своему революционному долгу, в союзе с прогрессивными социал-демократами они смело взяли на себя ответственность за судьбы родины, сумели вдохновить трудящихся своими идеалами, поднять народные массы на борьбу за лучшее будущее... они с честью в исторически короткий срок решили задачу огромного значения — построили социалистическое государство — Германскую Демократическую Республику»⁶.

⁶ Л. И. Брежнев. Ленинским курсом. Речи и статьи. М. Политиздат 1972, т. 3, стр. 394—395.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

БОРИС ПАНКИН

★

ТОЧКА ОТСЧЕТА

Независимо от «стажа» личного знакомства, ты знал его, кажется, всю твою жизнь... и вообще не можешь, как ни старайся, провести грань между тем временем, когда известно тебе было лишь имя, творчество его, и тем, когда познакомился с ним — человеком.

И вот — не могу воспоминания о нем отделить от размышлений. И не знаю, надо ли это делать. В конце концов насадить, как рыбу на кукан, эпизод за эпизодом на ось времени — дело нехитрое. Константин Симонов прожил долгую жизнь, он с ранних лет находился — и в этом судьба его — в крутоверти людской, он, как магнитом, до последнего часа привлекал внимание к себе, и, наверное, не у десятка, не у сотен даже из встречавших его нашлось бы что вспомнить, о чем рассказать.

...Три стихотворения Симонова: «Жди меня...», «Не сердитесь — к лучшему...» и «Майор привез мальчишку на лафете...» — всегда стоят в его сборниках рядом и помечены одним годом — сорок первым. Но только недавно я узнал, что они и написаны были в один день. Узнал и не удивился. Мне и поныне звездными часами в жизни и творчестве Симонова представляются военные годы, а звездною его тропой — стихи той поры.

Этой записи, в общем-то, немногих личных встреч с писателем я не могу не предпослать рассказа о своем, всего моего поколения мальчишек военной поры увлечении Константином Симоновым, который был для нас в те военные и послевоенные годы одновременно и символом, и реальностью, и человеком, и книгой. Книгой, строкой из газеты даже больше, чем живым, во плоти и крови человеком...

Сколько раз, бывало, уже в позднюю пору его жизни, и сам-то уже не мальчик, прогуливаясь с ним рядом по улицам ли Москвы, по окрестностям ли Тбилиси или по дорожкам больничного двора — чаще и дольше всего именно здесь, — я на мгновение как бы уходил в себя, переставал слышать его глуховатый, с хрестоматийной — ни у кого другого такой не было — картавинкой голос и твердил себе, что вот этот человек, с которым рядом чинно, на равных беседуя, ты вышагиваешь уже второй час подряд, и есть обладатель, сущность, реалия того имени — Симонов, которое внутри тебя живет, кажется, ровно столько, сколько ты себя помнишь.

Стремительное и мстительное — в наши дни как никогда — время вносит поправки в наши чувствования и представления. Наивным и недалеким назовем мы, наверное, того, кто, став уже мужем взрослым и косматым, живет и руководствуется исключительно впечатлениями и представлениями тридцатилетней и более давности. Но и жалок, достоин лишь сострадания тот, для кого сегодняшнего, умудренного и отягощенного грузом пережитого, они, эти впечатления былого, ничего не значат, если он еще, не дай ему бог, и чурается их.

Самостоятельно, для себя, а не потому, что «урок», «задано», я начал стихи читать и запоминать, кажется, в тринадцать — четырнадцать лет. Точно помню, что это были не Пушкин, и не Лермонтов, и не Некрасов, которых именно «проходили» и которые поэтому заучивались, но не запоминались в ту пору и пришли снова позднее. Не могу теперь с уверенностью сказать, что именно это было, но знаю определенно, что первым поэтом, которого я

прочитал для души, тем поэтом, который, собственно, и сделал меня человеком, причастным поэзии, был Константин Симонов. И так было, я знаю, не со мной одним. Мы влюблялись по Симонову, ссорились и «мучались от разлук» по Симонову. По Симонову учились ненавидеть врага и дружить терпкой, горьковатой, как дымок его неизменной трубки, мужской дружбой. Тогда мы, я уверен, не задумывались, почему мы любим Симонова, зачитываемся Симоновым, верим ему...

Пленяло все — музыка стихов, их тематика и настрой... Пленял сам облик Симонова, овал его смуглого, знакомого лишь по портретам лица, нос с неуловимой горбинкой, усы равнобедренным треугольником... К тому же он всегда на фронте, всегда там, где жарко, он любит и любим, и свидетелей его любви — миллионы, и любовь у него не такая, как у других...

И, быть может, оттого именно, что так рано познакомились мы с его стихами, он всегда казался — и я знаю, не мне одному — старше, не возраста своего, а вообще старше... Это ощущение жило долго — и в ту уже пору, когда возрастная грань начала стираться все заметнее.

Теперь, умудренный, я пытаюсь разобратся в юношеских своих мечтаниях, перечитываю строки, которые, в общем-то, и до сих пор во множестве помню наизусть, и вновь попадаю под обаяние этих поэтических прозаизмов, этого в замедленном темпе, с толчкообразной, как у Гейне, мелодией речитатива, которым поведал он и своему «боев жестокою страдой» завязанному «в железный узел поколенью», и нашему, идущему вослед, о простых и мужественных истинах, о высоких радостях честно исполненного воинского долга, хорошо сделанной работы, яростной, истовой любви и беззаветной ненависти... Помните эти строки, написанные еще в 1938 году?

Святая ярость наступления,
Боев жестокая страда
Завяжут наше поколенья
В железный узел навсегда.

Наше личное знакомство произошло в ту пору, когда с юных лет светивший тебе ореол имени, личности сиял по-прежнему и по-прежнему обладал свойствами магического круга, переступить который мешало что-то заветное в душе. Но в ней же, умудренной, зрел и неизбежный протест против собственной, казалось, инфантильности. Хотелось говорить на равных, так сказать, грубым голосом, без оглядок на разницу в возрасте и прочем. И Константин Михайло-

вич как будто бы шел навстречу этому желанию, которое он, чувствовалось, все чаще стал улавливать в людях и удовлетворить которое ему самому было проще и удобнее.

«У каждого писателя своя походка, — любит повторять один мой знакомый литератор. — В природе пишущего, — уверяет он меня, — заложены потребность и необходимость «подавать» себя, то есть, фигурально говоря, выше поднимать голову, шире расправлять плечи и напрягать голос, чтобы заметили». Точность, говорят, вежливость, королей. Вежливостью Симонова, его «походкой» была именно вежливость. И подавал он себя простотой обращения и с мальчиками и с большими сими, предупредительностью, деловитостью манер. Иной стиль был чужд. Его коробило, когда он с этим «иным» сталкивался.

К примеру, он что-то написал для газеты, а вам в качестве редактора или литсотрудника предстоит «работать с этим материалом». Так вот он первым был готов забыть и действительно забывал, сколько на своем веку он написал таких «материалов», а сколько вы и сколько уже было на его пути разных редакторов и литсотрудников. Перед ним была работа, которую он сделал и завершить которую в рамках и условиях газетной специфики можно только совместными усилиями.

И точно так же он забывал обо всем входящем, о своем и собеседника своего творческом опыте, возрасте, «послужном списке», когда надо было оценить ему принесенное — прозу или стихи, хороши они были или плохи. Были стихи, и надо было сказать о них все, что ты думаешь, помня при этом, что значит для собеседника каждое твое слово, доброе или суровое, какой резонанс может от этого слова быть...

Вспоминаю, как в «Комсомольской правде» — я был тогда уже редактором ее и это был чуть ли не первый мой личный контакт с Константином Михайловичем — мы попросили его написать рецензию на книжку одного из его однополчан-публицистов. Первый вопрос, который он задал, согласившись, был:

— А сколько вы хотите, чтобы я написал по этому поводу, — две или три страницы? — И пояснил в суховатой и обстоятельной манере, словно отторживаясь этой манерой от моих восторженных излияний насчет того, что, мол, почаще бы нам, бедным редакторам, слышать такие вопросы от таких знаменитых авторов: — Для меня, понимаете ли, размер — это элемент фор-

мы. Я об этой книге мог бы написать и пятнадцать страниц, но это уже скорее для журнала, да. Для газеты же в данном случае будет как раз, я думаю, если написать две с половиною—три страницы. Такое вот дело. Так что если вы мне эту площадь гарантируете, я вам через три дня три странички занесу.

И занес — точно через три дня и точно три странички.

Вспоминаю, как позднее, когда мы уже были знакомы ближе, Константин Михайлович сам пришел в газету и, сказав, что готовится к докладу о публицистике на писательском пленуме, попросил ведущих журналистов «Комсомолки» собраться, как мы тогда это называли, «за круглым столом» и поделиться своими соображениями. Идея, конечно же, вызвала энтузиазм, вопросник, который Симонов предложил заранее, подлил масла в огонь. О Симонове в ходе разговора почти забыли — а ему, пожалуй, только это и надо было. Потом, слушая и читая его доклад — мы печатали его в «Комсомолке», — дивились тому, как точен и цепок у него и слух и нюх, как много удалось ему выловить из пучины этого эмоционального и хаотичного, как нередко бывало в «Комсомолке», разговора. Порадовались и тому, как рачительно, с каким уважением к собеседникам он отнесся ко всему добытому. И долго еще потом на редакционных летучках, всевозможных «круглых столах» и беседах «у самовара» приводили мы самим себе в пример и поучение, что вот, мол, какой принципиальный документ нашей литературы родился на шестом этаже.

Еще одним, и, пожалуй, самым впечатляющим, эпизодом сотрудничества Симонова с «Комсомолкой» 70-х годов был его знаменитый очерк «В свои восемнадцать лет».

Многие, наверное, помнят эту трагическую быль — подвиг комсомольца Анатолия Мерзлова из маленького городка под Рязанью, который погиб, спасая от пожара, вспыхнувшего на хлебной полосе, свой трактор. «Во первых строках» своего очерка Константин Михайлович пишет: «Не сразу, а уже по дороге к Михайлову я задним числом подумал, что товарищи из «Комсомолки» в данном случае обратились ко мне, а не к другому писателю моего поколения, наверно, потому, что кто-то в газете вспомнил мою старую корреспонденцию, присланную тогда, в сорок первом, из Михайлова».

То был, конечно же, типично симоновский жест великодушия по отношению к братьям-газетчикам. Никто из нас, увы, не

вспомнил в тот момент об этой оказавшейся в конце концов решающей детали. И приглашая Константина Симонова высказаться по поводу обильной почты, пришедшей в редакцию в связи с опубликованной в газете информацией о поступке Анатолия, мы и не мечтали о том, что он поедет в этот маленький городок под Рязанью. С его писательским и человеческим авторитетом достало бы и того, чтобы он просто высказал публично свое мнение — стоило или не стоило восемнадцатилетнему парню бросаться в огонь, смертельно рискуя из-за трактора, «какой-то железки».

Однако Симонов поехал, для него тут не могло быть двух решений. Он, маститый писатель, репортером «с лейкой и блокнотом» вновь отправился туда, где побывал впервые чуть ли не в возрасте своего героя.

Беседы с отцом, с матерью юноши, умершего от ожогов в больнице, с его друзьями, сослуживцами, односельчанами. Странствия по обширным совхозным угодьям, от дома к дому в поисках нелегкого ответа, который сегодня отыскать было, пожалуй, куда труднее, чем тридцать лет назад...

Очерк в газете, «полоса, как договаривались», новая буря читательских писем и долгие еще месяцы совместной с газетой работы над этими письмами, консультации документального фильма о молодежи, где происшедшее с Анатолием Мерзловым — сначала в поле, а потом на газетной странице — было в основе... И все это с заразительным чувством ответственности, подчерком писателя и человека, для которого в данный момент ничего более важного не существовало.

Личное знакомство с писателем, знаковым и почитаемым издавека, не всегда, не обязательно приносит радость. И ожидаешь его с нетерпением, но и с боязнью. В Константине Михайловиче Симонове я чем дальше, тем больше обнаруживал человека, писателя, который живет, стремится жить по законам, предписанным им собственным, самым дорогим ему героям. Он хотел бы быть похожим на них, на всех вместе и на каждого в отдельности.

Это было нелегко даже для него самого — следовать примеру героев Симонова. Быть таким же, как они, мужественным и скромным, эмоциональным, но сдержанным в выражении своих эмоций. Испытывать аллергию к высоким словам и фразам, но быть преисполненным высоких чувств, идеальных стремлений.

Да, глубина чувств — и скупость при их выражении. Верность долгу — и нежелание

распространяться об этой верности. Культ немногословной мужской дружбы — и тоска по идеалу женщины... Все то, что адекватное себе выражение обретало в подчеркнуто суховатом, спартанском, порой даже как бы нарочито обедненном слогое его стихов и прозы, нежно-суровой их интонации.

Все главные герои Симонова в чем-то главным похожи друг на друга, а в целом — на того идеального человека, который, несомненно, жил в его представлении, каким он сам хотел и стремился быть. В каждом из них жила частица его самого. Его идеала, его представлений о настоящем герое, настоящем мужчине, настоящей девушке, настоящем воине, настоящем друге. Она, я уверен, была самой сильной в нем — эта страсть к настоящему. И то, что не всегда он умел, не всегда хватало сил следовать идеалу — было драмой его жизни. Но в том, что эта драма была, что он был способен на нее — можно ли так сказать? — в этом была и сила его творчества, которое одно лишь и способно искупить если не все, то хоть некоторые наши вины и беды.

«Если родилась красивой, значит, будешь век счастливой», — с грустной иронией написал поэт в одном из ранних своих стихотворений. Сам он родился счастливым, как судила молва, которая, как известно, всегда схватывает общее впечатление, нимало не заботясь о деталях. Ему, если верить этой госпоже, все давалось легко, в том числе и творить добро. А то, что дается легко, таким же образом и ценится. Не раз и не два, думается, встречался Симонов в своей жизни с тенденцией окружающих, в том числе и достаточно близких ему людей, каким-то лукавством, быть может, даже позой объяснить бросающееся в глаза благородство тех или иных его поступков.

Поза? Как легко и привычно бывает для нас употребить лишний раз это слово, по сути — обвинение. Самоотверженность — поза. Доброе дело — поза. Негодование — поза тоже. Все, что выходит за ряд скучного, повседневного, заурядного, — поза. Все так, и тем не менее поспорить с ярлыком не под силу слову. С ним может спорить только поступок. Их в жизни Константина Симонова было немало. Последним «поступком» были последние годы, последние дни его жизни. О них и будет теперь мой рассказ.

Что мне, человеку, не так уж много лет знакомому лично с Константином Михайловичем, дает на это право? Быть может, поздне, но бурно развивающиеся отноше-

ния? Да нет, не было и этого. Не было ничего или почти ничего, что можно отнести к привычным аксессуарам дружбы: мы редко виделись, хотя всякий раз, кажется, с удовольствием. Не знали или почти не знали домами, ничего кинотеатрального или литературного сообща не сотворили и только один раз были вместе в служебной командировке. И все же, все же вопреки этим многочисленным «не» или помимо них, над ними что-то выросло такое, что побуждало его говорить о сокровенном, как бы отрывая от нутра по фразе, по признанию... Обстоятельства, сводившие нас; тоже способствовали этому. Я слушал его и не подозревал, что так скоро настанет час переплавить услышанное тогда, в часы этих бесед, в воспоминания...

Подобно своим героям, которые не любили и бешено сопротивлялись тому, чтобы их действиям, для них вполне естественным, приписывались какие-то особо благородные мотивы, Симонов не любил «высокого штиля» в общении. Коробили его и фамильярность, и панибратство. Идеалом был «мужской язык» (из его письма матери), когда не зло, но остроумно подшучивают друг над другом, растроганность скрывают под покровом напускной строгости, нежное слово заменяют похмыкиванием или набиванием трубки... Последнего удовольствия, увы, он был лишен к концу жизни.

В октябре 1978 года проходили Дни советской литературы в Грузии. Мы с Константином Михайловичем, который был вместе с женой, оказались соседями «по квартире» в одном из загородных коттеджей, где жили и другие писатели. Симоновы задерживались из-за давшего вновь знать о себе нездоровья Константина Михайловича. Приехав наконец, он сразу стал «гостем из гостей» — человек с высоким и заслуженным ореолом друга Грузии, ее интеллигенции. Несмотря на его явные для всех хвори, за ним раньше всех приезжали по утрам и позже всех «возвращали» домой. Так что по-соседски мы с ним почти не виделись, и наблюдал я его издали — на трибуне, на сцене, в кругу других писателей, выступающих, читающих свои стихи и прозу шумному, впечатлительному тбилисскому слушателю, который валом валил на встречи со съехавшимися во всех концов страны разноязычными литераторами.

Симонов все время выглядел уставшим, но был одновременно оживлен и как-то по-особому собран и отзывчив на все говорившееся и происходившее вокруг. Особенно

в ударе он был на вечере «Русские поэты о Грузии». Он вместе с одним грузинским литературным критиком вел этот вечер, состоявшийся в помещении Театра имени Руставели, и читал стихи. А когда слушал других, уходил, казалось мне, мысленно и чувствами в далекие-далекие пределы тех пространств и тех времен, от которых сохранились лишь стихи, те, что сейчас на русском и грузинском звучали со сцены. Там читали стихи и говорили о тех, кто их создавал в XVIII, XIX веках...

И казалось, что в глазах переполненного, жадно слушающего и мгновениями, так же как и он на сцене, уходящего в какие-то свои дали зала он был одним из той славной плеяды творцов, что веками строили словом, делом, дружбой своей мост между двумя великими культурами... Догадывался ли он сам об этом, не знаю, но мнилось, что он в те часы подсознательно прощался в этом зале с привычной, ставшей такой дорогой за прожитую жизнь атмосферой переполненного фанатиками поэзии зала — с ее аплодисментами бурей, восторженными выкриками, цветами, жаром юпитеров... Быть может, подобно Блоку «с белой площади Сената», он «тихо кланялся» с возвышения тбилисцам и Тбилиси, городу, который так был дорог для него и которому он посвятил главу в своем последнем прозаическом цикле.

Не знаю, угадал ли я. Но на следующий день мы собрались-таки вместе за завтраком, после которого он, проведив до своих дверей Ларису Алексеевну, попросил с неизменной вежливостью разрешения заглянуть ко мне. Посидели на веранде, подышали бодрящим октябрьским холодком тбилисских предгорий, полюбовались темно-золотыми слитками айвы на оголенных ветвях, поговорили о текущих литературных новостях. Он поднялся, направился было мягким шагом в мягких туфлях к двери, но — предчувствие не обмануло меня — разговор еще не был окончен. Вернулся к креслу, сел снова и, коснувшись моего колена, сказал как бы между прочим:

— Вот приеду в Москву и недели через две зайду, занесу, должны выйти одним томом мои лопатинские повести.

Я уж давно заметил, что, когда Симонов заговаривает о своем творчестве, речь его становится как бы невнятной — он глотает окончания одних слов, проборматывает другие, повторяет без особой нужды третьи.

— Специально собрал эти повести под одной крышей... Назвал романом. Так на-

зывается личная жизнь... Хочу, чтобы кто-то прочитал их подряд, только так, знаете ли, разом, залпом, — он повел рукой наискосок сверху вниз, — и сказал бы, — тут он кашлянул, — стоит ли дальше писать belle-trистику.

Он снова поднялся и, не давая мне возможности ответить, не говоря более ни слова, двинулся к дверям и вышел, обернувшись на мгновение с порога, глянув глазами, которые все больше начинали походить на глаза замученной птицы.

Я вспомнил в те минуты, как несколько лет назад спросил его, почему он перестал писать стихи. И он ответил как-то очень просто, непринужденно, как бы об отблевшем, что стихи нельзя писать, если потерял «нерв любви».

— Лирические стихи я имею в виду, — добавил он после обычной для него паузы между фразами. — А в иных тем более смысла нет, в моем-то возрасте...

Случилось так, что книжку свою он сумел передать мне только через два месяца, когда мы вновь оказались рядом — пациентами одной больницы.

Сговорившись предварительно, мы в урочный час встречались в больничном дворе и прогуливались ежедневно по часу, а то и по два на протяжении двух примерно недель. Говорили о разном, и разговоры были достаточно сумбурными, что, наверное, неизбежно в таких ситуациях. Возвращаясь, однако, позднее мысленно к этим дням, я убеждался, что была в них своя логика, свой лейтмотив, и предложен он был, конечно же, Симоновым, который теперь еще острее, быть может, чем два месяца назад, нуждался не то что в собеседнике, а в выверке на слух каких-то итоговых своих размышлений.

В один из тех декабрьских вечеров показали по телевидению подготовленную Константином Михайловичем передачу о Булгакове. Она была первой из задуманного им цикла «Литературное наследие», трудно, по его рассказам, делалась, долго «лежала», и ее демонстрация доставила ему, это чувствовалось, глубокое, что-то отпускающее, распрямляющее в душе удовлетворение. Передачу эту, конечно же, смотрели все, и когда мы утром встретились на обычной своей прогулке, не было такого большого, а Симонова узнавал каждый, кто бы не поздравил его с успехом, не поблагодарил или просто не покачал бы головой: ну, мол, и ну...

Константин Михайлович рассказывал о

треволнениях, связанных с созданием этой вещи, отвечал на приветствия, отшучивался, и в этот день так часто, как никогда раньше, я слышал знаменитый симоновский смех. Смех от наслаждения содеянным, оттого, что удалось еще что-то пробить. Очень многое стояло для меня за этим молодым смехом преждевременно состарившегося внешне Симонова. Смех этот напомнил мне о том Константине Симонове, которого я, собственно, и не знал, о котором только слышал, которого мог вообразить себе по фотографиям ранних лет, в частности и той, впервые с усами и в подполковничьих погонах, о которой мать писала ему в Москву из Перми: «Появился задор, что-то вроде самолюбования и горделивого удивления на себя со стороны: вот он я!» (Переписка К. М. Симонова с родителями готовится к публикации Л. А. Жадовой.)

И подстегнутый этим его прекрасным настроением, вновь явившейся бодростью, я отважился в бочку меда капнуть каплю дегтя. Я сказал Константину Михайловичу, что одно место в его передаче, несколько слов в ней меня, ну, покоробили, что ли... Это упоминание о том, что Сталин в критическую минуту велел оставить Булгакова в покое... Может быть, так и было. Но что же получается? Все кругом не понимают, и только Сталин приходит на помощь. А между прочим, сама атмосфера-то была создана...

Константин Михайлович зябко поежился, но, помолчав, сказал, что тем не менее действительно так оно на самом деле и было — именно благодаря Сталину Булгаков продолжал жить в Москве и писать. И молодец Булгаков, что в отличие от других не задумывался, что с ним может быть завтра.

— Почему Сталин так относился к Булгакову? — продолжал Симонов. — Он ценил храбрых и чувствовал это в Булгакове. Так же как в Фадееве.

Константин Михайлович приводил немало других реплик, резюме, указаний Сталина по различным поводам, нередко действительно поражавших, во всяком случае в мастерском пересказе Симонова, неожиданностью и какой-то даже своеобразной мудростью, которой он и теперь, когда у него уже не оставалось никаких романтических иллюзий в отношении этой фигуры, не мог не воздать должное, следуя своей обостренной до предела добросовестности. Что же касается той опасности, которую, по свидетельству моего собеседника, Сталин нес в себе ежедневно и ежечасно для каждого из

тех, кто с ним соприкасался, то в ту давнюю пору она, как мне представлялось, выглядела в глазах Симонова стихией характера, которая капризна и может и одарить и покарать в одно и то же время.

За нами увязался невесть откуда взявшийся черный кот. Признаюсь, я не люблю черных котов. Этот упрямо волочился за нами по дорожкам больничного парка, то забегая вперед, то отставая, чтобы снова в два-три мягких прыжка догнать. Вскоре я почувствовал, что и Константин Михайлович следит за передвижениями кота так же бдительно и скрытно, как я. Не сговариваясь мы облегченно вздохнули, когда кот свернул за кем-то из тех, кто оказался у нас на пути. Тем горше было молчаливое наше разочарование, когда он вдруг снова дал о себе знать толчками тела о циклолотки.

— Не пе-еживайте, — вдруг сказал мой спутник. — Это он по моему поводу. Да-о-о-о я, что ли, пот-евожил дух Булгакова?!

Через полгода со сломанным при падении с лошади позвонком я снова оказался в той же больнице. И в один далеко не прекрасный день, к тому же еще в душную, влажную, жаркую пору, увидел у своей постели Константина Михайловича, который только-только «поступил» в это же учреждение. Я лежал распластанный на спине — строго в соответствии с предписаниями врачей, — а он присел рядом и не то чтобы утешал, а старался приободрить, пошучивая, поругивая, картавя... Я смотрел благодарный и утешенный на него и вдруг впервые увидел, прочитал в его облике то, что, наверное, и называют печатью смерти: какое-то темное свечение исходило от его лица, и непонятно было, в чем же его природа, что давало этот холодящий душу эффект — иссиня ли выбритые щеки, глаза, глубоко сидящие в туго обтянутых потемневшей и тонкой, как пергамент, кожей глазницах?

Сам он, так казалось, свободен был от каких-либо предчувствий и объяснял, что попал в больницу «не по основному своему делу — легким, а так... для профилактики». При встречах говорил о работе, о планах на будущее, и когда врачи позволили мне вставать, а затем и ходить, великодушно предложил перейти на тот, прошлогодний, график прогулок. В одну из первых таких встреч с Константином Михайловичем был один из крупных наших военачальников времен Отечественной. Разговор, как и следовало ожидать, тут же повернул к тем

временам — к Сталинграду (только так называли этот город мои собеседники), к Берлину... Посыпались названия знакомых и незнакомых мне мест, имена, фамилии, номера частей и соединений...

Их называли так уверенно, словно они постоянно на устах. И как будто бы невидимую грань провела между нами эта переключка. Те же вокруг были аллеи больничного парка, те же деревья, дома за ними, но колдовская сила уже взялась за работу, и с каждым шагом мы, трое разновозрастных мужчин, уходили в далекое, но такое отчетливое время... Командарм Чуйков и военный корреспондент Симонов вели свою беседу у присыпанного землей блиндажа под зловещий аккомпанемент артиллерийской канонады. А я тринадцатилетним школьником в крохотном пензенском селе цепко держал счастливо попавший в руки газетный лист...

Встречи наши, увы, уже не могли быть такими регулярными, как полгода назад. Все чаще, позвонив Константину Михайловичу в урочную минуту, я слышал в трубке смущенное покашливание: «Медицина свирепствует». Да и ненароком заглянув к нему в палату, как правило, заставал врачей и сестер — то делали укол, то брали анализ, то подключали капельницу, причудливое сооружение из стеклянных и резиновых трубок.

Если же медицинская аппаратура отдыхала, палата становилась рабочим кабинетом: загорался зеленый глаз диктофона («Заведите диктофон, в наше время никуда от него не уйти»), приходили в движение кипы старых писем («Разбираю переписку военных лет с родителями — давний мой долг»), появлялись и исчезали стопки гранок — Симонов держал корректуру очередного тома собрания сочинений.

— А «Чужую тень», — сказал он в одну из таких мимолетных наших встреч, — не включаю. Нечего было такое писать. — Сказал и словно поставил точку в каком-то давнем, не однажды зачинавшемся диалоге.

Кажется, последнее, над чем он работал в больнице, сначала с микрофоном, потом с пером в руках над гранками, была статья о Халхин-Голе. Симонов очень тужил, что не может быть в Монголии в дни, когда отмечалось сорокалетие событий, где он впервые выступил в роли военного корреспондента. И когда через несколько дней «Литературка» была у меня в руках, опять словно морозом сковало сердце: слишком много было об ушедших, слишком много прощаний...

Возвращаясь поневоле к своей болезни, Константин Михайлович рассказал, что настаивает на применении к нему одной, «говорят, небезболезненной, но радикальной процедуры», он назвал ее выкачкой.

— Надо попробовать, — говорил он, грасируя больше, чем обычно, — надо попробовать. Иначе нет смысла. Иначе нет никакого смысла... — И можно было только гадать, что он имел в виду...

Настал такой день, когда, позвонив ему дважды и трижды и не услышав ответа, я спустился несколькими этажами ниже и обнаружил палату пустой. Медицинские сестры с непроницаемыми лицами объяснили, что Константина Михайловича увезли на особый этаж...

И еще два штриха, как два огненных следа трассирующей пули, обозначили в моей памяти последнюю прямую в жизни Константина Симонова.

Разговор с женщиной-врачом у большого лифта.

— Скажите, вы не оттуда, не с...?

— Оттуда...

— Как у Константина Михайловича дела?

— Положение сложное, крайне сложное...

— Тогда спрошу грубее: есть надежда?

Вместо ответа отрицательное, на полный поворот шеи движение головой. И несколько слов затем — в утешение, в оправдание?

— К сожалению, медицина не все может. Наступает предел и ее возможностям.

— Но он в сознании?

— Да.

— Сколько же может... могут продлиться страдания?

— Этого никто с уверенностью не скажет. Никто не знает, сколько последних сил в организме... Но держится мужественно...

И просятся на уста слова о том, что эти две предсмертные недели были подвигом писателя и человека Константина Симонова. Он знал, что умирает, мужественно готовился к смерти, с хладнокровием воина заглянув за тот предел, где его уже не будет...

Кому доведется хоть раз побывать в Риме, не миновать и собора Святого Петра. И там перед собором, у не менее знаменитой четырехрядной колоннады Бернини ему непременно покажут такую точку на выложенной камнем площади, с которой контуры всех четырех рядов колонн сливаются

воедино. Никто не знает, был ли этот чудесный эффект задуман мастером или возник сам собой.

Во время одной из наших последних бесед Константин Симонов рассказывал мне, что замыслил пьесу, которую про себя называет «О моих четырех Я». И расшифровал: Я в довоенные годы, Я в 1945-м и в послевоенные годы и сегодня... Я сегодняшний больше знаю о тех временах, но меньше помню... Любопытно взглянуть на себя

той поры с высоты сегодняшних представлений и на себя нынешнего из предвоенного далека...

Не искал ли и он в себе ту самую точку зрения, точку отсчета, с которой воедино слились бы для него драматические противоречия эпохи, судеб человеческих?

И не тем ли же самым — попыткой увидеть одного Симонова в тех, которых я знал,— являются и эти страницы моих записей?



СЕРГЕЙ ЧУПРИНИН

★

ШЕСТИДЕСЯТЫЕ — СЕМИДЕСЯТЫЕ: ВОЛНА ВОСЛЕД ВОЛНЕ

Профессиональная болезнь критиков и историков литературы — дальность зоркость.

Ландшафт давно минувшего просматривается с полной отчетливостью; цветовая гамма былого ясна и многооттеночна; масштаб отшумевших десятилетий выверен с точностью до микрона. Мы все — или почти все — знаем о том, как складывалась литература, развивалась, шла вперед. Ни один успех не забыт, ни одно сражение не оставлено в тени, ни одно имя не вычеркнуто из благодарной памяти. И кто есть кто — видно, и что к чему — понятно, и концы с концами сведены весьма успешно. Словом, с далью все в относительном порядке.

Зато вот с близью — с тем прошлым, что еще не успело стать историей, с тем нынешним, что каждого из нас обступает, в каждого из нас стучится, — дело обстоит далеко не так благополучно. Может быть, и впрямь «лицом к лицу лица не увидеть»? А увидеть надо. Ясно ведь, что сегодняшние наши проблемы — лишь результат, итог развития тенденций, вызревавших в толще минувшего, что, не разобравшись, откуда что пошло, не создашь розу ветров 70-х годов, хоть сколько-нибудь адекватную реальности.

Предлагаемые заметки на полноту охвата не претендуют. И потому, что в поле внимания оказывается преимущественно одно поколение — те поэты, что родились в предвоенную пору. Точка отсчета здесь — время мужания этого столь деятельного ныне поколения, тот исторический момент, который можно было бы назвать эпохой поэтического «штурма и натиска».

Взглянем же теперь, как это было.

Вот авторитетное свидетельство Алексея Суркова:

«Вечер во Дворце спорта, которым московские поэты начали День поэзии 1962 года, поразил воображение не только иностранных корреспондентов и зарубежной художественной интеллигенции...

Самое главное в этом вечере то, что без особой и специальной подготовки было быстро раскуплено четырнадцать тысяч билетов, то есть проданы все места, имеющиеся в зале. Не на балет на льду, не на состязание по хоккею. А на вечер, где поэты будут читать свои стихи. Не только были распроданы все места. Милиции пришлось в этот вечер поработать, чтобы умерить энергию и напор тех тысяч юношей и девушек, которым не досталось билетов, но которые во что бы то ни стало хотели присутствовать на этом вечере. Не очень многим удалось прорваться сквозь кордоны заграждения. Но мне кажется, что все-таки число «счастливчиков «зайцев» явно превысило тысячу».

Вот как все это было.

Среди тех тысяч и тысяч, что штурмом брали Лужники, дежурили под дверями книжных магазинов, переписывали друг у друга «дерзкие» стихи, были, понятное дело, и случайные люди, притянутые к поэзии мощным магнитом моды. Были и те, кто вполне заслужил язвительную характеристику А. Вознесенского:

Колоссальнейшая эпоха!
Ходят на поэзию, как в душ Шарко.
Даже герои поэмы

«Плохо!»
требуют сложить о них «Хорошо!».

Но ведь и другие были. Те, о ком у Вознесенского же сказано: «...заполнив Лужники, мы тянемся к стихам, как к травмам от цинги». Те, кто в поэзии надеялся найти — и находил — и свой собственный образ и образ мира. Они-то на рубеже 50--

60-х годов и составили по законам избирательного сродства аудиторию, типологически сопоставимую лишь с читательской и слушательской аудиторией первого послеоктябрьского десятилетия. Да и то по количественным, условно говоря, показателям (по тиражам стихотворных сборников, по вместимости концертных залов и стадионов, по дальнубойности поэтического эха) перевес будет явно на стороне поэтов — наших современников.

В ту пору «стихи можно было читать на собраниях, они могли решить исход голосования», вспоминает не склонный к оболещениям критик Игорь Золотусский. Так что, возвращаясь к рассказу Алексея Суркова о Дне поэзии 1962 года, вольно или невольно согласишься с его ощущениями и его точкой зрения:

«...мы знали, видели, чувствовали по литературным вечерам в Политехническом, Колонном зале, зале им. Чайковского, по вечерам в рабочих дворцах культуры, по импровизированным вечерам у подножия памятника Маяковскому, как нарастает волна читательского интереса к поэзии».

Молодые поэты в конце 50-х — начале 60-х годов и впрямь оказались на гребне поэтической волны. Это много. Это дорого стоит. Но это еще не вся волна.

Нелишне о том уже помнить, что мысль о подъеме, расцвете, бурном развитии поэзии завладела умами еще до того, как на поэтическую эстраду вышли Вознесенский и Ахмадулина, до того, как развернулись дарования Евтушенко и Р. Рождественского.

«Достаточно заглянуть в толстые журналы, в альманахи, чтобы увидеть, как ожила наша поэзия... Хорошо, что настало время стихов», — писал И. Эренбург в июле 1956 года, рецензируя новые публикации Бориса Слуцкого.

«Пришло время стихов...— воскликнул в московском «Дне поэзии — 1956» Лев Ошанин. И прибавил:—Сердцу верится, что мы накануне нового и, быть может, небывалого еще расцвета советской поэзии».

А вот и авторитетное мнение Владимира Луговского: «Никто из активно мыслящих, активно действующих поэтов не сомневается, что сейчас пришло время для нового рывка вперед в нашей советской поэзии».

Праздничный тон всех этих пророчеств и характеристик понять нетрудно. Середина века оказалась счастливой порой едва ли не для всех значительных русских поэтов — вне зависимости от возраста, творческого опыта или литературных пристрастий.

Александр Твардовский поглавно публи-

кует поэму «За далью — даль», и по сей день остающуюся крупнейшим поэтическим памятником эпохи. На страницах литературных газет, журналов и альманахов все чаще появляются имена Николая Заболоцкого, Ярослава Смелякова, Алены Ахматовой, Леонида Мартынова. Ярчайшей поэтической зарницей вспыхивает осень Николая Асеева и Владимира Луговского. По-новому зазвучали голоса Михаила Светлова, Ильи Сельвинского, Александра Прокофьева, Павла Антокольского, Семена Кирсанова, Степана Щипачева, Маргариты Алигер. Недюжинное лирическое дарование обнаружили детский поэт Самуил Маршак и переводчик Арсений Тарковский. Во всю мощь развернулись поэты фронтового поколения, со своим самобытным словом «о времени и о себе» вступили в литературу сверстники Евтушенко и Ахмадулиной. В эти же годы читателю стало шире известно творчество Марины Цветаевой и Осипа Мандельштама, а также Павла Васильева и Бориса Корнилова, Дмитрия Кедрина и Павла Шубина, молодых поэтов, павших на полях Великой Отечественной войны...

Кипучее, неугомонное время! Время, когда на тревожный вопрос Твардовского: «Просто день или целая эра заступает уже на постой?» — спешили ответить с непреклонной уверенностью: конечно же, эра, конечно же, новая! Время резко возрастающего спроса на инициативу, время, взывающее к личной ответственности каждого!.. Вне этого времени, вне этой динамичной, стремительно меняющейся ситуации не понять ни причин общего взлета отечественной поэзии на рубеже 50—60-х годов, ни причин кратковременного, но успеха «эстрады» в нашей лирике.

Парень, в сознании которого стучались «почему», придя в концертный зал или открыв стихотворный сборник, мог быть вполне доволен: все его «почему» услышаны, многократно усилены и высказаны с такой афористической звучностью, с такой впечатляющей прямотой, на какие он и надеяться не смел.

Последнего ответа, правда, нет...

Но и смешно ведь, согласитесь, парню «в пальто незимнем, в кепке рыжей» ждать ответа от вихрастых, совсем таких же, как сам он, мальчишек, что, клонясь в свете эстрадных софитов, заклинают:

Кто мы — фишки или великие?

Гениальность в крови планеты.

Нету «физиков», нету «лириков» —
лилипуты или поэты! —

распахиваются перед аудиторией, не только не скрывая своей беззащитности, но как

бы даже бравируя ею. Этих слышали и поняли сразу же, «с первого предъявления», именно потому, что почувствовали в них своих.

Громовое «Мы!», с которым вступали в жизнь и в литературу поэты открытой тенденциозности, уравнивало в правах и возможностях трибуну и аудиторию, создавало особую магнетическую неотъединенность зала и эстрады, делало эстраду рупором зала. В этом «Мы!» был свой неповторимый демократизм, заставивший Вл. Гордейчева, к примеру, воскликнуть с полемическим задором: «И фамилии нет у меня», — а Андрея Вознесенского сформулировать целую программу жизненной и творческой предназначенности:

...мы — песчинки,
мы печальны, как песчинки,
в этих дьявольских часах,
не пишите!..
мы в истории
лишь на несколько минут,
мы песчинки?
но которые
жерла пушечные
рвут!

Неповторимость человеческих индивидуальностей, прелесть оттенков, проблемы личной судьбы — все ступшевывалось, растворялось в единой теме Поколения (непреренно с заглавной буквы), сходило на нет перед гордым: «Мы, как Время, настаем» (А. Вознесенский).

Этим «Мы!» клялись. В него верили как в реальную социальную силу. От его имени делались самые рискованные признания, давались самые широковещательные обещания. Немедленной переделке подлежало многое, начиная с земного шара:

Смещайтесь, краски,
знаки нотные!
По форме и земля стара —
мы придадим ей форму новую,
безденежные мастера, —

(Евг. Евтушенко)

до стихотворной техники, ибо, как утверждали на страницах «Литературной газеты» Ю. Панкратов и И. Харабаров, в ту пору студенты Литинститута, «нельзя писать о спутниках и ракетах стихом времен турецкой войны».

Сейчас весь этот наивный гигантизм зовет у читателя, возможно, ироническое сочувствие или даже раздражение: «Ох, как мерзка эстрадинна слова...» (М. Лобанов). А тогда ведь действительно мнилось, что будущее — вот оно, рядом, только руку протяни. И что молодость не пройдет никогда...

Эстрадная волна в отечественной поэзии схлынула вместе с юностью, ее вызвавшей и ее обусловившей, уже к середине 60-х годов. Именно тогда ощущение спада, исчерпанности волны завладело буквально всеми:

и самими поэтами: «Мы полны ощущением слова» (Евг. Евтушенко), «Мы покидаем прошлое» (Р. Рождественский), «Желаю отказа просторного от черт, что приписаны публикой» (А. Вознесенский), «Во мне, как в мертвом теле круга, законченность и пустота» (Б. Ахмадулина)...;

и критикой — верным показателем здесь могут быть московские альманахи «День поэзии», где еще недавно рьяно обсуждались проблемы «поэзия и эстрада», «популярность и народность», «гражданственность поэзии» и где теперь, оставив в сторону былых кумиров и былых «мальчиков для бития», все слышнее, все звучнее заговорили о духовности, нравственном наполнении стиха, повороте к классическим традициям...;

и публикой — интерес к поэтическим действиям, к «поэту-театру» (термин Б. Слуцкого), постепенно утрачивался, да и тот ли это уже был интерес?.. «В 1962 году, — как не без грусти вспоминает А. Имерманис в 1966 году, — на поэтические вечера, в том числе на выступления Евтушенко и Вознесенского, люди приходили, готовые вложить себя всего, готовые мыслить, переживать, чувствовать. Сейчас нередко идут как на вечера отдыха, вечера развлечений».

Так-то вот.

Чрезвычайно высоко оценивая свою роль в движении поэзии и общественной мысли, поэты эстрады готовы были уступить пальму первенства лишь своим прямым продолжателям. Все думы были не о поражении, а о наследстве. «О поэтическом сыне класса „Ан" и 707-„Боинга"» тосковал Андрей Вознесенский, сокрушаясь, что он «устарел, как Робот-6, когда Робот-8 есть». Мальчишка, который рано или поздно «встанет, узанный, над миром и скажет новые слова», с первых же шагов в литературе грезился Евгению Евтушенко.

Других соперников в борьбе за аудиторию они не видели. Да и как было их увидеть, если даже поэты, во всем, казалось бы, враждебные эстраде, незаметно для самих себя приобретали все приемы «немедленного действия». Взять хотя бы Владимира Фирсова, немало сил положившего на критику тех, кто кичится «своею эстрадною спесью». Если читать невнимательно, в его стихах все было иным, нежели у Воз-

несенского и Евтушенко. У Вознесенского в стихах «гориллой краснозодою взвизгивается окно», а у Фирсова «звезда над лунной рожью в туманах просвеченной дали». Там приметы НТР, городской жаргон, судьбы молодых горожан; здесь апелляция к деревне, судьбы хлеборобов, фольклорные реченья и присказки. Там гром новостроек, рокот разбуженного мира; здесь покой — в «краю берез и трепетных осинков».

Но какой покой! «Такой покой, что хочется кричать, кричать о том, что в мире есть такое!»

Так они и кричали друг на друга — эстрада и ее противники, различаясь, конечно, в оценках, в выборе тем и сюжетов, в направленности «лирической агрессии», но совпадая, солидаризируясь в стиле и пафосе. И враг у них у всех был один — мещанство, которому надо было внушить, что «есть в мире нечто большее, чем должность и зарплата». И любовь к публицистическим декламациям была общей. И к ентушенковским стихам о дяде Васе, четырех чулочницах, продавщице галстуков или Муське с конфетной фабрики и прочих «скромных», «малозаметных» героях повседневности вполне примыкают по сути фирсовские стихи о тете Поле, чьи «добрые нежные руки кормят всех» — «жаль, что кормят поэтов — тех, что к этим рукам равнодушны, тех поэтов, что пишут стихи о московских бульварах и о последнем троллейбусе, подбирающем мальчиков с улицы Горького».

Так что бой, если в данном случае говорить о бое, шел не с эстрадой как с эффективной формой взаимодействия поэта и аудитории, а за монопольное положение на эстраде.

А между тем поэзия жила и в другом, широком измерении — в неторопливой, нешумной и уверенной деятельности поэтов, ставивших и решавших серьезнейшие творческие и гражданские задачи вне всякого прямого соотнесения с эстрадным бумом в поэзии и критике. И пока рыцари эстрады и их «антиподы», сотрясая воздух, дрались «за молодняк» (А. Вознесенский), за славу повсемирнее, за вечно вакантное место властителя дум, новыми гранями раскрывались дарования поэтов старшего поколения — от Ахматовой до Твардовского и Смяжкова, от Мафтынова до Тарковского и Шефнера, в полную силу входили поэты фронтового поколения, исподволь набирали вес новые поэты — сверстники Евтушенко и Вознесенского, то ли не успевшие вовремя пробиться в печать, то ли не успевшие прозвучать во весь голос...

К ним-то, к этим поэтам, и стало постепенно, что ни год, то сильнее, оттягиваться внимание читателей, с возрастом, с приращением своего социального, духовного, литературного опыта почувствовавших вкус к истинной поэзии — не подверженной капризам моды, помнящей, что «прекрасное должно быть величаво», знающей, что «с Веком можно совпадать, не совпадая с каждым часом» (Л. Григорьян).

Парадокс в том и состоял, что многие поэты того времени свои немалые силы вложили в воспитание именно такого читателя — разборчивого, требовательного, не склонного к компромиссам, чуткого ко всем перепадам эпохи. Ради этого читателя совмещали они обязанности стиха с задачами политического и эстетического ликбеза. Этому читателю готовы были они льстить: «Великих книг не быть не может, когда такой читатель есть!» (Евг. Евтушенко). Этому читателю благословляли они на рост, на неостановимое движение вперед — к высотам культуры, к высотам человеческого духа. И за этим столько раз, так беззаветно воспетым ростом не сумели поспеть...

Повзрослели читатели — теперь им не польстивш, теперь не загигнотизируешь их громовым «Мы!», теперь их не порадуешь картинным столкновением добра и зла, уменьем балансировать на острой грани между «да» и «нет», афористически формулируя и полемически оттачивая излюбленные мысли публики.

Повзрослели и сами кумиры публики — теперь с них и спрос иной, построже, ведь, как сказано Твардовским, «не шгука быть себя моложе, труднее быть себя зрелей».

Повзрослело время — и критик А. Михайлов, исследуя как причины спада эстрадной волны в нашей поэзии, так и динамику зарождения новой, уже постэстрадной волны, попал в самую точку, когда заметил: «Корень этого явления — в нашей действительности, в тенденции к стабилизации форм общественного бытия...»

К чести поэтов эстрады надо сказать, что они едва ли не первыми в отечественной поэзии почувствовали и необходимость и направление грядущих перемен в тематике, пафосе и характере стиха.

Значение попытки стать «немножко старомодным», влить новое вино в старые мехи, переориентируясь в стремительно, хотя и подспудно меняющейся литературной и общественной ситуации, вряд ли стоит преувеличивать. Говорить приходится скорее о чуткости поэтов эстрады к веяниям

эпохи, об их надежде переспорить время, начав сызнова, ибо

Пронгрыш черен. Подбита черта.
Нужно прочесть приговор, не ворча,
Нужно, как Брумель, начать с «ни черта».

(А. Вознесенский)

Но легко запланировать революцию в собственном поэтическом мире, труднее совершить ее, не сорвавшись во фразу, в повторение пройденного. Ведь, как сказано тем же Вознесенским, «путь прежний мешает походке, как будто магнитная залежь притягивает подковки»...

Попытки преодолеть инерцию мировосприятия и мировоссоздания, разорвать путь собственного прошлого, вдохнуть новую жизнь в неотвратимо костенеющие формы придает особое — тревожное и несколько даже болезненное — очарование стихам поэтов этой плеяды, написанным в 70-е годы.

И вовсе не случайно почти все эти поэты избрали ныне полем своей деятельности области, далекие от «чистой» лирики. Булат Окуджава углубляется в историческую романистику. С прозой связывает свое будущее Евгений Евтушенко, не отказываясь, впрочем, ни от режиссуры, ни от актерства, ни от художественной фотографии. Даже «упорствующий до предела» Роберт Рождественский, как никто из его сверстников сохранивший верность идеалам и манере конца 50-х годов, и тот в последние десять — пятнадцать лет знаменит более своими песнями, нежели стихами.

Все это о том лишь может свидетельствовать, что «поэзия молодых конца пятидесятых годов выполнила свою гражданскую задачу» — так пишет критик Е. Сидоров, справедливо подчеркивая, что «эта поэзия прокладывала пути в наше время, и без нее уже невозможно представить историю советской литературы».

Поэты эстрады напомнили отечественным лирикам об огромных возможностях стихотворной публицистики и «беллетристики».

Поэты эстрады способствовали дальнейшей демократизации русского стиха, откликающегося не только на зов музыки, но и на требования повседневности, тысячу нитей связанного с современной прозой.

Поэты эстрады расширили диапазон художественных средств и приемов, расшатали устойчивые, казалось бы, стиховые структуры, сообщив им куда большую, чем прежде, гибкость и послушность.

Поэты эстрады навсегда, быть может, ликвидировали в глазах публики дистан-

цию, отделяющую поэта от аудитории, возвышающую его над нею. На смену поэту — пророку и демиургу пришел поэт-профессионал, отличный от всех прочих не всеведением и не способностью к божественному вдохновению, а умением слагать стихи, ставить «слово после слова» (Б. Ахмадулина), придавать афористическую форму излюбленным мыслям и настроениям публики.

Поэты эстрады привлекли к поэзии внимание самого массового, самого широкого читателя, доказав, что поэтическое слово, прозвучавшее вовремя, может быть услышано всеми и всюду.

Вот наследство, которое получили и которым воспользовались — порою успешно, а порою и безуспешно — поэты, чье творчество с середины 60-х годов начинает восприниматься как естественная и ожидаемая реакция на крайности эстрады.

Имена, строго говоря, были старыми, уже известными.

Мечтая о поэтической смене, готовясь передать свой социальный и творческий опыт следующему поколению, «детям», поэты эстрады и не предполагали, что смена эта возрастает в их же собственном поколении, что их оттеснят в сторону их же сверстники, «братья».

И Владимир Соколов, и Анатолий Жигулин, и Николай Рубцов, и Станислав Куняев, и Глеб Горбовский, и Анатолий Передереев, и Сергей Дрофенко, и другие представители поэтического движения, развернувшегося в середине 60-х годов, по всем статьям принадлежали к тому же поколению, что и Евтушенко с Вознесенским. И они родились в 30-е, и их детство было навсегда опалено войной, и они выросли в пору подъема общественной и литературной активности... Тот же возраст. Тот же в принципе опыт. То же знание.

И все-таки все другое, ибо в литературе, как, впрочем, и в жизни, не возраст и даже не опыт главное, а выводы из этого опыта. Здесь направленность поиска важна, ценностная ориентация существенна, традиция, в которую личность вписывает себя, многое значит, определяя и нравственный кодекс, и гражданскую позицию, и творческий статус.

Тем и жива, тем и сильна поэзия, что в ней в каждый данный момент существуют и сосуществуют различные, порой противоборствующие, порой вроде бы даже взаимоисключающие тенденции и потенциалы. Сосуществуют, но не на равных правах.

Одни литературные явления волею тех или иных причин актуализируются, выдвигаются на первый план, попадая под яркий свет критических и читательских софитов. Другие до поры до времени находятся в тени, копя силы, готовясь к ведущим, главным ролям на театре стиха.

Время взывало к молодости, побуждало к социальной активности и личной инициативе, настаивало на необходимости непрерывного новаторского поиска — и пришли поэты открытой тенденциозности, поэты эстрады.

Знаком времени стала зрелость, стабильность, потребовавшая укоренить поиск в толще традиции, обеспечить активность и инициативу золотым запасом духовности, — и то же поколение выдвинуло поэтов углубленного, сосредоточенного лиризма.

Время помогало и тем и другим. Времени помогали и те и другие. Так что не о поколениях речь, а о способности удовлетворять новые исторические и эстетические потребности общественного сознания.

«Затем, чтоб новой жизнью жить, от старой надо отказаться». Эта формула Станислава Куняева с достаточной определенностью передает умонастроение ряда молодых и не очень уже молодых поэтов, что к середине 60-х годов почувствовали себя новым поэтическим движением, призванным сбросить «эстрадную иго» и утвердить истинные, то есть соответствующие велениям переменившегося времени гражданские и творческие ценности.

Без принципиального отказа, без прямого противопоставления эстраде по всем практическим позициям и параметрам новое поэтическое движение действительно не смогло бы утвердиться; такова уж диалектика литературного процесса. Ведь даже название «тихая лирика», что, несмотря на бесчисленные протесты, прочно прикрепилося к этому поэтическому движению, имеет смысл лишь в оппозиции к «громкой», эстрадной лирике.

Эстрада требовала «не разглядывать в лупу эту мелочь и ту» (Евг. Евтушенко), объявила упраздненным «тайнство оттенков» — «тихая» лирика, вооружившись не телескопом, как их предшественники и ровесники, а микроскопом, попыталась проникнуть в самое что ни на есть молекулярное строение природы, общества и души, сфокусировав свою оптику на тончайших нюансах, переливах, полутонах. Ей дороже всего не контрасты, не столкновения, а взаимопереходы, взаимопроизножения. Фиксируется не результат, а то, что привело или могло привести к этому результату...

Поэты эстрады, прорываясь к истине, какой она им грезилась, пытались «содрать с предметов слой наружный, увидеть мир без оболочек, порочных схем и стен барочных» (А. Вознесенский), с молодой дерзостью восторгались тем, что «нет тайн никаких» (Евг. Евтушенко). «Тихие» же лирики сделали основной упор как раз на «тайну», на то, что не поддается логическим операциям, что принципиально непереводаемо на язык понятий: «Догадкой освещен, ум сознает, к несчастью, что в тайну посвящен всего лишь некой частью» (С. Дрофенко).

Конструкторской ясности, плодам пытливого разума решительно предпочитается «тонкое и странное, что не изучено людьми. Неощутимое; невнятное, неразличимое почти» (А. Жигулин). Планетарности мышления, вере во всемогущество преобразовывающего мир прогресса противопоставлена простая, но несомненно своей обрадовавшая мысль: «...значит, Земля — не планета, а сад, где я песни пою, не та — оловянного цвета, а та, на которой стою» (Г. Горбовский)...

Явившись, как мы уже говорили, естественной реакцией на крайности эстрады, «тихая» лирика и сама не обошлась без крайностей, без полемических пережестов и обострений.

Но не в крайностях и пережестках суть. Если отвлечься от них как от пены, сопутствующей каждой новой поэтической волне, то выяснится, что «тихая» лирика зачастую не столько опровергала и отвергала основные ценности и принципы эстрады, сколько дополняла их, корректировала, испытывала на прочность и жизнеспособность.

Спор шел, собственно говоря, не с выводами «громкой» поэзии, а с их претензией на универсальность и окончательность. Так, например, и с «тайной», отношение к которой оказалось одним из существенных пунктов расхождения между «громкой» и «тихой» поэзией. Можно, конечно, как это иной раз делалось в критике, усмотреть здесь неверие «тихих» лириков в возможности познающего и созидającego разума, уличить поэтов чуть ли не в агностицизме или мистицизме. Но не вернее ли будет понять эти апелляции к «тайне», к сокровенному в природе и человеке как своего рода напоминание о неисчерпаемости, бездонности бытия, как указание на несводимость природных и психических процессов к умозрительной схеме?

Поэтому-то в эпоху, когда общественному сознанию стали явственны не только преимущества прогресса, но и опасности,

им порождаемые, когда беспокойство за судьбы всего живого завладело умами и экология из разряда скромной научной дисциплины перешла едва ли не в царственный ранг «властительницы дум», так набатно прозвучали предостережения «тихих» лириков:

Я люблю тебя, большое время,
но прошу — прислушайся ко мне:
не убей последнего тайменя,
пусть гуляет в темной глубине.

Не губи последнего болота,
загнанного волка пощади,
чтобы на земле осталось что-то,
от чего щемит в моей груди.

(С. Куняев)

Возникнув на гребне общественного энтузиазма второй половины 50-х годов, поэзия эстрады рвалась вперед и только вперед, не заботясь ни о тылах, ни — порою — о нравственном обеспечении своих рейдов в ХХХ век. «Тихая» лирика, осознав себя поэтическим выражением процессов общественной стабилизации, занялась как раз тылами, в гораздо большем объеме, чем ее непосредственная предшественница — эстрада, востребуя опыт классического прошлого, сосредоточиваясь на поиске корней, истоков, почвы. Ее удел не призыв, но напоминание. Ее этап в искусстве слова — этап компенсации, как верно заметил Л. Аннинский, отвечая на анкету московского «Дня поэзии — 1969».

Евтушенко, Вознесенский, Рождественский и их единомышленники посвятили себя воспеванию цивилизации, опозитизировав вещный мир и связав собственные представления о красоте с красотой рукотворной, явившейся плодом человеческого творчества. «Все рукотворно. Все на земле трижды покорно твоей пятерне» (П. Вегин). «Тихие» лирики, объявив наивысшим достоинством и универсальным мерилom естественность, напомнили о красоте нерукотворной, изначальной, о красоте, по отношению к которой человек выступает уже не творцом, а очарованным созерцателем. «Ничего она не стоит, вся на свете суета, рядом с мудрой красотой придорожного куста» (А. Жигулин). Индустриальные пейзажи, портреты аэропортов и гидроэлектростанций были сильно потеснены, а по сути, дополнены поэтическими картинами природы, сельскими этюдами, гимнами во славу извечных земных радостей.

Поэты эстрады ставили на скорость: «Мы родились — не выживать, а спидометры выжимать...» (А. Вознесенский). «Тихие» ли-

рики сказали о том, что человек нуждается и в покое, что одной лишь скоростью жить не будешь. В их стихах созидание было дополнено размышлением, человек рефлектирующий вновь внятно заявил о своем равноправии с человеком творящим. На поэтическую авансцену, сменяя инженеров света и бетонщиков Евтушенко, генеральных конструкторов и дипломатов Рождественского, архитекторов и мотогонщиков Вознесенского, вышел добрый Филя Николая Рубцова, что живет и век жить будет «в избе деревянной без претензий и льгот».

С новым решением проблемы героя были связаны и большие ожидания критики в середине 50-х годов, перед самым началом эстрадной волны в поэзии. «Думается, — подчеркивал, отражая общее настроение, Александр Макаров в докладе на III Всесоюзном совещании молодых писателей 1956 года, — можно сказать, что наша молодая поэзия стоит в преддверии того, чтобы порадовать нас новым лирическим героем».

И этот герой действительно появился — романтик, мечтатель, созидатель, рыцарь справедливости. Не прибавляя сейчас новых черт к тому облику, что был уже обозначен, скажем об одном лишь. Герой поэзии конца 50-х — середины 60-х годов, помимо всего прочего, отличался редкостной контактностью, стремлением вникнуть в характеры окружающих людей, передать их жизненный опыт «городу и миру». «Я жаден до людей, и жаден все людей. Я жаден до портных, министров и уборщиц, до слез и смеха их, величий и убожеств!» — признавался Евгений Евтушенко, о том только сокрушаясь, «что, как на грех, никак нельзя успеть подслушать сразу всех, всех сразу подсмотреть!».

И действительно, эстрадная поэзия, которую так долго корили за эгоцентричность, смело могла бы потягаться с прозой по количеству изображенных характеров, по количеству заговоривших в ней голосов. Поэт, радуясь своей способности к «протезизму», к артистическому перевоплощению, готов был даже устраниваться из стиха, уподобить себя интервьюеру, вся цель которого — сохранить и передать читателям живую прелесть и живую правду исповеди героев и героинь современности. «Я бетонщица, Буртова Ньюшка. Я по двести процентов даю. Что ты пялишь глаза? Тебе нужно, чтобы жизнь рассказала свою?» — вот характерный зачин в стихах той поры, предварающий многострофные, а зачастую и многостраничные монологи героев, исповедующихся перед поэтом и всем человечес-
ством.

Для «тихой» лирики, сторонящийся всякого журнализма, а уж тем более интервьюерства, более характерен уже поминавшийся выше добрый Фила. Илл старик из стихотворения Николая Рубцова «На ночлеге»: «Есть у нас старики по селам, что утратили будто речь: ты с рассказом к нему веселым — он без звука к себе на печь». Можно молить его: «Хоть бы слово еще одно!..» — а можно, как это чаще всего бывает в стихах «тихих» лириков, видеть в этой стыдливой сдержанности, замкнутости особое достоинство, верную приметку истинно народного, национального характера.

Так «откровенный» человек потеснился, уступая место человеку «сокровенному».

Биктор Акаткин, один из внимательнейших интерпретаторов творчества «тихих» лириков, точно заметил, что «личность чаще предстает у них не конкретной социальной единицей, то есть лирическим героем, а ее нравственно-философским эквивалентом, душою». Понятно, что тут на амплуа ключевого слова претендует уже не «справедливость», термин, принадлежащий всецело области социальных отношений, а «любовь», толкуемая в самом расширительном смысле и включающая в себя понятия «совесть», «сыновний долг», «отзывчивость»:

И, глядя, как солнце восходит,
я все бормочу, упоен:
«Любовь на земле верховодит
и мудрые дети ее...»

(Г. Горбовский)

В свете этой принципиально нерассуждающей, неделимой любви заметно трансформировались многие житейские ценности. Ведущим мотивом стал мотив возвращения.

Так у Николая Рубцова: «Память возвращается, как птица, в то гнездо, в котором родилась, и вокруг любви непобедимой к селам, к соснам, к ягодам Руси жизнь моя вращается незримо, как земля вокруг своей оси!..»

Так у Глеба Горбовского: «Возвращение в дом под родное крыло — неизбывная тема российских поэтов».

И у Анатолия Передреева тоже так: «Возвращаюсь к простым вещам, к свету малому в малом окошке, приобщаюсь к дымящимся щам, приручаюсь к домашней ложке!»

Компенсация... Напоминание... Возвращение...

Произнося эти слова применительно к «тихой» лирике, словно бы чувствуешь рокот медленно откатывающейся, опадающей волны — волны времени. Наверное, ни че-

ловек, ни литература, ни общество, ни природа не смогли бы существовать вне этого устойчивого и достаточно регулярного ритма приливов и отливов. Так сменяются времена года. Так после многотрудной, блистающей грозы робко проступает на небе чистая радуга. Так в свой черед за мятежными порываниями и максимализмом юности, за эпохой безоглядного «штурма и натиска» приходит час зрелости, достойной трезвости ума и сердца, час осмысления всего, что завоевано и унаследовано...

Взять хотя бы проблему соотношений традиции и новаторства, на каждом новом витке исторической спирали разрешаемую по-новому.

Поэты эстрады, «акушеры нового», в этом извечном споре всегда и во всем брали сторону новаторства, прокладывая неизвестных ранее путей в жизни и творчестве. «Дух новаторства — основное отличие советской поэзии!» — восклицал увлеченный в свою пору эстрадной волною Виктор Бокков. И тут же настаивал: «Каждая ритмическая находка, каждое омоложение стиха должно рассматриваться как открытие». А Евгений Евтушенко пылко обличал рутину и застой, нетерпимые в век космоса («Мы лунник в небо запустили, а оперы — в тележном стиле»), с тем чтобы воззвать к решительному обновлению во всем — и в человеке, и в обществе, и в литературе: «Свежести! Свежести! Хочется свежести, свадебной снежности и незаслеженности, свежести мускулов, мозга, мазка, свежести музыки и языка».

И десяти лет не минуло, как поэзия, почувствовав опасность гонки за непременной новизной, новизной во что бы то ни стало, поворотилась в сторону классических традиций. «Вдали от всех парнасов, от мелочных сует со мной опять Некрасов и Афанасий Фет», — написал Владимир Соколов, противопоставив всем химерам «пустого баловства» «прозрачные размеры, обычные слова» и тем выразив дух времени. Слово «новаторство» стало ассоциироваться уже не с поэтическими открытиями, а с версификационным «изобретательством», то есть с чем-то достаточно неважным, если не малопочтенным. Позднее же в статьях иных критиков — назовем здесь в первую очередь Вадима Кожинова и Татьяну Глушкову — слово «новаторство» стало и вовсе бранным, уничижительным, утратив напрочь всякий позитивный смысл...

Эстрадная поэзия, как уже говорилось, жила будущим и только будущим; им клаясь, за него готовы были нести ответственность. День нынешний воспринимался

порю лишь как стартовая площадка для дерзкого прыжка в незнаемое, бесконечно удаленное и бесконечно прекрасное.

«Тихая» лирика восстановила в правах день прошедший, миновавший, взглянув на сегодня как на венец, итог долгой, терпеливой работы многих поколений. Не перед потомками чувствуют себя в долгу поэты этой ориентации — перед предками, перед теми, чьим гением, чьей волей украшен и обустроен мир отечества. Если эстрадных витий критика любила упрекать за внимание исключительно к секундной стрелке, то на часах «тихих» лириков, чудится порою, стрелок и вовсе нет:

О, вид смиренный и родной!
Верезы, избы по буграм
И, отраженный глубиной,
Как сон столетий, божий храм.

О, Русь — великий звездочет!
Как звезд не свергнуть с высоты,
Так век неслышно протечет,
Не тронув этой красоты.

(Н. Рубцов)

Эстрадная поэзия была сильна и авторитетна интернационалистским пафосом, стремлением понять и сблизить всех людей земли — без различия рас, национальностей, гражданств, вероисповеданий и убеждений. Мальчишеское желание Евг. Евтушенко: «Границы мне мешают... Мне нелегко не знать Буэнос-Айреса, Нью-Йорка. Хочу шататься, сколько надо, Лондоном, со всеми говорить — пускай на ломаном. Мальчишкой, на автобусе повисшим, хочу проехать утрейним Парижем!» — исполнилось с лихвою. Оно реализовалось как в личном, гражданском опыте поэтов этой группы («Я был в шестидесяти четырех странах — больше, чем все поэты России до меня. Мне аллодировали цивилизованные народы и первобытные племена», — много позже, «в поэзии беспрецедентно создав прецедент удачливости», похвастался Евтушенко), так и в стихах, в творческой практике, изобильной страницами из путевых дневников, репортажами о все новых странствиях и завоеваниях, публицистическими обращениями к чуждаемым пределам.

«Тихую» лирику не слишком занимают чуждаемые пределы. Зарубежные впечатления, что проявляются иной раз в поэзии Вл. Соколова, А. Жигулина, С. Куняева, — это за немногими исключениями впечатления о «близких странах», искони связанных с Россией узми славянского братства, сродненных общей судьбой в послевоенную эпоху.

Дума «тихой» лирики прежде всего о родине, малой и великой, об отечестве — о его славном прошлом и его настоящем. Причем если в стихах Рождественского, Вознесенского, Евтушенко Россия чаще всего предстает страной-новостройкой, страной, стремительно шагающей в будущее, то в стихах Рубцова, Жигулина, Передреева, Куняева читателю открывается совсем иной облик родины: «Тихая моя родина! Ивы, река, соловьи...» (Н. Рубцов).

Вполне естественно, что в поисках такой родины, такого покоя и такой устойчивости «тихие» лирики практически совершенно отказались от урбанистических, индустриальных мотивов, столь свойственных эстрадной поэзии, и обратились к миру нетронутой, девственной природы, к миру сельской, гармонической, по их понятиям, жизни. Тем и дорога им деревня, что «эта горсточка домов почти не изменялась... Ей далеко до облаков — она к земле прижалась. Покой бревенчатый... Резьба... Все, что не в духе века» (А. Передреев).

В том, что эта установка на деревню или, как вспомогательный вариант, на окраину, на маленькие провинциальные городки, имела в глазах представителей «тихой» лирики принципиальный, программный характер, убеждает опыт поэтов, и рождением и образом жизни связанных с большими городами. Так, к примеру сказать, Глебу Горбовскому пришлось едва ли не оправдываться, доказывая собственную приобщенность к деревенской России: «И что приятно: то, что город, родив меня и воспитав, не заслонил глухим забором ни крохотных рек, ни зябких трав. Не искорежил камнем душу... И сладко мне, когда сквозь бег наткнется око — на церквушку, что на холме, как белый снег!»

Приветствуя «мудрость и достоинство» «тихой» лирики («Мне, например, такая поэзия сейчас ближе всего»), критик Лев Аннинский тем не менее предсказывал в 1969 году: «...я думаю, что сегодняшняя сосредоточенная сдержанность в поэзии должна кончиться. Процессы компенсации никогда не длятся долго. Тишина разрядится...»

Подобный прогноз мог показаться если не опрометчивым, то по меньшей мере преждевременным. Ведь именно на рубеже 60—70-х годов «тихая» лирика развернулась в полную мощь. Именно тогда стало вполне ясно, сколь велик вклад «тихих» лириков в общее поэтическое дело.

«Тихая» лирика вернула современной русской поэзии то сосредоточенное тепло,

ту трогающую душу интимность, которой так недоставало блестящей, но холодноватой и несколько рассудочной поэзии эстрады. В отличие от эстрады, апеллировавшей к залу, поколению, человеческому множеству, «тихая» лирика обратилась к каждому читателю отдельно, чуть ли не поименно...

Десятками, сотнями стихов воспев дивную красоту русской природы, величие российской истории и культуры, святое очарование отчего дома, «тихая» лирика усилила и обогатила новыми оборотами патристическое звучание современной поэзии, исследовала национальный склад характера своих соотечественников.

Подобно эстрадной поэзии, развивавшей традиции публицистического стиха, расширившей зону стихотворной «беллетристики», «тихая» лирика немало потрудились над совершенствованием поэтических жанров, особое внимание уделив чрезвычайно перспективному по своим возможностям жанру элегии.

Ориентируясь на классические образцы, «тихая» лирика противостояла чрезмерной прозаизации российского лирического стиха, активизировала читательский интерес к традициям отечественной поэзии XIX века, щедро ввела в современный литературный обиход дары национального фольклора.

Но вот в чем беда: объявив себя наследниками всех жизнеспособных традиций русской классической поэзии, «тихие» лирики оказались готовыми подхватить лишь немногие, лишь те, что отвечали их представлениям о месте и роли поэзии в современном мире. Разговор о традициях вскоре свелся к разговору о традициях медитативной и элегической лирики, об уроках Фета (преимущественно), Тютчева и Баратынского (отчасти). Причем и эти уроки были восприняты далеко не в полном объеме.

Неужели в нашей поэзии жизнеспособна и плодоносна только та традиция, которая до классического совершенства доведена была Фетом? И разве один лишь этот путь приближает нас — и приближает ли? — к Пушкину, к Пушкину «Евгения Онегина» и «Медного всадника», «Послания в Сибирь» и «Стансов»? И не подменяется ли невольно — при столь узком прочтении великой традиции — заветный Пушкиным идеал «всемирной отзывчивости» установкой на замкнутость, ограниченность поэтического мира и поэтического языка, на своего рода духовный и творческий «провинциализм»? Именно «провинциализм» и есть тот родовый порок «тихой» лирики, который ско-

вал возможности ее дальнейшего развития как целостной идейно-художественной системы и который пришлось преодолевать ее талантливейшим представителям.

Когда Николай Рубцов, Анатолий Жигулин, Анатолий Передерев заново открыли читателю мир русской деревни, когда Владимир Соколов увел своего собеседника с шумных, ультрасовременных проспектов в тихие проулки и тупички столицы, когда Станислав Куняев и — по-своему — Олег Чухонцев напомнили о существовании и мирной красоте отечественной провинции, во всем этом было много новизны, существенно расширявшей и уточнявшей наше представление о России и XX веке.

Но поскольку «тихая» лирика, оттеснив увядшую эстрадную поэзию, заявила уже о своем монопольном праве на внимание читательской аудитории, поскольку целый ряд влиятельных критиков поспешил признать такой путь, такой образ мира единственно художественными и единственно достойными, реальные перспективы и пропорции очень скоро сместились. «Провинция, единственный оплот моих сентиментальных впечатлений» (С. Куняев), попыталась диктовать поэзии и собственные эстетические вкусы, и свою концепцию времени, и свою моральную доктрину, ополчаясь на все, кажущееся ей чужеродным, наносным, «непочвенным».

Радикальные сдвиги претерпело и отношение многих представителей «тихой» лирики к социальной активности и социальным возможностям человека, к личной ответственности каждого за судьбы мира и человечества.

Было бы неверно сказать, что лирический герой этих поэтов вовсе устранился от участия в решении мировых проблем, от социально активной, гражданской деятельности. Характерен в этом смысле требовательный вопрос А. Жигулина: «Все ли я сделал на свете, чтобы спокойно глядеть в дали холодные эти, в эту сентябрьскую медь?» Чувство нравственной ответственности водило пером С. Дрофенко: «Но кто из нас пользу принес? Надвинулось время и судит. Наш век совершался при нас. Так с нас же и спрошено будет». Но в строгих стихах этих фраза «Наш век совершался при нас» не пустая оговорка, а показатель позиции. Не нами, как с излишней, быть может, самоуверенностью утверждала «громкая» поэзия, совершался век, а всего лишь при нас.

Уже в этом зерно той нравственной концепции, которая отводит поэту роль очевидца, чувствительного свидетеля и кото-

рая в конечном своем выражении побудит Г. Горбовского в ответ на вопрос: «Ну, сколько сдвинул гор, сыночек?» — признаться: «...А где там — горы! Даже кочки и те на месте, хоть умри». А С. Куняева — воскликнуть с обездороженной и обездороживающей горечью: «Без толку, глупый, чего пищать? Если уж выдупился — что делать? Мир не удастся перекричать, жизнь не получится переделать».

Окидывая сейчас взглядом всю художественную систему «тихой» лирики, убеждаешься как в ее призрачности, так и в ее недостаточности, ограниченности. Автономизация души и последующая, если можно так выразиться, эмансипация ее объективно раскалывают целостность человеческой личности и, следовательно, удовлетворяют только на время. Жизнь, в конце концов, несводима исключительно к «тайнству оттенков». Рефлексия хороша, если она предвзывает и одухотворяет действие, а не пытается заменить его. Фокусирование художественной оптики на малом участке духовного опыта современного человека позволяет усилить пучок света, подаваемого именно на этот участок, но вынужденно оставляет в тени все остальное пространство действительности и психической жизни. Безраздельный диктат любви, не ведающей сомнений, вольно или невольно приводит к идеализации, а точнее сказать, к сентиментализации уходящего и, напротив, поощряет скептическое отношение ко всему новому, становящемуся. В итоге искажение реальных исторических пропорций, постоянная потребность в эмоциональном допинге, искусственное отстранение многих живых и масштабных проблем.

Эстрадная поэзия кончилась сама собою — вместе с временем, ее породившим, вместе с запалом юности, растраченным и на реальное дело и на пиротехнику.

Сама собою в назначенный историей час отошла в прошлое и «тихая» лирика.

Не претендуя на открытие общезстетического закона, можно было бы сказать, что такое самоустранение с литературной сцены, такой самораспад вполне естественны и нормальны. Не под напором надвигающейся новой волны (школы, поколения, течения и т. п.) опадает и истаявает волна предыдущая. И тут во всем повинно время, обнажающее недостаточность того художественного явления, которое еще совсем недавно смело претендовало на универсальность и гармонию. И тут во всем повинна логика творческого развития, выводящая истинного художника на тот уровень,

где становится ясной и исчерпанность «школьной», «поколенческой» поэтики, «школьной» этической концепции, становится ясно и то, что в конечном счете «нет школ никаких. Только совесть, да кем-то завещанный дар, да жизнь, как любимая повесть, в которой и холод и жар» (Вл. Соколов)...

Конечно, что и говорить, опыт «тихой» лирики в той или иной степени присутствует в современной поэзии. И тем не менее можно смело утверждать, что верность всем заветам и установлениям школы хранят ныне, как это обыкновенно и водится, лишь эпитоны, имя которым — легион. Истинные же поэты, в ком живо «чувство пути» (А. Блок), давно движутся самостоятельными курсами.

Глубоко симптоматичен пример активно заявивших о себе в 70-е годы Юрия Кузнецова, Игоря Шкляревского и Валентина Устинова, чьи первые шаги в поэзии небезосновательно расценивались как развитие традиций «тихой» лирики. Сейчас такое суждение показалось бы изрядной натяжкой, ибо и в «сюрреалистической» смуте Юрия Кузнецова, и в оголенно-рационалистических конструкциях Игоря Шкляревского, и в «языческом» полороде красок и жестов Валентина Устинова ничто почти не напоминает о канонах «тихой» лирики. У каждого свой образ мира, своя дорога в искусстве, своя путеводная звезда.

Уместно спросить: что же пришло в 70-е годы на смену эстрадной поэзии и «тихой» лирике, какая новая поэтическая волна нахлынула на читателей?

Ответ очевиден: нет такой волны.

Отличие последнего десятилетия от двух предыдущих в том и состоит, что поэзия как бы отказалась диктовать всем пишущим и читающим стихи некий сезонный «стиль эпохи», новую единообразную моду.

Литературные баталии как-то незаметно приутихли, войдя в русло внутрицеховых споров и не привлекая, как бывало прежде, всеобщего внимания. Poleмические статьи и даже poleмические стихи публикуются во множестве — да и как им не публиковаться! Но обвинения, которыми по старинке обмениваются не присмирившие воители эстрадной и «тихой» поэзии, явно прокручиваются по второму, третьему, четвертому разу, так что лишь горячность тона восполняет в какой-то мере отсутствие предмета дискуссии.

Взоры всех заядлых полемистов — и критиков и поэтов — в течение целого десятилетия с надеждой устремлялись на новое

литературное поколение. Как раз с теми, кто родился после войны, связывались и мечты о новом Поэте, чей гений обнимет и вберет в себя все достижения современной поэзии, и ожидания «какого-то совершенно нового молодого героя», в судьбе и в мирозерцании которого «овалы опять сменяются углами» (Л. Аннинский), и обретение той цельности, которая усмирит, вернет к норме размах литературного маятника (А. Ланциков).

Но что делать? Как показало движение отечественной поэзии в 70-е годы, молодые явно не успели пока оправдать авансы, щедро раздаваемые критикой: «поколения» не получилось. Те же из молодых, чья творческая дееспособность обнаружилась со всей несомненностью (к уже называвшимся именам Ю. Кузнецова, В. Устинова, И. Шкляревского стоило бы прибавить здесь имя В. Леонovichа), воспринимаются каждый наособицу, а отнюдь не как лидеры более или менее мощных, более или менее оформившихся идейно-художественных образований.

При характеристике литературной ситуации, сложившейся в 70-е годы, нельзя не вспомнить слова Юрия Тынянова, сказанные по аналогичному поводу: «Для поэзии инерция кончилась. Поэтический паспорт, приписка к школе поэта сейчас не спасут. Школы исчезли, течения прекратились закономерно, как будто по команде». Указывая на то, что «эта смена школ одиночками характерна для литературы вообще», Ю. Тынянов подчеркивал: «...но самая стремительность смен, самая жестокость борьбы и быстрота падений — темп нашего века XIX век был медленнее. У нас нет поэтов, которые бы не пережили смены своих течений...»

Что ж, все так. Литература и впрямь

словно бы набирает ускорение, центробежной силой своею разбрасывая поэтов, разводя их на пути самостоятельного, независимого творческого развития. Времена консолидации, ожесточенных групповых схваток за монопольное положение на театре российского стиха явно канули в Лету. Настала пора сосредоточенной, самоуглубленной работы, когда конфликтность, противоречия (а они, как известно, двигатель всякого развития) естественнее находить не во взаимоотношениях между поэтами и школами, а внутри каждого индивидуально взятого, крупного поэтического мира: мира Вознесенского и Самойлова, Куняева и Тарковского, Мориц и Жигулина.

Подобная безбурность, отсутствие внешних, наглядных признаков литературной борьбы, разумеется, устраивает далеко не всех. «В поэзии сегодня как-то рыхло», — сокрушается, например, Евгений Евтушенко, отнюдь не свои только настроения передавая и этим вздохом, и своей надеждой на скорую реставрацию кипучей литературной жизни конца 50-х — середины 60-х годов.

И все же, думается, правда на стороне критика Станислава Рассадина, который, находя, что «дух спортивного соревнования в поэзии — соревнования одиночек или целых поколений — опасен, ибо не скоротечен», видит в возникновении новой литературной ситуации верную приметку общественной и творческой зрелости. «Когда приходит зрелость, резко проступает не общность тенденций, а различие индивидуальностей».

Именно к многообразию индивидуальностей и должно быть, на наш взгляд, приковано внимание современных историков современной поэзии.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Юрий Лукин. Доблесть, подвиг, слава.— Адольф Урбан. Сквозь годы. — А. Коган. Звенья памяти народной.

ПОЛИТИКА И НАУКА

В. Победоносцев. Ратная работа.— В. Некрасов. Карлос Вланко, Мартин Гроу и другие.— Н. Эйдельман. Ганнибал Пушкинский.

Литература и искусство

ДОБЛЕСТЬ, ПОДВИГ, СЛАВА

Литература великого подвига. Великая Отечественная война в литературе. Выпуски 3. М. «Художественная литература». 1980. 588 стр.
Слова, пришедшие из боя. Сборник. М. «Книга». 1980. 284 стр.

Отечественная литература в самых своих истоках рождалась как литература героической темы, вдохновляемая идеей всенародного сплочения сил во имя защиты родины, отражения вражеских чужеземных нашествий.

«Слово о полку Игореве», «Задонщина» — это и боль народа, терзаемого полчищами врагов, ордами захватчиков, это и песня мужеству, верности истинных сынов родины, боевому их содружеству.

Воинскую доблесть, полководческое искусство сынов России воспел великий Пушкин в «Полтаве». Это была новая песня — о нации, уверовавшей в свои силы, обретшей могучую радость одоления искусного, дотле неодолимого врага, гордое чувство народа, выходящего на широкие пути истории.

Впоследствии одно из лучших творений русской и всей мировой литературы было также органически связано с темой защиты родины от полчищ признанного в своей славе завоевателя мира, — после «Севастопольских рассказов» Лев Толстой создает великий свой роман «Война и мир».

В отечественной литературе прошлого тема героической, тема подвига раскрывалась и в ином аспекте — не только в создании многоликого образа защитника родины,

понимаемой как родная земля, земля отцов. В ней сильны и мотивы героизма борцов за свободу, против самодержавия, тирании, гнета помещиков и капиталистов.

Советская литература продолжила патриотические традиции отечественной классики в изображении ратных подвигов верных сынов родины, славы русского оружия. Особенно отчетливо зазвучали ноты прославления подвига безвестных героев из народа и обличения преступлений военной верхушки, служившей интересам царя и правящих классов. Об этом книги А. Новикова-Прибоя «Цусима», С. Сергеева-Ценского «Севастопольская страда», «Брусиловский прорыв» и другие произведения.

Однако принципиально новым в советской литературе, в героической теме, стало содержание, рожденное, как сама эта литература, новой, социалистической действительностью. Тема борьбы за революционную власть, за новую жизнь, против старого мира, против контрреволюции соединилась с темой борьбы против интервентов, пытавшихся вернуть прежние порядки, оказывавших поддержку белым армиям в надежде на солидную пожизну.

Уже в первые десятилетия своего существования советская литература создает новую классику, необычайного мастерства в изо-

бражения противоборствующих сил дестигает в «Тихом Доне» Михаила Шолохова, в «Хождении по мукам» Алексея Толстого, «Барсуках» Леонида Леонова. Дмитрий Фурманов живописует народного полководца и большевика-комиссара. Образы героев гражданской войны возникают в «Железном потоке» А. Серафимовича, в фадеевских «Разгроме» и «Последнем из удэге», в романе «Как закалялась сталь» Николая Островского, в «Бронепоезде 14-69» Вс. Иванова, «Севастополе» А. Малышкина, «Оптимистической трагедии» Вс. Вишневского, «Любови Яровой» К. Тренева.

А в годы Великой Отечественной войны, в послевоенные годы в нашей литературе тема защиты родины получает еще более широкое звучание. Тема борьбы за революцию становится темой защиты завоеваний революции, защиты достигнутого, вошедшего в жизнь народа, ставшего новой действительностью. Родина — это не только земля отцов и дедов, созидательница и хранительница порожденных историей духовных ценностей, но и родина революции, новой жизни, свободы, всемирный светоч революционных идей. И тема ее защиты сливается с темой защиты народной свободы и счастья.

Это новое в жизни и в литературе получает могучее выражение в творчестве Михаила Шолохова, Алексея Толстого, Леонида Леонова, Александра Фадеева, Леонида Соболева, Александра Корнейчука, Олеса Гончара, Константина Симонова, Бориса Полевых, Ильи Эренбурга, Константина Федин, Вадима Кожевникова, Бориса Горбатова, в стихах Александра Твардовского и Алексея Суркова, Михаила Исаковского и Николая Тихонова, Джамбула и Максима Рыльского, Владимира Сосюры и Янки Купалы, Анны Ахматовой и Ольги Берггольц, Веры Инбер и Маргариты Алигер, Петруся Бровки и Саломеи Нерис...

Последующий — по хронологии — этап в разработке этой темы, в творческом развитии наследуемых традиций связан с произведениями Юрия Бондарева, Василя Быкова, Виктора Астафьева, Валентина Распутина, Михаила Алексева, Александра Чаковского, Ивана Стаднюка и многих других писателей.

Невольно возвращаешься мыслью к этим векам пройденного литературой боевого пути, когда держишь в руках два издания в минувшем году сборника: «Литература великого подвига. Великая Отечественная война в литературе» и «Слова, пришедшие из боя».

Первый из них продолжает дело, успешно начатое ранее. В двух предшествующих выпусках, которые вышли в 1970 и 1975 годах, опубликованы весьма содержательные материалы: обзорные и проблемные статьи, работы о творчестве крупнейших наших писателей, разрабатывающих военно-патриотическую тематику, выступления самих писателей.

Нынешний, третий, выпуск издан к тридцатипятилетию победы. Он включает в себя разнообразные материалы, показывающие, как обогащает литературу наших дней патриотическая, гуманистическая тема Великой Отечественной войны, а также статьи, рассматривающие некоторые произведения военных лет в свете исторического опыта нашего сегодня.

Составители выпуска В. Косолапов и Л. Лазарев подготовили том при участии комиссий по военно-художественной литературе Союзов писателей СССР и РСФСР и Московской писательской организации.

Хорошо продуманы состав сборника и его структура. Он состоит из четырех разделов. В первом помещены проблемные статьи и обзоры, во втором рецензируются отдельные произведения, в третьем разделе содержатся беседы критиков с писателями, а добытые из архивов выступления, письма военного времени вместе с воспоминаниями о писателях на войне и литературными портретами составляют завершающий раздел этого богатого сборника.

Во главе книги помещена статья о книгах воспоминаний Л. И. Брежнева. Это сразу придает всему тому особую весомость и значение. Озаглавлена статья М. Козымина «О прошлом — для будущего». В ней справедливо отмечается, что появление замечательных документов нашей эпохи — книг воспоминаний Леонида Ильича Брежнева «Малая земля», «Возрождение» и «Целина» стало одним из важнейших событий в сегодняшней идеологической жизни, что волна читательского интереса к этим воспоминаниям все нарастает: сначала двести семьдесят тысяч подписчиков «Нового мира», на страницах которого они впервые увидели свет, а затем миллионы, десятки миллионов, сотни миллионов читателей у нас и за рубежом с увлечением знакомятся со взволнованным и ярким повествованием об одном из героических эпизодов Великой Отечественной войны и о трудовых подвигах советских людей, вкладывавших все свои силы, умение и страсть в восстановление разрушенного войной народного хозяйства, а потом и в освоение миллионов гектаров целины. Появилась и все нара-

стает насущная потребность всесторонне освоить богатейшее содержание этих книг.

Сильное впечатление производят приведенные в статье выдержки из воспоминаний, например такие, как: «Горела земля, дымилась камни, плавился металл, рушился бетон, но люди, верные своей клятве, не попятись с этой земли. Роты сдерживали натиск батальонов, батальоны перемалывали полки. Накалялись стволы пулеметов, раненые, оттолкнув санитаров, бросались с гранатами на танки, в рукопашных схватках билась прикладами и ножами. И казалось, нет конца этой битве. Там, где все вокруг покрывалось трупами врага, появлялись новые цепи, их истребляли, но снова и снова возникали серо-зеленые силуэты. И не удивительно, что в одну из атак у бойца 8-й гвардейской стрелковой бригады вырвалось: «Да что они, из земли растут?...»

Это картина из книги «Малая земля». А вот начало следующей книги — «Возрождение»: «Трава уже успела прорасти сквозь железо и щебень, издали доносился вой одичавших собак, а вокруг были одни развалины да висели на ветвях обгоревших деревьев черные вороньи гнезда. Подобное пришло мне видеть после гражданской войны, но тогда пугало мертвое молчание заводов, теперь же они и вовсе были повержены в прах».

И другой фрагмент из этой книги: «Помню во всех подробностях этот день. Печь ровно гудела, говорить приходилось с усилием, но это был гул, привычный для каждого металлурга, да и меня он радовал, потому что в глубине души я все еще чувствовал себя металлургом. Кислородный резак прожег летку, и показался тонкий ручеек расплавленного до бездны металла. Рассыпая по пути звезды, ручей набирал силу и стал чугушной жидкой рекой. Рябь бежала по этой реке, а мы все шли следом, смотрели, как в первый раз наполняется ковш. Помню, мы с Бардиным долго жали друг другу руки, перецеловали всех горновых».

Статья М. Козьмина убедительно показывает, что в воспитании уважения к прошлому и умении делать из него самые актуальные и самые необходимые для современности выводы книги Л. И. Брежнева играют неоценимую роль как рассказ заслужившего величайшее доверие партии и народа государственного и политического деятеля о тех событиях, непосредственным и активным участником которых он был. Подчеркнуто социально-философское осмысление прошлого с точки зрения тех задач, которые решаются сегодня и будут решаться завтра, раскрытие нравственных

и психологических истоков воинского и трудового героизма советского человека, советского народа.

Наша критика в последнее время обращала особое внимание на интенсивность процессов литературного развития, на то обстоятельство, что интенсивность эта распространяется и на развитие так называемой военной литературы, что по мере удаления от событий тех грозных лет поток произведений о Великой Отечественной войне не убывает, а, наоборот, набирает новую силу и качество. В этом, как пишет А. Бочаров в статье, помещенной в сборнике, «потребность сегодняшнего времени найти в событиях войны ответ на многие актуальные ныне вопросы, увидеть связь и преемственность времен».

Очевидно, что именно такой потребностью и объясняется пристальный интерес наших видных писателей, критиков и литературоведов к книгам, затрагивающим социально-нравственные, гуманистические и другие проблемы, вытекающие из опыта минувшей войны.

Статья А. Адамовича, которую читатель найдет в рассматриваемом томе, озаглавлена «В соавторстве с народом». Это взволнованный рассказ писателя о работе многих мастеров слова по сбору записей очевидцев военных событий, дневниковых материалов и о дальнейшем их художественном осмыслении. «Особой нравственной насыщенностью рассказов, нравственным напряжением создается тот жанр, о котором идет речь», — пишет А. Адамович. Литературовед Л. Иванова (статья «С временем сверяя шаг») размышляет над проблемой формирования социалистического сознания в современной прозе о Великой Отечественной войне. В статье красной нитью проходит мысль об углубившемся историзме мышления военных романистов, постигающих эпоху народно-героической борьбы как важный этап в историческом развитии человечества, мысль о близости социально-нравственных идеалов людей развитого социалистического общества и поколения 40-х годов, которое отстаивало эти идеалы в жестоких ратных сражениях.

В этих и других материалах сборника, будь то обобщенное исследование или просто рецензия на отдельную книгу (как, например, Ф. Кузнецова на роман «Берег» Ю. Бондарева, У. Гуральника на роман А. Чаковского «Блокада», В. Косолапова на военные дневники К. Симонова или И. Дедкова на повесть В. Быкова «Его батальон»), авторы судят о литературе с позиций строгого историзма, в неразрывной связи рас-

смагнваемой проблемы с многообразным комплексом других, стремятся дать конкретный сопоставительный анализ наиболее значительных современных произведений о войне.

Много поучительного почерпнет читатель из публикуемых здесь же бесед писателей с критиками, корреспондентами газет и журналов. В беседах по актуальным вопросам литературы участвуют Константин Симонов, Иван Мележ, Олесь Гончар, Иван Стаднюк, Сергей Наровчатов, Анатолий Ананьев, критик Иван Козлов. Уже сам перечень этих имен вызывает несомненный интерес к публикуемым материалам, и ожидания читателя не оказываются обманутыми.

Склонен думать, что живой интерес в широких читательских кругах встретят и публикации, сосредоточенные в последнем разделе, озаглавленном «Память». Архив военной комиссии Союза писателей СССР предоставил для книги материалы незаурядной ценности. Среди них выступления Александра Твардовского 22 июня 1942 года, Всеволода Вишневского 6 августа 1943 года, Ильи Эренбурга 11 января 1943 года, Ильи Сельвинского 13 июля 1942 года и 7 июня 1943 года. С этими материалами соседствуют воспоминания Г. Макогоненко о работе Ольги Берггольц в блокадном Ленинграде. И тут же воспоминания Всеволода Азарова о том, как работала оперативная писательская группа на Краснознаменном Балтийском флоте. Публикуются фронтовые письма из переписки Евгения Долматовского с Павлом Антокольским. Включена в сборник статья Марка Максимова о Сергее Орлове.

А как волнуют письма, приходившие с фронтов Великой Отечественной войны в Литературный институт имени А. М. Горького от недавних питомцев и педагогов института! Есть там письма Александра Яшина, Бориса Слуцкого, С. С. Смирнова, Плагина Воронько, Юлии Друниной, Михаила Луконина, Сергея Наровчатова, письма известного советского ученого Александра Аникста, критика Андрея Туркова. Особое место занимают письма тех студентов Литинститута, что погибли на войне.

В наших издательствах вышло немало книг, помогающих людям оценить воинский подвиг советской литературы в годы всенародной битвы с фашизмом. Изданы монографические работы о многих писателях, книги, исследующие произведения различных литературных жанров, ставящие актуальные проблемы развития художественной литературы о войне в единстве с

многообразным и многосложным литературным процессом в целом. Военное издательство выпустило два весьма значительных сборника, два объемистых тома — «Армия и литература». Признание читателей заслужили такие сборники, как «Советские писатели на фронтах Великой Отечественной войны», «Журналисты на войне», «В редакцию не вернулся», «Строка, оборванная пулей», «Рядом с героями»...

И вот теперь перед нами новая книга — заботливо подготовленный и со вкусом оформленный томик «Слова, пришедшие из боя». Кстати сказать, оба сборника, о которых идет речь в этой статье, обильно и очень, как говорится, к месту иллюстрированы, дополнены фотодокументами тех военных лет. Основную группу среди них составляют, естественно, фотографии писателей. Для сборника, изданного «Книгой», найдены и удачно воспроизведены малоизвестные снимки беседы А. Фадеева с А. Чаковским, обложек первых изданий «Молодой гвардии», выразительные портреты Эм. Казакевича, снимок 1942 года, где объектив фотоаппарата запечатлел Леонида Соболева среди командного состава эсминца «Ташкент», прекрасны портреты Александра Твардовского (1942) и Константина Симонова (1941).

К сожалению, такое можно сказать далеко не о всех фотографиях в сборнике, изданном «Художественной литературой». Часть снимков здесь то ли заретуширована чрезмерно, то ли пострадала от несовершенного полиграфического их воспроизведения, например на одном из довольно известных снимков Шолохова можно узнать только по подписи. Мало удачны снимки, где читатель видит Твардовского, Чаковского, Эренбурга и Суркова, невнятное впечатление оставляют снимки Симонова и Вишневского. Свидетельствую об этом не только потому, что эти же или аналогичные фотографии можно встретить в совсем ином качестве в других изданиях, но и как человек, который видел изображенных на снимках людей именно тогда. Виденное в такие годы в память врезается...

Краткое вступление к сборнику «Слова, пришедшие из боя» (автор А. Коган, он же составитель) уведомляет читателя, что издание имеет существенную специфическую особенность — лучшие произведения о великой войне рассматриваются авторами статей с точки зрения книговедческой, то есть в центре их внимания находятся судьба книги и ее биография. Авторы стремятся найти и обозначить жизненные истоки произведения, установить прототипы его

ваясь к лирическому стиху чистого звучания, с тонким психологическим подтекстом, то создавая своего рода микророс — сюжетные стихи, портретные наброски, жанровые картины. Длилось это до тех пор, пока он не стал писать самую настоящую прозу: повести, рассказы, главы не то автобиографического романа, не то воспоминаний. Одним словом, ту прозу, где не тесно событию, медленному припоминанию, документу и просто интересной фразе или словечку. Ваншенкин не стал беллетристом, пишущим многоотомные романы. Он создавал прозу поэта — фрагментарную и плотную, но именно прозу, принявшую в себя всю его наблюдательность, опыт общения с людьми, ту неистощимую любознательность, которые могут занимать ум, но далеко не всегда совпадают с порывом сердца, с внутренним самоощущением. Репутация у Ваншенкина сложилась определенная. Поэт хороший, но очень уж подробный. Избыточно описательный.

Последние книги меняют представления о Ваншенкине. Да и сам он думает о себе иначе, нежели прежде, иначе оценивает пережитое:

То, что видел я раннею ранью
И забыл по прошествии лет,
Загорается новою гранью,
Ибо сдвинулись тени и свет.

Но и то, что не в силах забыть я,
По-иному выходит из тьмы.
Не меняются сами события,
Но жестоко меняемся мы.

Тут начало разгадки. О событиях Ваншенкин написал достаточно — писал развернуто (в сюжете) и писал коротко, вырывая из прошлого лицо, наблюдение, картину. Припоминая. Фиксируя чуть ли не с документальной точностью. Теперь он все больше размышляет об изменениях в себе и в людях. «Задумчивость — моя сестра...» — говорит Ваншенкин сегодня. И то же заметит в безымянном путнике, которому, казалось бы, не до самоанализа. Однако же:

Спал путник в доме прочной кладки,
И лишь сознание того,
Что сроки жизненные кратки,
Сквозь сон тревожило его.

На плотный, так надежно обжитой мир то и дело набегает тень тревоги: «...вдруг отзовется в душе потеря былая», «А потянешь за тонкую нить, и невольно заденет забота». Даже весенняя, воспрянувшая природа подвергается неожиданному налету: «Недавний мир цветущих вишен под снегом, выпавшим весной, несправедливо-

стью унижен». Осень же, оставаясь самой настоящей осенью, леденит душу: «Мокрых листьев кутерьма, ветер, холод, дождь осенний. В гуще этих отношений зарождается зима».

Никогда еще природа у Ваншенкина не была столь круто приведена к субъективному настроению. Обычно она жила своей независимой жизнью, впечатляя красотой, спокойствием, самодостаточной полнотой. Теперь же: «Рассвет был залит в формы улиц и в них стоял», «Холодноватый ток рассвета мне сердце жег». Рассвет разграфлен архитектурой улиц и холод его горяч.

Для прежнего Ваншенкина была больше характерна статика. Теперь взгляд его прикован к движению: «Меняется за окнами погода. Меняются над миром облака». Поистине «земля открыла... другую свой лик». И уже впечатления не только умиляют, не только ласкают беззаботно и щедро, но и отзываются болью:

Эти крыши на закате,
Эти огни, как в огне,
Самой резкою печатью
Отпечатаны во мне.

Этот город под горою,
Вечереющий вдаль,
Словно тонкою иглою
Прямо в кровь мою ввели.

Прямо в кровь входят зима и осень, городские улицы, заполненные рассветом, и огневой закат, напоминающий боль от укола иглой.

Озарится и интерьер каким-то особым чувством понимания и соучастия. В комнате торопливо ушедшей на работу одинокой женщины: «Над чашкою парок, однако чай не допит», «Халатик на бегу повис на спинке стула», «На блюдечке одно колесико лимона». О щемящей печали поэтом не сказано, однако ее прочесть нетрудно. Стихотворение как будто возвращает к его ранним портретам и жанровым зарисовкам. Возвращает, да не в прежнем эмоциональном ключе спокойного любования. Тут веет драмой.

Вообще в памяти всплывает не то, что когда-то задело, но ушло, но нечто такое, что живет в крови почти бессознательно, однако неистребимо. Забылись многие обиды, а «вот деревушку за лесом с холодной ее красотой не выжечь каленым железом, не вытравить кислотой». Эта «холодная» красота, так когда-то поразившая, сильнее теплого умиления или созерцательного довольства.

В чем все-таки дело? «По всей земле горят костры воспоминаний»... «Давнее, что

брезжит в нас, с нынешним слитчу», — повторяет Ваншенкин много раз. И не то чтобы раньше не предавался он воспоминаниям. Было их немало — грустных, ляхих, усмешливых. Но сейчас его воспоминания психологически деятельны, полны непосредственного жизненного смысла: «Чем дольше вы задержите дыхание, тем глубже вам захочется вдохнуть». Он пишет их не потому, что нечто вдруг вспомнилось. А потому, что вспомнилось с неотвязной сиюминутной необходимостью. Пришло то душевное состояние, которое заставляет обдумывать все с тобой прошедшее:

Наступает новая пора.
Происходит в жизни перемена.
Не вчера и не позавчера —
Это настигает постепенно.

Постепенно и листва, шурша,
С почерневших веток облетела.
Постепенно вечная душа
Оценила временное тело.

Постепенно солнцу все трудней
Пробивать туманов оболочку.
Постепенно яркий круг друзей
Сузился и превратился в точку.

И в другом стихотворении — о товарищах: «Давно ушла война. И не в единый миг отхлынула волна товарищей моих», «Отхлынула волна — как будто кровь от щек». Мы узнаем их, этих товарищей, — А. Твардовского, М. Бернеса, Н. Отраду, С. Орлова, М. Луконина...

Перемены и в самом деле произошли не сразу. Книга «Десятилетье» — это десять лет работы, а «Поздние яблоки» — еще несколько лет. Можно и в этих книгах найти сюжетные стихи, зарисовки пейзажные и бытовые. Но вот что примечательно: все они сделаны с легкостью, изяществом, стремительностью. Описания не тяжелы. Пейзажи не описательны. Образные звенья сцеплены крепче. Появилось стремление к лаконизму, которым прежде Ваншенкин как бы пренебрегал ради полноты выражения. Но эта полнота как раз и появилась тогда, когда стих стал кратким, емким и психологически насыщенным:

Не то чтоб время подкосило
Или случайно загрузил,
Но легкость прежняя и сила
Уже немалых стоят сил.

Зато и удовлетворенье
В тревогах нового труда —
От каждого преодоления...

Но в промелькнувшие года —
Сквозь то, что мы зовем судьбою,
Сквозь возрастные пояса,
Все как бы шло само собою —
Была такая полоса.

Стих стал не в пример легче — смысл же его отяжелел. Появились в нем то обдумывание, тот самоанализ, что делают поэзию Ваншенкина последнего десятилетия полноценной лирикой. Лирикой в классическом смысле слова, где развернулась жизнь души, где все внешнее — сюжет; зримый образ — подчинено внутреннему. Внутренний же мир обрел форму. В нем отчетлива даль времени, события и лица, его заполняющие. Есть свой круг вопросов — о сверстниках живых и умерших; о природе, о творчестве.

Ушли великие поэты, еще недавно горворившие свое непререкаемое слово: «Ну; а что же наш собственный пафос? Кто мы есть среди грозных имен — чудачки? Заполнители пауз?» И как достичь своей высоты даже в этой «невыгодной роли»? Один из ответов, столь мало свойственных преждему Ваншенкину, энергичен и прям:

Да здравствует вовек
Умень быть собою.
К друзьям, к тревогам, к бою
Мучительный побег!

Этот побег он действительно совершает в последних своих книгах.

Много в них о фронтовых друзьях и братьях по литературе. Много о боях и о тревогах. О муках жизни и муках творчества. И все это искренне, без того уклонения в эпос, когда картина способна заставить чувство, сюжет — направить его в сторону, к лицам, отвлекающим внимание на себя и лишь косвенно соотнесенным с индивидуальностью самого поэта.

Это вовсе не надо понимать в том смысле, что Ваншенкин хоть в самой малой степени становился эгоцентристом. Что он вдруг возжаждал особого внимания и начал в неумеренном тоне говорить только о себе и о себе:

Не нужно, чтобы их хвалили,
Деревьям, травам и кустам.
Им важно, чтоб дожди полили
И все бы стало по местам.

Не жажду славящего крика,
И нет особенных обид.
Пусть только в чьих-то пальцах книга,
Как деревце, прошелестит.

Ваншенкин остался Ваншенкиным. Он видит мир широко. Он не делит темы на поэтические и непозетические. На внешние и внутренние. Речь о том лишь, что он достиг в своей поэзии уровня, который не позволяет ему больше отступаться в прозу, подменять лирику стихотворным очерком. Он относится к типу поэтов, о которых Гёте писал: «На высшей своей»

точке поэзия кажется чисто внешней; уходя внутрь, она вступает на путь падения. Поэзия, которая изображает только внутрѣнный мир, не воплощая его во внешнем, или только внешнее, не давая почувствовать его изнутри, в равной мере попадает на ту последнюю ступень, с которой она сходит в обыденную жизнь».

В этом суть. Поэзия немислима без внешнего жизненного наполнения. Но ее нельзя свести к обыденности. Вот почему в предметах Ваншенкин находит «выражение лица». Предзимняя «дышит... вода, словно темечко младенца». Река течет «самой себе навстречу, как поезда где-нибудь в горах. Как жизнь». «Слово зажигается от слова». А толстовское «исповедь есть проповедь», побуждающее «жить так, как

совесть нам велит». То есть все тут действительная правда, но в психологической неоднозначности человеческого восприятия. В «чисто внешней» картине видны глубина, неисчерпаемость познания и чувствования, раздвигающие рамки обзора до бесконечности:

Так наполнен я этой равниной,
Так напитан пространством родным,
Что, безжалостно ими раннимы,
Понимаю, что ими храним.

Ваншенкин последних книг нашел ритм соответствий окружающей жизни психологическим состояниям, который дает ощущение особой достоверности, искренности, подлинности его лирики.

Адольф УРБАН.

Ленинград.



ЗВЕНЬЯ ПАМЯТИ НАРОДНОЙ

Л. Бережных, В. Лапина. Ташкентские мальчишки. Ташкент.

«Еш гвардия». 1978. 63 стр.

Георгий Миронов. Мы поднимались в атаку. «Московский рабочий».

1980. 221 стр.

Г. Тамарина. Северные новеллы. Ташкент. Издательство литературы и искусства им. Гафура Гуляма. 1980. 277 стр.

Три книги, рассматриваемые здесь, очень разные: от открыто документальной, сложившейся из газетных очерков, регулярно в течение трех лет — по мере нахождения материала — печатавшихся в газете «Вечерний Ташкент», до повестей и новелл не то чтобы прямо автобиографических, но, во всяком случае, широко включающих в себя жизненный опыт авторов, а вместе с тем не ограничивающихся им, использующих право на вымысел... Но есть у этих книг и то общее, что позволяет без больших натяжек рассмотреть их в одном ряду. Все три — о том героическом поколении, которое уходило на войну. «не долюбив, не докурив последней папиросы»...

Книга Л. Бережных и В. Лапиной «Ташкентские мальчишки» — самая бесхитростная из трех. И самая интересная по материалу. Ее авторы не писатели, а «все-го лишь» газетчики, не претендующие на психологически углубленную разработку характеров. Но действенность их очерков велика: по материалам этих очерков в городском Дворце пионеров создан музей боевой комсомольской славы, открыты мемориальные обелиски.

«Историю Великой Отечественной войны пишут не только историки, — говорит в предисловии к книге кандидат исторических наук М. Т. Туляганова. — Сформиро-

вались новые жанры, новые направления в творчестве: это документально-художественные произведения о войне. И документ, фотография, строка из фронтового письма зачастую потрясают сильнее, чем художественный вымысел».

В тоненькой книжнице много таких действительно потрясающих материалов. Не хочется, да и неправильно никого здесь выделять: герои книги объединены общей судьбой — все они отдали жизнь за родину. И все же взгляните, к примеру, в фотографию Бориса Иванцева. Какое сильное, одухотворенное лицо, какие пытливые глаза. Будто отразилась в их выражении диалектика времени, сказавшаяся и в его письме любимой с фронта: «Я имею удовольствие слушать музыку снарядов и соловьиных голосов... Век бы слушал соловьев, да надо давить гадов, что приползли на нашу землю... И соловьев сменяют орудия».

Интересны выдержки из стихов и писем Николая Горошкова (погиб в 1942 году). «Во мне рождается новый человек, — писал он из летнего училища школьной подруге, — этот человек не ждет, что кто-нибудь сделает для него и за него дела, даже самые тяжелые. Рождается такой человек, для которого жизнь — борьба!».

Перед войной Горошков работал ответственным секретарем в редакции газеты «Пионер Востока». Его влекли две стра-

сти — литература и техника. Он мечтал быть летчиком и писал стихи, которые я рискнул бы сопоставить с ранними стихами Кульчицкого или Кубанева:

Вам хорошо под развесистым дубом
Нежность у девушки красть без оглядки!
А видели вы, как закат порубанный
Топчут кони в сабельной схватке?!

Есть в книге и очерк о Георгии Эфроне (сыне Марины Цветаевой, ушедшем на фронт из Ташкента), отрывки из писем Ариадны Эфрон, сестры Георгия...

Ташкент в дни войны считался тыловым городом; что ж, так оно и было — недаром именно там, в Ташкенте, происходит действие симоновской повести «Двадцать дней без войны». А в то же время именно Симонов в повести (а затем А. Герман в фильме) показал, насколько условно это «без войны», насколько этот далекий от переднего края город жил войной, работал на войну, дышал войной... Тоненькая книжечка о ташкентских мальчишках вносит еще одну — и немаловажную — краску в картину участия ташкентцев во всенародном подвиге. В конце книги приведен впечатляющий список имен ташкентских ребят, погибших за родину. В списке 161 имя помимо тех, кому посвящены отдельные очерки, но и он далеко не полон. «И тысячи других...» — гласит последняя его строка...

Авторы рассказывают о том, как складывалась их книга: «Мы приходили в незнакомые дома, звонили в квартиры: «Не расскажете ли вы?..» И нам рассказывали, давали почитать письма, документы, стихи, написанные локмим юношеским почерком... В гигантском костре войны сторели не только сами юноши, но и большинство документов развеялось за эти годы прахом. Но как палеонтолог по одной косточке восстанавливает скелет, так и мы по тому немногому, что осталось, можем домыслить портрет целого поколения».

При всей внешней непритязательности очерков, составляющих книгу, коллективный портрет поколения получился в ней достоверным.

Жаль, что этой достоверности не хватает порой двум другим книгам, названным здесь и близким по теме. Хотя их авторы и войну знают, что называется, не понаслышке, и художественной палитрой владеют куда увереннее.

Почему так произошло? Мне кажется, из-за недоверия опытных уже авторов к значимости собственного жизненного опыта, к реальности пережитого. И как результат — стремление приподнять эту ре-

альность, дополнить ее, расцветить то ли стилистически, то ли сюжетно...

Пожалуй, больше всего велеречивости, пристрастия к пышным банальностям у Г. Миронова. Сказать: «Война началась» — автору, видимо, кажется слишком простым, недостаточно художественным; он пишет не «началась», а «загрохотала». Любая справка из биографии расцвечивается, предваряется (или вовсе заменяется) расхожими декларациями. Человек не отслужил 25 лет в армии, а «четверть века отдал» ей; если уж сообщается, что женщина «служила на Западном фронте в санитарном поезде медсестрой», то обязательно добавляется: «Внесла вклад в победу».

Книга Г. Миронова имеет подзаголовок: «Записки Юрия Петровича Щедрова, капитана запаса, директора школы рабочей молодежи». Таким образом, автор книги и герой-повествователь не одно и то же лицо, но дистанция, разности между ними ни стилевой, ни по содержанию нет, хотя на последней странице автор и пытается как-то отделиться от героя хотя бы сюжетно, биографически, сообщая, что он «обработал» чужие записи; фактически же повествователь слишком явно является рупором самого автора. Поэтому и упреки наши приходится относить не на счет героя-повествователя, а на счет автора книги. Пристрастие Г. Миронова к штампам, стереотипам тем досаднее, что жизненный опыт, стоящий за плечами героя книги и в значительной степени ее автора, сам по себе достаточно серьезен и мог бы послужить основой для куда более значительных и, главное, своеобразных размышлений и выводов, чем те верные, но уже достаточно стертые, расхожие, к которым автор книги приходит вместе с ее героем. А ведь в той же книге наряду с описаниями избитыми, вторичными немало страниц, полных живых наблюдений, показывающих, как может писать Г. Миронов, когда ступает не в чей-то след, а в свой собственный. Такова, например, сцена-воспоминание, относящаяся к последним дням войны: фашисты сдаются в плен, друг против друга стоят рассказчик — воин Советской Армии и гауптман вермахта, командир сдающегося в плен подразделения:

«Капитан глядит мне в глаза одиноком провалившимся внутрь зрачком. Вот он подбрасывает в ладони нож-игрушку, нож-оружие, ловко ловит и протягивает мне. Он предлагает мировую. Я беру протянутый нож, я тоже подкидываю его на ладони, точно взвешивая, оценивая. И — по-

чти как гранату — резко отбрасываю прочь.

У меня нет прежней злобы к безоружному неприятелю. Нет и сочувствия».

Всего несколько строк. Но емких, нестандартных, психологически точных...

Несвободны, к сожалению, от ложных красотостей и «Северные новеллы» Г. Тамириной. Их сюжетная основа — невидная, но тяжкая война на Севере. Личный фронтовой опыт автора (в дни войны ушедшей добровольно на фронт) сказывается в судьбах ее героинь — комсоргов фронтовых подразделений.

Г. Тамарина пишет светло, лирично, мягко, красиво. Но иногда слишком красиво! Впечатление такое, что порой автор словно бы начинает сомневаться: а способна ли заинтересовать сегодняшнего молодого читателя неприкрашенная проза фронтовых будней? И тогда в ход идет подсветка: умопомрачительные истории о верном, покорном лопаре Сами, с которым героиня под видом его невесты объезжает на оленях весь немецкий тыл. Сами молчаливо влюблен в героиню, которая, однако, не может ответить ему взаимностью, так как сердце ее — давно, еще со школы — принадлежит однокласснику

Руди, мальчику немецкого происхождения, человеку со сложной судьбой...

Я никак не беру под сомнение фактическую основу этой истории, не берусь судить о степени ее жизненной достоверности. Но в искусстве только то подлинно, что убеждает художественно, дает эффект присутствия. В книге Тамириной, не знаю уж почему, подобные истории дают скорее обратный эффект — сочиненности, придуманности. Это особенно остро чувствуешь, когда сопоставляешь изображение войны в «Северных новеллах» с тем, как она отражена в поэзии, положим, Павла Шубина или в потрясающем по достоверности романе-хронике Дмитрия Гусарова «За чертой милосердия» (называю те произведения, действие которых разворачивается в тех же краях, на том же фронте). Хочется сказать автору «Северных новелл»: уберите подсветку, тогда ярче проступит подлинный драматизм войны...

И все же не хотелось бы заканчивать разговор на критической ноте. Со всеми своими плюсами и минусами эти книги — слагаемые общей картины народного подвига, звенья памяти народной, немеркнувшей памяти о бессмертном подвиге.

А. КОГАН:



Политика и наука

РАТНАЯ РАБОТА

Николай Черкашин. Соль на погонах. М. «Молодая гвардия». 1980. 174 стр.

Неспокойно сегодня на планете. В наших полушариях в переизбытке расплодилось бесноватые стратегии в военных мундирах, гегемонисты и реваншисты всех мастей, захламляющие эфир и газетные полосы воинственными призывами, беспардонно выдвигающие абсурдные территориальные претензии, усердно множащие и без того колоссальные запасы ядерного оружия, способного не единожды уничтожить все живое на земном шаре, создающие на Земле все новые и новые горячие точки.

Именно поэтому миролюбивая наша держава, делающая все возможное в интересах международной разрядки, вынуждена держать порох сухим. Именно поэтому одновременно с гигантской созидательной работой вершится нелегкая, но жизненно необходимая ратная работа.

Капитан-лейтенант Николай Черкашин, служивший на Северном флоте заместите-

лем командира подводной лодки по политчасти, знает эту работу не понаслышке. И с людьми, круглосуточно творящими ее в морской лучине и почти в стратосфере, в пахнущем разнотравьем поле и у ракетных установок, у него не шапочное знакомство. Душой ощущает автор ратных дел мастеров и рассказ о них ведет словом непримелькавшимся и любящим.

Всего шестнадцать страниц понадобится автору, чтобы и искусственного читателя влюбить в обладателя звероватой внешности пехотного капитана Зернова («Капитан Зернов с Куркова поля»). Выпало ему, незамысловатому человеку, перекраивающему в младших офицерах пятый год, во время летних лагерных сборов командовать редкостным подразделением — «философской ротой», сформированной из студентов МГУ. Так ненароком неким фоном заработала сюжетная интрига: уживутся ли студенты-филосо-

фы — диалектики, аналитики, йоги, сыроеды, структуралисты, дзэн-буддисты, чьи головы нашпигованы постулатами, мифами, антигезисами. — с мрачным, неразговорчивым капитаном, «академиев» не кончавшим?

Произошло на первый взгляд невероятное. «Философская рота» не только единодушно признала за Зерновым право командовать собой. Не только наградила его живущим чуть ли не с суворовских времен словечком «добер», то есть хорош как знаток своего дела и добр, справедлив как начальник. Прознав о прибытии в лагерь комиссии, «философы», дабы не подвести ротного, пошли на неслыханную жертву: сбрили усы, эспаньолки и бакенбарды, что могло сравниться лишь с подвигом карфагенянок, обрезавших косы для нужд обороны своего города. И на плацу рота не оплошала. «Когда сто кованых сапог обрушиваются на бетон как один — мороз пробегает по коже от этого грозного мерного боя. За версту было слышно — идут люди, слившие воедино не только шаг, но и волю».

Простой солдатской науке учил «мыслителей» капитан Зернов, и, переняв ее с благодарностью, ребята поняли: он из тех самых неприметных с виду, на ком свет держится. Грохнись рядом шипящая граната — не робея отшвырнет прочь, запоет трехрядка — первым хлопнет по голенищу. Плоть от плоти земли — сказано про их капитана. Это «философы» постигли быстро. «Землепашеский род Зерновых будто нарочно отрядил именно его... младшего из братьев, оборонять землю, знать ее не по-крестьянски, а по-ратному. И он знал ее так же мудро, как и братья-хлеборобы, только в иных ипостасях. Он бы не сказал, в какую пашню бросать зерно — в эту ли или в чуть более влажную. Но он знал, во сколько раз ослабляет метровый слой вот такой вот пахотной земли лучи альфа-бета-гамма-частиц. Вряд ли он смог бы по цвету неба определять пору лучшего сенюкоса. Но он мог точно считать жизнеопасный след радиоактивного облака. Он не мог бы угадать, где в этой долине копать колодец, но он безошибочно наметил бы, где здесь рыть траншею и куда фронтом, а куда тылом».

С этих проникновенных, «земных» строк начинается звучать глубинный лейтмотив всей книги: чтобы спокойно спали дети и полной чашей хвастался каждый дом, чтобы перекасти-полем не мчалось по городам и весям горе, а лишь радости пусть по толике, но все же прибывало на зем-

ле, надо ее, кормилицу человеческую, уметь защищать. Надо уметь добротню, мастеровито, даже талантливо делать ратную работу. И непременно с любовью.

Так делает ее, работу эту, танкист Наумов («Танкисты»), три ночи не спавший перед боем и, чтобы не заклевать носом, в лютый мороз истязаяющий свое тело снегом: ему, как хирургу перед операцией, нужен свежий мозг и точный глаз. Так делает ее летчик Харламов («Над океаном»), хладнокровно проведший самолет сквозь свору «фантомов», а потом при сложнейших обстоятельствах совершивший «рядовой» подвиг. Так делает ее моряк Атоян («Человек из машины»), в минуты опасности ставший похожим — неистовым командирским взмахом, зовущим за собой, — на комбата со знаменитого фотоснимка 40-х годов. «Перекошенный, с оскаленными от напряжения зубами, истекающий потом, он был красив той редкой мужской красотой, которая нисходит на человека в труднейшие минуты противоборства — со стихией ли... с врагом — все равно». Так делает ее хозяин главной корабельной машины Маханьков, умеющий заставить крейсер, «эдакую-то гору железа», мчаться по океану со скоростью поезда. Так делает ее подводник Куликов («След перископа»), глядящий торпеду, словно это ласковая любимая дворняга («Будь у нее ухо, Куликов непременно почесал бы за ним»), и свято убежденный, что «кто-то, а он... рожден для того, чтобы провести свои лучшие годы не под солнцем, не на земле и не на море, а под водой за пультом аппарата управления торпедной стрельбой». Так делают ее командир подлодки Неверов и боцман Ерошин («Подводники»), выкарабкавшиеся на мостик после блестяще законченного многодневного боевого похода и распевующие в ночном океане молодецкую русскую песню — точно косари, возвращающиеся с покоса. «Они пели с тем чувством, с каким поют люди, сделавшие трудную работу, и сделавшие ее на совесть».

Это важнейшее сегодня понятие — ратная работа — не навязчиво, а, наоборот, тонко и образно варьируется автором на протяжении всей книги. Умело — и одновременно смело и точно — оперируя хорошо известными аналогами, он помогает читателю зримо увидеть, почти физически ощутить неимоверно усложнившийся, поднявшийся до подлинных интеллектуальных высот труд современного воина. И в самом деле боевой расчет подлодки во время атаки похож на монолитный инженерный кол-

лектив, в считанные минуты решающий нестандартную техническую задачу. Промедлишь, ошибешься — в реальном бою это обернется скрежетом разрываемого корпуса, громом воды, гибелью. Поэтому инженеры в офицерских погонах работают с измерительными приборами и логарифмическими линейками с такой виртуозной быстротой, что их гражданским коллегам вряд ли угнаться за ними. Большого эффекта достигает автор, неожиданно сравнивая с физиками, вникающими в новое явление природы... трех полутолых механиков, экстренно вскрывающих в адском пекле металлических джунглей машины испорченный агрегат, подлежащий ремонту лишь в заводском стационаре. А сколько изящества в мимолетном эпизоде профессиональной пикировки воздушного аса Едуша с офицером-зенитчиком, усомнившимся было в результативности «небесных» атак на морские цели! Решив, что задета «честь шпаги», авиатор яростно защищал ее... с таблицами в руках, штурманской линейкой и карандашом.

Такие вот они, нынешние ратоборцы, способные в трескучий мороз, когда пальцы прилипают к железу, сменить танковый двигатель (опять же почти заводская работа!), без запинки называющие — хоть буди среди ночи! — параметры агрегатов, упрятанных в хищное тело торпеды, и вместе с тем умеющие играть на гитаре и творить чеканку, изъясняться по-французски и разбираться в импрессионизме.

Но как же важно им, современным «богам войны», ощущать свою кровную связь с землей и родным народом! Жадно ловят они в эфире позывные «Маяка» и «Последних известий», чтобы твердо знать, сколько за истекший день, проведенный ими под водой или в «самодвижущемся артиллерийском скафандре», построено новых домов и конвейеров, сколько собрано хлопка и выпущено телевизоров. Им, стратегическим ракетчикам, морякам, летчикам, донельзя нужно быть уверенными в том, что еще один день мира, который они сберегли под землей, в бетонных шахтах, в водных просторах и за облаками, не прошел зря. Это сознание, что их отцы и матери, миллионы знакомых и незнакомых людей спокойно вершат созидательную работу, наполняет высочайшим смыслом их ратную работу.

И мичман Маханьков по-крестьянски деловито изо дня в день опоясывает Север белой бородой, что тянется за рвущимся к горизонту крейсером. Неприступной для врагов бородой! И усердно пашет конт-

рольно-следовую полосу рядовой Ельцов, хотя и никак не может привыкнуть бывший алтайский пахарь, что рыхлит землю для того, чтобы на ней ничего не росло. Но ведь затем и обречена на вечное бесплодие эта борода, чтобы привольно колосились за ней хлеба на бескрайнем совхозном поле, цвели сады и благоухали пасеки! И напряженно поворачивает перископные рукоятки капитан 2-го ранга Яременко, поразивший однажды старушку мать своими ладонями: «Та у тебя мозоли, як у плугаря чи зайбощика, шо в старину кайлом робив!»

Вовсе не нарочит, а точно прочувствован и выверен автором этот рефрен: у ратника и орастая один корень — земной. И будь на планете побольше разума, будь подальновиднее иные политики, многие войны сбросили бы доспехи и взялись за орала, вернулись к родовым занятиям своих предков. Лишь жестокая необходимость заставляет нас держать меч обнаженным. Но уж коль есть она, необходимость, меч этот надежно сжимают руки Зерновых и Харламовых, Наумовых и Маханьковых, Атоянов и Куликовых...

Что же пишет Н. Черкашин? Очерки, как определено в аннотации к книге? Думается — рассказы. А их документальность отнюдь не убавляет, а скорее добавляет им ценности. Рассказы своеобразны по стилистике, образному строю, колоритному языку. Даже в проходных фразах автор не позволяет себе опуститься до штампа. Его воображение легко рождает россыпи интересных метафор и сравнений. Танк у него может быть «осторожным и бестрашным, смекалистым и ловким, отчаянным и дерзким. Танк — своего рода симбиоз людей и машины. В бою он совсем по-человечески прикрывает свой левый бок, ибо слева у него бьются сразу три сердца — водителя, наводчика, командира». Полярное сияние, превратившись из мерцающего лебедя в раздувающую капюшон кобру, норовит впиться в алюминиевую шею выбившемуся из сил самолету, но на последних каплях горючего он все же дотягивает до родных мест: «„Мир вашему дому!“ — тяжелый крест ночного самолета благословляет безмятежный город». Цепкий глаз художника подмечает, что тундра источена речушками, как доска узорами кородея, а аэродромная бетонка исчержана, будто спичечный коробок. Оказывается, и ночное небо еще можно увидеть по-своему: когда в подлодке отдрывается верхний люк, за толстенной круглой крышкой, «словно за стальной дверцей сейфа, вспы-

хивают спрятанные сокровища — ожерелья ночных созвездий».

Думается, рассказы Н. Черкашина пред-

ставляют собой приметное явление в литературе о современной армии.

В. ПОБЕДОНОСЦЕВ.



КАРЛОС БЛАНКО, МАРТИН ГРОУ И ДРУГИЕ

Генрих Боровик. Интервью в Буэнос-Айресе. Пьесы. М. «Советский писатель». 1980. 295 стр.

Генрих Боровик. История одного убийства. Повесть-хроника. М. АПН. 1980. 134 стр.

Заметно возросший за последние годы интерес советской литературы к актуальной международной теме не миновал и драматургии. Названия спектаклей, посвященных острым проблемам современности и за короткие сроки, можно сказать, с газетного листа пробивших себе дорогу на сцену, стали все чаще появляться на театральных афишах. Этому есть, конечно, свое объяснение: здесь и как никогда ранее ощутимая связь повседневной жизни людей с крупными событиями в мире, и все шире распространяющееся раскрытие тайн, в которых рождаются войны, и новые яркие краски, которыми расцветивается интернационализм, ставший неотъемлемой чертой советского образа жизни, и жгучий интерес к тому общечеловеческому, что объединяет всех жителей Земли, и, вероятно, многое другое. Однако не о том сейчас речь — этот предмет заслуживает куда более обстоятельного разговора, — а о порождаемом им явлении в литературе, и в том числе в драматургии: все более заметное место в ней занимают авторы, связавшие свое творчество с внешнеполитической темой.

На такие размышления наталкивает недавно вышедшая книга Генриха Боровика, в которой собраны четыре пьесы, написанные им в 1962—1975 годах, и среди них — давшая название сборнику и принесшая автору звание лауреата Государственной премии СССР пьеса «Интервью в Буэнос-Айресе». Перечитывая их, вновь и вновь убеждаешься в подкупающей силе и искренности интонации и достоверности, идущих не от надуманных конструкций и не кабинетных или мимолетно-туристских впечатлений, а от множества увиденного и услышанного за годы странствий по горячим точкам планеты, от передуманного при публицистическом общении наблюдений, от чувства личной причастности ко всем событиям, столь быстро и решительно меняющим облик человеческого общества.

Таким, видимо, и является плодотворный путь в литературу в тех случаях, когда

профессиональная глубина знаний в избранном круге тем, сочетаясь с боевой партийностью оценок, трансформируется в художественные образы. Один лишь пример. Несколько месяцев назад была опубликована еще одна новая публицистическая работа Генриха Боровика — «История одного убийства», рассказывающая об обстоятельствах трагической гибели видного лидера движения черных американцев Мартина Лютера Кинга. Небольшая по объему книга читается как заправский детектив, ибо она не только до предела насыщена фактической информацией, но и наполнена убедительными психологическими характеристиками и мотивировками. Надо полагать, что опыт, приобретенный автором в работе над пьесой «Три минуты Мартина Гроу», в основу которой также были положены события, связанные со смертью Кинга, сослужил добрую службу при написании этой книги, тогда как «досье», собранное Боровиком в его корреспондентской деятельности, помогло сделать достоверными образы действующих лиц пьесы.

Возвращаясь к более общим соображениям, хочется отметить определенную неправомерность употребления термина «международная тема» к драматическим произведениям Боровика. Речь, в общем-то, идет не об отношениях между народами, несмотря на то, что в них действуют люди различных национальностей, граждане разных стран. Быть может, в упрек Боровику можно было бы даже поставить недостаточную детальность специфических национальных характеристик его героев. Но не это для него главное. Не по линии этнической идет у него главный водораздел между действующими лицами, а по линии социальной.

В мире с возрастающей остротой развертывается классовая борьба, которую характеризует все большее многообразие форм и проявлений и которая пронизывает буквально каждую сферу общественного бытия человека. Общечеловеческие, вечные душевные стремления, внутренние нравственные конфликты, противоборство жиз-

ненных позиций — все это как раз и накладывается в пьесах на главный фактор современной социальной действительности — борьбу сил отживающего мира против того, что неодолимо идет ему на смену. Фашистский переворот в Чили, убийство американского прогрессивного деятеля, заговор внешних сил против независимости народа, только что обретшего свободу в результате национально-освободительной борьбы, тупик в личной жизни американского кинорежиссера, завершающийся трагедией в силу сцепления обстоятельств в ходе острой классовой, освободительной борьбы, — такова событийная канва произведений сборника.

На первый взгляд может показаться, что в наш век больших скоростей политические события, привлекающие внимание драматурга, быстро отходят в область историческую. Новые проблемы, новые перипетии международного бытия затмевают их хотя бы в силу одной своей актуальности. Однако так может показаться только на первый взгляд, поскольку и сегодня темная ночь фашизма, как показывает опыт, способна создать угрозу завтрашнему дню того или иного народа, и сегодня бушует в западном мире антисоветская, антикоммунистическая истерия и наемники монополий несут смерть тысячам мирных жителей, будь то в Азии, Африке или Латинской Америке.

И все же такая опасность для произведений политической драматургии и прозы существует. Существует, если в центре внимания автора лишь конкретика событий.

Но центр внимания драматургии Боровика не событие, а человек в событии, человек второй половины XX века, человек в его соотношении с миром политики, человек со всеми его противоречиями, человек, выросший в буржуазном обществе, пропитанном ядом торгашества и цинизма, но верящий в гуманистические идеалы, с опасением вглядывающийся в будущее, но вступающий в бой за человеческое достоинство.

Есть одна общая черта, которая роднит главных героев всех четырех пьес Боровика, — они взяты в моменты кризисных ситуаций, когда вынуждены пересматривать, казалось бы, непререкаемые для них, воспринятые, как говорится, с пеленок жизненные ценности, когда под влиянием развернувшейся вокруг них ожесточенной борьбы они не могут уклониться от решения, которое определит их место по ту или иную сторону баррикад. Не справившись с душевным разладом, кончат с со-

бой кинорежиссер Гай Саммер. От руки фашистских убийц, увидевших в нем опасного изменника делу, которому он служил как будто бы по убеждению, погибает чилийский публицист и врач Карлос Бланко. От бывшего гитлеровца, испугавшегося разоблачения, принимает смерть американский журналист Бен Морган, успевший, однако, во весь голос заявить, что он на многое готов ради истины и справедливости. И выбирает путь борьбы, полностью отдавая себе отчет, сколь он тернист, прокурор Мартин Гроу. Но, может быть, и его где-то, уже за чертой сценического действия, настигнет пуля — мы знаем, как скоры на расправу с политическими противниками сильные мира сего в американских коридорах власти.

У каждого из героев Боровика нестандартные обстоятельства, выводящие его на путь решения, перед каждым из них легкий выбор, ибо, подобно тысячам и тысячам своих соотечественников, они, можно сказать, до краев начинены предрассудками буржуазной идеологии и весьма далеки от понимания подлинных законов социального развития. Тем не менее у каждого из них в конечном счете торжествуют те самые простые истины человеческого общежития, без которых не было бы ни нравственности, ни прогресса, — торжествует чувство ответственности перед людьми за свои поступки.

Таковыми и являются нам в основном действующие лица в пьесах сборника, весьма последовательно, хотя порою не сразу раскрывающие читателю или зрителю свое отношение к миру, свою социальную сущность.

Это наглядно выявляется и на второстепенных, даже эпизодических действующих лицах, которые создают необходимый в политической пьесе фон для выявления тесной взаимосвязи личного, общественного и социально-политического как во всем содержании пьесы, так и в поведении главных героев. Нельзя не оценить по достоинству эту сторону содержащихся в сборнике произведений, она подобна тонко и впечатляюще выписанным миниатюрам, обрамлявшим порою основной сюжет старых мастеров живописи. Чего стоит, например, трагическая фигура клоуна Бома из кабаре в «Интервью в Буэнос-Айресе», у которого в пиночетовских застенках замучили дочь и который, отчаявшись в возможности спасти ее, способен только на одну мысль: «Но теперь я совершенно точно знаю, что такое счастье. Счастье — это когда твоя дочь не

арестована и ей не грозит расстрел. Вот и все. Очень просто».

Или типичный представитель «обыкновенных» фашистов Габриэль — лавочник, успевший после фашистского переворота обзавестись в Сантьяго пятью магазинами. «Помните, на юге эпидемия среди детей началась, — говорит он, обращаясь к Карлосу Бланко, — а вы написали, что пенициллина не хватит. Так мы этот пенициллин в реке утопили, весь запас... Там, говорят, шестьсот ребят умерло. Большое горе. Но если бы мы этого не сделали, погибло бы не шестьсот детей. Вся нация!» И вот этот-то выродок заявляет: «Да разве мы фашисты?! Мы просто за порядок».

Убедительно выписан образ Дэвиса в «Трех минутах Мартина Гроу», носящего личину доброго отца города и штата, филантропа-миллионера, пекущегося об интересах людей, а на деле циничного, жесто-

кого политика, возглавляющего местное отделение ультрареакционного «Общества Джона Берча» и организующего убийство негритянского священника Кларка, который осмелился выступить против расовой дискриминации. Прокурору Гроу, когда тот не захотел пойти на поводу подкинутой ему версии о «заговоре красных», такие, как Дэвис, вполне способны бросить: «Ты ничего не изменишь. Мы, такие, как я, не позволим изменить Америку. И если нужно, уничтожим каждого, кто попытается сделать это».

Не все пьесы в сборнике равноценны. Но, читая их в хронологической последовательности, ощущаешь, как от одной к другой автор овладевал новым и потому сложным жанром политической пьесы на зарубежную тему. Значит, ему можно с уверенностью в осуществимости пожелать новых успехов.

В. НЕКРАСОВ.



ГАННИБАЛ ПУШКИНСКИЙ

Георг Леец. **Абрам Петрович Ганнибал. Биографическое исследование.** Таллин. «Ээсти раамат». 1980. 192 стр.

В конце мая 1975 года я познакомился в Таллине с Георгом Александровичем Леецем. Ему было за восемьдесят, на стенах его квартиры были развешаны охотничьи ружья, кинжалы, погоны артиллерийского полковника; книги на эстонском, русском, немецком, французском. «Последние годы, — говорит хозяин, — много работаю в архиве. Однажды наткнулся на документ, подписанный «Ганнибал», вспомнил детство и перновскую гимназию, где заслужил высший балл за характеристику Ибрагима в «Арапе Петра Великого»...»

Прадед Пушкина, как видно, привлек Г. Лееца известной родственностью души, соединением в одной личности нескольких культурных пластов: Африка, Турция, Россия, Франция, Эстония (нет сомнений, что Арап владел и эстонским языком).

Г. Леец показывает гостям немалую рукопись об Абраме Петровиче Ганнибале, одобренную лучшими авторитетами Пушкинского Дома, и мы верим, что она непременно превратится в книгу.

Через полтора месяца Георга Александровича не стало... Затем издательство «Ээсти раамат» довело рукопись до печати с помощью иркутского писателя Марка Сергеева, тоже земляка Абрама Ганнибала (в книге Г. Лееца глава V называется «Ссылка и служба в Сибири», глава VI, самая большая, — «А. П. Ганнибал в Эстонии»).

Можно было бы, как водится, посетовать на малый тираж, а также на досадное отсутствие хотя бы небольшого редакционного вступления об авторе исследования. Но возрадуемся тому, что есть — первой систематической научной биографии, первой книге об Арапе Петра Великого.

В этом году 25 (14) мая — 200 лет со дня смерти этого необыкновенного деятеля. Вскоре после его кончины был составлен любопытнейший и еще во многом загадочный документ, так называемая «Немецкая биография», записанная, очевидно, между 1781 и 1784 годами по настоянию Ивана Абрамовича (старшего сына А. П. Ганнибала), известного героя Наварина и Чесмы. От И. А. Ганнибала биография и другие старинные документы перешли к следующему по старшинству сыну — Петру Абрамовичу, который дожил до 1825 года, общался со своим внучатым племянником Александром Сергеевичем Пушкиным и завещал тому родовые бумаги.

Пушкинское прикосновение, пушкинский интерес, пушкинский стих, проза, публицистика дали как бы вторую жизнь прадеду, стимулировали изыскания нескольких поколений русских и советских ученых, новые художественные исследования (вспомним тыняновских «Ганнибалов»). Сейчас мы знаем о Ганнибале много больше,

чем Пушкин. Но, не будь Пушкина, мы бы искали, пожалуй, с меньшим рвением...

И вот постепенно все отчетливее вырисовывается фигура одного из «птенцов гнезда Петрова», крупного военного, выдающегося инженера. Впрочем —

...вообще арап в России редок,
Особенно такого внука предок!

Это строки из «Сна о Ганнибале» Д. Самойлова, поэмы, которая появилась после того, как ее автор (почти постоянно живущий сейчас в Эстонии) сумел ознакомиться с рукописью будущей книги Г. Лееца: еще не выйдя в свет, новейшая биография Ганнибала вызвала, как видим, интереснейший поэтический отклик...

Г. Леец справедливо находил, что Абрам Петрович интересен сам по себе как деятель XVIII века, и сравнительно мало разбирал «взаимоотношения» прадеда с правнуком, считая этот сюжет детально разработанным. Мы же заметим, что теперь, когда множество прежде рассеянного по старинным изданиям собрано воедино и дополнено интересными архивными открытиями автора, — теперь расширяются и возможности пушкинистов.

Пройдем же вслед за Г. Леецем по Ганнибаловой жизни, совершая по мере возможности экскурсии от прадеда к потомку и обратно.

Юность Ганнибала. Пушкин считал, что прадед умер на девяносто третьем году жизни, Г. Леец доказывает, что на восемьдесят четвертом — восемьдесят пятом; в немецкой биографии сообщается, что Абрам Петрович «горделиво возводил свое происхождение по прямой линии к роду знаменитого Ганнибала, грозы Рима», — Пушкин не желает заходить так далеко и считать себя прямым потомком карфагенского полководца. Поэт-правнук делает изобретателем античной фамилии Петра I, который, конечно, с детства слышал о великом воине древности. Скорее всего Пушкин опирается здесь на семейное предание, на дедушку Петра Абрамовича (нареченного, между прочим, в честь великого императора).

Семейное стремление связать все достижения и прерогативы Ганнибалов с личностью царя-преобразователя понятно. Пушкин мог укрепиться в петровском происхождении фамилии, размышляя над версией (немецкой биографии), будто «смысленные арапча» понадобились Петру, чтобы «выставить их... примером» своим подданным, не желающим просвещаться.

Между тем позднейшие исследования устанавливают, что прадед поэта в основ-

ном именовался Абрам Петров, а Ганнибалом — только после возвращения из Франции (в первый раз сочетание Арап Ганнибал встречается в 1727 году); отметим попутно отсутствие расового и национального ограничения: все было подчинено только сословным категориям. Поэтому негр, но сын африканской владетельной особы мог дослужиться в России до очень высокого чина генерал-аншефа...

Жизнь во Франции и возвращение. Повесть «Арап Петра Великого» основана на немецкой биографии и рассказах двоюродного дедушки Петра Абрамовича. Пушкин, создавая вторую, «художественную действительность», верил притом в ее подобие первой, реальной. Книга Г. Лееца, казалось бы, оспаривает эту близость. Обнаруженные через много лет после гибели Пушкина отчаянные письма из Парижа Ганнибала и других русских стажеров об их безденежье показывают, что им было «не до большого света» (где вращался Ибрагим, герой пушкинской повести). Так, 8 октября 1717 года Абрам Петров и его напарник Алексей Юров пишут кабинет-секретарю А. В. Макарову: «На плечах ни кафтана, ни рубашки почитай нет, мастера учат в долг. Просим по некоторому числу денег, чтобы нам мастерам дать, но наше прошение всегда вотще...» (это и другие письма сведены в книге Г. Лееца по материалам А. С. Ганнибал, М. Вегнера, П. П. Пекарского, М. Д. Хмырова, И. А. Малеванова и других).

Преувеличенное представление о светском и политическом весе Абрама Петрова, возможно, культивировалось потомками как один из признаков особой милости Петра и во многом определило художественно-историческую позицию Пушкина по отношению к прадеду.

В 1830 году «Моя родословная» полемически защищает, может быть, и преувеличивает в схватках с Булгариным историческую роль Ганнибала. Однако не в духе поэта был односторонний панегирик какому бы то ни было деятелю, в том числе и родственнику. С безжалостным историзмом представлен в поздних автобиографических «Записках» ряд предков Пушкина по отцовской линии. Не сильно «подслащены» и Ганнибалы: внимательный читатель легко бы нашел определенную разницу между тоном «Моей родословной» и «Записок». Последние реалистичнее, объективнее; иногда приводятся темные подробности, которые не совсем достоверны... Создается впечатление, что, парировав болгарские выпады, поэт был не полностью

удовлетворен собственной позицией. Острота спора вынудила его в 1830 году несколько отступить от завоеванных уже рубежей объективности. Как знать, не в этом ли одна из причин прекращения работы над повестью «Арап Петра Великого»? Не отсюда ли стремление Пушкина подробнее объяснить свой взгляд на предков, избегая полемики, в «спокойных» «Записках»?

Великий правнук, возможно, огорчился бы, если б нашел данные, что встреча с царем возле Петербурга (согласно немецкой биографии — у «Красного Села, на 27-й версте») — эпизод, столь известный нам из повести «Арап Петра Великого», — тоже оспаривается исторической критикой. Г. Леец заявляет решительно: «В действительности ничего этого не было. И не могло быть по той причине, что Петр I находился с 18 декабря 1722 года по 23 февраля 1723 года в Москве. В Москву и прибыл из Франции 27 января 1723 года князь В. А. Долгорукий вместе с Абрамом. А. С. Пушкин, как видим, ошибся и в годе возвращения Абрама в Россию (1722 вместо 1723)».

Перед нами любопытное столкновение документа и предания. Однако историк, полагаем, тут превысил свои права в борьбе с вымыслом: неточность — конец 1722-го или начало 1723-го — для воспоминаний дело обыкновенное (из Парижа выехали ведь в самом начале января!). Подробности о встрече, сохраненные не только преданием, но и образом Петра и Павла, которым царь будто бы благословил крестника, — все это требует осторожной критики. Вполне вероятно, что встреча возле Москвы позже слеплась в памяти с другой, петербургской встречей; особая честь, оказанная офицеру, объясняется скорее всего тем, что Абрам Петрович ехал вместе с послом Долгоруким, а царь встречал все посольство. Весьма довольный Долгоруким (а также другим дипломатом, только что прибывшим из Берлина, Головкиным), Петр велел им обоим в назначенный день одновременно приехать в Петербург и выехал к ним навстречу за несколько верст от города в богатой карете, в сопровождении отряда гвардии. Вероятно, часть почестей отнеслась и к Абраму Петрову; общая же экспозиция семейного предания, как видим, сходится с историческим описанием: царь выезжает из города, встречает любимцев с особым уважением, награждает и пр.

Ганнибал-инженер. Во всех пушкинских выписках и рассказах о прадеде ничего почти нет о его главной специальности, об его инженерных, технических знаниях. Единственная фраза об этом в авто-

биографических «Записках» поэта звучит иронично и касается поручения Ганнибалу «измерить Китайскую стену»; Пушкин не ввел в «Записки» такие подробности, им же самим выписанные из немецкой биографии, как должности «генерал-инженера, директора каналов в Кронштадте и Ладожского строения». Не перевел, не поместил в «Записки» и прямую, верную оценку немецкой биографии: Ганнибал — «первый и лучший инженер России».

Кроме малых сведений о Ганнибале-инженере, кроме нежелания переключить предка, на Пушкина, возможно, повлияла и распространенная в тот век недооценка технического прогресса, точных наук в сопоставлении с «изящными искусствами»; поэт годами преодолевал «феодалную односторонность» (вспомним его интерес к Крашенинникову, Ломоносову), но это не всегда получалось. Сыновья же не слишком гордились Ганнибалом-инженером, так как в дворянском сословном духе подобная деятельность представлялась куда менее почетной, чем, скажем, служба при дворе или в гвардии.

Опала. Пушкин в своих «Записках» сообщает о фактической ссылке Ганнибала в Сибирь по воле Меншикова. Затем прадед «самовольно возвратился в Петербург... Мяних спас Ганнибала, отправя его тайно в ревельскую деревню, где и жил он около десяти лет в поминутном беспокойстве. До самой кончины своей он не мог без трепета слышать звон колокольчика».

Часть фактов тут заимствована все из той же немецкой биографии, но с очень любопытными смысловыми отличиями. В немецкой рукописи ни слова, например, о грозном колокольчике: это, конечно, семейное предание, явно идущее от сыновей Арапа (фраза «до самой кончины» выдает продолненное прошедшее время, от 1730-х до 1780-х).

Образ колокольчика усилен, конечно, и личными пушкинскими ассоциациями. Колокольчик — это дорога, заезжий друг или страх, предисание. Январским утром 1825 года зазвенел колокольчик Пушкина. Колокольчик загремит у Михайловского и в ночь с 3 на 4 сентября 1826 года: фельдъегерь, без которого «у нас, грешных, ничего не делается», привозит свободу, с виду похожую на арест.

Колокольчик увез Пушкина в Москву, вернул в Михайловское, затем в Петербург, Арзрум, Оренбург — и провожал в последнюю дорогу...

Страх, гнет страха: в коротких «Запис-

как» этот мотив, как увидим, повторится через несколько строк.

К сожалению, Пушкин так и не познакомился с необыкновенным по выразительности документом, отчаянным прошением прадеда, отправленным 29 июня 1727 года А. Д. Меншикову из Казани (по пути в Сибирь): «Не погуби меня до конца имене своего ради и кого давить такому превысокому лицу такого гада и самая последняя креатура на земли, которого червя и трава может сего света лишить: нищ, сир, беззаступен, иностранец, наг, бос, алчен, жажден; помилуй, заступник и отец и защититель сиротам и вдовицам...»

Зато страх прадеда хорошо понят правнуком.

Очень любопытно, как сам дух рассказа и предания формирует некоторые реальные подробности. О тайном житье в ревельской деревне, «в поминутном беспокойстве», Г. Леец замечает, что «это легенда, далекая от действительности»: в самом деле, ведь в 1731—1733 годах Ганнибал служил в Пернове, а затем, правда, семь лет просидел в деревне, но не тайно, а на пенсии... Однако общий тон эпохи, возможность легкой гибели — все это Пушкиным схвачено верно, а «неточности» его «Записок» очень ценны, ибо по ним видно, что запомнилось, как представлялось дело потомкам.

Иначе говоря, ошибки здесь больше подтверждают общую истину, чем самые верные подробности!

Новый фавор. Елизавета Петровна возвышает Ганнибала — он генерал, ревельский комендант. Но как жаль, что поэт не сыскал писем и прошений прадеда, гордых и печальных, вполне в духе правнука.

Вот, может быть, самые «пушкинированные» строки (выражение В. Д. Бонч-Бруевича) из опубликованных через много лет после гибели поэта Ганнибаловых материалов — утомленный сложными ревельскими интригами, генерал Ганнибал восклицает в прошении И. А. Черкасову, кабинет-секретарю императрицы: «...я бы желал, чтоб все так были, как я: радегелен и верен по крайней моей возможности (только кроме моей черноты). Ах, батюшка, не прогневайся, что я так молвил — истенно от печали и от горести сердца: или меня бросить, как негодного уroda, и забвению предать, или начатое милосердие со мною совершить...»

Многое поэт сумел узнать, немало осталось в тумане: настоящее число лет прадеда, его главные занятия, подробности опал... Теперь к тем деталям, которые пригодились Пушкину, можно уверенно прибавить еще несколько, обнаруженных или уточненных Г. Леецем: гордый африканский герб, главный элемент которого — «слон, на нем чепрак и подушка с двумя лентами, а на подушке корона»; сравнительно гуманные отношения с эстонскими крестьянами; дружба с отцом Суворова и благосклонность к мальчику — будущему полководцу. Наконец, Пушкина безусловно занимало, как выглядел прадед, и остается неясно, видел ли он какой-нибудь портрет. Судя по нескольким высказываниям самого поэта и суждениям его родственников, Абрам Ганнибал представлялся им человеком с черной или темно-коричневой кожей, и в книге Г. Лееца отдельным приложением представлена правдоподобная гипотеза о новом, очень интересном портрете Абрама Петровича, как раз относящемся ко времени его пребывания во Франции, времени Ибрагима из пушкинской повести.

В книге Г. Лееца собраны также страшные, превышающие даже пушкинскую фантазию подробности о разводе Ганнибала с первой женою. Прибавим к этому, что незадолго до начала дуэльной, смертной истории поэт много размышляет в своих последних «Записках» о роковых судьбах рода. Вслед за фразой: «В семейственной жизни прадед мой Ганнибал так же был несчастлив, как и прадед мой Пушкин» — поэт фактически повторяет то же самое о дедах: Лев Александрович Пушкин, дед по отцу, столь же несчастлив, как отец матери Осип Абрамович Ганнибал (отсюда особая интонация фразы о «семейственной жизни» последнего: «И сей брак был несчастлив»). Мысли о предках, мысли о себе...

Г а н н и б а л П у ш к и н с к и й — говорим мы, и это немного похоже на Суворов-Румянский, Румянцев-Задунайский!

Сравнительно небольшая книга Г. Лееца — биографическое исследование, польза которого много шире избранной темы, избранного героя. Эта книга, принадлежащая как русской, так и эстонской культуре, по-может Пушкину и его славным предкам чаще являться прапраправнукам.

Н. ЭЙДЕЛЬМАН.

КОРОТКО О КНИГАХ



ЮРИЙ АБДАШЕВ. Ветер удачи. Повести. М. «Молодая гвардия». 1980. 318 стр.

Четыре повести, вошедшие в эту книгу, написаны, в сущности, на один сюжет — столкновение романтически настроенного героя с реальными, порой драматичными, порой трагическими жизненными обстоятельствами. Романтизм, так сказать, проверяется на прочность. Женя Абросимов (повесть «Далеко от войны»), курсант военных лет, естественно, преисполнен мечтами о подвигах. Свообразным комментарием к этим мечтаньям служат его же рассказы о военной судьбе его однокашников; некоторые из них погибли в первом же бою. Он рассказывает о них и о себе уже взрослым человеком, знающим: все, что уходит, уходит безвозвратно... Кирилл Другов (повесть «Тройной заслон»), книжный романтик, оказывается с двумя товарищами в охране на кавказском перевале, в бою гибнут его друзья. «Одно он знал твердо: если ему суждено остаться в живых, перевал сохранится в нем, как незаживающая сквозная рана. И что бы ни случилось теперь, Кирилл вечно будет стоять в заслоне, на водоразделе добра и зла, до последней минуты, до последнего судорожного удара сердца...» Декларация вполне романтическая — и «незаживающие раны» и «водораздел добра и зла», — но теперь слова эти, так сказать, обеспечены трудным опытом вчерашнего мальчика, пережившего бой с врагом и смерть друзей.

Вырастая, проходя через суровые испытания, герои Абдашева остаются романтиками, однако с годами романтичность превращается из обычного качества юношеского сознания в продуманную жизненную позицию. Старый учитель Святослав Владимирович (повесть «Пять тысяч миль до надежды») с детства мечтал о море, о том, чтобы на маленькой яхте доплыть до далеких Маскаренских островов. Все делает человек, чтобы осуществить свою мечту, — сам с немалыми трудами строит яхту, учит английский, становится радистом. И все напрасно — сначала умирает дочь и нельзя оставить жену, потом подкрадывается болезнь. Но яхта все-таки выходит в море — только другая яхта, с его учениками на борту, они сами построили ее и решили пройти по маршруту, по которому Святославу Владимировичу пройти не удалось. Что ж, это ведь он научил их мечтать о далеких странах...

А в повести «Ветер удачи» мы наблюдаем сам момент зарождения романтического мировосприятия. Мальчик Кешка, живущий в небольшом крымском поселке на берегу моря, присутствует на съемках приключенческого фильма — с дикарями, пиратами, прекрасной леди и прочими подобными аксессуарами. И хотя ему открылась деловая и далеко не всегда прекрасная изнанка киномира, и хотя романтика фильма, съемки которого он видел, достаточно условна, книжна, все же виденное оставляет глубокий след в его душе. Ибо душа Кешки изначально предрасположена к романтике. Экспедиция уезжает, все возвращается на круги своя — и все-таки «над его головой шумели листвою нездешние деревья, и в белой пене прибора прыгали легкие длинные пироги островитян». Этому романтизму еще предстоит проверка жизнью, но очень хочется, чтобы Кешка ее выдержал, как выдерживают другие герои Ю. Абдашева.

И все-таки перед нами отнюдь не романтическая проза в расхожем ее понимании. Ни экзотические пейзажи, ни экстравагантные характеры не привлекают особого внимания автора, хотя поводы для их появления в книге есть. Описывая, скажем, Кавказ в «Тройном заслоне», Ю. Абдашев смотрит на него взглядом не восторженного туриста, а человека, который здесь воюет. Так же и в других повестях — его проза остается простой и невыспренной, она насыщена точными бытовыми деталями, а романтическое мироощущение возникает как естественное проявление души писателя. Это и придает обаяние повестям Ю. Абдашева.

Ю. Смелков.



ЛЮДМИЛА ШИПАХИНА. Час вечерних огней. Стихи. М. «Современник». 1980. 111 стр.

Поэтический мир Людмилы Шипахиной наполнен «родным порядком бытия». Этот порядок и создает ту неповторимую гармонию звуков и запахов, образов и размышлений, которыми живет человек в наш серьезный век с его трудовыми и напряженными буднями, с его горестями и радостями.

Поэтесса Людмила Шипахина остро чувствует свою неразрывную связь с природой и временем, с людьми, окружающими

ее. Эта связь в свою очередь рождает и общую ответственность за судьбы мира, за все происходящее при нас. «С нас спросится все, что и должно...» — говорит она в стихотворении «Поколение». И ответственность, поровну поделенная с нефтяниками и хлеборобами, космонавтами и солдатами, рождает в поэтессе целую гамму размышлений о сегодняшнем дне, тревожном и радостном, нелегком и светлом.

Во многих стихотворениях из новой книги Л. Щипахиной ощутимы неуспокоенность души, любовь к человеку и желание осмыслить его место в сегодняшнем мире.

Стихи, исполненные высокого гражданского пафоса, удачно соседствуют в книге с «чисто» лирическими. Тонко и поэтически чутко пишет Л. Щипахина о дружбе и любви, о душевных тяготах и утратах. И ей безраздельно веришь: ведь улыбка и боль, слезы и смех общечеловечны. И говорит она об этом простыми человеческими словами, без фальши и претензии. Ее сугубо личные душевные катаклизмы близки и понятны многим. Лирическая героиня книги не эфемерное создание, сотканное из звездной пыли и лепестков роз, а современный человек, участвующий в строительстве нового общества, болеющий за патриотов Чили, воспитывающий детей. Главное, она не сторонний наблюдатель, а прямой участник всего происходящего.

Порой излишняя патетичность расслабляет поэтическую ткань, но это в большинстве стихотворений, как правило, компенсируется лиризмом, искренностью переживания. Поэтесса проповедует добро в человеке, и это ей удается в полной мере.

Я убежден, что новая книга Людмилы Щипахиной — несомненная ее удача.

Владимир Шлёвский.



БОРИС ГАЛАНОВ. Прогулки с друзьями. М. «Советский писатель». 1980. 303 стр.

У каждой книги, тем более мемуарной, свой голос и свой способ общения с читателем. Б. Галанов просит считать его воспоминания лирическими дневниками или лирическим репортажем о давних и недавних событиях, о друзьях живущих и о тех, кого уже нет, с кем сводила его судьба. Автор боится слова «мемуары» и сана мемуариста, видимо, потому, что не видит в своей жизни ничего исключительного, ничего такого, что могло бы стать поводом для столь почтенного жанра. Ему, известному журналисту, больше нравится излагать свою жизнь в привычных газетных формах. Ему по душе не монологи, даже не беседы, а именно «прогулки с друзьями», самый раскованный, свободный и необязательный жанр из всех возможных мемуарных жанров. Но в этой «необязательности» есть свой стиль и свой смысл, который открывается постепенно. В «Безлюбой мемуарной книге существует третий или незримый мотив, вокруг которого ткется повествовательная нить. В

этом мотиве сосредоточивается какое-то главное воспоминание человека, какое-то ядро его судьбы. Таким ядром становятся в книге Б. Галанова годы войны. Специально о войне рассказано не очень много, но это немногое поставлено в центр повествования и пульсирует по всей книге, в самых разных ее временных срезах и ответвлениях.

Я вчитываюсь в бесхитростный рассказ о том, как два деткора «Пионерской правды» в начале 30-х годов стали обходить крупных писателей и требовать в стиле эпохи, чтобы крупные писатели создали книги для юных. Как тогда говорили: «Дашь детскую книгу!» Смешная история. Мельком сказано о том, что по писателям ходили автор вдвоем с приятелем Женей Бернштейном. Тут же в скобках отмечено, что приятель дебютировал в 1940 году как талантливый критик, а в 1941 году погиб в Белоруссии. И от этих самых скобок весь дальнейший рассказ освещается как бы двойным светом: того старого дня начала 30-х годов и грозой будущей войны. Это не специально сделано, но ради литературного приема. Эти скобки — жизнь поколения, к которому принадлежит автор.

Такого рода светотень определяет книгу. И ту ее «довоенную» половину, где рассказано о Москве 30-х годов, похоронах Маяковского, о старых газетчиках, у которых были взяты первые уроки журналистской профессии, и ту ее часть, которая повествует о временах послевоенных, исполненных самых разнообразных тем и впечатлений. Сама же грозная война описана с той сдержанностью тона, что характерна для всей книги. Она описана с точки зрения военного журналиста газеты Южного фронта «Во славу Родины». В одном месте автор вспоминает, как завидовали тогда рядовые журналисты корреспондентам центральных газет, тем возможностям, которые были для них открыты. Но вот прошло почти сорок лет, и воспоминания рядового журналиста рядовой газеты 18-й армии, сражавшейся на Малой земле, становятся актуальными, как газетная передовица. Поистине «нам не дано предугадать, как слово наше отзовется».

«Рядовой литературы» Б. Галанов расскажет в книге о своих собратьях по перу и оружию. Он вспомнит военных журналистов, для которых выше всех приказов был один: «Жив ты или помер — главное, чтоб в номер». А потом он вспомнит о «прогулках» с Маршаком, и мы услышим голос поэта, его горький и точный юмор. Он расскажет о поездках на Корсику, родину Наполеона; мы найдем вместе с Б. Галановым в мастерскую Шагала; возьмем интервью у Висконти. Но все эти и сами по себе интересные «прогулки» так или иначе, прямым или причудливо-ассоциативным образом вернутся туда, к той самой нити, вокруг которой вьется память и судьба автора. Они вернутся к войне.

Б. Галанов рассказывает о майских днях 1968 года, об открытии Каннского кинофестиваля. В те дни начались студенческие волнения. Волна забастовок и баррикад охватила страну. Фестиваль развалился на глазах под натиском «новых левых». И вот

уже автор книги в Париже, едет ночью в редакцию «Юманите», чтобы оттуда пробраться в те кварталы, где идет самая жаркая схватка: «Пора на передовую». Иной читатель подумает, что это уже «литература», ненужное усиление темы. Но для книги Б. Гаанова такое кружение сердца и памяти совершенно естественно. «Каждый пишет, что он слышит, каждый слышит, как он дышит».

Дыхание книги «Прогулки с друзьями» — это дыхание честного труженика нашей литературы, знающего цену слов.

А. Смелянский.



ИННОКЕНТИЙ АННЕНСКИЙ. Книги отражений. (Литературные памятники) М. «Наука». 1979. 679 стр.

«Книги отражений» — сборники критических статей Иннокентия Анненского, поэта, переводчика, критика, критика конца прошлого и начала нашего века. В поле зрения Анненского, одного из образованнейших людей своего времени, — весь путь и ход мировой литературы, едва ли не все стороны словесного творчества. Внимание его приковывается то к острым в ту эпоху вопросам стиля, его исторических корней, роли и места его в русской словесности, то к образам писателей, то к проблеме автора в художественном произведении, актуальной и поныне, то к общим вопросам философии и психологии искусства. Привлечен обширнейший художественный материал — от античных трагедий до современных Анненского произведений символистов. Выказано множество оригинальных и продуктивных мнений, догадок.

«Отражения» — точно найденное автором определение собственной критической прозы. Особенности и поучительность ее в том, что через опыт мирового искусства, его творческий материал выражается образ личности самого Анненского. Он был прежде всего поэтом, то есть человеком, откликающимся на явления жизни и искусства своим образным словом. То же творческое, лирическое взаимодействие с материалом внес он и в русскую критику — шаг поистине новаторский.

Критик активно вторгается в ткань литературного произведения, входит «неприглашенным», по сути, осуществляет письменно, «вслух» то, что проделывает каждый читатель, сопереживающий героям, общающийся с автором. «А я вот... пришел домой... Кто идет? Яков Петрович Голядкин. Ну квартира, точно, не того, мизер какой-то, и бумажки-то желтенькие пообшарпались... все же моя трубка, моя постель. Вот лягу себе и один... сам по себе — Яков Петрович... Один... Брр... как холодно. Откуда это вдруг понесло таким холодом?... Глядите, глядите... Что еще там такое? Точка... Точка в тумане». «Виньетка на серой бумаге к «Двойнику» Достоевского» — словно построчная, постраничная запись впечатлений читающего. Высвечивая особо волнующие его моменты событий и психологию героев, критик расширяет наши собственные эмоциональ-

ные возможности, расширяет представления о героях, о глубине авторского замысла.

Анненский не отделяет судьбу литературных героев, произведений от судьбы и личности их авторов, дает пример комплексного, всестороннего подхода к изучению литературы. Образ Достоевского — наиболее разработанный образ художника в критике Анненского. Но не единственный. Он создал целую галерею, в сущности, первых литературных портретов: Гоголь, Гончаров, Лермонтов, Тургенев, Чехов, Гейне, Ибсен, Леконт де Лиль... Увлекательны и своеобразны его попытки выявить существенное в Пушкине, Толстом, раннем Горьком... Внешне высказывания критика часто парадоксальны: чего стоит хотя бы мысль о поражении Пушкина — Черномора перед красотой — Людмилы! В Горьком он видит самого чистого русского символиста, за толстовской теорией непротитвления во «Власти тьмы» — безграничное отчаяние... Такое «своевольное» толкование способно вызвать возражение, несогласие. Но оно же будит мысль, ибо Анненский снимал хрестоматийный глянец с явлений, кровно ему близких. Стремился полнее и зримее обрисовать величественную борьбу за чело века, явленную миру русскими гениями. Раскованный поиск помог высказать целый ряд глубоких и поныне справедливых истин. «Все наше лучшее росло от безвестных и вековых корней...»

Конечно, такой поиск не мог не быть фрагментарен. Анненский не создал своей критической системы, школы, надолго остался безвестным первопроходцем неисследованных земель. Но заслуга его в том, что он стремился нащупать и проследить генеральную линию развития литературы как одного из важнейших видов человеческой деятельности. Поиски Анненского сыграли свою роль в теоретических открытиях М. М. Бахтина, сказались на дальнейшем развитии самого искусства критики (в частности, статья Анненского «О современном лиризме» послужила прообразом тыняновского «Промежутка» и далее современных обзоров).

Сегодня творчество Анненского вызывает интерес в свете проблемы «критика как литература». Думается, что еще есть чему учиться у «Книг отражений» — вдохновению и вкусу, чуткости к стилю разбираемых произведений, широте взгляда, высоте мысли. В заключение следует добавить, что издание тщательно продумано, позволяет видеть путь мысли критика, снабжено двумя добротными монографическими работами — А. В. Федорова и И. И. Подольской, а также обширными, чрезвычайно полезными комментариями.

Ирина Шевелева.



Б. Г. ЛИТВАК. Очерки источниковедения массовой документации XIX — начала XX в. М. «Наука». 1979. 294 стр.

Как помним, весь губернский город «Мертвых душ» заселен столоначальника-

ми, которые производили «бумаги». «Повесть о капитане Копейкине», рассказанная почтмейстером, это классическая гиперболла мытарств просителя — подателя прошений, а сама покупка мертвых душ — акция, вполне законная с точки зрения крепостнической «законности», потому что записанные как живые, но умершие после ревизии считались живыми до следующей. Коллежский советник Павел Иванович Чичиков — вышколаенный чиновник, начавший службу в повытном, самом «бумажном» канцелярском столе, купив эти мертвые души, «сам решился сочинить крепость, написать и переписать, чтобы не платить ничего подьячим», сообщает Гоголь. Вся эта реальная повседневность, пропущенная сквозь гениальный магический кристалл Гоголя, зафиксирована в массовой документации: купчих крепостях, различных удостоверениях, рапортах-донесениях, жалобах и заявлениях, договорах, описях имущества, отчетах и т. п. Такую массовую документацию в научном обиходе называют массовыми источниками.

Массовая документация стала обычной в России примерно в конце XVIII века. Это отражало не только усложнение государственного аппарата и бюрократического делопроизводства, но и расширение массового непосредственного исторического «действия» классов и социальных групп и в соответствии с этим возможности фиксации явлений действительности, а также рост народонаселения. Массовая документация — источниковедческий фундамент многих исторических построений, особенно в области социально-экономической истории. Изучение массовой документации важно и для познания социальной психологии (эти источники отражают массовые представления об общественных отношениях и их оценке, воспринимаются как неотъемлемый элемент культуры) и истории художественной литературы, воспроизведшей (или имитировавшей) многие образцы массовых источников, их терминологию и изобразившей тех людей, жизнь которых была связана с «производством», или «действием», этой документации. Не зная о том, что такое массовая документация и какую роль играли «деловые бумаги» в реальной жизни, трудно с должной ясностью представить себе помещицу, чиновничью, купеческую Россию нашей классической литературы...

Монография доктора исторических наук Б. Литвака — первое капитальное исследование о массовой документации России конца XVIII — начала XX веков, о ее функциях в реальной жизни, о приемах выявления и изучения массовых источников, возможностях использования их информационного потенциала в работе историка.

Б. Литвак не ставил перед собой задачу охарактеризовать все разновидности массовых источников XIX века, обратив преимущественное внимание на те документы, которые чаще других включаются в оборот современной науки. Из массовой документации вочинного происхождения объектом специального рассмотрения стали распорядительно-исполнительная переписка, подворные описи, штрафные книги;

из обширного комплекса делопроизводства государственного происхождения — губернаторские отчеты (тем более что они поглощают зачастую не дошедшую до нас первичную документацию); из частноправовых актов — договоры и сделки, жалобы и прошения, уставные грамоты и выкупные акты. Детальнейшее изучение архивных и печатных материалов показало тесную взаимосвязь массовой документации со «средой» своего возникновения. Обнаружилась иерархия пластов этой документации, предопределенная иерархией бюрократического аппарата и в свою очередь в известной мере предопределявшая иерархию знаний, то есть систему представлений об исторических фактах — жизненных реальностях и форме их отображения. Это позволило выявить «модели» различных видов массовой документации, охарактеризовать степень исторической достоверности отраженных там явлений.

Автор выступил новатором в изучении и самой массовой документации, и истории использования этой документации, прежде всего теоретического осмысления источниковедческой практики. Впервые столь убедительно показано научно-методическое значение трудов русских ученых середины XIX века, важных и для современного документоведения. Впервые в советской литературе с такой полнотой охарактеризована и методика исследования массовых источников конца XVIII — начала XX веков и намечены перспективные пути ее дальнейшего развития. Предложены конкретные методические новшества, чрезвычайно полезные для практической работы тех, кто описывает архивные документы и готовит их публикацию. Обосновывается необходимость выработки единой рациональной методики выявления и обработки данных массовой документации. В книге немало терминологических новаций, дискуссионных положений, постоянно ощущается авторское отношение к предмету. В век развития науки о науке, когда характерен интерес не только к результатам исследования, но и к самой процедуре его, история научного поиска оказывается не менее привлекательна для читателя, чем итоговые данные исследования.

С. Шмидт,
доктор исторических наук.



ДЖЕРАЛЬД ДАРРЕЛЛ. Ковчег на острове. М. «Мир». 1980. 128 стр.

Джеральда Даррелла представлять не нужно: его книги пользуются заслуженным успехом во всем мире (по данным ЮНЕСКО, он один из самых читаемых писателей на планете). Конечно, книги его хорошо знают и в нашей стране. Написанные ярким, образным языком, с тонким юмором, насыщенные огромным количеством фактов, они не только увлекательно рассказывают о природе — они горячо и убедительно призывают защищать ее.

Все это присуще и книге Дж. Даррелла «Ковчег на острове». Но в то же время

она несколько отличается от других, уже знакомых советскому читателю: если в них Дж. Даррелл описывал различные приключения, связанные с животными, или рассказывал о той роли, которую животные сыграли в его жизни, знакомил читателей с историей создания зоопарка на острове Джерси или описывал путешествия за новыми обитателями своего «поместья-зверинца», то эта книга посвящена принципиальным вопросам, связанным с содержанием животных в неволе.

Зоопарки существуют с давних времен. С первых же шагов своего существования они служили, да и сейчас многие из них служат главным образом одной цели — развлекать публику. Мало кого заботили принципы содержания животных в неволе, и уж, наверно, мало кто представлял себе, что зоопарки могут стать серьезными научными учреждениями, играть очень важную роль в охране и спасении представителей фауны нашей Земли. Правда, отдельные попытки создать зоопарки нового типа или превратить уже существующие в культурно-просветительные учреждения делались (например, Богданов и Фальц-Фейн в России, Гагенбек и Брем в Германии). Но они ни к чему не привели: коммерческая сторона (а отсюда и зоопарк-развлечение) одержала верх.

Однако в последнее время все чаще и чаще стали говорить (а в СССР и других социалистических странах и проводить в жизнь) о зоопарках как об учреждениях научного и природоохранительного типа. И это, конечно, не случайно: именно в зоопарках ученым удалось наблюдать многие явления в жизни животных, которые в природе увидеть очень трудно или просто невозможно. Именно в зоопарках сохранились, редкие или редчайшие животные, полностью истребленные или почти не встречающиеся в природе. Мало того, некоторые из этих животных начали размножаться в зоопарках. (К моменту написания Дж. Дарреллом этой книги в зоопарках мира содержалось 50 видов птиц и 135 видов млекопитающих, внесенных в Красную книгу, и из них 32 вида птиц и 91 вид млекопитающих давали в зоопарках потомство!)

«...размножение в неволе,— пишет автор,— важная и нужная вторая линия обороны наряду с обычными способами охраны вроде создания заповедников, парков и подобных объектов». Полученные в неволе животные передаются в дру-

гие зоопарки, а в ряде случаев выпускаются на волю, в места, где они когда-то обитали. Есть надежда, что в природу будут возвращены даже такие редчайшие виды, как, например, лошадь Пржевальского, существующая сейчас лишь в зоопарках, да и то в очень ограниченном количестве.

Рецензируемая книга не только решительно утверждает значение зоопарков в деле спасения животных, но и на конкретных примерах убедительно показывает это. Автор рассказывает, что и как нужно делать, чтоб находящееся в клетке или вольере животное не чувствовало себя пленником. Тут мы сталкиваемся со множеством вопросов, связанных с этиологией, экологией, ветеринарией, что интересно и само по себе, а в применении к зоопаркам вдвойне.

Дж. Даррелл, может быть, впервые в мире установив определенные и достаточно точные закономерности содержания животных в неволе, доказывает, что животные в зоопарках будут чувствовать себя не хуже, чем на свободе, если им создадут нужные условия. Дело тут в первую очередь не в размерах клетки или вольера (установлено, например, что некоторым животным большие помещения даже противопоказаны), а в оптимальной площади, заменяющей животному его территорию в природе. Очень важно и оборудование этой искусственной территории — наличие убежищ и т. д.

Не менее интересная и важная задача — подбор «общества» (супружеских пар и соседей), то есть принцип совместимости животных, ранее не учитывавшийся. Наконец, лечение животных и создание им условий для разнообразных «занятий»: ведь избавленные от необходимости добывать пищу, на что в природе у животных уходит большая часть времени, они начинают скучать, что иногда при, казалось бы, полном благополучии кончается весьма трагически.

Обо всем этом и рассказывает Дж. Даррелл читателю, видящему одну сторону жизни зоопарка — его фасад, и часто не знающему, что за фасадом идет огромная, напряженная, трудная и кропотливая работа. Рассказывает весело и остроумно, со множеством удивительных фактов из жизни животных — так, как это умеет делать знакомый нам и любимый нами Джеральд Даррелл.

Юрий Дмитриев.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

К. Маркс. Критика Готской программы. 48 стр. Цена 5 к.

Ф. Энгельс. Происхождение семьи, частной собственности и государства. 382 стр. Цена 6 р. 10 к.

Подвиг народа. Памятники Великой Отечественной войны, 1941—1945. 317 стр. Цена 5 р.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

А. Вознесенский. Витражных дел мастер. Стихи. («Библиотека произведений, удостоенных Государственной премии») 303 стр. Цена 1 р.

Ю. Дедков. Василь Быков. Очерк творчества. 288 стр. Цена 60 к.

Ю. Кузьменко. Советская литература вчера, сегодня, завтра. 440 стр. Цена 2 р. 10 к.

Ю. Куранов. Заозерные звоны. Роман. 400 стр. Цена 1 р. 50 к.

Р. Сейсенбаев. Всего одна ночь. Маленький роман, повесть и рассказы. Перевод с казахского. 304 стр. Цена 1 р. 10 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

С. Дельбланк. Городские ворота. Роман. Перевод со шведского. («Зарубежный роман XX в.») 279 стр. Цена 1 р. 60 к.

С. Караславов. Земная песнь. Стихи. Перевод с болгарского. 175 стр. Цена 65 к.

Красные листья. Восточный альманах. Переводы. 662 стр. Цена 3 р. 40 к.

Пурпурная яшма. Китайская повествовательная проза. I—VI вв. Перевод с китайского. 366 стр. Цена 1 р. 20 к.

Л. Ренн. Война. Роман. Перевод с немецкого. 287 стр. Цена 2 р. 20 к.

Сказки и легенды Португалии. Перевод с португальского. 415 стр. Цена 4 р. 20 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Ю. Бондарев. Человек несет в себе мир. 256 стр. Цена 80 к.

Р. Казанова. Страна Любовь. Стихотворения. 207 стр. Цена 90 к.

Ф. Кузнецов. Публицисты 1860-х годов. Изд. 2-е, исправленное и дополненное. («Жизнь замечательных людей») 335 стр. Цена 1 р. 50 к.

Г. Марков. К юности... 208 стр. Цена 75 к.

Фантастина-80. 367 стр. Цена 1 р. 60 к.

О. Зминов. Дело возбуждено... Повести. Перевод с туркменского. 255 стр. Цена 1 р.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

А. Аграновский. Иду искать. Заметки писателя. 575 стр. Цена 1 р. 20 к.

В. Берестов. Богатыри. Стихи. 31 стр. Цена 15 к.

А. Коротков. Поверженный ангел. Исторический роман. 239 стр. Цена 60 к.

А. Некрасов. Приключения капитана Врунгеля. Избранные произведения. Предисловие С. Михалкова. 352 стр. Цена 80 к.

Г. Поздняков. Какой человек нам нужен. Выдающиеся деятели КПСС о детской литературе и детском чтении. Очерки. 159 стр. Цена 45 к.

Л. Стржижовский. Ради мира на земле. Очерки. 111 стр. Цена 60 к.

В. Тельпугов. Вижу Монблан! Рассказы. 120 стр. Цена 50 к.

«СОВРЕМЕННОК»

К. Ваншенкин. Ветка. Лирика. («Новинки «Современника») 159 стр. Цена 50 к.

В. Енишерлов. Александр Блок. Штрихи судьбы. («Любителям российской словесности») 303 стр. Цена 1 р. 40 к.

ВОЕННИЗДАТ

М. Дудин. Ландыши на минном поле. Стихи и поэмы. 336 стр. Цена 1 р. 50 к.

П. Ионов. Опаленные строки. Стихи. 31 стр. Цена 10 к.

В. Кожевников. Так было. Повести и рассказы. 496 стр. Цена 2 р. 10 к.

Ю. Семенов. Весна 1941 года. Роман. 552 стр. Цена 2 р. 50 к.

Р. Флэнаган. Черви. Роман. Перевод с английского. 344 стр. Цена 2 р. 10 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

И. Васильев. Коренные и приезжие («Писатель и время. Письма из деревни») 86 стр. Цена 10 к.

И. Стрелкова. Там, за морем, деревни. Рассказы. 224 стр. Цена 50 к.

Хождение за три моря Афанасия Никитина, 1466—1472. Предисловие, подготовка текста, перевод Н. И. Прокофьева. 207 стр. Цена 95 к.

«ПРОГРЕСС»

Ветер над домом. Сборник повестей. Перевод с французского. 367 стр. Цена 2 р. 30 к.

И. Радовец. Красное и коричневое. Мир тесен. Вензелоколонка. Моцарт. Людоедка. Пьесы. Перевод с болгарского. 239 стр. Цена 90 к.

Современная японская повесть. Сборник. Перевод с японского. 670 стр. Цена 4 р. 10 к.

Главный редактор **С. С. Наровчатов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, В. В. Карпов** (первый зам. главного редактора), **В. А. Косолапов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **А. И. Овчаренко, Г. И. Резниченко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекелян**

Адрес редакции: 103806 ГСП Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва, К-6, Пушкинская пл., 5.

Сдано в набор 17/II 1981 г. Объем 17 п. л. Подписано к печати 10/IV 1981 г.
А 10614. Формат бумаги 70×108/16. 27,13 уч.-изд. л. 8,5 бум. л. (23,8 усл.-печ. л.)
Тираж 350.000 экз. Зака. 616.

Набрано и сматрицировано в ордена Трудового Красного Знамени типографии
«Известий Советов народных депутатов СССР», Москва, Пушкинская пл., 5.
Отпечатано в ордена Ленина комбинате печати издательства «Радянська Україна»,
Киев-47. Брест-Литовский проспект, 94. Зак. 01744

Цена 70 коп.

0.60

70636